

|| 10 ||

НОВОБЫИ МИР

НОВОБЫИ МИР

|| 1978 ||

10



1978



НОВЫЙ МИР

ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ
ЛИТЕРАТУРНО-ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ
И ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ

Издается с 1925 г.

№ 10

Октябрь, 1978 г.

ОРГАН СОЮЗА ПИСАТЕЛЕЙ СССР

СОДЕРЖАНИЕ

	Стр.
НАБЕРЕЖНЫЕ ЧЕЛНЫ — ЗИЛ	
КРЫЛО К КРЫЛУ — стихи	3
ЗОЯ ВОГУСЛАВСКАЯ — Защита, повесть	15
ИЗ СОВРЕМЕННОЙ АРМЯНСКОЙ ПОЭЗИИ: Ваагн Давтян. Песнь о крови; Песнь о подснежнике; Песнь о первом снеге. — Сильва Капутикян. Мой неведомый бог, может, вправду ты есть...; На полустанке; На окраине большого города. — Рачия Ованесян. Дней молчания и маеты...; Звезды Ригель прозрачный свет... — Арамаис Саакян. Клянусь хлебом; Добрые люди. — Амо Сагиян. Преклоняюсь, прости...; И сама в себе. — Геворг Эмин. Что страшиться смерти... Перевели В. Равич, Елена Николаевская, А. Каныкин, Александр Големба	115
ВИКТОР АСТАФЬЕВ — Четыре коротких рассказа	124
ВИНСЕНТ ЭРИ — Крокодил, роман. Перевел с английского Ростислав Рыбкин	136
ПУБЛИЦИСТИКА	
ПРАВА ЧЕЛОВЕКА: СУТЬ СПОРА, СУТЬ ПРОБЛЕМЫ	185
ДНЕВНИКИ. ВОСПОМИНАНИЯ	
ЭРНСТ ГЕНРИ — Первые шаги	217
ИЗ ЛИТЕРАТУРНОГО НАСЛЕДИЯ	
МИХАИЛ ЛУКОНИН — Быть с веком наравне. Размышления о современной поэзии	229
ЛИТЕРАТУРНАЯ КРИТИКА	
МОЛОДЫЕ СИЛЫ ЛИТЕРАТУРЫ	248
Л. КОРОБКОВ — Обратные связи	251
КНИЖНОЕ ОБОЗРЕНИЕ	
<i>Литература и искусство</i>	
	263
Лев Озеров. Поиск и риск. — М. Слуцкис. Человек в потоке меняющегося времени. — Евг. Винокуров. В краю лесов и озер. — Янка Брыль. «Он — строгий к правде!».	

(См. на обороте)

ИЗДАТЕЛЬСТВО
«ИЗВЕСТИЯ СОВЕТОВ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ СССР»
Москва

СОДЕРЖАНИЕ (окончание)

	Стр.
	276
<i>Политика и наука</i>	
Ю. Пороиков. «Мы будем, как Млечный Путь...»— В. Косолапов. Мемуары полководца	
КОРОТКО О КНИГАХ: Нина Бавина.— Владимир Кочетов. Провинциал. Повести и рассказы. ♦ Руслана Ляшева.— Юри Туулик. Заморское дело. Рассказы и повести. ♦ Леонид Каратеев.— Н. Флеров. Море и жизнь. Повесть. ♦ Андрей Максимов.— Л. О. Кармен. Рассказы. ♦ Р. Бухараев.— Ленинские горы. Стихи поэтов МГУ. ♦ Ирина Винокурова.— Леонид Латынин. Патриаршие пруды. Стихи. ♦ Майя Исакова.— Александр Афиногенов. Избранное в 2-х тт. ♦ Элеонора Соловей.— Н. Р. Мазепа. В поэтическом поиске. Об эпическом и лирическом начале в современной русской поэзии. ♦ Светлана Овчинникова.— С. Юрский. Кто держит паузу	282
КНИЖНЫЕ НОВИНКИ	288

НАБЕРЕЖНЫЕ ЧЕЛНЫ — ЗИЛ

КРЫЛО К КРЫЛУ

Авторы предлагаемых вниманию читателя стихотворений — рабочие поэты трех литературных объединений, работающих на КамАЗе и на ЗИЛе, а также поэты, не раз побывавшие на берегах Камы в составе творческих бригад «Нового мира».

Крыло к крылу... Плечо к плечу...

Так шли молодые солдаты и матросы, штурмовавшие Зимний, так запевали «Яблочко»-песню красногвардейцы гражданской. Так шли на смертный бой солдаты и партизаны Великой Отечественной. Крыло к крылу, плечо к плечу возрождали наши отцы и матери разоренную войной родную землю. Молодое поколение страны подымало целину и покоряло сибирскую тайгу, горячо отозвалось на призыв партии строить Камский автомобильный, БАМ, Сургут и Нурек. Отряд за отрядом отправляются ныне комсомольцы осваивать богатства Сибири и Дальнего Востока. И всегда и всюду вместе с комсомолом шагали боевой призыв, песня, задушевная лирическая строка.

Обратите внимание, как бьется в предлагаемых стихотворениях пульс нашего времени! Поэты ЗИЛа пишут о «кузнечном звездодроме» и о шорохах родной земли, камазовцы о камском ветре и пляске башенных кранов. И вместе с тем молодое поколение, знающее о войне только по учебникам истории и по рассказам старших, не забывает об ополченцах сорок первого, с готовностью защитить любимую страну пишет о сегодняшнем ее дне.

Рабочие-поэты двух промышленных гигантов вносят свою строку в общую поэму о Родине, о ее прошлом, настоящем и будущем. Они вместе со своим народом идут плечо к плечу, крыло к крылу.

Подборка посвящается славному шестидесятилетию Ленинского комсомола.

НИКОЛАЙ АЛЕШКОВ

Баллада о неродившемся сверстнике

Твой отец дошел до Берлина,
но вернуться домой не смог...
И остался в воронке от мины
только кирзовый пыльный сапог.
Лишь как призрак, взорвавши память,
на мгновение из мечты
ярко вспыхнул перед глазами
и погас неродившийся ты.
У Берлина, со смертью венчана,
та мечта полетела к женщине.
Поселилась в ней, щемящая, огромная...
А потом пришла похоронная.
Не оттого ли печали вдовьи
так пронзительны и круты,
что в них, как в заколоченном доме,
кричишь неродившийся ты.

МАХМУТ ГАЗИЗОВ**В дороге**

Лес, поле, луг, дороги бровка
и тени древних деревень...
В спецовках мы на остановках
встречаем свой рабочий день.
Есть песня — будет путь короде.
Садись в автобус поскорей!
Ты видишь — встали у обочин
дома в десяток этажей.
Мы едем к новому заводу,
которым славен автоград...
В день солнечный и в непогоду
спешат автобусы, спешат!
Ревет сигнал на всю округу.
Летим навстречу светлым дням.
У проходной, пожавши руку,
я другу говорю: «Салям!»

Перевел с татарского ВЛАДИМИР ШЛЕНСКИЙ.

СТАНИСЛАВ ЗОЛОТЦЕВ

* * *

Уезжают старожилы из Челнов,
оставляя новичкам свое творенье...

Что поделаешь — сюжет уже не нов:
стройка к финишу идет. Ее горенье,
штурм, бессонница, полночные костры
на площадках посреди снегов и рытвин,
став знаменем оконченной поры,
уступают свое место новым ритмам.

Уезжают старожилы. Не бегут —
просто тянет их туда неумолимо,
где неистовый с нуля начнется труд.
А с нуля начать — не мед и не малина.
Ветераны... А всего-то было лет
ими прожито здесь менее десятка.
Но оставили они прочнейший след —
юность, вложенную в город без остатка.

И порою невдомек для новичка,
старожилам приходящего на смену,
как была здесь жизнь рискованна и резка,
как непросто вырастали эти стены.
И в вечерних общежитиях слышны
споры между новичком и старожилом:
мол, не всем еще витрины здесь полны.
А в ответ — ты б знал, что здесь вначале было!

Вырос город. И в иные берега
входят юные Челны. Не так тревожна
жизнь их стала, но размеренно-строга.
Только это — по-особенному сложно.

Было стены их непросто возводить:
перегрузки, пережесты, перебои...
Но о времени таком не позабыть —
это, может быть, труднее даже вдвое.

Чтоб Челны не опускали парусов,
чтобы время для людей не превратило
четкий ритм их сегодняшних часов
в одноцветную привычную рутину.

Чтоб, уверенною зрелостью полны,
позади оставив бурное течение,
продолжали б удивлять людей Челны
духом юного и сильного свеченья.

СЕРГЕЙ КАКУРИН

Ночной рейс

Пахнут руки мои бензином,
И дорожная пыль горька.
И шуршат неустанно шины
Звонким гравием большака.

И усталость меня качает,
Убаюкивает мотор.
А кругом — тишина ночная,
А кругом — полевой простор.

Светом фар горизонт рассвечен,
Четко видишь все за версту.
И деревья спешат навстречу,
Чтобы броситься в темноту.

И поскрипывает, увязая
В тесном кузове, срочный груз.
По маршруту, что мне указан,
Я до финиша доберусь.

Мне по нраву ночные рейсы,
Чутко спящие города —
Жизнь шоферская интересна:
Ведь в движении ты всегда!

МИХАИЛ КИСЕЛЕВ

Звезда

Под вечер затихает ветер
И наступает гололед.
А сварщик в робе и берете
Опять по лестнице идет.

Ложится прямо в стыки ферма
 На плечи сильного «быка».
 И сварщик наш рукою верной
 Сшивает теплые бока.
 Стоит он в тишине небесной
 На узком, маленьком мосту.
 Строитель, парень неизвестный,
 Зажег вечернюю звезду.

ЮРИЙ КЛЕНОВ

Колосок

Война.
 Урал.
 Грохочут эшелоны...
 В полях осенних
 Бродит детвора.
 ...В корзины —
 Отирая пот соленый —
 Мы собирали колоски с утра.
 И шли в деревню
 С драгоценным грузом.
 Мы были — тылом!
 Поднялся Восток!..

...Я все смотрю
 На крепкий герб Союза —
 И вижу в нем
 Свой скромный
 Колосок.

КамАЗ на Красной площади

Палитрой февраля раскрашен,
 Через холмы, леса, поля
 Пришел на съезд — подарком нашим,
 Приветом от заводов, пашен —
 «КамАЗ»
 И встал у стен Кремля.
 Где были красные декреты
 Торжественно оглашены,
 Как на ладони у планеты,
 Стоит «КамАЗ»,
 в зарю одетый,
 На главной площади страны.
 Готовый вдаль уйти с рассветом,
 В снега, в пески, к подножьям скал,
 Стоит, улыбками согретый, —
 Дитя родное
 тех декретов,
 Что миру
 Ленин
 Завещал.

ЛИДИЯ КОЛОМИЙЦЕВА**Родине**

Мне без тебя и дня не выжить!
Вдыхаю аромат небес,
Шагаю по траве чуть слышно,
Гляжу не наглядясь окрест.
Ловлю все шорохи земные
Моей земли.
А вы смогли бы без России?
Смогли?..

ЕВГЕНИЯ КРИВОЩЕИНА

* * *

Теперь, когда наш луноход
Прошел по трудной лунной трассе,
Среди разбуженных высот
Не стало прежнего ненастья,
И к нам приблизилась Луна,
Земли отрадное соседство,
Как отдаленная страна
Незабываемого детства.

ЕВГЕНИЙ КУВАЙЦЕВ**Ветер Камы**

Синий ветер, спутник самозванный,
Вольный конь, минующий мосты,
Поцелуй мне губы, ветер Камы,
Я такой же искренний, как ты.

Я иду — рубашка нараспашку,
Трогаю ногою берега.
Парусом надуй мою рубашку,
Унеси меня под облака.

Синий ветер, колесо пространства,
Пусть моя душа летит с тобой:
Чужды нам законы постоянства,
Мы покой обходим стороной.

Если видишь — женщина рыдает,
Ты ее упреком не коли:
Плачущая женщина — святая,
Поклонись ей в ноги до земли.

Стань ее опорой и защитой,
Потому что, плача и моля,
Голосом той женщины убитой
Стонет беззащитная Земля.

Матушка, зеленая планета,
Век моей любви не огрубеть.
Песня до конца моя не спета.
Дашь ли до конца ее допеть?

ИННА ЛИМОНОВА

* * *

Девчонка машет, как кòсынкой,
 Малярной кисточкой своей.
 Любых пигментов, краски, синьки
 Глаза ее ясней, синей.

Девчонка машет, словно пляшет,
 Как будто по кругу плывет,—
 Высоким самым краном башенным
 Под свод доставили ее.

Что ей до сроков! Что ей планы!
 Она танцует! Эй, держись!
 А видели, как после смены
 Она устало сходит вниз?

От краски руки покраснели,
 И та же краска в волосах,
 Но нету ничего важнее,
 Чем эта пляска на лесах.

НИКОЛАЙ МЯГКОВ**В кузнице**

Мудри не мудри, раз такая работа —
 С утра на машине лишь въеду в ворота,
 Как вижу — поодаль бежит, громыхая,
 В ожогах и ссадинах лента стальная.
 По ней проплывают румяно на ковку
 Одна за другою весь день заготовки.
 И вглубь по пролету, и справа, и рядом
 Тяжелые молоты дышат с надсадом.
 С каким нетерпеньем, с веселой сноровкой
 Кузнец деловито берет заготовку.
 И вмиг сокращая опасность просрочки,
 Удар!
 За ударом — окалины строчка.
 И так он работает целую смену
 И вносит свой вклад в трудовую поэму,
 Где дней отражение — времени веха.
 Всем сердцем ему я желаю успеха!

ВЛАДИМИР ПОТАПОВ

* * *

Стрелы башенных кранов мотало как маятник
 Под напором прикамских ветров,
 Первый кран из Челнов мы поставим на площадь
 Как памятник
 От двадцатого века потомкам грядущих веков.

Город мой бело-синий,
 Вздыхающий призмы кварталов.
 На ресницах у солнца, на ладонях бескрайней степи...
 Просыпаются рано твои молодые богини
 И стучат по асфальту... сапоги, сапоги, сапоги.
 Рядом с ними выходят, чуть заспаны, парни,
 Ювелиры монтажных работ.
 Поступь их тяжела, лица строги, как тайны,
 От снедающих душу забот.
 Их качают «вахтовки», трамваи, автобусы
 На работу, домой, за ребенком в детсад.
 ...В школе я любил географию. На вертящемся глобусе,
 Нанести бы пунктиром заботы вот этих ребят.
 Почему-то на глобусе лишь океаны да реки,
 Очертания четкие материков...
 Нарисовать бы, о чем люди думают в автобусе.
 Написать бы... Сколько бы вышло стихов!

СЕРГЕЙ ПОТАШОВ

* * *

Где начиналась, где кончалась
 Та незабвенная пора?
 Где, не спросив меня, венчалась
 С любовью детская игра?
 Пусть обжигает резкий ветер,
 Но я живу, пока в пути,
 И рай и ад — на этом свете,
 И к богу незачем идти.

ИВАН ПЫШКОВ

Образ Ильича

Вот портрет на стене,
 Ленин щурит глаза.
 Как же хочется мне
 Все ему рассказать;
 Все: как наша страна
 Круто в гору идет,
 Как стремится она
 Все вперед и вперед,
 Как ракеты летят
 Высоко, до Луны,
 И как люди хотят
 В мире жить, без войны,
 Как, трудясь над строкой,
 Его взглядом согрет,
 Я потрогал рукой
 Свой партийный билет.

ДМИТРИЙ ТИМОШИН**Дороги**

Были всякие дороги,
 Были в гору, были вниз,
 А посмотришь — и в итоге
 Замечательная жизнь!
 Я не знаю, как там будет,
 И покажет время пусть,
 Только я люблю вас, люди,
 И любить у вас учусь.
 Сколько жить мне, не считаю,
 Есть всему своя пора,
 Начинающим желаю
 Я ни пуха ни пера.

ЗИНАИДА ФАДЕЕВА

.

Опавший лист. Усмешка лета.
 И свист уставшего крыла.
 А песенка твоя не спета.
 А ты несчастной не была.
 Такая странная погода!
 Такие странные черты
 Полузабытых дум о ком-то,
 Который, кажется, не ты!

МИХАИЛ ФЕДОСЕНКО**Вальс на берегу Тихого океана**

Помня светлые даты,
 Я в себе берегу:
 Вальс танцуют солдаты
 На пустом берегу...

И транзистор нестарый
 Замполита не гас,
 И разбил нас на пары
 Удивительный вальс.

Ты нас, вальс, не состаришь.
 Разве спутаешь с кем?
 Мой танцует товарищ,
 Свой обняв АКМ.

И пусть мы мешковаты,
 Но в нас Тихого стать.
 Коль танцуют солдаты,
 Может Родина спать.

Помня светлые даты,
 Я в себе берегу:
 Вальс танцуют солдаты
 На пустом берегу...

ВАЛЕРИЙ ХАТЮШИН**Высота**

Было страшно вначале —
уплывала земля
и колени дрожали,
не держали меня.
Я храбрился без пользы —
страх не просто изжить, —
я еще только ползал,
я учился ходить.

Но вздымались высоты,
прямо к солнцу маня,
и величье работы
увлекало меня.
Лишь в бригаде резонно
продолжали острить:
— Ты не будь как вареный,
надо, парень, шустрить!

Стиснув зубы, у края
я впивался в металл
и, по небу шагая,
о земле забывал.
И отвык я качаться,
и рассеялась жуть,
вдруг опомнился: — Братцы,
да ведь я же хожу!.. —
Разом грохнули парни:
— Вот чудила у нас! —
И фонтанами сварки
рассмеялся КамАЗ.

ХАНИФ ХУСНУЛЛИН**Лебеди над КамаЗом**

Вновь апрель. Неба синего вволю.
Словно поле, небо блестит.
И с утра по этому полю
золотой жеребенок мчит.
Днем он скачет, а на ночь прячет
своих алых копыт следы.
И мне кажется зелень зрячей —
смотрят травы из темноты.
В вышине, глядя мир крылами,
как весенней души косяк,
тают лебеди. И над нами
не смолкает «кыйгак-кыйгак».
Что оставила мне в наследство
моя память от прежних лет?
Лебединое мое детство,
жеребенка нечеткий след.

Память крылья свои сложила
и растаяла в вышине.
Время голову закружило —
не узнать мест родимых мне..
Стены зданий в блестящей смальте,
Лошадиный след под асфальтом.
Если ночью на город взглянуть
сверху — он словно Млечный Путь..
Там, где прежде стога стояли,
взмыли белые корпуса..
Нынче лебеди пролетали,
причитали на голоса.
Им казалась улица речкой.
И на сказочном их наречьи
камышовому озеру город
был подобен... Но криком вспорот
небосвод. Не поймут никак,
что случилось... «Кыйгак-кыйгак...»
И летит лебединый крик
и над Камою, и над нами,
и над Набережными Челнами.
Сквозь апрель летит напрямик.

Перевел с татарского ВЛАДИМИР ШЛЕНСКИЙ.

ЯКОВ ЧЕЛНОКОВ

Кочегар

Заправил печь, и осветились своды
Веселым пламенеющим огнем.
Вихрится он и рвется на свободу..
А был когда-то под землей углем.
Мне нелегко, когда каскадят искры
И пламя обжигает грудь мою,
Зато тепло по трубам серебристым
С душевным жаром людям раздаю.

ЛИЯ ШЕЙНКМАН

Кузнечный Звездодром

Поковка добрая ковалась,
И сталь светилась добела,
И мне, несведущей, казалось —
Ковалось белых два крыла.
Мне видится живой их трепет,
Коснется мастер их резцом,
И оживет прекрасный Лебедь,
В цеху рожденный кузнецом.
Крылам прорвать земную тяжесть,
И Лебедь — в небо наконец!
Но снова тяжесть, не лебяжья,
Под раскаленный молот ляжет,
И оттого светлеет кузнец.

Как не светлеть в цеху огромном,
Где свой, кузнечный Звездодром,
Он — Властелин Огня и Грома,
Поскольку сам рождает Гром.
...Когда над корпусом кузнечным,
Где ветер яростен и крут,
Два лебедя в потоке встречном
Опять крыло к крылу плывут —
Я вижу цех и спелость стали,
Поковка форму обрела.
И кузнецы опять ковали
Два лебединые крыла.

ВЛАДИМИР ШЛЕНСКИЙ

На Каме

Ю. Петрушину — секретарю парткома КамГЭС.

Нам за тридцать. Который год
снег идет и метель метет.
И таков, видно, наш удел —
с каждым годом все больше дел...
Кама скована до весны.
Снятся ей голубые сны.
Снится челн
среди черных волн,
вольно пляшет на гребне он...
На приколе стоит паром,
со свободой незнаком.
Он, трудяга, закабален,
заарканен навечно он.
Как челнок,
он туда-сюда —
поперек...
Вдоль плывут суда.
Вижу — втягивают бока
над Елабугой
облака,
словно сытые скакуны
небывалой величины.
И алеет на их боках
первобытный,
животный страх.
Среди строек, каркасов, свай,
как гирлянда,
в ночи трамвай.
Новый Город уснул давно,
тает заспанное окно.
Над ночным районом КамГЭС
звезды свешиваются с небес.
Мы идем, приминая снег,
сквозь ревуший металлом век.
Нам за тридцать.
Уже видна
у ровесника седина...

МИХАИЛ ЭФРУС

Ополченцы

По асфальту промерзшему шины шуршат.
До Москвы — час хорошего хода.
А в холме над шоссе ополченцы лежат
сорок первого страшного года.

Полированный мрамор пургой замело,
воздух пылью морозной пронизан...
Сколько их полегло! Сколько их полегло
в ожиданьи сибирских дивизий!

От Калужских, Рогожских, Смоленских застав
шли в парткомы и военкоматы,
торопливо листали пехотный устав,
за ремень затыкали гранаты,
в трехлинейки обоймы тугие вогнав,
уходили за Химки и Сходню.
Затихая, неслось:
«Если завтра война...»
А война грохотала
сегодня,
сатаневших «максимов» стволы накалив.
Умирай, но держи оборону!..
Поначалу домой треугольнички шли,
ну а после — листки похоронок.

Нынче фото одних по музеям висят,
о других люди песни сложили,
а кого-то внесли в Александровский сад,
рядом с Вечным огнем положили.
Чей отец он и брат — бесполезно гадать:
слишком много здесь пролито крови,
слишком много таких
неизвестных солдат
схоронила земля Подмосковья.
Не один батальон ополченских полков
сгинул здесь в огневой круговерти...

На колючем ветру
стынут кольца венков,
обручая погибших
с бессмертьем.



Зоя Богуславская



ЗАЩИТА

Повесть

I

За неделю до суда, во вторник, адвокат Родион Николаевич Сбруев сидел в своей длинной, как вагон, комнате и натошак курил, охваченный чувством потери. О предстоящем процессе он почти не думал, суд над Никитой Рахманиновым, угнавшим «ситроен» у соседа, которого зверски избил, не представлял интереса. Сбруев согласился вести это дело под нажимом крайне напористой матери обвиняемого, Ольги Николаевны, которая не вызывала у него никакого сочувствия, и от жалости к отцу Рахманинова, старому детскому врачу Василию Петровичу, лежавшему в больнице с оперированной почкой, которому глубоко сочувствовал.

Теперь Сбруев раскаивался в своем согласии. Парень оказался трудным, даже неприятным, обстоятельства преступления неясными. Кроме того, на Сбруеве висело другое дело, тянувшееся уже два года: дело об убийстве — обвиняемых Михаила Тихонькина и его группы, сложное и противоречивое, по которому после приговора городского суда до сих пор шли отклики возмущенных граждан, шумела печать.

Сбруев никогда не брался за два дела сразу, и это случайное совпадение было для него мучительно как для человека, не ведавшего раздвоения.

Сейчас, прикуривая сигарету от сигареты и ощущая тоскливое посасывание в груди, он думал о том, что после смерти матери ни разу не выезжал из Москвы, что болят спина и глаза от работы по ночам и что жизнь уходит.

Он сидел в круглом, как самовар, кресле, протертом до подкладки еще отцом, его окружали вещи, которые он знал всю свою сознательную жизнь: тонкие, с выпиленными вензелями на перегородках полки, готовые рухнуть под натиском книг; громоздкий письменный стол, занимавший полкомнаты, над которым в самодельных рамках висели три фотографии: две в траурных — отца и матери, а в нарядной — их школьного выпуска. Освещала комнату низко свисавшая люстра с шестью рожками, подаренная матери к свадьбе ее родителями: просыпался он от боя старых часов, будивших когда-то Родиона в школу, потом в университет, а теперь уже не будивших его — так привык он

Повесть З. Богуславской основана на документальном материале. Описание судебных процессов строится на подлинных обстоятельствах дела, в них использованы реальные ответы и письма подсудимых, речи других участников процессов. Все фамилии в повести, естественно, изменены.

к низкому вибрирующему звуку, растекавшемуся в ночи по всей квартире... Все это было из далекого прошлого. А сейчас?

Он подходит к зеркалу: физиономия серая, напряженно-заискивающая. Посмотрел на часы. Поздно. «Нет, к черту все,— в который раз за неделю думает он.— Пора начинать новую жизнь. Пора. Брошу курить, разгоню всех баб и женюсь. Цветной телевизор куплю, самовар электрический... Вот куплю и начну. Например, с декабря».

Родион открывает форточку, ложится на коврик, расслабляется. С выдоха начинается дыхание по системе йогов. Теперь не думать ни о чем, оставить у порога хатха-йоги все мысли, суетные желания. Сосредоточиться.

А в голове отпечатки фраз, голоса, комплименты, **бла**женная похвальба гостей.

Вчера проводы его бывшего подзащитного, солиста ансамбля Григория Глушкова, зашли далеко за полночь. «Едет парень на гастроль,— пел ансамбль «Ритмы»,— у него такая роль». Да, едет. Вырулил. Афишу демонстрировал: «Киев, Москва, Минск, Рига... Солист ансамбля...» «Спасибо тебе, гражданин адвокат,— жмет его локоть дядя Глушкова.— Зеленый еще был. Молодость. По природе ведь он такой добрый. Ромка Хромой его подвел...» «Подождите вы,— досадливо отмахивается от них Григорий.— Выпьем за Родиона Николаевича! Помните,— обращается он к Родиону,— когда увозили меня, вы сказали: «Три года не вечность»? А потом еще добавили: «Форму нужно сохранить, парень. Потеряешь форму — на сцену больше не выйдешь. Человеку не дано повернуть время вспять, но жить спрессованно, за троих — в его возможностях. Только вот характер нужно иметь». Так, а? Колоссальную роль вы сыграли в моей жизни, Родион Николаевич. А я для вас — пшик,— он присвистывает,— один из сотен».

Григорий поворачивается то к дяде, то к Родиону. Видно, как под рубашкой натягиваются мышцы, как гнется талия. «За Родиона Николаевича!» — кричит он, перекрывая шум.

Родион размяк. Мясо, пропитанное уксусом и специями, много соков, зелени — все это не зря придумано. «В рубашке ты родился, Григорий Глушков,— бормочет он,— в беленькой». А может, он не произносит это, а только думает? «Пришли бы новые «молодые дарования». Танцору в двадцать семь начинать не просто... А рассудите — совершенно ли преступление? Не совсем так. Между определениями «виновен — невиновен» располагается, дорогие мои, порой весь психологический спектр бытия. От таких, допустим, простых понятий, как «оступился», «ошибся», до порока, возведенного в степень. Разобраться в этом — голову поломать надо...»

Родион с трудом поднимается, отходит от стола. Присев на подоконник, жадно закуривает. Здесь, за портьерой, можно побыть одному. Ему виден окутанный дымом профиль Григория, его молодой затылок. Редкого дарования парень. А пропал бы ни за что. За плевою махинацию. Слаб человек. Только раз подумал: «Могу же я без очереди машину получить?» И получил. Ему ведь и вправду некогда. Весь год в разъездах. И заработал он деньги не как-нибудь — потом. После каждого концерта рубашки три выжмет, в гостиницу возвращается — пошатывается. А тот, кто устроил Григорию «Москвича», — другое дело.

«Едет парень на гастроль. У него такая роль...» — поют на три голоса ребята из «Ритмов».

Подоконник прохладный, с улицы веет свежестью. Не двигаться, не говорить. Что же получается? Один знает законы, думает, как их обойти. Другой попался по глупости или безграмотности. А закон один. Вроде бы и преступления нет. «Что я, хулиганил, замки взла-

мывал? — удивился Глушков на следствии. — А почему тому дяде понадобилось продавать сертификаты — какое мне дело? Не спрашивать же приличного человека?!»

Родион отбрасывает притушенный окурок в окно, присаживается к столу, молча чокается с Григорием. «Скажи, Родион Николаевич, — радостно вздрагивает тот. — Ты действительно верил, что я не знал? Действительно?» Родион кивает. Откуда Григорию знать, какой крупный куш отвалили себе его «благодетели»... Сейчас-то парень уже не споткнется: вон гости набрались, а он трезв как стеклышко. Родиону хочется сказать Григорию какие-то возвышенные, немислимо прекрасные слова о том, что, мол, выстоял ты, парень, разогнул подкову судьбы. Но он помалкивает...

Во дворе они прощаются. «Верил, — подтверждает Родион, обнимая Григория. — Ты честный парень». Григорий останавливает такси, шепчется о чем-то с водителем. Затем припадает к Родионову плечу.

...После трех первых упражнений дышится легче, мышцы становятся эластичнее.

Нет, стоп! Вчера проводы Глушкова, до этого Ларисины именины. Хватит, в конце концов.

Родион переворачивается на живот, поднимает голову и, стараясь не отрывать пупка от пола, пробует выгнуть спину. Это «кобра». Тяжеловато идет сегодня, поясница стала пошаливать последнее время. Два дня назад, когда из машины вылезал, такое приключилось — срам! Одна нога на тротуаре, другая под рулем, а вдоль спины будто каленый шампур проложили. Нет, к черту! Надо начинать новую жизнь. Режим, воздержание, никаких перегрузок.

Он отдыхает минуты две, потом встает, складывает коврик. Что ни говори, йоги кое-что смыслили в человеческом организме.

В этом он убедился, когда в Варне на Золотых Песках встретился с Барханом — «самым сильным человеком на Гималаях». Думал: липа. Не может человек об горло гнуть толстые металлехские стержни и уцелеть под тяжестью грузовика. Или грузовик фальшивый, или массовый гипноз? После представления не выдержал, побежал за кулисы. Своими глазами видел, как шофер откатывал грузовик на задний двор, как переговаривались с Барханом его сыновья.

Ну пусть не под грузовиком лежать, думал тогда Родион, пусть хоть грипп не каждую осень прихватывает — и то благо. Теперь-то и он кое-чего достиг. По любым лестницам взбегаёт без сбоя дыхания. работает по шестнадцать часов. А в последние две недели — пожалуйста: всего-навсего именины, проводы — и уже спина не гнется. «Нет, решено. Кончу оба процесса — и все. Режим. Брошу курить, самовар куплю, над столом распорядок дня вывешу».

Родион вытряхивает окурки в мусоропровод, с надеждой заглядывает в холодильник. Пива нет. Вчера выдул. Подумав, он накидывает куртку и спускается за почтой.

В ящике ворох писем, два журнала — «Наука и жизнь» и «Советское законодательство», газеты. Теперь он взбегаёт по лестнице, вдыхая запах типографской краски.

Придя, удобно плюхается в кресло, пробегает «Литературку», журналы откладывает на вечер.

Теперь письма.

С них обычно начинается день. Раньше наиболее содержательные он читал матери или Олегу.

Мать, как многие люди ее поколения, относилась ко всякой корреспонденции крайне серьезно. Олег, напротив, проявлял глубокое равнодушие: «Дельные люди незнакомым не пишут. У них своих забот навалом». «Ну и ошибаешься, милый невропатолог. В наш век прямой

междугородной связи письма адвокату — это, брат, редкие, порой драгоценные документы: просто так, за здорово живешь защитнику писать никто не кинется. Нужен сильно действующий побудительный стимул. Вот эти-то стимулы и следует изучать, дорогой друг. К примеру, не только вам, но и социологам, педагогам».

Он вскрывает один из конвертов. Из школы № 7... пишут:

«Уважаемый товарищ адвокат Сбруев!

Как нам кажется, адвокатура в нашей стране существует не для того, чтобы выгораживать хулиганов и преступников, а чтобы предотвратить судебную ошибку и помочь суду раскрыть все обстоятельства дела. Зачем же вы занимались в городском суде укрывательством Тихонькина? Группа распоясавшихся бандитов участвовала в убийстве восемнадцатилетнего Толи Рябинина. Какая разница, кто нанес последний удар — Тихонькин или кто-либо из его дружков? Все они виноваты, и не важно, кто именно решил исход. Погиб человек, и все те, кто гнался за ним, — убийцы...»

«Тихонькин!» — поражается Родион и отшвыривает письмо. Ни одно дело за всю десятилетнюю практику Родиона не отняло у него столько усилий и времени. Вместо того чтобы переключиться на эту гаражную историю с Рахманиновым, ему приходится думать только о расследовании, которое сейчас ведут по делу Тихонькина.

Раздражаясь все больше, Родион хватает со стола письмо и заставляет себя дочитать до конца.

«Целый год различные судебные инстанции с вашей помощью, — продолжали авторы, — занимались этим делом и дозанимались до того, что государственный обвинитель отказался от обвинения Тихонькина в умышленном убийстве, хотя сам убийца признался во всем. Неужели не ясно вам, что дело чистого случая, кто добил жертву ножом, и, если даже это был не Тихонькин, в интересах общего дела нельзя отменять приговор городского суда? Это нанесет ущерб воспитанию молодежи. Если судебные инстанции бессильны сами все решить по закону, предоставьте преступников суду общественности. Поверьте, народ разберется с этим Тихонькиным сам и не позволит суду уклониться от справедливого приговора — высшей меры наказания.

В заключение позвольте задать вам вопрос, гражданин адвокат: каким хозяевам вы служите? Не имеете ли вы в этом деле личный интерес? Сколько вам платят за защиту? Для чего-то ведь понадобилось вам покрывать хулигана и головореза?»

В конце следовали подписи десяти учителей школы № 7... и обратный адрес. Значит, не анонимка. Внизу приписка: «Копия. Оригинал отослан в «Комсомольскую правду».

Родион вскакивает. Такие послания по его адресу приходят не часто. А вот требование усилить наказание показательно. Эти радетели справедливости, не зная закона, настаивают на высшей мере для парня, которому в момент преступления не было еще восемнадцати.

Руки Родиона дрожат, у виска бьется пульс. Вот и отыщите тут побудительный стимул! Представьте, как, собравшись вместе, эти люди подбирают наиболее уничтожающие слова, чтобы взамен одной жизни потребовать другую. При этом они чувствуют себя борцами за правду. «Нет, тем же социологам надо было заняться этим, — думает он. — Допустим, рассчитать на ЭВМ в общегосударственном масштабе письма, которые пишутся в защиту, и те, что требуют возмездия. А потом выяснить, почему так активны люди, ратующие за немедленную расправу. И, увы, так медлительны те, кто просит разобраться, спасти, восстановить справедливость».

Он пытается войти в норму. «Ущерб воспитанию молодежи... В интересах общего дела... — передразнивает он авторов письма. — Знаем

мы, откуда это укоренившееся понимание общей пользы в ущерб интересам отдельного человека. Слышали! Как можно выиграть общее дело, если наказать невиновного? Хоть бы над этим задумались. Или вообразили бы себя на месте отца, матери этого Тихонькина. Каково бы было досточтимым учителям, если бы из неких вы с ш и х интересов укатали их собственного сына? Ладно, воздадим славу закону, в котором для несовершеннолетних высшей не предусмотрено...»

Где-то над головой повисает равномерный свист. Чайник! Последнее достижение техники. Со свистком. Родион заваривает полпачки цейлонского — сегодня надо покрепче, — вынимает из холодильника яйца, зеленый лук. Ставит на плиту сковородку.

Звонит телефон.

— Алло? Алло?

Молчат. Не понравился, видно.

«Нет, вы только вникните в это, — не утихает в нем, — «на суд общечеловечности!» Он вспоминает мать Тихонькина, сухонькую, безгласную Васену Николаевну. Ее спину, когда она выходила из зала после приговора в городском суде.

Родион снимает шипящую сковородку, несет ее в кабинет.

Тридцать лет назад жених этой Тихонькиной пришел с войны. Без левой ноги. Истрепанный госпиталями, немолодой, хмурый. Только через десять лет у них родилась дочь, еще через три — сын. Началась для матери стирка по чужим людям, длинные ночные дежурства, недоедание, недосыпание, потом не повезло совсем: травма на производстве, да какая — пальцы правой руки! Дорогие высокосправедливые авторы письма, если бы вам это в кино показали, вы бы ей ох как сочувствовали. А в жизни? Значит, в наше еще не до конца сознательное время суд обязан не только общество охранять от нарушителей законности, но и самих нарушителей от общества?

Забыв о еде, Родион быстро проглядывает остальную почту. Два письма из мест отбытия наказания. Повестка на сегодняшний Президиум коллегии. Записка от Ларисы — брошена прямо в ящик. Не читая он засовывает ее в карман. Потом снова начинает вышагивать по комнате, пока не слышит звонки телефона.

— Алло? Алло?

Он усмехается: понятно, Ларисины номера. Увы, этому он уже не поможет. Позавчерашние именины были последней данью их отношениям. Она этому не верила. Придется поверить.

Он отходит от телефона, возвращается, набирает номер консультации. Занято. С одного захода через Клавочку не пробьешься.

В консультации у него прием до двенадцати часов. Затем заседание Президиума коллегии адвокатов... В шесть встреча с коллективом Всесоюзного института, тема — «Изучение причин и разработка мер предупреждения преступности». Приглашены видные психиатры, судебные медики, разговор о новейших открытиях криминалистики. На сей раз на высшем уровне.

Впрочем, до вечера еще надо добраться.

Он выпивает чуть теплый чай, съедает остывшую глазунью и снова курит. Покончить с делом об угоне машины и всерьез заняться Тихонькиным!

Внезапно его охватывает чувство глубокого равнодушия, опять это утреннее посасывание в груди, которое превращает тебя в студень. На какие-то секунды он забывает о времени, долге, пути. Кажется, что земля опрокидывается на него.

Усилием воли Родион стряхивает с себя это, мрачно смотрит в окно. Сейчас ему чудится поезд, мерный перестук колес, сизый дымок над полем, избы, крытые шифером, а утром: стоп — приехали. Стан-

ция Гурулево. На платформе — длинная фигура лучшего его друга, к которому уж совсем было собрался. Вот он. Родион останавливается у фото их школьного выпуска. В последнем ряду светлая голова Олега Муравина. Тощая шея, наморщенный лоб. Бог мой, как же он мог забыть! О телеграмме, которую вчера сдуру отправил Олегу. Хотел повременить, так нет же, не удержался. И все из-за Ирины Шестопап. Ну что с того, что она выступает главной свидетельницей по делу этого угонщика Рахманинова? Зачем было доводить сие до сведения Олега? «Ничтожество», — клянет он себя теперь. Выбить из колеи человека, замotanного кафедрой и клиниками, который в кои-то веки оторвался от своей неврологии и выбрался на месяц в деревню. «Может, пронесет? — хитрит он с собой, сгребая две пепельницы, набитые окурками. — Нет, не пронесет. Примчится. Слишком много вышеназванная Шестопап значит для Олега».

Сейчас он вдруг вспоминает, как Олега дразнили в классе белой вороной. Из-за волос, словно выкрашенных перекисью. Э, нет. Не только в волосах было дело. Еще мальчишкой Муравин выделялся особым складом ума, который отвергал уже сложившиеся представления, скрытым характером, неподвластным влиянию сверстников. А неожиданные причуды его воображения? Да и теперь то же! Какие-то нелепые, вполне бесперспективные опыты с насекомыми и паразитические результаты исследования тонуса вен головного мозга, о котором он талдычил столько лет. Оказалось, что клинические наблюдения подтвердили наличие этого самого тонуса и того, что он имеет важнейшее, еще непознанное значение для нашего организма. Теперь то о нем широко заговорила пресса. И у нас и за... Строится громадный корпус для новых экспериментов.

Родион щурится, представляя, как Олег в предрассветном тумане Гурулева идет ему навстречу, — детская, идиотски-счастливая улыбка собирает в пучок морщины на загорелом скуластом лице. «Старик! — вопит он, как встарь. — Не верю глазам своим! Думал, надуешь. Кстати, ты вовремя — пойдешь со мной метить муравьев изотопами. Как, не против?»

Увы, все это придется сейчас отложить. Деревню, ночные посиделки с Олегом. И из-за чего? Из-за встречи с Рахманиновым, который чуть не убил соседа, чтобы покататься три дня на его машине.

Бой часов заставляет Родиона вспомнить о времени. Как все провернуть? И самое тяжелое — разговор с матерью Рахманинова Ольгой Николаевной. Эта женщина, деспотичная и в то же время безвольная, ему глубоко несимпатична. Почему он поддался на ее уговоры вести их дело?

Родион достает из ящика стола папку «Записи по делу Рахманинова», нехотя открывает ее. Под обложкой, поверх бумаг — фотография. Кудрявый, с усиками, уже сильно потертый парень. Осклабился, как на свадьбе. Редкостно несимпатичный экземпляр. То требует новых свидетелей и путает версии, то у него зубы болят, отвечать не желает. Еще откажется в суд идти — с него станется.

Родион сует папку обратно, задвигает ящик.

Что поделаешь, если сам ты, жаждущий правосудия, увы, тоже человек. К одному у тебя лежит душа, к другому — никак. Вот, допустим, история с убийством Рябинина и признанием Тихонькина нафталином пропала, а не отвяжешься, думаешь о ней неотступно.

Казалось бы, чудовищно простое дело. В заводской многотиражке оно было решено с помощью простейших, элементарных действий. Даже вырезал для памяти как показательный отклик общественности на приговор городского суда. Вот, пожалуйста:

«Трое из нашего района: Михаил Тихонькин (17 лет), Александр Кеменов (18 лет) и Кирилл Кабаков (18 лет),— констатировал автор статьи,— в 197... году после кинокартины «Кавказская пленница» учинили драку с парнями соседней улицы, догнали самого длинного из них, Толю Рябинина, и зверски избили. После двух ножевых ранений в легкое и печень Рябинин упал. Подобранный в подъезде, он был привезен в больницу, где скончался через 20 минут. Дело слушалось в городском суде.

Из троих обвиняемых семнадцатилетний Михаил Тихонькин, которого многие знали в районе как работающего, неглупого парня, в ходе следствия полностью признался в убийстве. Подробно описал, где взял ножи, как пырнул раз, другой.

Городской суд согласился с выводами предварительного следствия, показаниями подсудимого и свидетелей и осудил Тихонькина за преднамеренное убийство «путем нанесения двух смертельных ран» на десять лет лишения свободы — срок максимальный для несовершеннолетних. Двум другим участникам драки — Кеменову и Кабакову — дали соответственно четыре и три года. Из этого следует,— делал вывод летописец этих событий,— что надо запретить продажу крепких напитков в районе клуба, усилить идейно-воспитательную работу, организовать досуг...» И т. д. и т. п.

Резонно. Но, дорогой товарищ из заводской многотиражки, все оказалось не так-то просто, если сегодня, по прошествии стольких месяцев, дело вернули на доследование. И это в результате кассации, поданной лично адвокатом Сбруевым. Интересно, известно ли сейчас автору статьи, что, по мнению Верховного Суда РСФСР, кто-то другой должен понести наказание за убийство? Версию же о том, что удары ножами нанес Тихонькин, Верховный Суд посчитал недоказанной именно после аргументов защитника.

Кто-то другой... Кто же он, этот другой, и почему Тихонькин его покрывает — вот в этом следует сейчас разобраться.

На прошлой неделе Родион попросил материалы доследования в прокуратуре, чтобы восстановить и проанализировать весь ход дела. Экспертизы, описание улик, свидетельские показания... До сих пор ничего нового для себя Родион не обнаружил, а теперь надо было все прерывать, чтобы заниматься Рахманиновым. «Так или иначе,— подумал Родион, откидываясь в кресле,— но действовать. Побороть эту чертову апатию. Иначе еще лет десять будешь получать письма сограждан, подозревающих тебя в укрывательстве преступников. Или и того хлеще — во взяточничестве».

Он выпивает подряд два стакана чая крепости чифирия, потом начинает собирать. «Дело Тихонькина,— размышляет он, запирая ящики,— перестало быть моим делом. Здесь речь идет о репутации защиты вообще. Перед широкой общественностью. За истекшие месяцы чересчур много пузырей поднялось на поверхность от этого процесса. Значит, остается одно: подвергнуть сомнению каждую деталь. Каждую. В с е — перепроверить. Как будто только что, впервые узнал об этом преступлении».

Он набирает номер консультации... Наконец-то. Томный голосок Клавошки протяжно информирует об обстановке. Ждут два новых клиента.

— Предлагала других, Родион Николаевич, не соглашаются. Вас хотят. У Прохорова решается вопрос, состоится ли Президиум коллегии. Такая скука без вас,— неожиданно вздыхает Клавошка.— Приходите скорей.

— Кассетный магнитофон заведите,— смеется Родион в трубку.— Кнопку нажал — ансамбль «Веселые ребята», в другой раз

нажал — Шаляпин. А главное, поменьше курите. Цвет лица портится. Он у вас удивительный...

— Я серьезно... — обижается Клава. — Да не забудьте насчет Президиума. Перезвоните.

— Угу, — мычит Родион.

Положив трубку, он берет со стола другое письмо, торопливо вскрывает, смотрит на подпись: Рябинина.

«Уважаемый адвокат Р. Н. Сбруев, — выведено ровным, спокойным почерком. — Хотя я и потерпевшая мать, но обращаюсь с просьбой. Помогите смягчить приговор Михаилу Тихонькину. После гибели сына Толи ничего у меня не осталось. И все же я прошу о Михаиле. Все мы в кино сидели, сами все видели. Может, причина в пьянке и мордобоях, что на нашей улице творились? Виновных здесь полон рот. Моего сына мне не вернуть. А мать Михаила, калека и инвалид, может, хоть доживет до его возвращения.

С уважением. И. Рябинина».

Так-то вот. Покажи письмо деятелям из 7... школы — не поверят. Скажут: подучили. Конечно, разговор с Васеной Николаевной Тихонькиной был. Это по письму видно. Но разве подучишь мать, потерявшую сына?

Он откладывает письмо, достает из стола «Обвинительное заключение» по делу Тихонькина, запикивает его в портфель. «В прокуратуру, к следователю Вяткину», — решает он окончательно. Быстро непослушными пальцами набирает номер консультации.

— Ага... Значит, Президиум коллегии в два?

Так он и думал. Родион одевается и спешит на улицу.

Юридическая консультация в центре, в здании Торговой палаты. Если идти по Чернышевского, потом по Куйбышева — не больше двадцати минут.

Асфальт почти просох, в редких трещинах блестят под солнцем стебельки увядающей зелени. Хорошо! Родион идет стремительно, висок и плечо ощущают тепло уходящей осени. А давно ли ему казалось, что ясный солнечный день не располагает к преступлению, к обнажению темных сторон в человеке, что солнце пробуждает лишь доброе, светлое? Увы! Люди калечат жизни друг друга иногда и посреди цветущих гор и садов, на просторах летних пляжей, в тихом море или на реке под щебет птиц...

С Толей Рябининым все случилось в начале февраля.

Шумели деревья в Измайловском парке и трескался под ногами наст, когда они догоняли его. А рядом выгибался овражек.

Сейчас Родиону отчетливо представился Рябинин. Высоченный детина, сто девяносто два сантиметра, и то, как он изогнулся под ударами ножа — одним, другим, — как затем без единого крика, скрючившись, добежал до подъезда чужого дома (только бы не увидела мать!) и здесь, на темной лестнице, рухнул навзничь.

Где-то позади, остановившись, переговариваются преследователи со штакетниками в руках. Они, остывая, решают, бежать ли дальше, а Толе остается жить полтора часа.

Лишь на следующий день избивавшие узнают, что тот длинный парень, которого они, забавляясь, преследовали, умер.

Двоих застали в школе за партами, один нес картошку из магазина, а трое, и среди них убийца или убийцы, мирно сидели в подъезде с девочками и ели мороженое. Они даже не взглянули на милиционера и дворника, как будто к ним это не могло иметь никакого отношения. «В драке вчера вы участвовали?» — спросил милиционер. «Ну...» «Идемте», — сказал милиционер, удостоверившись, что имена

и фамилии совпали «Подумаешь, — пробурчал черный парень по фамилии Тихонькин.— Он ведь давно удрал». «С кем этого не бывает»,— миролюбиво заметил высокий со светлыми спутанными волосами, в стеганой черной куртке. «Его убили»,— сказал милиционер. «Кто???» «Да вы же и убили». Побледневшие лица, переглядка. «Он еще вчера вечером умер,— сказал милиционер.— Ну пошли, пошли, потом будем разбираться...»

Родион замедляет шаг, охваченный реальностью воображаемого.

И вдруг все сдвигается в его мозгу. Решение, планы... В висках начинает стучать будоражащий ритм, который, он знает, заставит его забыть недомогание, следователя Вяткина, свидание с Рахманиновым... Все это останется на потом.

В глазах — парни, бегущие между лесом и овражком по снежной тропинке. Согнувшийся пополам Толя Рябинин. Убийцы, мирно сидящие с мороженым в руках.

Он бросается в пролет улицы, сворачивает влево, вправо. Увидев по дороге почту, заскакивает в нее, дает Олегу телеграмму: мол, дело Рахманинова и свидетельство Шестопал не такая уж срочность, сиди в своем Гурулеве, не рыпайся. Потом все так же поспешно ныряет в метро в направлении станции «Измайловская».

II

Олег Муравин попал на первый же поезд в Москву, и в вагоне у него произошла удивительная встреча.

Он сидел на задней скамье один, под впечатлением утреннего телефонного разговора с Ириной Шестопал и утешал себя тем, что все слова, которые она ему сказала и которые еще скажет, меркнут перед возможной встречей, предстоящей через несколько часов, после стольких месяцев отчужденности, но содержание и интонация каждой фразы, которую он вспоминал, не подкрепляли его надежд.

Звоня Ирине перед отъездом, он не надеялся заставить ее либо ее дочь Марину. Просто на авось заказал номер Шестопалов. Сколько дней пробежало меж ним и Ириной — летних, солнечных, дождливо-цепенящих. Уже осень.

Его соединили. «В чистом поле огоньки... дальняя дорога,— почему-то застучало в голове,— повремени, повремени...» «Слушаю»,— глухо отозвались на другом конце провода. Незнакомый, надтреснутый голос. «Ирина Васильевна? Это Муравин... Я вас разбудил? Разбудил?.. Скоро буду в Москве». «Надолго?» — почему-то спросила она. Он усмехнулся. «Нет, дня на два. Транзитом.— В трубке затрещало.— Забегу поглядеть на вас,— заторопился он.— Еще сегодня или завтра! Вы меня слышите? Слышите?» — закричал он отчаянно. «Не слышу»,— сказала она и повесила трубку.

После переговоров он зашел с собакой в лес. Стоило подбить кое-какие итоги.

Уже рассвело. Поднялся сильный ветер. Оранжевые листья кружились в последнем вздохе осени. Сквозь полубогаженные деревья, как сквозь стропила недостроенного дома, пробилось солнце. Оно было теплое, спокойное. Он подошел к муравейнику. Рыжие повалили последнюю из одиннадцати спичек, воткнутых накануне в купол их башни, и тянули вниз. Несомненно, у рыжих есть чувство пространства. Они избавлялись от спичек в точно обозначенном порядке. Удача.

Он еще раз огляделся в излюбленном месте опушки и подумал, что вот эти минуты до поезда здесь, среди золота поздней осени,

может быть, последние тихие минуты в его жизни, а вечером... Но он не стал додумывать, что предстоит ему вечером.

Он посмотрел на небо. Ни намек на просвет. Того и гляди пойдет снег. Вот и прекрасно. А грянет морозец — можно будет начать эксперимент с изотопами. Изотопы, о которых он мечтал второй год, помогут ему раскрыть тайну муравьиной зимовки. Почему не берет насекомых мороз и они, голые, без особого покрова, перезимовывают в этих некомфортабельных условиях, при сорока градусах мороза и больше, а мы, люди-человеки, погибаем при минус двух?..

Вернувшись в дом, Олег выбрился тщательно, как будто дорога дальняя. Мыслями он все возвращался к телефонному разговору с Ириной, не думая о причине, заставившей Родьку вызвать его в город и тем самым отменить свое прежнее намерение самому приехать в деревню. В самой телеграмме Родиона было что-то неприятное, быть может повелительность интонации или другое, что не водилось меж ними. Но, недовольствуя или осуждая, Олег ни минуты не колебался, ехать ли ему.

Лезвие бритвы было заграничное, типа «жилетт», и обещало трехмесячную полировку физиономии до лакового блеска. Шла третья неделя, полировка достигалась, но уже с некоторым насилием над личностью. В последний раз для порядка он поскреб щеки, подбородок. На прощание внимательно оглядел себя в зеркале и с неприязнью отвернулся. «Заехать в клинику, — пробовал он хитрить с собой, — на кафедру заглянуть, завтра Юра Мышкин защищается, а потом уж на Колокольников».

В поезде, глядя на свое тощее лицо, отражавшееся в окне, иссеченное прочными морщинами вдоль лба и вокруг губ, он представлял себе этот переулок с веселым названием, зеленую комнату с низким диваном, с нависающей зеленой лампой, телефоном с длинным шнуром, который Ирина Васильевна тянула из коридора, и мрачнел.

Как многие люди, решительные в сложнейших делах своих профессий, Олег был крайне беспомощен и неумел в делах сугубо личных. Здесь для него была нарушена прямая связь опыта и вывода, причины и следствия. Поступки и обстоятельства возникали, казалось, ничем не обусловленные, и он пасовал перед их неразгаданностью, бросаясь в реальность, как в омут, из которого не знаешь, вынырнешь ли.

Вот и сейчас ему казалось бесполезным гадать о процессе, где она свидетельницей, и о том, как встретит его Ирина Васильевна после перенесенного прошлой весной нервного потрясения, уложившего ее на два месяца в больницу. Он хотел не думать обо всем этом, но почти осязаемый облик Ирины, возникший из глухого голоса в трубке, будоражил его, поднимая ненужные вопросы: о ее быте, здоровье, о том, продолжает ли она вести уроки музыки и как они ладят с дочерью.

Он никак не мог отключиться от всего этого, когда в вагон на остановке вошел парень. На вид лет двадцати восьми. Погруженному в свое Олегу смутно почудилось что-то знакомое в развороте плеч, в развалочке походки. Парень уселся напротив Олега, хотя кругом было полно мест. И Олег узнал его.

Саша Мазурин. Г о н щ и к... Лет десять назад он числился в их компании, когда затеял Родька купить в складчину развалюху автомобиль. Через полгода на прибалтийской кольцевой трассе в Бикернишке все оборвалось, и распалась компания. Десять лет прошло. Боже, века — с тех рижских каникул, когда они с Родькой были так прекрасно молоды и самоуверенны. В одно мгновение вспомнились

Олегу те гонки, завоеванное Сашей Мазуриным серебро и как все перевернулось в тот вечер, в то жаркое лето. Со смешанным чувством интереса и неприязни смотрел он сейчас на человека, который нанес удар по первой любви Родьки, увел его Валду. Кто знает теперь, может, это и не он, а вольный ветер моря увел Валду от московской Родькиной жизни?

Мысли эти в какие-то секунды пронеслись в голове Олега, и ему стало жаль того времени надежд и дерзаний, когда они кончали институты и все еще было впереди, и он подумал, что ничего уже не осталось от их юности, ничего и никогда не вернется.

— Еще ходите под номером шестьдесят? — сказал Олег, глядя в упор на Мазурина, ничуть не преобразенного годами, лишь немного отяжелевшего.

— Ходил.— Саша улыбнулся, и снова, как в давние времена, сквозь простодушность и ленцу проступила застенчивость, которая так притягивала к нему людей.

— В мастерах? — спросил Олег, с удивлением обнаруживая, что у него нет вражды к этому человеку. Неуклюжая сила, исходившая от него, была чем-то мила, подчиняя, не навязывая себя.— Помните, когда встречались? — добавил Олег.

— Я вас сразу узнал.

Спокойное, бесстрастное лицо. Невозможно понять, рад он или нет.

— Откуда? — поинтересовался Олег.

— Так, выезжал на базу.— Саша помолчал.— Надо бы задержаться там, да вот на суд вызвали.— Он поморщился.— Грязное дельце.

— А вы-то в каком качестве?

— Я? — не удивился он.— В качестве эксперта, машину угнали... Я ведь теперь в Автодорожном НИИ работаю.— Он вздохнул.— Собственно, заключение я написал уже. Да вот потребовалось ответить на вопросы на месте.

— Ах вон оно что! В гонках по-прежнему участвуете?

— Е ще участвую,— кивнул Саша,— но, думаю, последний год. Пора завязывать.

— А потом?

— Останусь в НИИ. Новых надо растить.

Он отвернулся, словно исчерпав тему.

Олег решил, что действительно не стоит ворошить старое. Он вынул из кармана газету и начал читать.

Неожиданно пошел снег. Первый в этом году. Он косил, как дождь, заполняя все пространство окна, и Олега охватило необъяснимо радостное чувство ожидания чего-то неповторимо-важного, светлого, что сулит ему новая зима. Теперь уже без страха он подумал, что, позвонив Ирине из города, сразу же найдет какие-то веские аргументы для их встречи, которые до сих пор не находил. «Может, ничего не улечувается в жизни,— подумалось вдруг,— а все пережитое сидит в тебе, и нужна только искра встречи, чтобы соединить два электрода?»

— Так что же это за дело с угоном машины? У кого угнали-то? — возобновил разговор Олег.

— У кого угнали, того чуть не убили,— сказал Саша.

— Вот как? Постойте, а это не с музыкальной фамилией парень? Чуть ли не Рапсодиев или Рахманинов? А?

— Да, Рахманинов,— подтвердил Саша.

— Вот так совпадение... — пробурчал Олег.

Саша не отреагировал. Как будто так и надо, что первый встреченный человек знает фамилию предполагаемого преступника.

— Когда суд? — поинтересовался Олег.

— Кажется, завтра.

— М-м-да... — Олег представил себе встречу в суде Родиона и Мазурина. — Из рижской компании кого-нибудь видите? — спросил, думая о Валде и той истории с Родионом.

— Нет, — протянул Саша, и в голосе его послышалось явное сожаление. — А вы?

Олег отрицательно помотал головой. Подъезжали.

На платформе Олег обернулся.

— Может, увидимся? На этом процессе?

Саша кивнул на ходу. В конце платформы его встречали трое ребят спортивного вида. Потискав Сашу, они все вместе разом нырнули в черный с желтой полосой спортивный «Москвич», на дверце которого крупно маячил номер «73».

III

У опушки Измайловского парка неожиданно пустынно. Ветер чуть ворошит прелее листья, пахнет сыростью, гниением. Родион присаживается на скамейку у забора, на возвышении. Отсюда ему хорошо видны здание клуба, где тогда шло кино, двухэтажные дома у дороги и тропинка вдоль леса к детскому саду, на которую те свернули с дороги, преследуя Рябинина.

Все отбросить: показания свидетелей, старые улики, письма за и против... Взглянуть на события, как будто это было вчера. Как реставратор счищает пыль и наслоения веков, чтобы обнаружить истинные контуры и краски оригинала, так медленно, шаг за шагом он должен заново восстановить случившееся.

2 февраля, шестнадцать часов, воскресенье... В битком набитом зале в пятнадцатом ряду сидит Михаил Тихонькин и ждет девчонку. Здесь же, в зале, в четырнадцатом ряду сидит мать Тихонькина Васена Николаевна, рядом с нею Мишин друг детства Саша Кеменов. Входят трое парней. Ищут места. Двое садятся позади Михаила, третий занимает кресло, предназначенное его девушке. Незнакомый человек рядом. Как чужого пса, Михаил обнюхивает нахала и требует освободить место. Парень отказывается. Начинается перебранка. Парень нецензурно выражается. «Укороти язык, — обрывает его Михаил. — Ты не в забегаловке». Парень не уходит. Михаил с надеждой оборачивается — ее нет. «Тебе говорят, — настаивает он, — сматывайся». Гаснет свет. Титры кинохроники. «Сиди-сиди, а то ляжешь», — угрожающе шипит в темноте парень.

Итак, рядом с Тихонькиным сидит миловидный, с ямочкой на подбородке Саша Шаталов по прозвищу Душка. Впоследствии он, заваривший всю кашу, выйдет сухим из воды. «Ушел после кино. В драке не участвовал. Погоню наблюдал издали», — скажет он на суде.

Да, издали. Но не только наблюдал.

Двое, пришедшие с Шаталовым, сидят сзади. В перебранку не вмешиваются. Это высокий медлительный Толя Рябинин и юркий, бойкий Валя Лоскутов. Посреди сеанса Шаталов оборачивается к ним и что-то говорит, после чего Лоскутов выскальзывает из зала. Тихонькин понимает: будет драка! Он толкает сидящего впереди Сашу Кеменова: «Зови наших к клубу». Тот выходит.

На улице этот любимец двора побежит во всю мочь до Щербак-ковской улицы, чтобы к концу сеанса вернуться вместе с Кириллом Кабаковым и другими «нашими». В руках у них штакетники, выломан-

ные из забора. Остается минут десять до конца фильма. «От нечего делать и для храбрости» они распивают поллитровку и «пять пива».

Вот они, трое главных подсудимых,—Тихонькин, Кеменов, Кабаков.

После окончания фильма перебранка между Тихонькиным и Шаталовым продолжается на улице. Сквозь толпу выходящих из зала зрителей пробивается к ним возмущенная компания во главе с Кеменовым. Они «под газом», им необходимо разрядиться.

Такова исходная позиция. Но в ней лишь вероятность кровавого исхода.

В этих условиях мать Тихонькина делает почти невозможное. Увидев приближающихся друзей сына и чувствуя неладное, она вцепляется в Михаила, оттаскивает от незнакомого парня и пытается увести домой. Уходя, оба они видят, как группа ребят со штакетниками в руках уже ринулась вслед троим неизвестным—Лоскутову, Шаталову и Рябинину—и погнала их.

Щербаковка гонит 2-ю Парковую.

На углу двое преследуемых—один из них виновник перебранки в кино симпатяга Шаталов—бросаются в переулочек и останавливаются, наблюдая, как третий, высоченный, бежит по дорожке к лесу. Преследующие, чуть помедлив, устремляются на тропинку между лесом и оврагом. «Не того бейте!»—кричит Тихонькин, пытаясь вырваться от матери и видя, что Шаталов хочет ускользнуть. Как по испорченному телефону кто-то передает: «Того бейте, длинного». И погоня возобновляется, теперь уже только за длинным, за тихим, добродушным Толей Рябининым, не промолвившим за все время инцидента ни единого слова.

До этого момента показания обвиняемых совпадали почти на всех этапах следствия. И у Родиона не возникало того ощущения искусственной выстроенности фактов, которое так мешало ему точно сориентироваться в защите.

Он встал и побрел по тропинке.

Вот здесь, перед лесом, когда они медлили в нерешительности, все могло завершиться иначе. И в каждый момент—до этого и после—убийства могло не произойти, если бы не роковое стечение обстоятельств. Казалось, нарушиться ход вещей лишь в одном из звеньев (не выпили, не нашли подмогу на Щербаковке или нашли, но не подоспели к концу сеанса и т. д.)—все обернулось бы иначе. Но, увы, сегодня надо было понять именно механизм совпадения обстоятельств, приведших к трагедии.

Было тихо, сквозь полуголые ветки вдруг пробилось солнце, укрыв дорожку лоскутным одеялом—тени и света. И, вдыхая пряный, сырой воздух, Родион снова ощутил утреннее тоскливое посасывание в груди, словно с кем-то навечно расстался.

Он остановился в мгновенной растерянности, но переборол себя и пошел быстрее, ноздри его напряженно вдыхали запах осени, им начало овладевать привычное нетерпение. Он вспомнил схему погони, лежавшую в деле. Не пройтись ли по ней? Нет, к черту схему. Просто каждую деталь обстоятельно, непредвзято объяснить для себя, больше ничего не надо... Почему вообще стало возможным это убийство? Видно, надо знать, что представляли собой эти парни, их мысли, их жизнь. Почему они, интересуясь спортом, как и все, споря о кинофильмах, книгах или летающих тарелках, преследовали хорошего человека только за то, что тот длинный и убегал? Почему носили с собой ножи, пустили их в ход, а потом спокойно ~~они~~ мороженое, помогали матерям, бегали за картошкой?

Родион пошел вдоль овражка, пытаюсь вернуться мыслями к последнему действию измайловской трагедии, понять, почему множество совпадений, ничего не значащих для других, стали для них роковыми.

Вот здесь, на этой узкой тропинке, погоня продолжается только за длинным Рябининым. Пробежав метров сто, Кеменов на ходу оборачивается и свистом зовет Тихонькина. Но мать цепко держит Михаила. Откуда-то издали раздается крик Душки (Шаталова): «Он за мамину юбку хочет спрятаться!» (Да, в драке не участвовал, а подстрекательство — это не в счет?) Подхлестнутый «маминой юбкой», Тихонькин вырывается от Васены Николаевны. Он бежит к лесу, пытаясь догнать своих.

Все совпадает. И в деле и в показаниях. А дальше? Дальше-то и начинается нечто не очень убедительное. Из «чистосердечного признания» Михаила на последних допросах следует, что в этот момент он уже держал два ножа. Один, сапожный, будто бы весь сеанс был спрятан в рукаве, другой, охотничий, взятый у Кеменова, якобы находился наготове в левом кармане.

По последней версии Тихонькина, он обгоняет всю ватагу, настигает Рябину и попадает в него одним ножом, затем другим. Почувствовав, что нож вошел в мякоть, он останавливается. За ним остальные.

А парень геркулесовой силы с двумя смертельными ранами поднимается и убегает. Кто-то лениво говорит: «Хватит, ему и так досталось». Азарт стихает. Наступает разрядка, можно расходиться. Преследователи мирно завершат воскресный день дома. А Толя Рябинин останется лежать в темноте чужого подъезда, истекая кровью.

Через сорок пять минут его обнаружит на лестнице один из жильцов. Еще через двадцать пять увезет «скорая». Еще через двадцать его не станет.

Родион вынул блокнот, упер в ствол корешок и начал прикидывать что к чему. Он записал два бесспорных обстоятельства: «Рябинин убит двумя ножевыми ударами; у б и й ца найден, Тихонькин сознался в преступлении».

Но когда Тихонькин взял на себя оба удара? Сначала он отрицал вину, потом возникла версия об одном ударе. И много позже он признал себя полностью виновным. Это тоже факт.

Для опровержения сложившейся версии были две серьезные трудности. Признание Тихонькина и накаленность общественной атмосферы. Родион предвидел, что, защищая интересы подсудимого, он неизбежно будет выглядеть для несведущих людей защитником и самого преступления. Как найти нужную позицию, чтобы преодолеть эту главную трудность, возникающую на пути любого адвоката в любом процессе?

Защитник обязан во всех случаях активно действовать в защиту интересов обвиняемого, на то он и защитник. А если твоя убежденность идет вразрез с признаниями обвиняемого? Если ты уверен, что приговор, построенный на самообвинении Тихонькина, ошибочный? И ошибка суда вызовет у тех, кто знает правду, лишь презрение к правосудию вообще, чувство превосходства над судьями, которых сумели обойти. При этом нельзя не думать и над тем, чтобы жизнь Михаила Тихонькина в дальнейшем могла сложиться более удачно.

Родион начал замерзать, ноги налились тяжестью, снова заняла поясница. Радикулит? Не иначе. Допрыгался. Старческие болезни уже развились. Он переминается с ноги на ногу, трет спину.

Окруженный шуршанием листьев, терпким застойным запахом

парка, Родион пытался вспомнить, почему его довод о неубедительности перемены показаний, на которую он ссылался уже в городском суде, не был принят в соображение. Он мысленно вернулся в зал заседаний, наполненный гулом недовольства, мешавшим ему говорить, услышал приговор Тихонькину. Значит, сейчас надо было прежде всего понять причину разительной перемены в поведении Михаила от полного отрицания вины на первых допросах до полного ее признания на последних. Что произошло в нем самом? Родион опять пристроил к дереву свой блокнот и записал: «Когда произошла подмена одной версии Тихонькина другой?»

Теперь он перебирал в памяти каждый этап следствия. Реплики Кеменова, Тихонькина. Допросы. Очные ставки. Когда же произошла подмена? Как?

Наконец воображение натолкнулось на очную ставку подсудимых, когда Тихонькин уже взял на себя один из ударов. Как адвокату несовершеннолетнего Сбруеву было разрешено присутствовать при ней. Конечно, все случилось в тот раз...

Вводят Тихонькина. Коренастый, нарочито не спешащий, он приостанавливается в дверях. В темных глазах скрытое напряжение. Щеки запавшие, серые. Он терпеливо ждет вопросов, не теряя при этом достоинства. Невысокая фигура его с обмякшим на плечах пиджаком по контрасту с выражением лица кажется почти жалкой. Но Родион тут же вспоминает, что в тот февральский вечер по первому же сигналу семнадцатилетнего Тихонькина взрослые парни побегут к клубу избивать незнакомых ребят.

Вслед за Тихонькиным вводят Кеменова.

Он выглядит много солиднее Михаила, хотя старше всего на год. Узкие глаза поблескивают из-под светлой челки, хорошо, по фигуре пригнанная одежда выдает заботу ближних и достаток. В отличие от малопривлекательного, невидного Тихонькина его можно назвать красивым. Наверно, из-за роста, гибкой фигуры и гордо посаженной густоволосой белокурой головы, которой совсем не подходит тонкая, с выпирающим кадыком шея.

К Кеменову Родион давно присматривался.

На следующий день после преступления именно Кеменов даст подробные показания Вяткину о том, как все произошло, признается открыто в своей вине. Конкретность изложения обстоятельств по свежему следу не оставляет сомнений в его правдивости.

Родион вспоминает допросы обвиняемых, свидетелей, заключение экспертов. Затем вынимает свои выписки из дела. Здесь должны быть первые показания Кеменова. Вот они. 3 февраля, на другой день после убийства.

«Увидев, что двое наших побежали за длинным парнем,— говорил Кеменов тогда,— я оттолкнул Люсю Разуваеву и побежал за ними. Кирилл Кабаков — за мной. Не успел я добежать до ребят, как этот длинный снова побежал, и мы с Кабаковым за ним. У оврага его избивали палками... Парень увидел, что бежим еще мы, вырвался от ребят и побежал дальше. Я не останавливаясь вытащил из кармана нож, пробежал еще метра три и ткнул ножом в него. Я хотел пырнуть его где помягче, в ягодицу, но при этом споткнулся и попал ему в левый бок со стороны спины. Нож вошел очень мягко». «Сколько раз вы его ударили?» — спрашивает Вяткин. «Не помню... После этого я остановился. Парень побежал дальше. Я решил, что вообще не попал в него, но потом увидел на ноже кровь». — «Где были ваши товарищи в это время?» — «Кабаков хотел догнать парня, но я его остановил: мол, и так уже хватит». — «Что вы сказали Кабакову?» — «Он спросил у меня:

«Ты чего остановился?» Я ответил: «Я, кажется, несколько раз попал ножом. Хотел в ягодицу, но попал, кажется, в бок и еще куда-то... А ты?» — «Нож вы ему показали?» — «Да. Тут же мы зашли в кусты, посмотрели на мой нож, и я обтер его. Мы вернулись. Придя во двор, я увидел подбегавшего Тихонькина и сказал ему, что пырнул парня ножом... Нож у меня был охотничий, старый». — «Зачем же вы ударили ножом человека, который вам ничего не сделал?» — «Я и сам не знаю, зачем это сделал. Просто я видел, как сильный парень отбивается от ребят. Я решил, что одними палками с ним не справиться. Поэтому достал нож, решил пугнуть его в мягкую часть».

Под показаниями стояло: «Я рассказал все именно так, как было на самом деле». 3 февраля 197... года. И подпись.

Родион нашел запись той очной ставки между Кеменовым и Тихонькиным, которая сейчас казалась ему решающей, и сразу погрузился в атмосферу встречи двух соучастников. Родион вспомнил серую неподвижность одутловатого лица Тихонькина, его низкорослую фигуру и блеск темных, почти сливовых глаз, насмешливо скривленные губы Кеменова, его напрягшийся затылок и шею с тонко выпирающим кадыком, вспомнил он и набухшие руки Вяткина, лежавшие на столе, и замкнуто-хмурое выражение его лица.

Следователю Никифору Федосеевичу Вяткину, немолодому, усталому, с редкими светлыми волосами и растущей шишкой в верхней части лба, было противно возиться с этой, как он говорил, «невывупившейся публикой», был он крупным специалистом, раскрывшим не один десяток крупных государственных хищений. В прокуратуре много говорили о блистательном умении Вяткина нащупать связи расхитителей, спокойно нагрянуть в глубинку, чтобы самому снять первый допрос при задержании преступников.

Но время шло, осколок, сидевший еще с войны в легком, подорвал здоровье Вяткина. Разъезжать становилось все труднее. И он осел в районной прокуратуре, где работать приходилось все больше с молодежью. У него самого детей не было, только жена Настя, вывезенная с войны, худенькая, страдавшая ревмокардитом. Вяткин ухаживал за ней, как за ребенком, и вечно с работы таскал сумку, набитую хлебом, бутылками молока, картошкой.

Разложив бумаги, Вяткин придвинулся поближе к Тихонькину. «Расскажите в присутствии приятеля, — сказал он, не глядя на Кеменова, — как было дело». Тихонькин равнодушно, чуть запинаясь, слово в слово повторил свои показания. Впервые Родион заметил, что у него нет двух зубов и что, говоря, он чуть присвистывает.

Тихонькин подробно рассказал, как вырвался от матери и побежал вслед за ребятами, гнавшимися с палками за Рябининым. Как догнал их. Он плохо помнит, кто бежал рядом с ним, когда повернули назад, кто был еще. Не знал он и что случилось потом с Рябининым. «А самого Рябинина знали раньше?» — спрашивает Вяткин. «Нет», — мотает головой Тихонькин. «Видели его когда-нибудь?» «Не приходилось». «А вы?» — обращается он к Кеменову. «Не знал. И не видел никогда». «Зачем же вы пустили в ход ножи? — говорит следователь. — Разве вы не понимали, что можете убить человека?» «Нет, — опускает голову Тихонькин, — кто же об этом думает...» «Вы подтверждаете сказанное Тихонькиным?» — обращается Вяткин к Кеменову, уже готовясь кончать очную ставку.

Кеменов не отвечая медленно поворачивается к Тихонькину. Впервые в упор рассматривает его. Пристально, многозначительно, как будто придавая особое значение тому, что собирается сказать, но ничего не говорит и отворачивается. «Может быть, вы хотите что-нибудь добавить?» — спрашивает Вяткин. «Что добавлять, — лениво

бросает Кеменов,— все было не так». «Как же?» — обращивается следователь, уже протягивавший запись протокола Тихонькину. «Я, к примеру, никого не убивал и не собирался». «Как же не убивали? — усмехается следователь.— По вашему собственному признанию вы ранили Рябинина в бок, а экспертиза показала, что эта рана в равной мере с другой привела к смертельному исходу». «Да я и не ударял совсем»,— говорит Кеменов, тряхнув белокурой челкой. Тонкая шея его еще больше напрягается. «Как это? — озадаченно глядит Вяткин и трет шишку на лбу.— Вы же сами на другой день признались...»

Кеменов передергивает плечами. Он смотрит в окно. Там, за окном, качнулась ветка, снег хлопьями полетел вниз. Городская плохонькая птица, сидевшая на ветке, нахохлилась, округлилась, устроившись поудобнее, и замерла, готовая вспорхнуть при первом шорохе. «Миша,— раздельно говорит Кеменов, не отрывая глаз от птицы,— припомни, к а к все было. Расскажи правду, кто нанес о б а ранения». Тихонькин поднимает на Кеменова темные глаза, сильные скулы его окаменели, выдавая громадное напряжение, губы сжаты. Наконец он разжимает их: «Сегодня я говорить больше не буду». Вяткин пробует продолжать, зайти с одной стороны, с другой... Безрезультатно.

Родион сидит подавленный, с земли тянет сыростью.

Кеменов подбросил Тихонькину новую версию. Об этом Сбруев думал и раньше. Но главное не в этом, а в том, почему, черт возьми, Тихонькин, этот внутренне более собранный и волевой парень, на следующих допросах принимает пасовку Кеменова? Почему безоговорочно соглашается на нее?

Допрос возобновляется лишь семь дней спустя.

«Выйдя в тот день во двор,— заявляет после перерыва Тихонькин,— я подошел к Кеменову, спросил, есть ли у него нож. Кеменов ответил, что есть охотничий нож. Я попросил его дать мне нож». «Зачем вам понадобился нож?» — «Этого я не могу объяснить». — «Продолжайте». — «Взяв с собой отцовский сапожный нож и этот Сашкин охотничий, я пошел в кино. Нож Кеменова во время сеанса... я раскрыл и положил в карман... Раскрытый нож Кеменова я так и держал в кармане в левой руке. Когда я побежал за Рябининым, я не сказал Саше Кеменову ни слова...»

«И это называется признанием! — поразился Родион.— «Взял нож у Кеменова». Зачем же ему еще один нож, когда и первый-то не был ему нужен в кино?»

Когда Родион напоминал о первых показаниях Кеменова в городском суде и о том, как по его же заявлению он «вытер нож у кустов», «положил его в карман»,— этому не придали должного значения. Мол, это бывает. С перепугу наговоришь и лишнего, а потом все выясняется.

«Значит, вы не были с ребятами, когда они побежали бить длинного парня? Что же вы делали?» — спрашивает Вяткин. «Стоял с девочками,— говорит Кеменов. — Вызовите их, они подтвердят, что я не отходил от них после сеанса».

Оказывается, он от Люси Разуваевой и не отходил вовсе.

На следующий день Вяткин вызывает Люсю Разуваеву. «Бежал Саша Кеменов с теми, кто преследовал Рябинина?» — спрашивает ее Вяткин. «Не помню. Кажется, он стоял с нами».

Вот и все. Именно тогда появилась новая версия — убил Тихонькин. Но убежденность в самоговоре Михаила возросла у Родиона, когда он смог убедиться в более чем странном поведении близких Тихонькина. Ни сама Васена Николаевна, ни кто другой из прямых свидетелей убийства не попытались за два года опровергнуть сложившуюся версию, потребовать нового расследования. А приговор-то

ведь: десять лет! Родители, сестра Катя, двоюродный брат Алексей не двинули пальцем, они как воды в рот набрали! Более того, пришлось уговаривать их согласиться на кассацию в Верховный Суд.

Третий месяц идет следствие. На днях оно заканчивается.

А упорство Тихонькина непоколебимо. На все вопросы Михаил отвечает: «Я все уже сказал».

Родион достает сигареты, они отсырели, не раскуриваются. Вокруг скамьи все усеяно красными исклеванными рябинками.

По свидетельству одних Михаил — «такой друг, каких не сыщешь, сильный, упорный, веселый, авторитет для друзей». По рассказам других — «любит верховодить, быть первым где не надо, участник постоянных сборищ и выпивок в подъездах, терроризирует всю улицу».

Ничего себе портрет, а? Посмотрим, что делает Тихонькин последние годы.

После семилетки, перепробовав множество профессий, начинает кочевую жизнь. Проводником, официантом на курортах, механиком. Нигде не приживается. Затем поступает в вечернюю школу, готовится в Институт связи. В последнюю осень Тихонькин едет на комсомольскую стройку и возвращается со значком лучшего строителя.

А родные?

Васена Николаевна в свои пятьдесят лет молчаливая, скрытная. За последние два года превратилась в старуху. Несмотря на производственную травму, по-прежнему работает в домоуправлении. Отец, Гаврила Михайлович, намного старше ее, воевал, теперь сапожничает в районной мастерской; старшая сестра Катя — воспитатель детского сада, живет отдельно. Скандалов в семье не бывало. Родные считают Михаила взбалмошным, но смелым, даже отчаянным. «Он всегда добр, отзывчив, а с матерью особенно считается», — говорит Катя.

Родион вздыхает, запикивает бумаги обратно. Больше здесь делать нечего.

Солнце уже опустилось. В консультацию не имеет смысла возвращаться. Пройдя по Щербаковской квартал, он задерживается у нового Института полупроводников. Сквозь громадное стекло серого куба проглядывает зимний сад с фонтаном, лестница, увитая плющом... Райская жизнь у представителей НТР!

Он хаживал на Щербаковку, когда она только отстраивалась, в десятиэтажные дома вселялись люди, вчера еще жившие в бараках Благуши. Дом Тихонькиных у самого парка. В стороне. Здесь во дворе весной зацветет сирень. Соседские ребята с визгом понесутся к маленькой речке. На скамейках замаячат парочки. Но все это уже не для Михаила.

А вот и Семеновская площадь, новый парикмахерский салон, похотий на стеклянный аквариум.

Ему вспомнилась Наташа и как она работала парикмахером в мужском зале на Петровке, когда они познакомились. Он помнил запах грибов, которые она любила жарить. И вечера с этой тоненькой девочкой, смахивающей на монголку прямыми жесткими волосами, черными, как копирка, глазами. «А образование у вас какое, высшее?» — спросила она, подстригая его в первый раз. Родион тогда подумал, что девчонка ищет мужа с образованием. Потом он узнал, что Наташа одержимо хотела поступить в медицинский институт, но ее продолжали остро интересовали люди с другими профессиями. Какая лучше всего, в чем состоит работа и как складывается жизнь с этой профессией? Она вообще интересовалась вещами, которые его не занимали совсем.

В первый день их знакомства он пошло разыграл ее, бухнув что-то о цирке и уникальном номере на спине слона. И впоследствии, войдя

в роль, он каждый раз, пока она его стригла, рассказывал ей о своих тренировках, описывал свои успехи здесь и за рубежом. Наташа долго верила этой брехне и, хлопоча над его головой, спрашивала, готов ли номер и когда можно будет это увидеть. Ему было жаль ее разочаровывать, но, как-то, уставший, он проболтался. И она расстроилась.

Все оказалось не так просто.

Невинный розыгрыш обернулся обманом. Коря себя за это, он начал захаживать на Петровку с делом и без дела, приглашая Наташу в театр и за город, пока все не пошло по обычному, не раз хоженному кругу.

Месяца через два он обнаружил в ней нечто столь серьезное, что принял решение не появляться больше на Петровке.

А Наташа поступила в институт на врача-косметолога. Она продолжала работать на Петровке, по вечерам училась. Зная это, он стригся после семи, и сменщица Наташи часто рассказывала о ней, не осуждая Родиона, не расспрашивая.

Он не переставал вспоминать Наташу. Интонации, выражение глаз, когда она задавала свои бесчисленные вопросы, и то, как по утрам неслышно прокрадывалась в кухню и как шипела там кофеварка...

В стекла салона били лучи заката. В широких окнах отражался розовый кусок сквера, розовый, плывущий по площади троллейбус. Этот дворец красоты на Семеновской имел мало общего с тесной парикмахерской на Петровке.

А вот и знакомое кафе «Мимоза». «Должно быть, еще работает.— подумал.— Новенькие столики, кондиционер, лампы дневного света... Зайти, что ли? Некогда».

Минут пять простоял на стоянке такси, машин не было. Автобусы шли все в сторону Измайлова. А, собственно, что он теряет? Ведь это же здесь, рядом. Сначала так сначала. Родион загадал: если подойдет такси — он возвратится в центр, если автобус — поедет в Измайлово к родителям Тихонькина.

Подошел автобус.

IV

Олег не застал Родиона дома и теперь в раздумье стоял у его подъезда.

В полдень выглянуло солнце, в городе не чувствовалось приближения зимы. Снег стоял, было сыро, шумно. Он уже отвык от скрежета тормозов, грохота моторов, бьющего в нос запаха бензина.

Побродить? Или в клинику заскочить? Сюрпризом, посреди отпуска. Или...

«Нет, не будет этого,— приказал себе.— Завтра... Зачем откладывать? — опять засомневался.— Марина на спортивных сборах, и раз уж так сложилось с Родионом... Нет, не смей. Повторится то, что уже бывало». Он сунет Ирине Васильевне купленные в киоске цветы, а она сядет напротив и станет вязать. Шаль какую-нибудь. Как будто его нет. Сгоряча он будет пороть что-нибудь о демографическом взрыве или о муравьиных свадьбах. Потом, когда оставаться дольше будет неприлично, он начнет искать повод для новой встречи. Например, предложить ей серию походов в театр, поездок в заповедные места Подмосковья. «Не беспокойтесь,— покачает она головой.— Я привыкла быть одна. Мне не бывает скучно»: «Да я и не имею в виду, что вам скучно,— засуетится он.— Просто в консерватории концерт. Моцарт, Реквием. Или «Кармен» в Большом. Можно достать... Попытаться...» «Не пытайтесь,— скажет она спокойно.— Я все это услышу по радио».

Если ей верить, она вообще ни в чем не нуждалась.

Олег поехал к себе, бросил чемодан, затем набрал номер Родиона. Никто не ответил. На телефонном аппарате, на стульях, на подоконнике лежал толстый слой пыли. Пожалуй, все же в клинику стоит нагреть.

Когда он познакомился с Шестопалами, в его помощи нуждалась только дочь Марина. Шоковый случай с ногой юной танцовщицы требовал вмешательства психотерапевта. Мать же была самоуверенна, высокомерна, она казалась благополучной дамочкой, обеспеченной от самого рождения по всем жизненным статьям. Он не придавал значения впалым щекам, дрожи губ и век, странной пристальности взгляда серых, холодных, как осенние лужи, глаз. Пораженный внешностью этой женщины, Олег тогда испытал к ней лишь неприязнь. «Для таких, как она,— подумалось ему,— все люди только обслуживающий персонал. Продавец, лифтерша, официант. Сейчас на должности лекаря ее дочери—я».

Он вспомнил, как Ирина Васильевна кричала на него однажды, когда ей показалось, что у Марины наступило ухудшение. Даже грозила уволить. Неуравновешенная, экзальтированная, замкнутая. А он уже не мог без нее, хотя знал, что проникнуть в ее мир невозможно. Там, в ее мире, на равных жили двое: Марина и музыка. Музыка была подругой, утешением, заработком и стеной, которой она отгородилась от других. Дочь, уроки в музыкальной школе, посещение концертов, несложное хозяйство. Так она могла бы прожить до конца дней. Если бы не случайная болезнь дочери, поставившая ее в зависимость от чужого человека, с которым она вынуждена была считаться.

Впоследствии Ирина так и не сумела объяснить себе, почему Марина привязалась к врачу, откуда взялось это все возрастающее влияние его на характер ее дочери. И после этого она не полюбила Олега. Вернее, не пожелала пристальнее взглядеться в доктора, позволявшего себе прерывать разговор с ней из-за какого-нибудь срочного звонка или больного.

После ухода Марины из балета в спорт мать вычеркнула Муравина из своей жизни, посчитав именно его виновником всех этих перемен и страданий. Потом-то она поняла что к чему. После многих свиданий в клинике, где она пролежала месяцы...

Когда ее выписали, они виделись от случая к случаю...

Олег было дернулся к трубке, но раздумал и без звонка двинулся к Колокольникову.

Он шел не спеша, купил на Сретенке цветы, постоял около кинотеатра, разглядывая рекламу.

В Колокольниковом было тихо. Гул транспорта, проходящего по Сретенке, сюда не доходил. Олег шел, прижимаясь к дому, чтобы из окон его не было видно.

В стеклах ее квартиры блестело разноцветное солнце — синее, оранжевое, изумрудное. Он позвонил раз, другой, пряча за спину хризантемы. Наконец она впустила его.

И вот он сидел в зеленом кресле около журнального столика, а она вовсе не вязала, а кружила по комнате, то наливая воду в вазу, то принимаясь накрывать на стол. Он протестовал, а она убежала на кухню, лазила в буфет. Он глядел на ее располневшие руки, на светлые, чуть поредевшие волосы, которые она теперь зачесывала на прямой пробор так, что, подхваченные сзади, они спереди закрывали углы висков и уши, он узнавал серую, старившую ее шаль, в которую она куталась, сутулясь, отчего спина казалась круглой.

— Со мной случилась ужасная история,— остановилась наконец она.— В начале июля. Даже не знаю, как вам рассказать и надо ли. Нет, вам это неинтересно.

Он замотал головой, но она уже прервала себя:

— Лучше я вам Равеля сыграю.

Она села к роялю, начала, но тут же вскочила, оборвав, словно забыла продолжение.

— Это было утром,— сказала она торопливо. Пальцы ее касались шеи, да.— Ну, часов в семь, полвосьмого... Нет, я же вам не объяснила... Соседка болела гриппом, высокая температура. Звонит мне и просит: «Выйдите посмотрите, стоит ли машина в гараже,— не могу встать». Я спросила, что стряслось. «Муж уехал к приятелям вчера вечером и не вернулся,— пояснила соседка.— Думала, он заночевал у Горина. (Это приятель, с которым они на юге в отпуске были вместе.) Там его тоже не оказалось. Уж и не знаю что думать,— добавила она.— Зайдите ко мне, голубушка, пожалуйста, за ключами. Может, машина на месте. Когда вам удобно».

Ирина Васильевна терла виски, как будто смазывала их нашатырем. Веки ее подрагивали.

— Это все давно уже было, но я помню каждое слово.— Она прикрыла глаза, как будто увидела что-то.

— Что же произошло? — напомнил Олег. Теперь он смутно начал понимать смысл телеграммы Родиона.

— Она дала мне запасные ключи от гаража. Я взяла их и сразу же пошла.

— Это далеко?

— Не очень. Сretenский тупик. Я часто мимо прохожу. Там индивидуальные гаражи. Двадцать или больше. И света почти нет. Одна только лампочка на весь тупик. Она вот так раскачивалась,— Ирина Васильевна показала на часы,— как маятник. Соседка потом сокрушалась: мол, сколько раз требовали, чтобы освещение лучше было, а примут решение проводить электричество — все пайщики вдруг отказываются платить. Видите, как бывает?.. Владельцы машин, а на электричество жалели.— Она снова вскочила.— Да что это я! Вы, наверно, есть хотите. С проезда прямо? И кофе не пьете...

— Нет. Рассказывайте! Что же произошло?

— Боже, вы не представляете, как там было пустынно. Но я ведь ничего не боюсь.— Она посмотрела на него, как бы проверяя, верит ли он.

Конечно, он верил. Страхи, уложившие ее тогда в клинику, не имели отношения к внешней опасности.

— Я вошла в гараж,— говорила Ирина Васильевна.— Машины не было. Уж взялась за дверь, вижу—ее перекосило, как будто соскочила с одной скобы. Нащупала выключатель, зажгла лампочку внутри.— Она умолкла, не решаясь описать увиденное.

Он выждал, пока она успокоилась, остановился взглядом на фотографии Марины. Длинная, худющая, в балетной пачке. Именно такой она и была, когда он ее увидел впервые.

— В углу, в сторонке,— продолжала Ирина деловито,— лежал Егор Алиевич, сосед мой. Он, знаете, маленький такой, щуплый. Поэтому он выглядел, как мальчишка, свернувшийся клубочком. Я решила, что он пьян и заснул. А когда подошла поближе, поняла, что он без сознания. Я только наклонилась, не стала его трогать. Я помнила, что нельзя в таких случаях...

— Испугались? — не удержался он.

— Не помню. Я спешила вызвать «скорую». А те уже сами вызвали милицию. Потом я решила позвонить соседке.

— Все это в прошлом,— остановил ее Олег.— Теперь уж разберутся, в чем там дело. Главное, чтобы сосед остался жив.

— Нет, нет. Тут другое,— заторопилась она, удивленная его реакцией.— Его жизнь уже вне опасности.— Она поглядела на Олега.— Вы даже не представляете, как я была спокойна, они все удивились. Я у его жены Нины Григорьевны просидела до их прихода. Егора Алиевича увезли в больницу, а они-то долго там возились. Собаки, милиция, свидетельствование. И меня сразу же расспросили, что и как я увидела. На днях суд, и я — первая свидетельница. Сегодня утром я, правда... ну да ничего. Ведь теперь уж к концу дело идет.— Она вздохнула.

— А машина? — спросил Олег.

— Ну, ее сразу нашли. У них ведь французская.

— Французская? Откуда же?

— Егор Алиевич работал где-то в Африке одно время. Там и купил «ситроен».

— Глупо,— сказал Олег,— красть в Москве французскую машину.

— Машина не такая уж яркая. Серая или голубая, как и многие машины. И опять я причастна к этому.

— К поимке преступника?

— Нет, не к поимке. А к самому преступнику. Я его знаю. Но это не главное. Главное состоит в том, что я, кажется, последняя и видела его перед преступлением. И еще вот что поразительно... Вы меня слушаете?

— Конечно.— Олег стиснул ее руку, неловко погладил.

— Он вообще-то непохож на преступника. И, может быть, я участвую в какой-то страшной ошибке. Не дай бог наведу на ложный след. Как мне и быть... даже не знаю.

— Продолжайте,— подбодрил ее Олег, внутренне содрогаясь от того, что еще предстояло ему услышать.— Почему вы думаете, что видели преступника последней?

— Да, да. В этом вся и суть.— Она замолчала, потом почему-то оглянулась на дверь.— Накануне того утра, когда соседка попросила меня зайти в их гараж, я была у этих гаражей. Вечером.— Она снова оглянулась, словно опасаясь, не стоят ли за ее спиной.— Там, за гаражами, есть проходной двор. У меня был урок музыки на соседней улице. Я возвращалась. Около гаражей встретила сына моего другого соседа, Василия Петровича. Довольно известный врач-педиатр. С бородой, солидный такой. Он когда-то лечил Марину от свинки. И вдруг вечером, представляете, у гаража его сын — Никита. Я его еще мальчиком знала. Когда школу кончала, он в первый класс пошел. А теперь встретила взрослого человека.

— Ну и что же? — с досадой отозвался Олег.— Какое он имеет отношение к угону?

— В том-то и дело.— Ирина Васильевна наклонилась к Олегу.— В этом весь ужас, что он, этот парень, которого я знала мальчиком, он и есть преступник.

— Рахманинов?

— Ну да. Он избил, и машину угнал тоже он. Так считают. Подозрение падает на него. И я на суде должна все снова рассказать и о Егоре Алиевиче в гараже и о встрече с Никитой накануне, понимаете? А я и поверить-то не могу, что это он. Мне кажется, что допущена какая-то страшная ошибка. Машина у Рахманиновых своя, зачем же Никите брать чужую?

— Пойдите,— остановил Олег поток ее слов,— я слышал об этой истории от одного знакомого в поезде...— Олег помедлил.— Рахманинова Сбруев защищает. Я о нем говорил вам.

— Так это я его и посоветовала взять Ольге Николаевне, матери Никиты,— вспыхнула она.— По вашей характеристике. Видите, как

это все серьезно,— добавила она,— и я должна свидетельствовать. Так нелепо, не правда ли?

Олег кивнул.

— Я новый сварю,— показала она на его остывший кофе.— Сейчас, не беспокойтесь.

Олег встал, осматривая комнату.

Ирина вошла с подносом, зазвонил телефон.

— Алло, алло!.. Это ты, ты, милая? — возбужденно-громко заговорила она.— Жду тебя... Конечно.— Она засмеялась.— Без сновторных. Не волнуйся... Вот навестил Олег Петрович... Передам. Но ты сама... Надеюсь, зайдет посмотреть на тебя.— Ирина кивнула Олегу, адресуя сказанное ему.— До встречи... Марина прилетит утром.— Она подошла к Олегу.

Он молча наблюдал за ней.

— Я ее попросила. Мне будет спокойнее, если Марина дома. Но я ей, конечно, не позволю таскаться по судам.

— Да...— протянул Олег.— Интересно на нее взглянуть... Так что же Рахманинов?

Она не могла сразу вернуться к прежней теме. Отблеск разговора с дочерью еще лежал на ее лице.

— Да, о Никите,— вздохнула Ирина Васильевна.— Если б вы видели это... Очень трудно все рассказать.

— А вы не торопитесь.

— Чудовищно, но это была самая обыкновенная встреча. И говорили мы ничего не значащие слова. А через час, а может быть даже меньше, это произошло. Понимаете? Значит, вот как может быть, что еще за час все выглядит буднично, просто, ничего не предвещает этого... А потом... Ни с того ни с сего.

— Может быть, Никита не случайно оказался там?

— Не думаю,— сказала она с тоской.— Нет, это не было обдуманно. Не верю. Это какое-то страшное совпадение или ссора. Или вообще это не он. Когда я его встретила, я хотела пройти мимо. Ну мало ли кто стоит на улице у гаражей? И вдруг этот человек подходит ко мне. Улыбается. Понимаете, улыбается. Я не путаю ничего. И говорит: «Ирина Васильевна, вы меня узнаете?» Тут я узнала его, конечно. Хотя он переменялся. Я разглядывала его в темноте. Он был в яркой рубашке и замшевой куртке. Все нарядное такое, как с вечеринки. И только что я про себя отметила, что он ведь совсем молодой, а у него уже залысины на лбу и полнота в шее у подбородка, как он говорит: «Я — Никита Рахманинов, помните?»

Ирина Васильевна взяла чашку с кофе, рука ее дрожала.

— Ведь что удивительно! Он мог пройти мимо. Я-то его не останавливала. Понимаете? Он меня окликнул. И сам имя свое сказал. Он хотел, чтобы его узнали. Олег Петрович, ну представьте, что он уже замыслил покушение, как они говорят. Зачем же ему меня останавливать? Ведь я — свидетель. Никто бы вообще не узнал, что он там был в это время. Тем более что он только приехал.

— Почему вы так считаете? — спросил Олег.

— Он сам мне сказал.— Она задумалась на секунду.— Он сказал: «Я ведь в армии был». «Да, да,— вспомнила я.— Твой отец как-то говорил». Он кивнул. Потом спросил: «Где мои? Не застал их, а пришел за машиной». Значит, за «Москвичом». Я вспомнила, что родители Никиты уехали в отпуск на юг и что перед отъездом Василий Петрович пожаловался, что сын не слушается его, не хочет в институт. «Совсем отбился от рук,— говорил Василий Петрович.— И хорошо, что он попал в армию, армия его исправит». «Что же ты собираешься делать теперь, после армии?» — спросила я Никиту, после того как объяснила

ему, где родители. Он как-то неопределенно покачал головой: «Буду разъезжать». И все. Весь наш разговор.

Ирина Васильевна замолчала, потом подняла глаза на Олега.

— Поняли? — Она пристально всматривалась в его лицо. — Никита всего этого мог мне не говорить. Ну что... он машину у отца хочет взять. И все другое. Это никак не вяжется с преднамеренностью. Правда? Но я не знаю, как убедить суд. Я вообще не могу разобраться в этой истории. Зачем ему надо было избивать? И брать эту заграничную машину вместо их собственного «Москвича»? Что-то здесь не так.

Она встала, заходила по комнате.

В пересказе Ирины Васильевны странного было действительно много. Наверно, существенные звенья преступления остались ей неизвестны. Но чтобы узнать их, надо было ознакомиться с делом, влезть в историю, которая столь неожиданно становилась сейчас для него решающе важной.

Часы пробили два.

— Поеду к Сбруеву, разужаю что к чему, — сказал он, вставая. — Вечером позвоню. — Он задержал ее холодную руку. — Не тревожьтесь, судебную ошибку Сбруев не пропустит.

— Узнайте все у него, — сказала она умоляюще, — и не оставляйте меня эти дни.

V

Разговор с Родионом о деле Рахманинова был для Олега непросто. Он словно уже видел ироническую усмешку, с какой Родион выслушает его.

Скажем откровенно, до сих пор Олег не испытывал интереса к профессиональным тайнам Родиона, его коробили расспросы о преступниках, их психологии, о том, как удастся добиться у них признания. Мерзко без необходимости заглядывать в чужую жизнь, будь она даже жизнью отпетого негодяя. Чаще всего он слушал рассказы Родиона не реагируя, не вникая, давая тому излиться.

Сейчас, оказавшись косвенно причастным к судебному процессу, он вдруг понял, что умело отгораживался от какой-то сложной, большой сферы действительности, которая требует вмешательства «ассенизаторов», как выразился поэт. Правда, у Олега были свои причины для подобной предвзятости. Он сталкивался ежедневно с возможностью смерти людей самых достойных, порой остро необходимых человеческому роду, с судьбой больных детей, беззащитных в борьбе с недугами. И ему казалась непомерной роскошью многомесячная трата времени на то, чтобы уменьшить срок наказания какому-нибудь мерзавцу, который загубил чью-то жизнь.

Олег глубоко сожалел, что талант Родиона из года в год уходит на борьбу за ничтожное снижение наказания, в сущности уже на девяносто процентов predetermined обвинением, в то время как тот мог бы делать что-то более полезное с тем же блеском и страстью. Ведь Родион обладал редкой способностью отзываться на чужое несчастье. Непостижимым образом именно Родион оказывался под рукой, когда беда заставляла кого-нибудь из друзей или самого Олега. И сколько раз это бывало...

И опять Родиона он не застал дома.

Было обеденное время, уезжать не имело смысла. Может, отсидит и вернется? Олег пристроился на скамейке в противоположном дворе, решив ждать до упора. Сейчас он вспомнил, как мчался сюда, на Чаплыгина, когда разразилась катастрофа с Настей.

Сколько пролежала у него Настя Гаврилова в первый раз? Месяца три? После паралича ног это еще не много. Освоила хождение заново, передвигалась. Ну не бегом, конечно, но уж сама могла добрести до школы. И казалось, оба они выиграли бой.

И вот когда белокурая Настя снова вернулась к нему в ту самую палату, где лежала два года назад, безнадежно изуродованная новым параличом, Олег впервые потерял самообладание. Метался по городу, звонил каким-то коллегам, созывая консилиум. Потом позвонил Жаку Дюруа, чей доклад о новых данных по рассеянному склерозу он слышал в Париже той весной, а вечером, часам к восьми, приплелся к Родиону.

Многое важное стерлось теперь в его памяти из встречи с Родькой в тот день, когда он добивался невозможного для Насти, но многое другое отпечаталось с поразительной, фотографической точностью.

...Помнится, Родион сидел на диване. Рядом на стуле стоял термос, тарелка с сыром. В кофейник с водой был всунут кипятильник, над секретером, чуть освещая комнату, висело старинное бра. В комнате было очень мало мебели: стол, полки с книгами, неизменная ваза с цветами.

Олег поражался этому умению Родьки жить холостяком как семейному. В холодильнике всегда найдется масло, мясо, яйца. И пыли в квартире не видно. Правда, тогда еще мать была жива.

«Раздевайся,— сказал Родион.— Сейчас кофе сварю». «Зачем...» — махнул рукой Олег и сел не раздеваясь. «Ты что, на вокзале?» — одернул его Родька. Олег неохотно стянул куртку. «Может, по сто? А?.. Ну как знаешь, тогда я тебе о Боброве расскажу и о трех его музах». «Валяй о музах,— вяло улыбнулся Олег, сразу почувствовав облегчение. Непостижимая способность Родьки переключать разговор на своих подзащитных всегда умиляла Олега.— Ладно уж,— устало прислонился он к спинке кресла,— кофе давай, меня мутит от усталости. И водки, пожалуй».

Когда Олег отхлебнул водки и запил кофе по-турецки, которым так гордился Родька, наступило легкое возбуждение, отодвинувшее в глубину сознания острую боль бессилия. Мысли не цеплялись так стойко за одно и то же. Все пришло в движение и притупилось одновременно. Ну какой он, к черту, собеседник?

А Родьку уже понесло. «Послушай, ты когда-нибудь задумывался, во что обходится обществу клевета? А? — дернулся он навстречу Олегу.— Или ты только арию о клевете слышал? Господина Россини? — Он курил и бегал по комнате.— Почему так несоразмерны последствия клеветы и наказания за нее? Я уж не говорю, что оговор невинного стоит расходов на длительное следствие, приходится отрывать множество людей от дела. Но главное — неизбежные нервные срывы, почти обязательная потеря репутации... Идем дальше. Предположим, невинный даже оправдан. Но перед кем? Перед кучкой родственников, свидетелей, находившихся в зале. А на работе, в подъезде, на улице? Кто-то знает правду, а большинство слышано уже о какой-то судимости, человека начинают сторониться. А клеветнику что — он-то запросто пошел домой. Он ведь всегда при бульоне. Не вышло засудить — нервы потрепал, отомстил и то хлеб».

Олег не реагировал. Теперь, после трех рюмок, голова его налилась чем-то плотным, ему хотелось уйти, заснуть где-нибудь в стонке. Но он знал, что спать не сможет. «Не веришь? Ты думаешь, это из области предположений? Нет, друг, излагаю под непосредственным

впечатлением сегодняшнего заседания суда». «А можно без деталей?» — попросил Олег. «Попытаюсь».

Олег выпил еще кофе и опустил голову. Если не смотреть на Родиона, а просто следить за его голосом?

«Царицы эстрады, три иллюзионистки. Гвоздь программы в роскошном ресторане «Золотой купол». Они-то и обрушились на одного парня, которого я защищаю». «Один на троих?» — Олег попробовал улыбнуться. «Делаешь успехи, — обрадовался Родька. — Но пока слабые... Он — на одну. Эстрадная звезда Эльвира Гранатова... В данном случае лицо, возбудившее дело. К следователю оно попало в довольно упрощенном виде... Слушай-ка, — перебил себя Родион, — может, пройдемся? Я уже полсуток не вдыхал кислорода...»

Посидев во дворе еще минут десять, Олег снова поднялся к Родиону. Сквозь дверь было слышно, как непрерывно звонит телефон. Кому-то другому он тоже был позарез нужен. Олег не стал спускаться, сел здесь же на ступеньки, благо этаж последний, прислонился к стене.

...Как в тот вечер они оказались в ресторане «Золотой купол» с многоярусными люстрами, мягкой ковровой тканью на полу, скрадывавшей шум голосов и шагов, Олег не помнил. Помнил стол, уставленный закусками, круг посреди зала, на котором шла эстрадная программа с участием потерпевшей Эльвиры Гранатовой, а в перерывах танцевали посетители.

«Чтобы понятнее, — тронул его за плечо Родион, дожевывая сардины, — когда Эльвира Гранатова вынимала из-за пазухи своих попугаев и петухов, кто-то из зала выкрикнул оскорбление по ее адресу, а в антракте в артистической этот же человек якобы ее избил. Бобров утверждает, что он ее пальцем не тронул, а обе партнерши Эльвиры, оказывается, не первый раз свидетельствуют в ее пользу. Бобров клянется, что и раньше они судились, всегда сдирая крупную монету с мужиков, пытавшихся вернуться от их наманюренных пальчиков. Бобров говорит...» «А Бобров кто?» Олег взял кусок лимона, пожевал. «Бобров? Я ж тебе час про него говорю. Бобров — обвиняемый, который якобы избил Эльвиру. Представь, он был мужем ее. — Родион с аппетитом доедал последнюю сардину. — Два месяца. Потом ушел. Тут-то все и началось. Эльвира во всеуслышанье заявила: «Все равно я его засажу... Эта птаха у меня за решеткой попоет»...» «Вот как!» Олег попробовал сосредоточиться. Почему, продолжало стучать в его голове, именно эту лучезарную девочку, такую толковую, безгранично верившую каждому его слову, поражает смертельный недуг? За что? Зачем?

Холодея даже сейчас, Олег вспоминает ту жуткую ночь, когда так необходим ему был поглощенный своими делами Родька. Видно, человек воспринимает счастье, благополучие как норму существования, потому и не ценит этого; а боль — другое, она оставляет неизгладимые следы...

Родион все продолжал ему рассказывать об артистках, а Олег мысленно искал выход. «Если, допустим, не говорить пока ничего родителям Насти, а ее изолировать, выкроив для этого часть своего кабинета? А дальше? Лекарственная терапия, массаж, физио? Нет. Не то. Придется рассказать Гавриловым все начистоту...» «А что делает твой Бобров?» — старается Олег уловить суть рассказа Родиона. «Тромбонист в оркестре. Но теперь-то он без работы — Эльвира постаралась».

Подают бифштексы. Родион накидывается на мясо. «Ну и за что ты уцепишься? — Олег вяло тычет вилкой в салат. — Свидетели инцидент подтверждают. Я бы и не брался». «Занятная у тебя терминология! — вскипает Родион. — При чем здесь «уцепишься»? Мне надо установить истину, ясно тебе? Истину. А не сманеврировать». «Ну хорошо. В чем, по-твоему, истина у этого скандалиста?»

В зале грохочут аплодисменты. Раскланивается кудрявый певец, в руках у него цветы.

«Эльвира Гранатова и Валентина Потемкина!» — объявляет руководитель ансамбля, пытаясь перекрыть шум аплодисментов.

И сейчас Олег помнит черноволосую женщину с выпирающими ключицами, одетую в серебряное платье, и другую, невесомую, с бровями, сросшимися на переносице, их антураж для фокусов: никелированный столик с графином, стаканчики, коробки.

Брюнетка в серебряном платье эффектно поводит руками, и со стола исчезают графин, поднос, появляются платки, алая лента метров на двадцать, из рукавов выпархивают голуби. Гром аплодисментов. Эльвира низко раскланивается. «Они у нее в одном месте спрятаны! — слышится сзади звонкий голос. — Задери-ка подол!» «Слышал? — Вилка замирает в руке Родиона. — Как в тот раз. Слово в слово! — Он резко отодвигает тарелку. — Нет, ты слышал? Тот же текст! И никакого Боброва!» «И вправду, значит, не виноват твой тромбонист, — бормочет пьяно Олег. — Видно, сегодня я не советчик».

Он наливает по бокалу себе и Родиону. «Выпьем за наших женщин. Или за тех, что будут нашими». «А будут? — чокается Родион, потирая руки от возбуждения. — Нет, не зря интуиция привела меня сюда». «Это уже частности, — придвигается Олег к нему. — На тебя всегда какая-нибудь дура найдется». «А... А я-то думал... — хлопая Олега по плечу, продолжает Родион свое. — Теперь представь, если бы в уголовном кодексе была статья за клевету, равнозначная статье за преступление, в котором клеветник обвиняет неугодного ему человека? За клевету три года и за оговор столько же?» «Просто вы пользуетесь устаревшими данными, — бурчит тот. — Медицина давно уж доказала, что слово, тем более слово оскорбительное может стать таким же пусковым механизмом необратимых патофизиологических и биохимических процессов в организме, как и действие. Понял?» «Неужто доказала? — вскидывается Родион. — И ты можешь мне это изложить на бумажке? Как бы это пригодилось... Если б мне такую научную выкладку — фокусницы сто раз бы все продумали, прежде чем строчить донос». «Это точно. Это ты прав...» — поддакивает Олег. «Что с тобой? — спрашивает Родион, в упор разглядывая Олега. — Что у тебя стряслось сегодня?» «У меня вот случай, — поднимает тот глаза на Родиона. — С девочкой. Здесь и наука пока ничего не может. На стенку лезешь от бессилия». «Не мямли, — злится Родион. — Какая еще девочка?» Родька тормозит его, заставляя вновь и вновь возвращаться к рассказу о ходе болезни. Он предлагает рисковать, оперировать. Он не отпускает его до утра. И Олегу становится легче.

Да... Тогда Родька вытащил его. А Настю они не вытащили...

Сидеть на ступеньках становится холодно. Глупость какая-то. Сам же вызвал в Москву, а теперь исчез. Может, будет заседать до вечера. Или к зазнобе поедет. Уж лучше ему по телефону дозваниваться.

Теперь пошел снег, ворсистый, как утром, когда он ехал в поезде. Скамейки, стволы, люди — все бело. Снежинки тают на щеках, облепляют брови, виски. Шины автомобилей утюжат снег, превращая его в грязь. «Вернуться домой?» — лениво думает он.

Олег заходит в магазин и от нечего делать покупает жигулевского. Затем бредет еще квартал, замечает зеленый огонек такси. Что ж, очень кстати. Он поднимает руку. Таксист притормаживает.

— Не найдется ли, шеф, сигаретки? — Он плюхается на заднее сиденье.

Безусый ухмыляется на «шефа», щелчком выталкивая две «Краснопресненских».

— А куда поедет, дядя?

— К Разгуляю,— морщится Олег, получив за «шефа» «дядю».

VI

Семья Тихонькиных жила в новом доме, принадлежащем заводу, в самом конце Щербаковки, там, где улица переходит в Измайловский парк.

Родиону уже приходилось бывать здесь, и каждый раз он должен был испрашивать разрешения на это в коллегии. Подменять Вяткина он не собирался, но что поделаешь, коли складывается такая ситуация? Не отступать же.

Теперь он сидит с Васеной Николаевной, разморенный круто заваренным чаем, вареньем из айвы и длинной, с частыми паузами беседой. Полог, отгораживающий часть комнаты, где находится угол Михаила с его кроватью, тумбочкой и аквариумом на окне, теперь снят. Ненужными кажутся сейчас хрустящая накрахмаленная наволочка, узорчатое зеленое покрывало, рыбы, спующие в освещенном аквариуме.

— Убийство не могло произойти так, как это описывает Михаил,— решает Сбруев мешая ложечкой в стакане.— Еще не поздно поправить ошибку, если она допущена.

— Зачем вы это? — Тихонькина поднимает умные тоскливые глаза.— Все пережито! И старика не тревожьте, он в этом суде полжизни оставил. Не лишит бог здоровья—ждемся сына, а приберет—и на том спасибо.

— Я и не собираюсь беспокоить Гаврилу Михайловича,— хмурится Родион.— А тот сапожный нож, которым Михаил якобы ударил Рябина, так и сгниул. В речке ничего не нашли...— Он медлит.— Чем же работает Гаврила Михайлович?

— У него еще два ножа имеются, такие же точно.

— А всего три было?

— Три.

— И все одинаковые?

Она кивает.

— Можете мне показать?

Васена Николаевна приносит оба ножа.

Блестящие, заточенные, очень острые куски металла—без футляра. Он осматривает один из ножей, затем кладет его на стол. Прикоснувшись к скатерти, нож цепляет нитку. Родион перекладывает нож на тарелку.

— Острые,— говорит Васена Николаевна.

— Да, острые,— подтверждает он.— И третий такой же острый?

Она кивает. Вид ножей ей неприятен.

— Теперь подумайте,— говорит он.— Нож этот я на одно мгновение к скатерти прислонил и то нитки чуть попортил. Как же Михаил два часа во время сеанса держал нож в рукаве? Да и потом, уже после драки, он до вечера таскал его в кармане, пока в прорубь не бросил?.. И ни одна ниточка в кармане или в рукаве не повредилась? Под микроскопом исследовали.

Родион раскуривает сигарету.

— Опять неувязка. Медицинская экспертиза показала, что одна рана у убитого по краям рваная, как от деревянной рукоятки.— Родион отодвигает чашку.— Не сходится, понимаете?

— Зря все это,— пожимает плечами Васена Николаевна,— не получится у вас ничего.

— А если он вообще его не брал? И не было никакого ножа у него в рукаве во время сеанса? Тогда что?

Она беспокожно вскидывает глаза.

— Бог с вами. Что это вы надумали?

— Вспомните, кто у вас пользовался ножами Гаврилы Михайловича. На кухне, по хозяйству? Поройтесь по столам, у соседей поспрашивайте.

— Никогда отец наш чужим своего ножа не даст. Ни под каким видом.— Тихонькина начинает собирать со стола.— Бесполезно, бесполезно это, против воли Миши все равно ничего не поделаешь.

— Почему же? — Родион уже не может сдержаться.— Да вы родные ему или нет? Что вы как воды в рот набрали? Или вы не понимаете, о чем речь?!

— Он отопрется от всего.

— Ну уж это позвольте, пока Михаил не отказался от защиты, я имею право доказывать в суде все, что считаю правильным. Мало ли что он утверждает! Если будут неопровержимые доказательства...

— Вы-то найдете доказательства,— опускается на стул Тихонькина,— да послушает ли вас суд?

— Послушает,— резко обрывает он.— Вы как хотите, а я этого не имею права оставить. Вы же должны понять ситуацию — последняя возможность сейчас... Не мог нож в доме затеряться? — вскакивает Родион.— Давайте поищем еще раз, а?

Она покорно идет в кухню. Выдвигает ящики, заглядывает на полки, роется в сундуке. Безрезультатно.

— Извините,— понуро опускает она голову,— обещалась к Кате заехать. Рождение у нее завтра. Первый раз выползу,— Васена Николаевна поправляет платок,— голова-то еще слабая.

— Поехали,— говорит он, не видя иного выхода.— Я помогу вам.

Она молча собирается, выражение покорности, столь не идущее к ее волевому лицу, чуть слабеет. Он помогает ей одеться.

В автобусе на Балашиху пусто. Рабочий день еще не кончился. Автобус огибает угол парка, затем выезжает на шоссе, потом трясется по мощеной дороге.

В поле, за городом, гуляет пронзительный ветер приближающейся зимы. Солнце блестит не грея, островки снега белеют на темной земле, как смятое белье. Родиона вдруг берет тоска, его неотвратимо тянет вернуться. А Васена Николаевна не видит этой земли, не видит этого снега, не чувствует она и своих слез. Быть может, Тихонькина думает о молодости, когда водила сына в первый класс и надеялась, что он проживет жизнь лучше, чем она, или вспоминает свое пятидесятилетие, когда из барака они переехали в новую квартиру и впервые она перестала таскать в дом дрова, носить воду из колонки на соседней улице.

У сестры Михаила Кати они пробыли недолго. Однако визит этот принес Родиону две неожиданных удачи. Первая: нашелся тот самый нож — оказывается, Катя взяла его у отца перед Новым годом, чтобы раскалив, плавить им края капронового платка. И вторая: письма Михаила двоюродному брату Алексею и другу Василию Гетману, которые она хранила на случай пересмотра дела.

Родион дважды встречался с Алексеем. Он помнил скуластое лицо двоюродного брата Тихонькина, летчика, прилетавшего к Михаилу после приговора горсуда на несколько дней из Заполярья. Такой человек мог сильно влиять на него. Помнил Родион и рассказ Алексея о детских походах с Мишкой и как учил того настольному теннису, спуску на горных лыжах. Говорил он о Михаиле с горячностью, не верил происшедшему, требовал свидания. «Жаль,— сказал Алексей после встречи с братом в тюрьме,— что избыток энергии у этих ребят расстрачивается на драки, пьянки, азарт соперничества, круговую поруку. На другое ее уже не остается. А преступление выхватывает из толпы те организмы, сопротивляемость которых наименьшая... Это как в пору эпидемий»,— добавил он. «Оригинально, но неточно»,— подумал тогда Родион. Уже прощаясь, Алексей сказал: «Очень сомневаюсь, Родион Николаевич, чтобы Михаил рассказал все как было. Вот если бы истина была доказана каким-нибудь иным путем, а не путем допроса самого Михаила, это бы могло помочь делу».

«Доказано каким-либо иным путем...» Почему Родион тогда пропустил мимо ушей эти слова?

Он пробегает записку Алексею, задержавшись на последней фразе, потом еще раз перечитывает последний абзац.

«Лешка, ведь ты меня знаешь,— писал Михаил ровным крупным почерком,— знаешь, что я для других ничего не пожалею. Вот и в этом деле то же самое. Я думал о нашей встрече и о том, что на прощание я схлопотал от тебя дурака. Но иначе я поступить не мог. Жребий пал на меня».

Родион останавливается. Листок подрагивает в руке. «...иначе поступить не мог». В чем не мог? Что стоит за этим «жребий пал на меня»?

И Гетману, в сущности, то же самое. Вот:

«...как-никак, Вася, мне пришлось получить самый большой срок, а моя мать знает, что я виноват, но не в этом. Рассказать тебе обо всем не могу. Через много лет, когда совсем освобожусь, ты поймешь все. Она (мать) поверит, что иначе я поступить не мог. А мне, Васька, по правде сказать, все это надоело. Только и слышу в свой адрес — дурак да дурак. Ты же знаешь, что я стальной, если что решу твердо. И учти, Василий, что бы ни случилось, я буду стоять на своем. Передай это моей матери... Пусть она зря не тратится и не обивает пороги...»

Ну вот, в этом письме все обнажено до предела. И признание в какой-то другой вине, а не в этой. И ссылка на мать, что «она поверит», стало быть, она что-то знает. И убеждение, что невозможно было поступить иначе. И наконец, бесповоротное решение «стоять на своем» до конца.

— Спасибо,— прощаясь, сказал Родион Кате.— Разрешите мне оставить эти записки у себя?

Катя не возражала.

— А согласится ли мать выступить на суде?— спросила она, когда Васена Николаевна вышла.

— От этого, может быть, будет зависеть судьба ее сына,— пожал плечами Родион.

Через полчаса он стремительно шагает по Щербаковской, страстно веря в этот день, как игрок, начавший выигрывать. «Азарт тебя губит, Сбруев,— говорил, бывало, Федор Павлович, у которого он проходил институтскую практику.— Сильно он будет мешать тебе в жизни».

«Что поделаешь, каков есть»,— думает сейчас Родион.

У дома с палисадником он видит, как из углового подъезда выбегает парень в желтой куртке и джинсах. За ним девушка. Черные волосы, портативный магнитофон, перекинутый через плечо, широкий пояс, словно рассекающий надвое ее тонкую фигурку... Наташа! Ух ты, как переменялась... Он провожает глазами эту женщину, значившую так много для него прежде, остро ощущая свою непричастность к ее новой жизни. Да, конечно, он предполагал, что она к кому-то придет, но при этом она должна была мучиться, искать с Родионом встреч для объяснений и в конце концов только назло ему пойти за нимилого. А она забыла, как его звали. Из жизни вычеркнула. И поделом. Не думал же он, что в любой момент стоит протянуть руку — и все вернется? «Волосы отрастила», — с досадой думает он, замедляя шаг.

VII

В прокуратуру Родион плетется, уже не надеясь застать Вяткина. Что ж, заявит ходатайство, а вечером позвонит, потом все же придется заглянуть в консультацию, внести дополнения в записи, узнать об ожидавших его клиентах. И сразу же домой. Авось от Олега уже есть что-нибудь.

Родион пересекает трамвайные линии, идет к метро. Пока эскалатор везет вниз, он раздраженно думает о законах, которые, как емко ни пиши, все равно не могут охватить все многообразие жизненных случаев. Каждое преступление, в сущности, обстригаешь под статью закона, как сучья деревьев под ровную линию проспекта. А дело Тихонькина и вовсе не укладывается в стереотипы «преступления и наказания». Вот и думаешь, что прав Порфирий Петрович у Достоевского, размышляющий над делом Раскольникова. Мол, подумаешь: так, частный случай, убийство старушки, а на самом-то деле общего-то случая, того самого, на который все юридические формы и правила примерены, вовсе не существует по тому самому, что всякое дело, как только оно случится в действительности, тотчас же и обращается в совершенно частный случай... Ничего не возразишь. Природа позаботилась, чтобы у живых существ не было двух одинаковых носов, подбородков, отпечатков пальцев, а не то что поступков или их мотивов. Впрочем, по мнению милейшего Порфирия Петровича, работа следователя — это свободное искусство, которое нельзя стеснять формой, а это уж, простите... Если стесненности формой не будет, можно оправдать и полнейшее беззаконие.

Когда Родион добирается до прокуратуры, начинает темнеть. И сразу холодает.

Конечно, Вяткина он уже не застает. Родион оставляет у него на столе ходатайство о допросе новых свидетелей и разрешении на приобщение к делу найденных писем Тихонькина.

В консультации он просматривает почту, приготовленную Клавочкой. Сзади слышится шорох, Родион оборачивается. В дверях мнетса девушка. В руке лакированный чемоданчик, черная кожаная жакетка пузирится на бедрах.

— Можно к вам? Я по делу Тихонькина. — Она густо краснеет. — Меня зовут Римма Касаткина.

— Смелее, — приглашает Родион, с интересом наблюдая смену выражений на юном лице подруги Михаила. — Садитесь.

— У меня одно важное дело, но... — она настороженно прислушивается, — только я лучше вечером. И не здесь.

— Где же?

— Ну, в любом месте...

— Тогда назначайте сами.— Родион прячет улыбку.
— Я бы хотела, чтоб нас никто не увидел... Не в консультации.
Ну хотя бы в сквере здесь часов в семь...

— Как вам угодно,— деловито соглашается Родион,— в сквере так в сквере. К семи я буду.

Минуты две он сидит, пережидая, пока Римма скроется. «Вот и не верь в удачу дня,— подумал.— Катя ее прислала или сама?»

На улице Родион снова вспомнил об Олеге. Пожалуй, стоит взглянуть к нему на Разгуляй. Хотя бы записку оставить.

Родион выскакивает у остановки на Разгуляе, видя, как Олег выныривает из своего подъезда.

— Ну молоток, ну удружил! — мямлит Родион в смущении.— А мордень-то отрастил.

— Да и ты не усох,— улыбается Олег.— Я уж к тебе вторые сутки наведываюсь. Ты что, дома не ночуешь?

Родион хмыкает.

— Часов пять ночую,— бурчит он, с изумлением отмечая, как странно выглядит в городе Олегов загар, белозубость, светлые добелизны волосы.

— Ну, пошли, что ли, ко мне?

В комнате Олега, необжитой, холодной, со скудным набором мебели, где самый нарядный предмет — шкаф с книгами во всю стену, Родион никогда не может найти себе удобного места.

— Валяй сюда,— показывает Олег на кушетку, такую узкую и жесткую, что Родион с трудом представляет себе, как на ней может уместиться длинное тело Олега.— Сейчас что-нибудь сообразим.

— Потом,— отмахивается Родион, садясь на стул.— Вот если у тебя пиво найдется, а то у меня с утра изжога.

Родион осматривается. В поясице отдает смутной, глубинной болью. «Прогресс,— думает он, глядя в угол на «Темп-6»,— телеком обзавелся!»

— Ты хоть раз включал его после установки? — кричит он, видя Олега, входящего с бутылкой и двумя стаканами.

— Регулярно смотрю «Время», слушаю симфонические концерты иногда...

— Да? — Родион с любопытством всматривается в лицо друга.— Что-то раньше я не замечал у тебя тяги к серьезной музыке. А я вот все больше по спорту и многосерийным детективам.— Он смотрит на часы.— Мозг разгружаю.

Родион передвигает стул поближе к телевизору, кладет ноги на край столика.

— Сейчас, например, идет семнадцатая минута матча тбилисского «Динамо» и «Спартака», не веришь — включи.

— Верю,— смеется Олег, придвигая бутылку жигулевского.

— Нет, ты проверь, проверь— настаивает Родион.

— Не подначивай. Смотреть не дам.— Теперь Олег тоже разглядывает его. Долго, пристально, как подопытного кролика.— Выкладывай, что у тебя там? И у меня к тебе кое-что имеется...

— Сначала счет выясним, идет? — предлагает Родион.

— Сначала поговорим, потом выясним.

— Ну аллах с тобой.— Родион вздыхает. Он нехотя отходит от телевизора, лениво выпивает два стакана пива, разваливается на кушетке.— Ну ладно, выкладывай. Ирину видел?

— Допустим,— отмахивается Олег.— А ты мне лучше ответь: по делу Рахманизова эксперта вызывали?

— Медицинского?

— Автомобильного! Там ведь дело с угоном машины.
 — А что? — Родион насмешливо оглядывает Олега.
 — Он уже прибыл. Я с ним в одном вагоне ехал.
 — Поздравляю с приятной встречей.
 — Для тебя она будет не менее приятной. Это Сашка Мазурин.
 — Мазурин? — Оживление слетает с лица Родиона. «М-м-да,— думает он.— Вот так сюрприз». — Что ж, он смыслит в этом деле...

И вдруг мозг затопляет воспоминание. Родион даже запрокидывает голову, так явственно оно. Кольцевая трасса в Бикерниеке. Сосна на высоком холме, под которым они лежат вчетвером... Мчащийся на обгон красный «Москвич» с цифрой «60»... Как многократное эхо, Сашкино имя в репродукторе: «...второе место, серебро»... Вьющийся серпантин дороги, лесной ресторан. Валда танцует с Мазуриным, драка Сашки за нее с каким-то ублюдком... А ночью в мягком морском прибое Валда по колени в воде отжимает волосы. Родион подкрадывается к ней, хватает в охапку... А через день Валда остается с Мазуриным. Он заставляет себя встать, сбросить все это. Как она смотрела на Мазурину после драки в ресторане... Бог ты мой!

Сколько раз за эти годы Родион уже разыгрывал эту партию. Думал, где была ошибка и что можно исправить. Как будто, если от тебя уходит первая любовь, можно что-то исправить. Господи, может, первая всегда уходит? Раньше, позже. До брака, после. Вот у Олега ушла после. Ну и что?..

— Растолкуй мне,— Олег держит в руке стакан,— что же это за дело Рахманинова.

— Обычное,— отмахивается Родион, как бы выныривая из другого мира.— Избалованный, циничный парень. Когда что-нибудь втемяшится в голову — вынь да положь. Не дадут — можно и силу применить. Ты Тихонькина помнишь? — перебивает он себя.— Так вот обнаружилась новые обстоятельства.— Родион вдруг торопливо сбивчиво начинает рассказывать о ноже, письмах.— Знаешь,— восклицает он,— для меня Тихонькин — это как «быть или не быть»! Не могу остаться в дураках, когда мне абсолютно ясно, что убил не он.

— Подожди,— просит Олег.— Мне сначала нужно понять, что с этим угонщиком.

— Что понимать-то? — Родион раздосадован.— Тебе небось Ирина все рассказала.

— Ты не допускаешь здесь судебной ошибки?

— Да ты что? — Родион уже жалеет, что заговорил о делах с Олегом.— Какая ошибка?

— А чем ты объяснил это избиение? Причина тебе ясна? Говорят, он был неплохой парень...

— Кто говорит? — злится Родион.— Что ты слушаешь пересуды?

— Да ты не кипятись. Я хочу понять.— Олег подходит к окну.— Вот, к примеру,— спокойно продолжает он,— почему он угнал чужую машину, когда у них есть своя?

Родиону вдруг становится стыдно: Олег бросил отпуск, примчался. А они как-то все не о том.

— Знаешь,— извиняется он,— я тебе потом все разъясню. У меня жуткий день сегодня. Я хотел о Тихонькине посоветоваться.

— Успеешь. Объясни в двух словах об угонщике — и перейдем к твоим заботам. Ирина считает, что в рахманиновском деле много неясного, странного...

— Милый, ну что неясного? Рахманинов пойман с поличным в момент, когда он катался на угнанной машине.

Родион машинально включает телевизор. На экран медленно выплывает группа футболистов, толпящихся у ворот. Склонившись над

мячом, размахивает руками судья, напротив него так же размахивает руками капитан команды.

— Выруби звук,— советует Олег,— и так все уяснишь.

— Ты пойми,— говорит Родион, подчиняясь,— даже самым толковым двум людям в одном и том же происшествии видится порой прямо противоположное. Для этого человечество и изобрело обвинение и защиту. Как же ты судишь, выслушав только одну сторону?

Он все еще смотрит на экран, потом вскакивает, прохаживается по комнате.

— Ну хорошо.— Он смотрит на часы.— Давай, у меня еще час с лишним в запасе. В чем именно сомневается Шестопал?

Олег сам не готов еще к прямому разговору. Ему вдруг отчетливо представляется, как он придет в зал на этот процесс, а Ирина будет рассказывать суду о соседях, разговоре с Рахманиновым ночью у гаража, описывать утреннюю картину, которую там застала.

— У нее создается впечатление, что в этой истории много предвзятости...

— Читал ее показания,— нетерпеливо обрывает Родион,— ну и что? Что ее смущает?

— Да подожди ты,— не выдерживает Олег,— ты хорошенько вникни в ее опасения. Они стоят того.

Он подходит к телевизору, выключает его.

— Прежде всего ее смущает,— Олег медленно возвращается на свое место,— что Рахманинов, пренебрегая прекрасной возможностью остаться незамеченным, сам окликнул ее. Для чего нужны человеку, уже задумавшему преступление, свидетели? Значит, Рахманинов не задумывал угона? А что потом произошло между ним и Мурадовым? Этого же никто не знает. Очевидцев нет.

— Если б мы рассчитывали только на них,— усмехается Родион,— раскрывалось бы очень мало преступлений. Допускаешь же ты, что существуют средства, научно обосновывающие виновность обвиняемого?

— Да, да, конечно,— отмахивается Олег.— Но разве в данном случае не могла быть просто ссора?

— Ну и что? Конечно, была. Но результат ее не драка, а, в сущности, избиение.

— Почему?

— Потому что драка — это когда люди бьют друг друга, а избиение — когда бьют одного. Или бьет один. Улавливаешь разницу?

— А если первый удар — ответ на что-то? Трудно предположить, что человек, до этого не грешивший рукоприкладством, кинется без всякой причины избивать другого.

— Допустим, ты прав на сто процентов,— Родион подходит совсем близко к Олегу,— но обвинение справедливо говорит о зверском избиении, когда жертва не сопротивлялась, без попытки впоследствии оказать помощь пострадавшему. Все это имеет определенную юридическую квалификацию, и никуда от этого не денешься.

— Мне кажется, что ты не вник достаточно глубоко в непосредственный повод к избиению. Не думаешь же ты, что все действительно из-за машины?

— Ладно,— сдаётся Родион.— Если ты настаиваешь... Поехали,— подбегает он к вешалке,— одевайся!

— Это еще зачем?

— Дома у меня выписки из дела и копия обвинительного заключения. Основные показания Рахманинова в нем приведены. Посмотрим их вместе.

«Да, этого у него не отнимешь,— усмехается про себя Олег.— Хватка бульдожья».

Когда они подходят к дому Родиона, начинает темнеть. В сумерках нереальными кажутся полуколонны, пилястры, пористый камень старой кладки. А комнаты Родиона с лепными потолками, полукруглыми венецианскими окнами заливают теплый желтый свет. Прочная многовековая мебель, старинных канделябров, небольшой секретер с выдвигающимся баром, в узкой высокой голубой вазе цветы.

— Раздевайся,— торопит Родион. Он идет к секретеру, вынимает папку с записями.— Вот,— тычет пальцем в какую-то строчку.— Слушай и вникай с ходу.

Олег еще не приспособлен к такому напору — видно, здорово он отвык от городского темпа.

— «Рос я в семье,— читает Родион,— где меня с детства очень баловали...» Да, забыл предупредить,— перебивает он себя.— Раньше Никита подбрасывал следствию разные версии: то о женщине, которая может засвидетельствовать его ночное алиби, то о некоем Бруннаре, который якобы, избив Мурадова, скрылся. Бруннар-де ждал Рахманинова за углом и подоспел на защиту в момент, когда началась ссора. Впоследствии действительно нашли человека с этим именем и данными. Рахманинов был знаком с ним еще в армии. Там же Бруннар угодил в тюрьму. Расчет был точен — времени на поиски Бруннара ушло много. Когда и эта версия оказалась ложной, Рахманинов признался. И знаешь, как всякий неврастеник, он уж коли заговорил, то наизнанку вывернулся. Натянул, мол, глядите, каков я, как ловко я вас путал, а захотел — перестал петлять. Теперь он распосовывает новый вариант: мне все безразлично, делайте что хотите.

Родион гасит люстру, включает бра, торопливо закуривает.

— «...баловали, и я привык к тому,— продолжает он читать дальше,— что отказа мне ни в чем не бывает. У меня было все уже в детстве. Не знаю, относится ли это к делу и можно ли это понять... когда вот так все есть с самого начала. И ничего не хочется из того, что есть. Кончил школу так себе. Стал искать, чем бы заняться. Мои увлечения родителям не нравились, казались дармоедством. Они тянули на свое. На «серьезное» дело. В институт не поступил, конкурс требовал более знающих людей. Надо было искать работу. Любимой специальности не было. Время от времени я выдумывал себе занятия, которые мне нравились. А потом уже сам собой выработался вкус к таким опасным и рискованным операциям, которые выделяли меня среди других. Мне нравилось, когда меня благодарили и я мог то, чего они не могли. Оказалось, подобных забот у людей очень много...» «Много?» — задает вопрос следователь. «Много, и самых разнообразных. Я даже не могу перечислить всех услуг, которые оказывал. Но все они требовали сноровки, оперативности и фантазии. Дела с риском, с фантазией мне больше всего нравились». — «Что же это за дела все-таки?» — «Ну, к примеру, что-нибудь достать. У всех людей, включая самых знаменитых, обязательно чего-то нет. Или им некогда заниматься этим. Кому платье нужно для выступления, кому гостиница. Или, допустим, батарейки для транзистора, или пленку для киноаппарата. У меня все расширялся круг знакомых... Я знал, кому что нужно». — «Что же, вы стали вроде мальчика для услуг?» — «Можно сказать и так». — «Как же оплачивались ваши услуги?» — «По-разному. Очень часто не оплачивались совсем. Мне просто доставляло удовольствие видеть изумление и восхищение певицы, которая разошлась с мужем и не могла найти квартиру, когда я ее привозил на готовое». — «А если оплачивались эти услуги, то как?» — «Чаще

всего такими же услугами. Те, чьи просьбы я выполнял, помогали мне выполнять просьбы других. Иногда я получал вознаграждение». — «В виде чего?» — «Борзыми щенками». — «То есть?» — «Мне платили натурой. Кто предложит летом пожить на даче, кто привезет из-за границы куртку или диски». — «В чем же состояло ваше главное занятие?» — «Машина... Шестнадцать лет я выучился водить «Москвич», ездил с отцом, позднее я получил права и брал машину у отца, потом мы поссорились. Тогда я людям с машиной стал оказывать двойные услуги, и они мне доверяли. Часто я помогал перевезти вещи, доставить родных за город, иногда возил и самих владельцев машин. Допустим, к примеру, едет кинознаменитость на «Мосфильм». Съёмки до ночи. А ведь зима, холод. Он мне отдаёт машину. Вечером я ему подгоняю теплую, заправленную, да еще выполняю все его поручения, куда надо заеду и с кем надо переговорю. За день я, конечно, выполнял не только его поручения. Часто перевозил кого-нибудь из больницы, встречал на аэродроме прибывших и много еще чего. Машина давала мне свободу передвижения, темп. А темп, как известно, решает все». — «В чем же здесь риск?» — «Сначала я ничем не рисковал. Потом я познакомился со многими артистами, спортсменами. У меня появились женщины. Мне нужны были деньги. Свезти в ресторан, сделать подарки. Как-то раз я ездил на курорт». — «Об этом потом. Женщины видели в вас человека, который тратит на них деньги?» — «Ну почему же! Я был очень удобен им во всех случаях. Это же только мещанское представление, что у артистов или спортсменов сладкая жизнь. На самом деле жизнь у большинства из них очень муторная. Днем работа, репетиции, вечером спектакли или съёмки, концерты. Личной жизни иногда никакой. Разве что в самом коллективе заведется кто. А тут выплываю я. Подвезу, поухаживаю, накормлю. После спектакля придумаю какое-нибудь развлечение. Я являюсь в виде десерта к постному обеду. Или рождественского дедамороза. От меня им одни удовольствия да и просто облегчение жизни». — «И много было таких людей, которые нуждались в вас?» — «Я был нарасхват. Всюду меня встречали, всюду баловали и любили...» Ну как? — останавливается Родион. Лицо его задумчиво.

— Толковый мужик твой следовательно, — говорит Олег озадаченно. — За десять вопросов выяснил всю подоплеку. Валяй дальше. Меня не это интересует.

— И напрасно. Самое интересное именно этот тип и как он удобно вмонтировался в нашу жизнь. Почитал тебе вслух и начал воспринимать его другими глазами. Понимаешь, Рахманинов порожден неудовлетворенным спросом. А? Точно? Он как бы заполняет пробелы в сфере обслуживания.

— Пожалуй. Ну а как Рахманинов объясняет конфликт с Мурадовым?

— На этот вопрос он отказался отвечать.

— А почему машину угнал?

Родион листает записи.

— Вот здесь вопросы о машине... «Были ли вы в ссоре с родителями к моменту случившегося?» — спрашивает следователь. «Перед армией я год не жил дома. Потом вернулся из армии, ссор не было, я изредка видел мать, но домой не возвращался». — «Для чего вы в тот вечер пришли домой?» — «Чтобы взять «Москвич» отца. Я же вам объяснил. Мне позарез нужна была машина на три дня». — «Куда же вы собирались ехать?» — «Во Владимир». — «Почему у вас в руках оказался гаечный ключ?» — «Я пришел за машиной, собирался уехать в другой город. У меня были все инструменты на случай неисправности в дороге. «Москвич» наш был очень старым. Когда я понял, что

родители в отпуске и другого выхода нет, я решил ломать замок на отцовском гараже, достал напильник и гаечный ключ. Но ударив раза два по замку, я отказался от этой затеи, сообразив, что ключей от машины у меня все равно нет». — «Как вы узнали, что родители в отпуске?» — «Дома я их не застал. А потом встретил соседку». — «Вы имеете в виду Ирину Васильевну Шестопаля? Когда это было?» — «Тогда же. Не застав своих дома, я постоял у гаража, не зная, на что решиться. Увидев ее, подумал: может быть, она скажет мне о родителях». — «Расскажите о встрече с соседкой. Ее вы увидели перед самым появлением Мурадова?» — «Кажется, да. Я плохо помню, я уже сильно волновался». — «Хорошо. Рассказывайте». — «Она шла из проходного двора, и, хотя было уже темно, я ее сразу узнал. Их квартира была над нами, и я еще в детстве помнил, как здорово она играла на рояле. В руках у нее что-то было, кажется сумка с бутылками. Когда она подошла ближе, она увидела меня, но не узнала. Мне показалось, что ей надо помочь. Я ее окликнул. Она не удивилась. «Я Никита, сын Василия Петровича, — сказал. — Помните?» «А я-то думала, ты еще в армии», — ответила она. Потом Шестопаля предложила мне зайти к ним и сказала: «Что же ты стоишь во дворе? Ключей не оставили?» «А где мои?» — спросил я. «Уехали на юг, разве ты не знаешь?» — удивилась она. Я взял у нее кошелку, проводил. Вот и вся встреча». — «Почему вы пошли ее провожать? Вы хотели увести ее с места преступления?» — «Нет, это было безотчетно. Проводил, и все. Я же еще не решил, что именно сделаю, чтобы достать машину». — «И она вас ни о чем не спросила?» — «Не помню. Впрочем, может быть, она сказала что-то о дочке. Я когда-то возился с ее дочкой Мариной, когда та была еще маленькой. Кажется, она говорила о ее спортивных успехах. Меня это мало интересовало. Мне надо было добыть машину». — «И почему же все-таки не добыли?» — «Роковое стечение обстоятельств. Отпускное время, многие в отъезде. Кого застал дома, тем машина самим была нужна в эти дни. Никогда для меня не составляло проблемы раздобыть машину. А тут такая осечка вышла».

Родион снова останавливается, тянется за сигаретой. Олег замечает, что вид у него какой-то неважнецкий. Лицо серое, щеки запали.

— Бог с ним, — говорит он, вставая, — не буду тебя терзать больше. И так поражаюсь твоему долготерпению. Возишься с этим всю жизнь. Вот я в одно дело влез, и то у меня чувство какого-то постыдного соглядатайства.

В углу бьют часы. Они бьют, как колокол низкого регистра, наращивая один удар на другой. Шесть.

Родион поднимается.

— Знаешь, мне пора. А то эта Римма Касаткина еще раздумает. — Он закрывает папку, накидывает куртку. — Сегодня мне самому что-то не нравится в этой истории с Рахманиновым... Послушай, — вдруг оживляется он. — Действительно, поговори с Ириной. Первое — о том, из-за чего разошелся Никита с родителями, она, наверно, знает это. Второе — как к Никите относятся соседи, были ли у него в доме друзья. Третье...

— Минутку, — останавливает его Олег. — Мне бы знаешь что хотелось? Может быть, показания ее про то, что она увидела в гараже. Только это место давай просмотрим.

Родион неохотно скидывает куртку. В движениях тяжеловесная усталость, насилие над собой.

— Скажи, — Олег медлит, — ей что, обязательно в суд являться? А нельзя просто зачитать ее показания?

Родион останавливается.

— Ну и ну! — Он рассматривает друга, будто впервые видит. — Неужели ты не знаешь, что показания свидетелей, преступника, любого ходатая должны быть проверены в процессе судебного разбирательства? Не зачитаны, а проверены. Ясно? И каждый участник процесса обязан ответить на все вопросы судьи, экспертов, обвинения, защиты.

— Что же, — недоверчиво целит в него глазами Олег, — всех без исключения вызывают в суд?

— А ты думал? У одной из сторон могут возникнуть новые ходатайства, и тогда следующее заседание откладывается до явки нужных свидетелей. Это правило. И только в исключительных обстоятельствах показания зачитываются. Если свидетель физически не может явиться. В любом другом случае каждая из сторон имеет право настаивать на отсрочке разбирательства до вызова нужного им свидетеля. Сечешь?

— Ну и что, всюду это соблюдается?

— Должно соблюдаться.

— Ладно. Уговорил. Но все-таки прошу, найди мне запись этого места в ее показаниях.

Родион ухмыляется. Да, видно, напрочь околдовала Олега эта женщина. Он листает папку, находит нужные страницы.

— Вот, внимай сам. Впрочем, это мало что тебе даст.

«Это было часов в семь, может быть, полвосьмого утра, — читает Олег. — Мне позвонила соседка Нина Григорьевна Мурадова, попросила заглянуть к ним в гараж. Она извинилась, но сказала, что очень беспокоится: муж не вернулся домой от друзей. Меня удивила ее просьба. Обычно Мурадовы никого из соседей не посвящали в свою жизнь. Я взяла ключи и пошла. Было еще темно, стоял туман. Только вплотную подойдя к гаражам, я нашла их секцию, девятнадцатую. Ключи мне не понадобились, замок был навешен только на одну дужку. У меня еще мелькнула мысль, что сосед, наверно, выпил, забыл запереть гараж. В этой мысли я утвердилась еще больше, когда увидела, что гараж пуст. Машины в нем не было. Я только приоткрыла ворота гаража и начала их закрывать, но заметила, что ворота немного повреждены. Я прошла внутрь, зажгла лампочку и начала осматриваться. У самых ворот гаража, в углублении, лежал Егор Алиевич, свернувшись калачиком, и спал. Я подумала, как было бы ужасно, если бы я его заперла. Я подошла, чтобы его разбудить...»

Олег приостанавливается. Его поражает деловой тон показаний, четкость памяти, воспроизводящей подробности.

«...«Когда я подошла к нему, я все поняла...» «Что вы поняли?» — спрашивает следователь. «Я поняла, что он без сознания. Лицо, казалось, окаменело, рука, до которой я дотронулась, была чуть теплой. «Он сейчас умрет», — подумала я и попробовала чуть приподнять его. Тут уж я увидела под ним кровь. Тогда я догадалась, что он не по своей воле здесь оказался. Я сразу вспомнила, что нельзя трогать человека и касаться его, если что-то с ним произошло. Я прикрыла дверь гаража и побежала к автомату». — «Куда вы позвонили?» — «Сначала я хотела позвонить в «скорую» и в милицию, потом Нине Григорьевне». — «Ну и как, дозвонились?» — «В милицию... да... А может быть, и в «скорую» тоже. Не знаю...» — «Успокойтесь. Припомните, как вы все объяснили Нине Григорьевне». — «Я сказала, что муж ее в гараже. Он тяжело ушибся. Надо вызвать врача». — «А о машине она спросила?» — «Да. Я сказала, что машины в гараже нет. Теперь я точно помню, потому что она сразу поинтересовалась этим. Я даже удивилась, что она

это спросила. Но потом я поняла, что ведь она-то не знает, что с мужем. Думает, выпил и ударился. Она ответила: «Спасибо. Мне все ясно. Не беспокойтесь больше. Я займусь этим сама». Я ее спросила, не нуждается ли она сама в чем-нибудь. Она ответила: «Нет, спасибо, ничего не надо»...»

Олег закрывает папку, поднимается.

— Эй, где ты там?

— Тебя сторожу,— слышится из кухни.

Олег направляется туда.

— Когда начало-то? — спрашивает он, с изумлением оглядывая Родиона, присевшего на корточках у фондю, в которой что-то шипит.

Тикают часы, пахнет жареным мясом.

— За пять минут, понял? Мечта холостяков и вдов. Понимаешь, я без мяса буксую. По куску сейчас перехватим, а вечером, считай, ты приглашен на ужин.— Он смотрит на часы.— Давай жуй, а то уже без пятнадцати.

— Спасибо. Суд, говорю, когда?

— Суд? В десять тридцать утра.— Он пристально смотрит на Олега.— Ты что, придешь?

Олег кивает.

— Действительно? — радуется Родион.— Не передумашь? — Он стискивает руку Олега.— Конечно, подлец я, что тебя высвистел из муравьиной благодати. Слабинкой твоей воспользовался! А? Но ты извини. Я даже о п р о в е р ж е н и е потом протелеграфировал.

— Ладно уж паясничать,— пожимает плечами Олег.— Я свое все одно возьму. Про изотопы-то помнишь?

— Помню, помню. Не кляни меня,— извиняется снова Родион, насаживая на вилки по здоровенному куску мяса.— Побудешь с недельку, а там вместе махнем. Идет? Сколько еще у тебя остается отпусковых?

— Много,— отмахивается Олег, пробуя мясо.— Мне с ними делать нечего. Для изотопов мороз нужен. Жду морозов... Нет, положительно в тебе погиб повар,— смеется он, глотая мясо.

Родиону становится еще более стыдно.

— Знаешь, слабость человеческая. Духом пал. А Ирина-то как... в общем?..

— В «общем» хорошо.— Олег поднимается.

— Я провожу тебя.

— Не стоит,— уже не глядя на Родиона, устремляется к двери Олег.

«Ну и работка,— думает Родион, оставшись один.— Ни начала, ни конца, ни отзвука, ни удовлетворения...» Он понимает, что надо спешить, до встречи с Риммой остается всего полчаса, но в нем словно завод кончился. Родиона тянет прилечь подремать. «Да, времена Кони, Брауде, Плевако, гремевших на всю Россию, канули в небытие. Кому сегодня нужен талант адвоката? Десятку людей, связанных с данным делом? Допустим, у того же Олега внушительный список опубликованных работ, для него почти выстроен корпус с лабораториями и современной аппаратурой, клиником. И каждый год — рывок вперед. А я? Из чего бегаю, езжу, хлопочу?.. Для чего все? Как я могу уберечь, предостеречь таких Тихонькиных?»

Когда-то они с Олегом воображали, что их роль — быть п о с р е д н и к а м и. Между отдельной личностью и обществом. И призвание их — избавлять человека от изолированности, отторженности, созданной физической или нравственной ущербностью. Вернуть его в общество. Но так ли это? Возрастает ли в современном человеке желание

этой самой общности, это еще вопрос. У некоторых, напротив, усилилась тяга к изолированности... И все же не может, не должна выветриться у людей потребность в общении, единении. Просто она приобрела другие формы...

В сквере у консультации так желюдно, как на улице. Родион с трудом отыскивает свободную скамью. «Какие аргументы в пользу Тихонькина может использовать Вяткин после моего ходатайства? — размышляет он. — Существуют ли они в природе? Письма? Но они доказательство косвенное... Посмотрим дальше».

В обвинительном заключении нащупывается два слабых места. Он вынимает тот же блокнот и записывает: «Первое. Каким образом мог Тихонькин догнать и опередить ребят?» Двухметровый Рябинин убежал от преследователей с максимальной скоростью. Факт? Факт. Михаил вырвался от матери, когда все уже добежали до поворота на тропинку... Тоже бесспорно. Только после выкрика: «Он за мамину юбку хочет спрятаться!» — Тихонькин дернулся и побегал. С какой же скоростью он должен был бежать, чтобы догнать своих? Предположим, будут изучены параметры роста, шага... Можно ли установить, что Тихонькин не догнал преследователей? Так, попробуем подкинуть это Вяткину. Ну а второе? Подготовить эксперимент. Непременно. Только это даст нужный результат.

Идею эксперимента он вынашивал давно, потом отступился. Ошеломляющая дерзость задуманного настораживала. Нет, суд на это не пойдет. И все же он записывает: «Подготовить ходатайство на разрешение эксперимента с куклой»...

Сидеть неудобно и холодно. Римма запаздывает. Или он проглядел ее? Родион встает, начинает прохаживаться.

На крайней скамейке он замечает девушку. Она сидит, поджав под себя ноги, обнимая черный лакированный чемоданчик.

— Римма? — вглядывается в нее Родион.

Она кивком здоровается с ним.

— Можете теперь говорить? — уточняет он, пристраиваясь рядом. Римма чуть отодвигается.

— Не хочу, чтоб мама знала. Она так нервничает, когда я занимаюсь Мишей. — Римма сдергивает левую перчатку. Один палец, другой. — Не бросишь ведь друга в беде. Хотя помочь ему трудно. До конца только он знает, как все было. Вернее, я тоже подозреваю... но доказать не могу.

— Что же вы подозреваете?

— Ему гордость не позволяет, чтобы другие пострадали больше, чем он. Понимаете? В особенности Кеменов.

— Почему?

— Ну как это почему? — Она хмурит лоб, тонкие брови подрагивают. — Потому что друзья. А что тут такого? Это честно.

— Честно? Это ведь не с папой поссорился. — Родион еле сдерживается. — Какое право он имеет распоряжаться своей жизнью и жизнью других? Что он знает о ней?

Теперь она и вовсе обижается:

— Значит, знает.

— Но другие-то не думают о Михаиле.

— При чем здесь другие? — Голос Риммы звучит вызывающе. — Для Михаила это дело принципа. Вы его плохо знаете. Он ведь очень умный. И принципиальный.

— Какая это принципиальность! — отмахивается Родион.

Она возмущается:

— Да вы что, вправду не понимаете? Или притворяетесь? — Глаза ее сверкают. — Он их втянул в драку. — Лицо ее горит, губы дрожат. —

Они из-за него побежали за Рябининым, чтобы его, Михаила, защитить.

— От кого защищать-то? Рябинин никого не оскорблял.

— А это уже роковая ошибка.— Лицо ее становится печальным.— Привязался в кино Шаталов, а убили Рябинина. Вот что ужасно! Но и ошибка тоже произошла из-за Михаила. Он обязан был их остановить, да не смог. Он и считает, что виноват один.

— Вот вы как думаете...— Родион достает сигарету.— И вам не жаль Михаила?— Он замолкает, представляя, что ждет Тихонькина, если ошибку не исправят.

— Смотрите,— Римма распахивает сумку,— вот!

В зыбком свете фонаря Родион видит листок со знакомым почерком. Положительно последние двое суток он будто идет по следам этого почерка. Он осторожно берет листок из рук Риммы, медленно вчитывается в строки Тихонькина:

«...хотелось бы сказать многое, но нельзя. Надеюсь, ты когда-нибудь узнаешь всю правду, а пока это останется для тебя загадкой. За себя не боюсь, но не хочу, чтобы друзьям было хуже, чем мне. Ведь все произошло из-за меня. Поэтому я считаю, что самый большой срок должен получить я. Может быть, другой так не сделал бы, но я иначе поступить не мог. Попробуй понять меня и догадайся обо всем сама...»

— Это уже не для вас.— Римма отбирает записку.— А теперь вы как думаете?

— Так же, как и раньше. Ничего это не меняет.— Он старается передать ей свою уверенность.— Разве дело в одном Михаиле? Если уж у вас все разложено по полочкам, то объясните мне, почему Кеменов принял эту жертву? Ну допустим, Михаил сам все решил. Но почему остальные так охотно спрятались за его спину? А Васена Николаевна? Она-то не может же согласиться с решением сына.

Римма молчит. Он придвигается поближе, видит темные жесткие волосы, детский профиль, скошенные в смятении глаза.

И в какие-то секунды время смещается далеко назад.

...Вода, круглые пластинки льда, покачивающиеся на мелкой волне, яхта. Ветер почти утих, и только что вздутые паруса обмякли и сморщились.

Он стоит, глядя на монгольский профиль Наташи, подчеркнутый капюшоном. Она давно уже смотрит не отрываясь на воду. Примостившись на одной из льдин посреди реки, сидят две галки. Серо-черные клювы уткнулись в шейный пушок друг друга. «Скажи,— прерывает молчание Наташа.— Если чутье тебе подсказывает, что перед тобой преступник, он тяжело виноват в несчастье других, ты все равно воспользуешься неосведомленностью обвинения и будешь настаивать на своем?..»

У него начисто пропадает охота быть откровенным, любить ее, пропасть с ней на дне яхты. «Знаешь, порой мне кажется,— на глаза Наташи навертываются слезы,— что тебе не так правда важна, как твой...» «Ну что ты затеяла это сейчас?— раздраженно отмахивается он.— Ну, если хочешь, да, в любом случае я буду настаивать на соблюдении закона,— делает он над собой усилие.— Я не имею права поддаваться своим ощущениям, симпатиям или антипатиям». «Даже если ты уверен, что этот человек изворачивается и лжет? Он покалечил чью-то жизнь и хочет уйти безнаказанным? И тогда ты будешь за него?»

Он ищет глазами льдину с двумя припавшими друг к другу галками, но ее уже не видно.

«Да, бывает так. — Что ж, кое-что он попытается все же объяснить ей. — Следствие только предполагает виновность, а доказать ее не может. Обязанность адвоката настаивать на соблюдении всех норм, чтобы ни один человек не был осужден по подозрению».

Над водой повисла серая пелена. Нос яхты, приподнимаясь, рассекает туман, опускаясь, ныряет в него снова.

«Настаивать, даже против совести...» — глухо звучит ее голос за его спиной. «Господи, что ты заладила одно и то же! — взрывается он. — Сегодня я, послушный антипатии, допущу осуждение человека за вину, не доказанную до конца, завтра другой юрист во имя своей антипатии или, как ты говоришь, внутренней убежденности в виновности осудит невинного. Что же будет?»

Лодки попадаются реже, их уносит течением в излучины бухты. Яхту тоже гонит к берегу, в отражения берез, повисших над водой.

«Сочувствие — враг объективности, — говорит он жестко. — Адвокат должен заглушать этот голос во имя беспристрастного установления истины. Даже если в данном случае произойдет ошибка и один преступник будет оправдан... — Родион меняет галс, яхта замедляет ход. — Случайно проскочившая ошибка ведет к несправедливости по отношению к одному человеку, — он оборачивается к Наташе, но ее лица не видно, — а правило нарушать законы — к массовым беззакониям. Поняла? Юристы, между прочим, тоже люди. — Он смягчается. — И разные к тому же. У мягкого, доброго юриста побуждения гуманные, у непреклонного, жесткого — злобные. Можно ли поручиться, что побуждения любого из нас всегда объективно справедливы?»

Она продолжает молчать, опустив голову.

Яхта уже у самого берега, Родион ищет удобную излучину, чтобы причалить.

«Эй, — окликает он Наташу, — что с тобой сегодня?» Она мотает головой. «Продолжай, я слушаю. Так этот злобный адвокат...» «Вся штука в том, — Родион поправляет обмякшие паруса, — что жестокий человек не осознает себя как жестокого и несправедливого. Он думает, что оценивает обстоятельства правильно. И на основе собственных предположений будет карать всякого подозреваемого. Вот для чего пишутся законы. Они — объективные мерилa субъективных предположений».

Родион достает конец, бросает его на берег.

«Пойми, — делает он последнюю попытку сгладить ситуацию, — право на защиту одно из самых гуманных прав в мире, его нельзя отнять ни у одного подсудимого. Будь он закоренелым рецидивистом или впервые оступившимся юнцом».

Яхта толкнулась о берег. Он застопоривает ее у ствола березы, затем протягивает Наташе руку, помогая сойти.

— Мне пора. — Римма встает со скамейки. — Извините. — Она протягивает руку.

Родион растерянно смотрит на нее, пытаясь восстановить предшествующее.

— Мы обо всем поговорили?

— По-моему, да. — Она улыбается. — А насчет Васены Николаевны... Ничего вы от нее не узнаете. Семейные счеты.

— С сыном?

— Нет. Их семьи с Кеменовыми.

— С Кеменовыми?

— Может быть, вы не знаете, Мишин отец... — она запинается, — ну, в общем, он уходил из дома. Когда Мише лет семь было. Васена Ни-

колаевна тогда в прачечной работала. А тут устроилась на стекольный завод, зарплата побольше за вредность.— Римма поднимает глаза, взрослые, серьезные.— Там ей не повезло. Поступила на мебельную фабрику. И там тоже... Ну вы знаете, пальцы ей отхватило на правой руке.

Она медленно двигается, он — рядом с ней.

— А Кеменовы что же? — Родион старается попасть в ее шаг.

— Они ее спасли, можно сказать. Мишка только в школу пошел, Васена Николаевна в больнице, потом еще осложнилось... Тут Мишка у соседей-то и стал жить как свой.

— У Кеменовых? — переспрашивает он.

— Ну да. Ведь их матери большие подруги.

Она ускоряет шаг.

— Сколько же времени жил Михаил у Кеменовых?

— До шестого класса. В общем, лет пять... Извините, я побегу. А вы не ходите дальше. Если что-нибудь еще, позвоните. По вечерам я всегда дома...

Сейчас, в консультации, Родион наспех вносит пометки в свои записи в счастливом настроении открытия, как будто побывал в новом доме и прекрасном краю или встретился с необыкновенным человеком, поведавшим ему свою историю.

«Начну, начну новую жизнь,— выйдя на улицу, улыбается он про себя.— Например, не остановлю вон то такси, а двинусь к торным пешком. Подумаешь, час какой-нибудь».

Теперь уж можно всерьез заняться гаражным делом.

Разговор с Рахманиновым предстоит жесткий, но надо набраться терпения. Кто знает, может, в опасениях Шестопал и есть свой резон.

VIII

В утро суда Никита Рахманинов проснулся рано. Он почти не спал, думая о длинных, томительных днях, которые ему предстоят. С десяти до двух заседание, затем перерыв на обед, затем вечернее заседание. В каждую минуту этих дней ему надлежало слушать, отвечать, вспоминать все сначала от момента, когда он приехал домой в Москву за машиной, до той минуты, когда уже во Владимире его взяли и повезли обратно. Из разных уст предстояло ему узнавать мнения о случившемся и о себе самом, и избавиться от этого или сократить разбирательство было невозможно. Особенно мучительным ему казалось то, что факты и события, уже отодвинутые его сознанием в прошлое, на которых сам он давно поставил крест, нескончаемое число раз будут прокручивать чужие люди перед его близкими, и сейчас он просто не мог себе представить, как выдержит все это. Он предвидел, что во время процесса обвинитель и свидетели будут подолгу копаться в самом тяжелом для него — в мотивах происшедшего, расчлняя, объясняя каждый момент его избиения Мурадова в гараже, то есть нарочно возвращая его именно к тому, о чем он старался забыть. Порой это ощущение предстоящей нравственной пытки было столь невыносимо, что он думал о том, как хорошо и просто было бы все покончить разом, так сказать «оборвать нить жизни», пока его не вымотали окончательно. Но каждый раз, когда это состояние накатывалось на него и он начинал продумывать в подробностях и то, как он это сделает, и то, что за этим последует, что-нибудь да останавливало его.

Позавчера, к примеру, перед самой вечерней кормежкой появился его адвокат Родион Николаевич Сбруев и начал тянуть из него «правду». Он настаивал на том, чтобы Никита рассказал, какие отно-

шения были у него с потерпевшим Мурадовым до инцидента в гараже и что послужило действительным поводом к его избиению. И снова, как это уже не раз бывало во время свиданий с адвокатом, весь заряд умственной энергии Рахманинова, который нужен был для выработки плана самоуничтожения, ушел на то, чтобы обмануть проницательность Сбруева и не сказать ему того главного, из-за чего все произошло

Сбруев был ненамного старше его, двадцатисемилетнего, может быть, на пять-шесть лет, но разница была не в возрасте. Рахманинову казалось, что адвокат жил в совершенно ином круте представлений, мерил все совершенно другим аршином, чем он. Ничего он не смыслил в жизни Никиты, ничего не мог в ней изменить, и присутствие его только раздражало Рахманинова. Глядя на бледную физиономию адвоката, на небрежно откиннутые густые волосы и крупную рыхловатую фигуру, которую облагал коричневый в крапинку пиджак, шитый в каком-нибудь высококлассном ателье по спецзаказу, Рахманинов представлял себе, как, должно быть, бегаёт сейчас за этим красавчиком его мать, мать преступника, и какую сумму адвокат получит, если ему, Никите, не припаяют максимальный срок — пятнадцать лет строгого режима.

Сбруев поддерживал в нем слабую надежду на возможное смягчение участи. Но для этого он, Никита, должен был со всей откровенностью осветить ситуацию в гараже, по возможности не восстановив против себя судью и народных заседателей. Надежда адвоката смягчить приговор основывалась на внутренней его убежденности — в противовес обвинению — в том, что действия Никиты не были преднамеренными, заранее запланированными, но найти неопровержимые доказательства для подтверждения этого внутреннего убеждения было Сбруеву труднее всего. Никита это хорошо понимал. Но он не решился дать адвокату, далекому от его жизни человеку, те сведения, которые хотя бы объяснили истинную причину происшедшего. Он считал это абсолютно бесполезным. Во-первых, он сам ничем не мог подтвердить свой рассказ, вернее то доказательство, которое у него было, он не хотел приводить. Приведи Никита его — он вынужден был бы открыть суду тайные стороны жизни его семьи, что было для него невозможно. Во-вторых, этот последний аргумент тоже мало что изменил бы в деле, потому что скрытые обстоятельства, заставившие его ненавидеть Мурадова, не могли вызвать сочувствия у других людей, в том числе у адвоката. И Никита петлял в показаниях или отмалчивался. Сбруев, конечно же, чувствовал уклончивую неоткровенность подзащитного, и это не улучшало их взаимоотношения. Но Никите сейчас было все равно. Уже недели полторы как впал он в полную апатию, не нарушаемую ничем, кроме редких приступов отчаяния и мыслей о самоубийстве, и мечтал только об одном: чтобы все поскорее кончилось и суд был позади.

Но вот сегодня нестерпимая мысль о разбирательстве его преступления в присутствии родных и знакомых овладела им с новой силой. С удивлением он обнаружил сейчас, что все остальное — сколь бы жестоко с ним ни поступала судьба — было, как оказалось, гораздо легче выносить: физическую боль, опасность ареста, скитания по чужим квартирам и городам, допросы, которм, казалось, не будет конца, — чем эти пять-шесть дней процесса, которые ему предстояли.

От рокового решения покончить с собой его останавливала еще мысль о Соне. Пожалуй, это было единственное, что теплилось в нем, но и оно пробуждалось все реже. Соня работала санитаркой в ~~торговой~~ больнице, где полгода назад он пролежал дней двадцать, и у нее должен был родиться от него ребенок. Мысль об этом суще-

стве, которое появится на свет взамен его жизни или, во всяком случае, с иной судьбой, чем у него, вызывало в его душе непонятное движение.

Сейчас, когда все ценное и несущественное сместилось в его представлении, он вдруг осознал, что привязан к этой неказистой, малоподвижной Соне с мелкими перманентными кудряшками, не очень-то образованной и совсем не шикарной, и что ему безразлична Галина Козырева, сероглазая полногрудая актриска, на которой он недавно женился во Владимире и ради которой добывал эту проклятую машину.

Он знал, что Галина бросила свои спектакли, ходит из-за него по инстанциям, записываясь на приемы все к новым и новым важным лицам. Знал он также, что она делает это не только для того, чтобы выпутаться самой, но и потому, что действительно страшится разлуки. И какая бы мера наказания ему ни грозила, она думает сейчас, что будет ждать его долгие годы, ездить на свидания в далекие края, чтобы жить с ним там, когда ей это разрешат. Но совместное будущее с нею тоже не имело сейчас для Никиты никакого значения. В последние дни он почти не вспоминал о Галине, был с нею груб на единственном свидании, отговаривал ходить по начальству. А о Соне он думал неотступно, пока не овладело его душой то полное равнодушие, которое сделало его бесчувственным и к ней и ко всему на свете.

Именно в таком состоянии апатии, к которому со вчерашнего дня присоединилась зубная боль, находился он до этого утра, утра суда. Сейчас же его лихорадило, то и дело он покрывался испариной, и в каждой части тела стучал молоточек, который он не мог остановить. Ему казалось, что до машины, которая повезет его в городской суд, и то не добраться — так била его дрожь и дергал зуб. Если бы сейчас Рахманинова спросили, какое у него единственное желание, он попросил бы беспробудного сна на эти семь дней, с тем чтобы очнуться, когда приговор будет уже оглашен. Или чтобы произошло чудо подмены и кто-то другой мог пройти за него все стадии разбирательства, ответить на вопросы, а он не слышал бы их, не знал об этом совсем и только сам уже отбывал наказание.

За ним пришли около десяти.

— Рахманинов, в суд, — сказал молодой конвойный, открыв дверь. — Что ж ты ничего не ел? — добавил он, поглядев на миску. — Перед судом подкрепиться следует...

У двери стоял другой конвойный, такой же молоденький, как и первый. Оба они были по-деревенски румяны, здоровы, и обязанность сопровождать преступника для них ничего такого особенного не значила, они ее выполняли четко, но благодушно. Второй конвойный был особенно веселого нрава. Никита где-то его видел, тот кивнул ему как знакомому и улыбнулся. Пока Рахманинов влезал в рукава пальто, почему-то ставшего ему тесным, пока вели его на улицу, этот парень пританцовывал, бормоча: «Суд идет, и наш процесс кончается...» — и чувствовалось, что у себя дома он первый гитарист и танцор и по девочкам не дурак. Никита все это замечал, но внешний мир не пробивался к нему, как будто он наблюдал все происходящее из окна вагона.

Когда вошли в здание суда на Каланчевской улице, Рахманинов, проходя по коридору, нечаянно увидел свое отражение в оконном стекле и поразился, как старо и некрасиво он выглядит. «На лбу залысины, морда помята, как у сорокалетнего. С такой будкой надо завязывать существование».

В горсуде шел ремонт. Как все ремонты, он затянулся. Осенние дожди и сырость мешали просохнуть выкрашенным потолкам и сте-

нам. Пахло мокрой штукатуркой. Помещение еще не топилось, и в зале заседаний было холодно и сыро.

Рахманинов с удовольствием опустился на скамью за деревянным барьером, трое конвоиров обступили его, он опустил голову и прикрыл глаза, чтобы еще минуту никого не видеть и не слышать.

Так он сидел, не разгибаясь, за перегородкой, отделявшей его от зала, но краем глаза видел, как впустили публику, как побежала девушка-секретарь с обвязанным горлом, как, положив на стол том его дела, она степенно, сдерживая дыхание, вошла в комнату судьи и сразу же появилась, сказав до шепота сильным голосом:

— Встать! Суд идет!

В зале задвигали скамейками, люди вставали вразнобой, поднялся за барьером и Рахманинов. Скосив глаза вправо, он сразу охватил взглядом весь зал, лица — матери, Сони, Нины Григорьевны, жены Мурадова, затем увидел справа от себя столы, за которыми привычно друг против друга разместились прокурор Мокроусов и адвокат Соруев, потом уж стал рассматривать судью и двух народных заседателей.

Когда все сели, судья разложил перед собой листы дела, шепотом условился о чем-то с народными заседателями — очень полной седоватой женщиной с ямочками на щеках и добрым ртом и молодым усатым мужчиной с натруженными сухими руками, которые на столе казались непомерно большими. И снова чувство безысходности охватило Рахманинова. Он опустил голову и устался в пол.

Пока проходили все формальности, он полудремал, прислушиваясь к ноющему зубному нерву. Объявили состав суда, потом посыпались вопросы к жене потерпевшего, обвинителю и к Рахманинову — доверяют ли суду в этом составе. Никита, отвечая, машинально вставал, затем садился и снова погружался в забытие. Судья принялся разъяснять права подсудимому, истице, судебному эксперту. Было выслаушано ходатайство прокурора о допуске общественного обвинителя, и после всего этого судья приступил к чтению обвинительного заключения.

Никита ознакомился с обвинительным заключением дней десять назад, и тогда оно вызвало в нем жгучее сопротивление. Может быть, потому, что он впервые увидел себя глазами обвинения, а может быть, из-за языка, которым оно было написано. Все в этом заключении, как показалось Рахманинову, было подведено под логику и лексикон сухого протокольного судопроизводства. Ответы, показания свидетелей и поучительный вывод, вытекавший из всего этого, выглядели казенно, как будто речь шла об инвентаризации или бюджетном балансе. Рахманинов сознавал, что почти все факты обвинительного заключения были верны, но их изложение и истолкование казались ему карикатурно огулленными.

Сегодня при чтении того же документа он не почувствовал ничего. Лить бы скорее. Он знал, что чтение займет не менее получаса, и решил использовать это время, чтобы отдохнуть.

Рахманинов попытался забыть, где и зачем он находится, заставить себя думать о чем-нибудь постороннем. Но ни забыть, ни думать о другом он не мог. С приходом судьи и заседателей что-то сдвинулось в его психике. Нервы взвинтились до предела, лихорадка усилилась.

Чтобы избавиться от этого, он постарался отключить голос судьи и стал изучать лица присутствующих, придумывая, что это за люди в обыкновенной жизни и чего они ждут от суда.

Сам судья, медленно, чуть задыхаясь, читавший этот страшный для зала документ, был вовсе не стар. У него было тонкое, нервное

лицо, произнося слова, он чуть шепелявил, и при этом его щеки подрагивали. С помощником прокурора района, выступавшим здесь в качестве обвинителя, у Рахманинова были свои счеты. Никита не мог привикнуть к его тону, казавшемуся высокомерным, к омерзению, которое прокурор, думалось, испытывал, обращаясь к нему. Сейчас злое, агрессивное чувство при взгляде на широкое лицо Мокроусова, твердо очерченный подбородок, как бы приходивший в противоречие с близоручко щурившимися глазами, которые угадывались за стеклами в тонкой позолоченной оправе, шевельнулось в Рахманинове. Шевельнулось и погасло. Все, что записано в заключении, которое читал судья, было делом рук многих, в том числе и свидетелей, среди которых были люди, прежде вызывавшие у Никиты даже симпатию. Он думал, что, очутись он на воле, он мог бы вот с этим коротать вечера, а с этим смотаться на бега, поставив по три рубля на Красавицу или Нежную. А с Ириной Васильевной Шестопап, будь она лет на пять помоложе, можно было бы и в Крым прокатиться. Когда Рахманинов думал о показаниях именно этих симпатичных ему людей, зубная боль делалась нестерпимой.

Он почувствовал, что еще больше устал от всеобщего внимания, где не понять, чего было больше — презрения, жалости или просто циничного любопытства, и скользнул взглядом в сторону адвоката. Это был единственный человек, которого совсем не занимал Рахманинов. Сбруев диктовал свои записи. Обвинительное заключение он знал наизубок и сейчас, по мнению Рахманинова, не испытывал к нему, своему подзащитному, ровным счетом никаких чувств, а занят был лишь собственной ролью в этом деле и тем, как ее играть в тех неожиданных обстоятельствах, которые готовит ему этот процесс. Ведь Сбруев и мать хотели лишь одного — уйти от обвинения в сознательном избитии с целью грабежа, и это тоже было ему неприятно. Рахманинов внутренне был уверен, что абсурдность обвинений в предумышленном нападении очевидна, но радости при этой мысли не испытывал. Поэтому усилия адвоката тоже не вызвали у него никакой благодарности. Он, Никита Рахманинов, всю жизнь только то и делал, что ошибался, уродовал свою жизнь, которая теперь была кончена, а этот Сбруев чувствовал себя непогрешимым и, очевидно, еще собирался двигаться ввысь по лестнице благополучия. Сейчас он глядел с неприязнью, притупленной лихорадкой и зубной болью, на хорошо отутюженный костюм адвоката, смуглое подвижное лицо с высоким, как казалось, безмятежным лбом и нетерпеливо подрагивающими губами и на то, как, углубившись в свои записи, то и дело откидывал он привычным жестом черную прядь волос, падавшую ему на лоб.

Затем он подумал о матери и осудил ее за то, что она притащилась на суд, накрасив губы. Не понимает она, что ли, что его ответишь и все, что по ниточке будут здесь разматывать, совсем не для ее ушей? Пришла бы на отглашение приговора через пару дней. Ей и этого бы с лихвой хватило. Но когда он вгляделся в лицо матери и увидел, как она опухла, порыхлела за время, прошедшее с последнего свидания, как малиново-красны ее веки, то невольно ответил на ее виноватом умоляющий взгляд.

Соня сидела позади всех, на задней скамье, и лицо ее ничего не выражало. Он всегда удивлялся непроницаемой тяжеловесности ее взгляда, улыбки. Казалось, лицо это не имело никакого отношения к тому, что происходило в душе. Никакой зависимости. Он судил о ее чувстве к нему только по ее поступкам. Пять с половиной месяцев назад она ошарашила его тем, что хочет оставить ребенка. Теперь беременность была заметной, и Никита думал о том, что, услышав приговор, она поймет, что уже поздно что-либо изменить. В последнее

время в ней ощущалась особая отгороженность от внешних событий, свойственная беременным женщинам, когда внутри них происходит непонятная работа другой жизни. Может быть, именно она, эта отгороженность, даст Соне силы вынести весь ужас человеческих и гражданских обвинений, которые посыплются здесь на него. Он жалел сейчас Соню, боялся за ребенка, которому придется дышать отравленным воздухом известки, сырой штукатурки и судебного разбирательства. Но и только. Сейчас и это тоже не трогало его по-настоящему.

— Подсудимый, встаньте,— услышал он голос судьи и понял, что оглашение обвинительного заключения окончено и для него тоже все кончено. Все, что было до этого. И отдых, и наблюдения, и вольные его мысли о своей и Сониной жизни. Настала минута, которая ляжет железной плитой между его прошлым и будущим.

Как в тумане отвечал Рахманинов на вопросы, отчетливо осознавая лишь, может, два-три момента. Они касались не подробностей, хотя интереснее всего для окружающих были именно подробности, а общих черт его жизни, когда судья или прокурор пытались нащупать связь между происшедшим ночью в гараже и всей предыдущей жизнью Рахманинова. Он вышел из своего оцепенения, когда прокурор вдруг спросил:

— Для чего вы сочиняли версии, которые заведомо были ложны? На что вы надеялись?

— Не понимаю вопроса,— попытался отделаться Рахманинов.

— Я уточняю. Вы надеялись на то, что переложите вину со своих плеч на другие? И уйдете от ответственности?

— Ничего я не надеялся. Я просто сочинял, чтобы отвязаться от расспросов.

— Боже,— услышал он голос матери,— что такое он говорит?

В зале произошло легкое движение.

— То есть допусту лгали? — уточнил прокурор.

— Назовите как угодно. Я выдумывал что попадо.

— Для чего? Вы надеялись уйти от приговора?

— Никуда я не хотел уйти,— раздраженно огрызнулся Никита,— мне легче было говорить на другую тему.

— Не дерзите суду, Рахманинов,— сердито обрывает его судья.— Для выяснения истины вы обязаны подробно отвечать на все вопросы.

— Я уже все рассказал на последнем допросе. Зачем заново копаться в этом?

— В суде вопросы могут задавать только в а м,— резко парирует судья.— Вы не имеете права задавать вопросы. Потрудитесь и з л а г а т ь ф а к т ы, а уж суду позвольте их оценивать.

— Виноват, гражданин судья.— равнодушно извиняется Рахманинов.

— Разве вы не понимали, что врать безнравственно? Вы что же, всегда вдали? — продолжал свое прокурор.

— Если надо было. Что тут особенного? Многие врут, и я тоже.

— Для чего вы лгали?

— Это очень украшает жизнь. К примеру, если ты скажешь женщине, что без ума от нее, жить без нее не можешь, ей хорошо и к тебе она отнесется теплее. А если правду...

— Ваша философия нас не интересует,— перебивает судья.— Отвечайте на вопросы.

— Вот вы связаны узами брака с Козыревой, угнали ради нее машину,— монотонно продолжает обвинитель,— значит, вы любите ее?

— Нет.

— А что же?

— Это был расчет.

— Какой?

— Женитьба помогала мне освободиться от родительской опеки. Козыревой было хорошо, а мне удобно.

Прокурор задумывается.

— Скажите, а сейчас вы тоже лжете?

— Сейчас я говорю правду.

Потом пошли какие-то уточнения, и снова он отвечал механически, отключив эмоции и мысли. Волна тупой ноющей боли захлестнула его. Он вынырнул из нее, когда услышал:

— Вы пытались лишить жизни человека хорошего, ценного для общества, из-за машины,— уточнил прокурор.— Вы что же, считаете, что ради исполнения вашей прихоти можно отнять жизнь у человека?

Рахманинов не реагировал, до него дошел лишь конец фразы. Прокурор повторил вопрос.

— Это вышло случайно.

— Случайно? Как же вы могли «случайно» нанести множество ударов по голове и спине гаечным ключом? Чтобы отнять машину и увезти ее, вам достаточно было одного-двух ударов, а вы продолжали зверски избивать свою жертву.

— Я не собирался отнимать у него машину.

— Но вы ее увели. Как же можно объяснить это?

— Это уже потом. Когда я думал, что все кончено. Мне уже было все равно.

— Значит, вы уверяете, что не собирались угонять машину Мурадова, когда начали избивать его?

— Нет. Просто увидев, что он лежит без движения, я уж заодно прихватил и машину. Мое дело было кончено.

— Как же связать показания вашей жены Козыревой о том, что вы поехали в Москву за машиной, с тем, что вы не собирались, по вашим словам, брать машину?

— Я собирался достать машину у отца или у кого-нибудь из друзей. Я обошел многих до этого, но мне не повезло.

— Значит, вы просто так, без всякой корыстной цели, избили хорошего человека?

— Он не был хорошим человеком.

— Это по-вашему. А по отзывам всех, кто его знал, он был честным, прекрасным человеком.

— По отзывам всех, кто знал меня, я тоже был неплохим человеком.

— Не дерзите, Рахманинов,— опять предостерег судья.— Отвечайте на поставленный вопрос.

— Объясните, за что конкретно вы избили Мурадова?

— Не могу объяснить, но только не из-за машины.

— Значит, если бы возобновить ту ночную ситуацию, вы повторили бы то же самое?

— Сейчас нет.

— Что изменилось?

Рахманинов молчит.

— У меня больше пока нет вопросов.

Прокурор захлопывает блокнот, смотрит на судью. Никите кажется, что лицо его говорит: как я ни стараюсь быть спокойным, но вы сами видите...

— Гражданин Рахманинов,— обращается к нему судья,— вы усугубляете свою вину отказом отвечать. Вы признались в своей вине. Ответьте теперь суду, почему вы раскаиваетесь в содеянном?

На мгновение в голосе судьи Никите слышится что-то отеческое. Он чувствует, как покрывается испариной. Зеленые круги медленно плывут перед глазами, и впервые память касается того, что предшествовало драке. Если бы даже он рассказал об этом, ничего бы не изменилось. Ни для кого из них. Разве что для Сонькиного ребенка.

— Потому что теперь я дорожу своей жизнью,— говорит он раздельно,— а тогда я ее ни во что не ставил. Окажись я слабее, Мурадов не пощадил бы меня. Но оказался сильнее я, вот и вся разница.

— Вы что, серьезно считаете,— брови судьи ползут вверх,— что можете по своему усмотрению вершить суд и чинить расправу?

— Да, тогда я так считал,— говорит Рахманинов, до боли стискивая зубы, чтобы они не щелкали.

— У меня еще вопрос,— заявляет прокурор.— Скажите, подсудимый, что конкретно так подействовало на вас сегодня? Страх перед наказанием?

Рахманинов медлит. Труднее всего ему отвечать прокурору.

— Многое...— наконец произносит он.— Можно сказать, что и предстоящее судебное разбирательство, сам процесс заставил меня все продумать сначала. Всю мою жизнь.— Никита чувствует, что этого не надо было произносить. Сейчас нервы у него сдадут. Дрожь бьет все сильнее. Собрав остатки воли, он заставляет себя успокоиться, обрести равновесие.

Вопросы переходят к адвокату. Вот оно, наиболее мучительное. Рахманинов предвидит, что Сбруев будет копаться в самом болезненном, его вопросы пройдут в миллиметрах от эпицентра случившегося «для его же, Рахманинова, пользы».

— Расскажите,— спрашивает Сбруев,— почему вы ударили Мурадова? Постарайтесь поподробнее вспомнить этот момент. Кстати, кто ударил первый?

— Первым ударил я.

— Продолжайте.

— Когда соседка Шестопал мне сказала, что родители на курорте, я понял, что и машиной отца не смогу воспользоваться. До этого я уже многих обзвонил, не хотел у своих одалживаться. Я попробовал гаечным ключом сбить замок с нашего гаража, но сообразил, что ключей от машины у меня все равно нет. Тут я стал прикидывать, у кого еще можно добыть машину. Без машины я не мог вернуться. В это время подъехал Мурадов. Я обрадовался — он мог меня выручить. Он вышел, чтобы открыть ворота. Я был уверен, что машину он мне даст. Но он отказал. Мы заспорили, он сказал какую-то гнусность. Мы подрались... Дальше я плохо помню.

— Почему вы были уверены, что Мурадов даст машину?

— Потому что он мне раньше не отказывал.

— «Потому что он мне раньше не отказывал»,— для протокола четко повторил Сбруев.— В чем причина, что другим он не доверял машину, а вам давал?

— Он кое-чем был обязан мне.

— Чем именно?

— Неважно. Это к делу не относится. За ним был должок.

— Денежный?

— Нет. Мне и в голову не могло прийти его избивать,— говорит неожиданно Рахманинов и чувствует, как начинают дергаться его губы,— но он сам нарвался,— добавляет он тихо и замолкает.

Сейчас то, как это было в действительности, молнией проносится в его мозгу.

«...Больше ничего не хочешь?— говорит Мурадов и показывает Никите жирный кукиш.— Может, тебе подарить ее, а?» Кукиш рас-

плывається перед глазами Никиты, он уже заслоняет всю отвратительную морду соседа...

— Вы слушаете, Рахманинов? — прорывается к нему голос судьи. — Я вас спрашиваю, для чего вам была так нужна машина? По-зарез, как вы выразились.

— Хотел... сдержать слово.

— Вы чуть не убили человека, чтобы сдержать слово?

— В известном смысле так. — Рахманинов чувствует приступ тошноты. Его мутит от реальности картины, прошедшей перед ним сейчас. — Извините, гражданин судья, — говорит он. — Я плохо себя чувствую. Прошу перерыва.

Судья смотрит на побелевшее лицо Рахманинова, шепчется с заседателями.

— Суд, совещаясь на месте, постановил удовлетворить просьбу подсудимого. Перерыв на пятнадцать минут.

Сначала выходят посторонние и свидетели, затем Нина Григорьевна Мурадова («Порядочная стерва, — думает о ней Никита, — понятия не имеет о своем муже»). Мать Никиты ждет Сбруева, пока тот переговаривается с Мокроусовым. Со стороны они кажутся единомышленниками. Как-то схлестнутся в заключительных речах?

Соня не двигается с места. Как будто требование конвоя к ней не относится. Продолжая сидеть, она не мигая смотрит на Никиту, и ее остановившийся, пристальный взгляд ничего не выражает.

Никита видит, как молоденький белозубый конвойный, покосившись на живот Сони, обращается к ней. Она неохотно поднимается, запахивает то и дело расстегивающееся на животе пальто и уходит, тяжело переваливаясь с ноги на ногу.

Суд тоже удаляется в свою комнату, и Никита наконец остается в зале один с конвоем. Молоденький светло-русый парень начинает напевать и пританцовывать около Никиты, как застоявшийся конек.

— Есть небось хочешь?

— Нет.

Ничего он не хочет.

После перерыва возобновляется допрос Рахманинова. Подсудимый вял, апатичен, лицо его, покрытое пятнами, особенно яркими на лбу и у носа, выглядит измученным. Несколько ответов — и он садится на скамью, опустив голову.

Начинается допрос свидетелей.

Со стороны Мурадова проходят: хозяин дома, где провел Егор Алиевич вечер перед возвращением в гараж, гости, видевшие его там. Все они показывают, какой аккуратный, вежливый, интересный человек Мурадов, как в этот роковой для него вечер был он остроумен, весел. Хорошо говорят о Мурадове и его сослуживцы и соседи по гаражу.

Владельцы индивидуальных гаражей в Сретенском тупике отмечают, помимо всего прочего, «патологическую любовь Егора Алиевича к своей машине». «Он ухаживает за ней постоянно, истово, консультируясь в малейшей неисправности. Боясь какой-либо случайности, он никогда ключей никому не доверяет и не оставляет в машине посторонних. Даже если в дороге передает руль, то, пересаживаясь, не оставляет ключей в замке, а вынимает их, передавая из рук в руки. В расчетах точен и бережлив до скрупулезности».

Потом пошли свидетели со стороны Рахманинова.

Из Владимира приехали две актрисы и один актер, хорошо знавшие отношения Никиты и Галины Козыревой, администратор гости-

ницы, где они жили, и старик Бородкин, билетер и сторож, которого Никита возил два дня по городу вместе с актерами. Все они на разные лады намекали, что-де не вышло бы ошибки, уж очень непохоже на Рахманинова это зверское избиение. Кроме хорошего, они от него ничего не видели: добрый, щедрый, всегда выручит из беды.

— Неужели вас не интересовало, откуда такая щедрость? — спрашивает прокурор Бородкина.

— Ну что вы, — машет тот руками, — как это можно спрашивать?

— Человек вернулся из армии и вот разъезжает на машине, платит за всех. Это не вызвало у вас подозрений? — обращается он к актрисе, подруге Козыревой.

— Нет, — пожимает она плечами, — не вызвало. Человек платит, значит, есть чем.

— У меня еще вопрос к подсудимому, — заявляет обвинитель.

— Подсудимый, встаньте, — говорит судья.

Рахманинов встает.

— Объясните суду, откуда у вас были деньги?

— Мне давали. Не крал же я. Я выполнял работу, и мне давали.

— Какую, к примеру?

Рахманинов отвечает чуть слышно, неразборчиво, язык его будто распух.

— Купит кто-нибудь издалека машину. Ее надо перегнать, допустим, во Фрунзе. У владельца нет достаточного умения или прав на вождение. Я это за него делаю... Достану нужную вещь... Или машину почию... Чаще всего чинил машины. Я ведь во всех марках разбираюсь... Деньги были всегда.

— Почему же вы считали необходимым тратить их попусту? Вы не ценили деньги?

Рахманинов пожимает плечами.

— Не знаю... Натура такая. Я любил быть в центре внимания.

И опять проходят свидетели. Они подтверждают: да, он всегда был в центре внимания в их компании. Выпивал? Нет, не слишком. Во всяком случае, не видали, чтобы до безобразия. Никогда не дрался, не хулиганил.

Наконец просят в зал Галину Козыреву.

Она вызывает особый интерес зала. В публике происходит движение, ее разглядывают и оценивают. Сообщница? Шлюха? А может, действительно жена? «Ничего не знала, не ведала».

— Расскажите, как вы познакомились с Рахманиновым, — говорит судья. — Как можете его характеризовать и поподробнее о той встрече, вернее ночи, когда он приехал из Москвы на машине.

Козырева переминается с ноги на ногу перед столом суда. Она кажется крайне неуместной в этом зале в своем лакированном красном пальто, красных лакированных сапогах, с длинной гривой распущенных русских волос.

— Мы встретились на улице в Москве, — говорит она запинаясь и перекидывает за спину волосы. — Рахманинов прогуливался с товарищем, подошел ко мне. Говорит: «Вы скучаете, и мы скучаем. Может, зайдём в кафе погреться?» Приличные молодые люди, хорошо одетые, почему не пойти. Я пошла. Через день он уехал со мной во Владимир.

— В каком качестве он уехал с вами?

— Как муж.

— Почему же вы так быстро согласились стать его женой, уехать с ним? Вы ведь его совсем не знали? — щурится судья.

Козырева пожимает плечами. Пальцы бегают вдоль пуговиц лакированного пальто. Она то расстегивает их, то застегивает.

— Почему не знала? — поднимает она глаза на судью. Глаза серые, настороженные. — Два дня достаточно, чтобы узнать. А если не узнаешь — то и двух месяцев мало.

Это уже мировоззрение.

— Как же вы, взрослая, самостоятельная женщина, актриса, решились связать свою судьбу с малознакомым?

Козырева мнетя, подыскивая слова.

— Он был очень вежливый, — выдавливает она из себя, — не мелочный. Ну и внешне мне понравился. Он ведь не такой был, — простодушно оборачивается она на Рахманинова.

Никиту передергивает. Он с презрением смотрит на эту женщину, которая всего полгода назад сводила его с ума.

— Вы считаете внешность и вежливость достаточно вескими аргументами для выбора спутника жизни? — говорит судья. На лбу его пролегают длинные поперечные морщины.

Теперь Никите видно, что судья отнюдь не так молод, как кажется.

— Конечно, — удивленно вскидывает брови Козырева, — если есть... — она подбирает слово, — есть подходящая наружность и симпатия.

— Достаточно, — обрывает судья. — Что произошло в ночь на десятое июля?

— Ну, он пришел очень поздно, сказал: вон гляди в окно — машина. Тебе подарок в день именин... Будем гулять. — Она закусывает нижнюю губу. — Я выглянула в окно, думала, разыгрывает. Под фонарем, вижу, стоит заграничная голубая машина. У меня аж дух захватило. Фантастика, говорю. Я ведь его так любила, так любила! — Она вспыхивает, но сразу берет себя в руки. — Вижу, он устал очень, бледный. Шутка — полночи в дороге. А он говорит: нет, я не очень устал, ты лучше брюки постирай. Что, мол, с тобой, спросила, на тебе лица нет? А он говорит: я по дороге человека сбил, в больницу отвезил. Сильно, спрашиваю, поранил человека? Нет, говорит, он уже в порядке. Потом мы легли спать. — Она краснеет и мнетя снова. — В общем, утром поехали на речку.

— Два дня вы гуляли, бывали в ресторанах. За все это платили. Откуда же у него такие деньги? Вы же ему не посторонняя, неужели ни разу не спросили?

— А что было спрашивать? В этот раз я ему давала, он был совсем пустой.

— Без денег? Это вас не удивило?

— Он сказал, что не успел снять со сберкнижки. А я как раз получила за гастроли. Их мы и тратили.

Прокурор заявляет ходатайство на вопрос к свидетельнице. Судья удовлетворяет ходатайство.

— Рахманинов утверждает, — говорит прокурор Козыревой, — что в браке с вами у него не было любви, один только расчет. Часто так бывало, чтобы вы тратили на него свои деньги?

— Как это расчет? — Женщина остолбенело глядит на Мокроусова, потом переводит глаза на мужа, сидящего за барьером. — Ерунда, — приходит в себя Козырева. — Без меня он минуты не мог прожить.

— Врет она, сволочь! — раздается хриплый голос из зала. — Из-за нее все! И машина и драка!

Никита вздрагивает. Он видит искаженное злобой лицо Сони и то, как она, выкрикивая, приподнялась всем на обозрение. Зал разом загудел.

— Прекратить реплики! — кричит судья. — Иначе мне придется удалить из зала всю публику. Продолжайте, — обращается он к Козыревой, когда тишина опять восстановлена.

— Зачем мне врать, — пожимает плечами Козырева, — пусть он сам подтвердит.

— Рахманинов, — настаивает прокурор, — вы подтверждаете, что в отношениях с Козыревой вами ничто, кроме расчета, не руководило? — Истинная правда, — говорит Никита.

Козырева начинает всхлипывать. Слезы, как капли из испорченного крана, стекают на подбородок, на лакированный красный обшлаг. Потом она утирает глаза вышитым батистовым платком, успокаивается.

— Все равно врет. И тогда мне все врал и теперь. Тогда врал, что аспирант, что у отца машина. А я видела, что хвастает, но не хотела его разоблачать. Если ему так лучше, пусть фанаберится. А теперь, если хотите знать, — обращается она уже прямо к судье, — у меня с ним ничего общего не может быть. Он уголовник, и наш брак недействителен. Я знать ничего не знаю, что у него там приключилось.

Она опять хлопает в свой платочек. Когда поднимает голову, видно: размыло краску на веках, стерлась помада.

Судья уже не смотрит на Козыреву. Он быстро проглядывает листы дела.

— И последнее... Успокойтесь, Козырева, и отвечайте: где именно были пятна крови, когда вы стирали Рахманинову брюки?

— Я же заявляла... — Всхлипы ее прекращаются.

— Козырева, — терпеливо разъясняет судья, — мы же договорились с вами, что прежние показания надо повторить, они должны быть подтверждены в ходе судебного разбирательства. Договорились?

— Так я и подтверждаю: были пятна. А что кровь, я не заявляла, думала, грязь, — скороговоркой отвечает Козырева. — Я теперь подтверждаю только насчет его характеристики. Если он говорит «расчет», значит, он подлец. Так и запишите, что он подлец, и это мое сегодняшнее мнение.

Судья перешептывается с заседателями. Те кивают.

— Вы пока свободны, — говорит он Козыревой. — Спасибо... Перерыв до трех, — объявляет судья в зал. — После обеда продолжим. — Он заглядывает в листок и обращается к старшему по конвою: — Предупредите, пожалуйста, свидетельницу Шестопал Ирину Васильевну, что ее вызовут первой после обеда.

Рахманинов слатывает слюну. Наконец-то его отпустят на полтора часа. Отдых. Не слышать их голосов, не думать о предстоящих показаниях соседки, после которых начнется самое мучительное.

Обед. Сейчас Никита представляет себе, что он значит для других. Для судьи, для прокурора, для Сбруева. Он воображает, как они съездят домой или в ресторан, подадут им обед из четырех блюд. Закусочка, стопочка, борщ, стейк. Пусть их. У него самого нет аппетита, во рту тошнотворная вязь, как после блевотины, в голове — непроглядная муть. Нет, ничего ему не надо. «Скорей бы конец, — думает он. — Какой-никакой, а конец».

IX

Ранним утром, когда Олег только проснулся, резкий юго-восточный ветер бил прямо в его окно, шевеля занавеску, а сейчас все улеглось, выглянуло солнце, заблестев в каплях, свисающих с крыш.

В начале девятого он позвонил в клинику своему ординатору Инне Ивановне.

— Олег Петрович! — ахнула Инна Ивановна, которую он помнил еще аспиранткой Инночкой.— Все хорошо, не беспокойтесь.— Считаю, что он звонит из Гурулева, она кричала сверх необходимого вдвое.— Затылочные боли прекращаются в среднем на четвертый день, зрительные расстройства исчезают еще раньше. Остальное надо еще анализировать, продолжаем наблюдения.

Сообщение Инночки обрадовало его. Новая программа лечения расстройств мозгового кровообращения начинала себя оправдывать. Но только начинала.

— Расскажите мне подробнее о Колосове и Марусе Куравлевой,— просит он.

Милый голос Инны Ивановны возвращает его в привычное русло забот, от которых он отвык за эти недели. И он чувствует, как обретает душевное равновесие и ощущение прочности, надежности своих поступков.

— Колосов выписался,— говорит Инночка.— В шесть вечера за ним полцеха приехало.

— Это хорошо.— Олег чувствует легкое разочарование.

— Ждут вас на заводской вечер,— продолжает Инночка.— Колосов там гвоздь программы.

— А что он делает?

— Пародии читает. Вы разве не слышали? На вас тоже сочинена.

— Ну а еще? Про Куравлеву расскажите.

Информация Инночки всегда по-женски непоследовательна, но достоверна.

— Про Куравлеву...— мнется Инночка.— К сожалению, по-прежнему постоянно в бегах. Разве так лечатся?..

— Это еще что такое? — вскидывается Олег.

— Конечно, я ее не застукала, но ведь от сестер не скроешься. Как придут навещать из кафе «Арфа», так и уведут. Костюм с собой прихватывают. К отбою она возвращается...

— Не хотите же вы сказать, что она выпивает? — перебивает Олег.

— Что вы! Этого нет, какое питье! Она наедается до отвала. Все сдобное, кондитерское, пирожных штуки три, мороженого две порции. Какие уж тут лекарства! Мужу ее звонила, он говорит: «Это инсинуация. Не верю».

— А с ней самой вы пробовали разобраться?

— Пробовала. Не признается. С соседкой по палате делилась: «Я, говорит, без сладкого никогда не поправлюсь. Кто к чему привык, не должен сразу все менять. Раз организм требует, значит, ему надо. Главное, говорит, чтоб Олег Петрович не узнал...»

— Вы мне не цитируйте,— нетерпеливо обрывает Олег,— а примите строжайшие меры и пригрозите: выпишу немедленно! Шуточки! Однажды она в этом кафе останется.

— Еще четверых готовим на выписку...— меняет тему Инночка.— Сейчас на обходе окончательно решим.

Олег смотрит на часы. Половина девятого.

— Благодарю вас, Инночка,— говорит он торопливо,— на вас можно положиться.

Он опускает трубку на рычаг, словно обрывает нить, связывающую его с понятным, родным миром, и спешит выскочить из дома.

— Ну как, мастер водной дорожки? — говорит Олег, разглядывая в дверях Марину Шестопал. Сейчас он пытается отождествить пышную вольность стрижки, легкую округлость линии плеч и бедер стоящей перед ним царевны-лебеди с тем длинноногим существом с вы-

вернутыми ступнями и костлявой грудью, которое он лечил два года назад.

— Нормально,— откликается она, тараща на него глаза.— А вы помолодели! Отдых? Или успехи?

Ух ты, как она заговорила. А давно ли...

— От сырости,— ухмыляется он, протягивая руку.— В деревне дожди две недели, а вчера вот снег повалил.

— Уже? — поднимается им навстречу мать.

На столе стакан с чаем, таблетки. Значит, приняла для храбрости. «Хорошо, что вчера после обеда заседание отменили из-за болезни Рахманинова,— думает Олег.— Очень кстати эта суточная передышка».

Ж

В коридоре суда негде пристроиться. Свежепокращенные стены еще не высохли. На скамейках отчетливо видны неотмытые следы штукатурки. В углу, возле двери в зал заседаний с приклеенной бумажкой: «Дело Рахманинова» — стоят стулья. Олег усаживает Ирину Васильевну и, приоткрыв дверь, протягивает конвойному повестку.

Шестопал вызывают сразу же, они входят.

В зале холодно, неуютно, и до того, как прозвучал первый вопрос, Олег бегло окидывает взглядом судью, заседателей, прокурора, Родиона и останавливается на Рахманинове.

Следуют первые формальные вопросы. Ирина стоит очень близко к столу, в руке зажат вязаный берет, сутулая спина распрямилась.

— ...объясню вам ваши права... за дачу ложных показаний... распишите...

Олег слышит монотонный, с едва заметной шепелявостью голос судьи, односложные ответы Ирины и изучает подсудимого. Как поведет он себя сегодня, как будет реагировать на показания соседки?

Никита Рахманинов сидит, подперев голову руками, глаза опущены. Олегу виден кружок плечи, курчавящиеся по краям густые кочья волос. Рот Рахманинова чуть подергивается. Вместе с верхней губой подергиваются усики. В эти моменты он удивительно походит на хорька, и это сочетание хищности и равнодушия кажется характерной особенностью его лица.

Родион выглядит здесь совсем чужим, незнакомым Олегу, каким, очевидно, предстал бы и сам Олег, встретиться он с другом в палатах клиники или на кафедре. Эти две половинки бытового и общественно-го человека, возможно, мало в ком органически слиты.

— Товарищ Шестопал, расскажите суду, как вы встретились в тот вечер десятого июля с подсудимым,— задает вопрос судья.

Ирина Васильевна начинает. Олег видит чуть заносчиво вскинутую голову, руки, мнущие берет, вслушивается в ее голос. Она рассказывает о встрече с Никитой накануне, о том, что увидела утром — почти точно, слово в слово, то, что он прочитал в ее показаниях у Родиона. Она высказывает предположение о возможной ошибке.

— Ведь мальчик был такой славный,— останавливается она.— И добрый...

— И с родными он был таким же? — спрашивает судья.

— Может быть. Хотя они совсем другие, чем он. Вот и не ладили.

— Мы ему все разрешали! — раздается откуда-то сбоку женский выплеск и тут же рыдания.

Все оборачиваются. Мать Никиты, вынув из сумочки носовой платок, промокает глаза, углы губ.

— Почему, по-вашему, не ладили? — спрашивает судья, когда всхлипы утихают.

— Не знаю, как объяснить. — Ирина Васильевна смотрит в сторону подсудимого...

Судья ободряюще кивает.

Ирина Васильевна мнетя, розовеет, прядь волос падает на брови.

— Как-то мы спускались в лифте, Никита еще школьником был, он и спрашивает меня: «Где получить справку, в каких городах есть училища лесного хозяйства?» Я удивилась: «Зачем тебе?» А он: «Мой товарищ интересуется. Я, признаться, даже не знала, что существуют такие училища. Говорю: «Может быть, в справочном бюро подскажут твоему товарищу, как это узнать. Он что же, лесником хочет стать?» «Не лесником, а лесничим,— поправил он меня.— Это очень даже большая разница». Я совсем опешила. «Лесничий должен много знать,— сказал Никита.— У него огромное хозяйство, целый лесной город. «Вот как? — удивилась я.— А кто же тогда лесник?» — «Лесник — это только на своем небольшом участке. Для этого училища не надо кончать». И тут, неожиданно совсем, он пошел меня провожать. «Лесничим быть — это очень опасная профессия,— убеждал он меня.— Поэтому лесничему положено оружие. Большой процент страдает от нападения браконьеров».

Ирина Васильевна взглядывает на судью, как бы ища у него поддержки.

— Я была поражена всем этим. «А ты откуда про все знаешь? — спрашиваю.— Друг, что ли, рассказывал?» Он посмотрел на меня и засмеялся: «Мой друг — это я и есть». — Она останавливается. — Спустя некоторое время, когда я увидела Никиту и спросила его... ну как, мол, узнал ты, где лесничих готовят, он не стал объяснять. «Это не выход», — отмахнулся от меня. А я говорю: «Выход? Из чего?» А он: «Из замкнутого круга». Я промолчала, но стою и смотрю на него, а он вдруг и говорит: «Человек не может сам выбрать, у кого ему родиться. Я не у тех родился». Тут я рассердилась, говорю: «Ты несправедлив к своим, они же сдувают с тебя пылинки». А он: «Они замечательные, но мне надо было не у них родиться». «А у кого же? — постаралась я все обернуть шуткой. «У объездчика или у чабана,— говорит.— Предки глушат у меня интерес к жизни». И пошел. Ну, думаю, болезнь роста. Все образуется. И вот, — Ирина Васильевна разводит руками, — не образовалось.

Рахманинов сидит, уткнув голову в руки. Само напоминание о прошлой свободной жизни, когда, казалось, только еще предстоит выбор пути, нестерпимо. Он сжимает зубы до боли, чтобы не вырвалось ни звука.

— У меня вопрос к свидетельнице, — приподнимается со своего места Родион. — Какие нелады наблюдали вы между Рахманиновым и родителями?

— Как бы это выразиться, — неуверенно говорит Ирина Васильевна. — Василий Петрович — человек самостоятельный, труженик. Никита ничего не умел добиваться длительное время... Это его главная слабость... Если — не тотчас, он сдавался.

— Поясните свою мысль, — просит судья.

Ирина Васильевна задумывается.

— Его тянуло в дрессировщики или водолазы, — она старается найти нужные слова, — как подростков обычно. Или вот на лесничего. А Василий Петрович повторял: «Я сделаю из него человека, я не допущу легкой жизни». Он считал, что это не занятие для мужчины — лес объезжать. Сам ведь он до болезни очень много работал... Ну а Ольга Николаевна совсем другое. Она редко вечерами бывала дома,

поэтому, если уж дома, старается все прихоти сына исполнить. Что бы ни попросил. Даже из-за пустяка какого-то все пороги обобьет. Или из-за еды, если ему захотелось. В ту же минуту она стремилась достать...

Все в Олеге протестует при последних словах Ирины Васильевны. Этот цивилизованный парень, сын интеллигентных родителей, избив соседа, не зная, жив ли он, уже на следующий день не только не мучился приступами совести, а веселился напропалую, ни на минуту не задумываясь, что стало с человеком, которого он бросил в гараже.

Судья просит Шестопал присесть, начинает задавать вопросы подсудимому:

— Когда вы познакомились с Мурадовым?

Монотонный рассказ Рахманинова о его встречах с Егором Алиевичем, об общих связях и знакомствах вызывает в воображении Олега круг явлений странно смещенных, почти карикатурных, с которыми ему никогда не приходилось сталкиваться.

«Что же это такое? — задается он вопросом. — Порождение чего? Цинизм, чисто утилитарные запросы: я — тебе, ты — мне. А время, уходящее в пустоту, а жизнь — ни во что не ставятся».

Он смотрит на судью, который зябко поеживается, на полную, гладко зачесанную женщину — народного заседателя — и думает, как много перевидели они в этих стенах, как много задали себе вопросов, которыми он впервые задается.

— Почему вы не говорите о том, что произошло перед вашей дракой? — слышит Олег голос Родиона. — Я настаиваю на вашем ответе, подсудимый.

— Не помню... — невнятно бормочет Рахманинов, — мы заспорили...

— Постарайтесь вспомнить. — Судья откидывается на стуле, показывая, что не собирается торопиться. — Вы утверждаете, — начинает он листать дело, — что машина здесь ни при чем. Что же явилось сигналом к драке?

— Не помню, — опускает голову Рахманинов.

— Постараюсь вам напомнить. Вы говорили, что Мурадов еще не въехал в гараж, когда вы настойчиво потребовали у него машину. Затем вы стали «открывать силой дверцу». Он-де замахнулся на вас ломом, вы отскочили к воротам, но он все равно въехал в гараж. Дверца зацепилась, «в гараже Мурадов сам выскочил из машины». Цитирую ваши показания на последнем допросе. Ссора продолжалась в гараже. Вы подтверждаете это?

— Да.

— Разрешите вопрос? — просит Сбруев. — Мотор у машины в это время работал или был заглушен?

— Работал.

— Значит, чтобы выехать, вам оставалось только сесть в машину и включить передачу? — уточняет Родион.

— Да.

— Почему вы продолжали избивание Мурадова, когда путь уже был свободен?

— Не знаю... Был спор.

— Подсудимый, — бросает со своего места прокурор, — вы отрицаете, что поводом к зверскому избиванию Мурадова послужило желание воспользоваться машиной. Значит, можно понять вас так, что вы наносили удары человеку исключительно с целью причинить ему особые мучения?

— Не буду я отвечать, — отворачивается Рахманинов, чтобы не

видно было, как сильно дергается его губа.— Не делайте из меня садиста, гражданин прокурор.

— Прекратите полемику! — обрывает судья.— Здесь только суд вправе решать, правомерны ли вопросы обвинения. Никто из вас ничего не делает, Рахманинов. Снова я призываю вас вспомнить, по какой причине началось зверское избиение человека, который уже не мог вам мешать? Какие мотивы были у вас?

— Виноват,— понуро говорит Рахманинов,— плохо помню. Сейчас уже трудно представить...— Он еле ворочает языком, ему хочется прислониться к чему-нибудь.— Если не ошибаюсь,— поднимает он голову,— Мурадов придерживал дверцу. Вот так! Он не давал мне пройти...— Рахманинов что-то чертит рукой в воздухе, потом замолкает.

— Я заявляю ходатайство,— обращается Мокроусов к судье.— Продолжить судебное заседание на месте преступления. Утверждения подсудимого могут быть там проверены в присутствии эксперта. Кроме того, в гараже Рахманинов, очевидно, в с п о м н и т, что произошло после того, как он вынудил Мурадова выйти из машины.

Судья медлит, потом обращается к Родиону. Тот согласен с ходатайством обвинения. Судья начинает совещаться с заседателями.

— Суд удовлетворяет ходатайство,— говорит он, собирая бумаги на столе и уже вставая.— Что ж, это разумно. Завтра же в полном составе выедем на место... Как вы полагаете,— спрашивает старшего по конвою.— возможно будет завтра доставить подсудимого к гаражам?

— Возможно,— кивает лейтенант.— Нужно разрешение и наряд.

— Вы к утру закончите формальности? — уже торопливо договаривает судья.

Лейтенант снова кивает.

— Заседание прерывается.— Судья уже собрал со стола почти все бумаги.—«В пятницу к одиннадцати часам,— диктует он секретарше,— прошу суд и свидетелей быть по адресу Сретенский тупик, гараж...— он справляется в деле,— номер девятнадцать». Повестки вручит секретарь.

Словно в полусне Рахманинов воспринимает заявление судьи о перенесении заседания, из всего сказанного до него доходит лишь одно. Снова о т д ы х. Он согрется и, может быть, уснет. Мысль эта придает ему силы, он затихает на мгновение, мозг его проясняется. И только выйдя из здания суда на улицу и садясь в тюремную машину, он со всей беспощадностью осознает, что продолжение будет н а м е с т е.

В гараж, где все случилось, он уже приезжал со следователем, но тогда они были вдвоем с чужим для него человеком. Теперь же ему предстояло вспоминать происшедшее в присутствии многих далеко не безразличных ему людей, и при этой мысли его, как и утром, захлестывает чувство безнадежности, необратимости всего происшедшего, полной невозвратимости его прошлой, хорошей ли, плохой, жизни.

Присутствие матери, жены Мурадова, Сони, соседей делает невозможным откровенное признание. Он пробует отодвинуть от себя мысли о предстоящем, а там — будь что будет.

Из зала суда Олег вышел с Ириной Васильевной, с тем чтобы, проводив ее, вернуться за Родионом, у которого еще были на Каланчевской свои дела.

По дороге Ирина вспоминала детали, которые не пришли ей в голову на суде. И дома она тоже не могла успокоиться и все возвращалась к одному и тому же, как будто бежала по кругу.

— У этой ссоры какая-то серьезная причина...— говорила она, зажигая свет в столовой.— Я не склонна верить, что в каждом из нас сидит зверь и просто не было повода ему проснуться.— Она раздернула шторы, открывая форточку.— Ну что же вы молчите? Вы еще ни слова не сказали.

Олег следит за ходом ее рассуждений, за сменой выражений на ее лице, попутно сравнивая эту комнату — в мягком свете люстры, с коричневым пианино, причудливо свисающими растениями — со своей невыразительной, неухоженной квартирой, пробуя поместить Ирину и себя в некое производное, которое можно было бы назвать их общим домом, но соединения не получается.

— Вы предполагаете,— говорит он,— что у Рахманинова были какие-то особые счеты с Мурадовым до момента столкновения в гараже? Но почему же это возникло только в тот раз ночью? А если бы они не столкнулись у машины?

— Почему-то Мурадов именно для Никиты делал исключение и давал ему машину. Зачем-то Никита нужен был Мурадову, он оказывал ему услуги...

— Мать Никиты знала об этом?

Ирина кивнула.

— Ольга Николаевна ворчала, но не вмешивалась в эти отношения. Впрочем, она человек легкомысленный, ей так было спокойнее, видно...

— Кем она работает?

— Была секретаршей, потом завотделом тканей в магазине, а может быть, я ошибаюсь... Но это не то.— Ирина начала метаться по комнате, привычно сцепляя и расцепляя пальцы.— Как поведет себя Никита завтра в гараже? Может быть, перед дракой все же произошел какой-то психический сдвиг?

— Я интересовался,— отозвался Олег.— Экспертиза выявила психопатию, истерические черты... Ничего более.

— А разве не существенно — откуда у человека подобные истерические черты?

— Конечно.— Олег затаился.— Но сегодня наука на этот вопрос еще не дает ответа. Если Егор Алиевич провоцировал неуравновешенность Никиты — это может быть учтено. Но все равно...

Вдруг он заметил, что лицо ее переменялось, схлынула кровь со щек, под глазами разлились темные круги. Он заторопился.

— Хочу застать Сбруева в горсуде,— извинился он.— Заехать за вами перед гаражами?

— Не надо.— Отказ прозвучал резко, и она протянула обе руки.— Это ведь совсем рядом. Мы поговорим после...

Вернувшись в горсуд, Олег застал Родиона в вестибюле. Тот разговаривал с матерью Рахманинова, вид у него был не очень бодрый. Ольга Николаевна уже подкрасила вспухшие губы, припудрила набрякшие веки и щеки.

— Я передам ему вашу просьбу,— сказал Родион Рахманиновой, заметив Олега.

Минут через десять они сидели в столовой гостиницы «Ленинградская», где с часу до трех кормили дежурными обедами за рубль с небольшим.

— Видал, каков субчик! — возмущался Родион.— А ты говоришь...

— Ничего я не говорю,— усмехнулся Олег.

— Это тебе не энцефалограмма. Это, брат, человеческие компромиссы, ведущие к преступлению. Тут опять Достоевский. Что, ты думаешь, сказала мне сейчас мамаша после заседания? «Дайте, говорит,

мне отсидеть за него, это я во всем виновата...» Да, эти типажи на рентгенах не просветишь.

Подошла официантка.

— У тебя в зале был довольно идиотский вид,— сказал Родион, когда они заказали один из двух имеющихся в меню вариантов.— Кстати, из показаний твоей Шестопап тоже вытекает, что с Ольгой Николаевной не все просто.

— Мурадов часто ездил с Никитой. По словам Ирины, их связывало нечто большее, чем компания или дела...

Официантка подала бульон с омлетом.

— Я не смог из него вытянуть на эту тему ни слова! — Родион бросил ложку в бульон.— Ну фрукт...

— Как будто из разных кусков слеплен.

— Из одного куска. Дерьма... Ты только вдумайся — приезжает во Владимир, выдает себя за аспиранта, сына адмирала или генерала. Откуда деньги? Хорошая стипендия и прирабатывает уроками. Машина? У отца взял. Дальше. Чтобы удрать из дома и обосноваться во Владимире, надо жениться — и пожалуйста, он идет в загс с той же легкостью, как если бы взял напрокат телевизор. Во всем этом поражает лишь одно: что окружающие — актеры, работники гостиницы, служащие театра — все готовы его выгораживать. И, может быть, именно за то, что красиво врет, характером легок, широк в кутежах. Оказывается, всем им позарез нужен такой парень, который все умеет организовать, сколотить компанию, развеселить. Он всех знает, всем необходим...

Олег молча глотает бульон. Второе не несут.

— Крутится он, крутится,— продолжает Родион,— а внутри-то пустота, хребта никакого, и вот наступает минута, когда в руке гаечный ключ, рядом человек, препятствующий его желанию, и он не останавливается перед тем, чтобы любой ценой убрать препятствие. Не жадность, не страсть к обогащению, а непривычка к отказу толкает его на зверство.

— Ну а машину-то все же доставал из-за бабы,— говорит Олег задумчиво.— А потом эту же бабу и продал. «По расчету», слышал?

— Глупости,— обрывает Родион.— Это он снова заливает. Какой там расчет. Он спятил из-за нее. Ты еще не знаешь, что он вытворял в этом Владимире.

— Из-за этой лакированной дуры?

— Именно.

— Для чего же он про любовь по расчету сочинил? — поражается Олег.

— А черт его знает. Может, из «благородных» побуждений. Выгородить ее желает.

Официантка принесла второе, поставила по стакану клюквенного киселя.

— И все же согласишься, как бы ни трактовать его характер,— Олег смотрит мимо тарелки,— бить до изнеможения, когда уже никакого сопротивления нет, это уже особое дело. Тут либо патология, либо месть... Но за что? Вот я тебе сказал, что они вместе ездили, старые, сложившиеся отношения. Впрочем, это мало что меняет.— Олег еще не дотронулся до второго.

— Меняет,— приостанавливается Родион, уже отхлебывая кисель.— Ты не помнишь разве версию обвинения? Детали?

— Нет,— отзывается Олег.— Меня тогда все интересовало с другой точки зрения...

— Так вот,— говорит Родион.— Слушай внимательно, чтобы завтра следить за обеими системами аргументаций. Хотя, конечно,

могут быть сюрпризы. Обвинение твердо настаивает на том, что замышлялось убийство с целью завладения машиной иностранной марки... Доказательства? Гаечный ключ приготовил заранее, еще до прихода Мурадова. Об отсутствии родителей прекрасно знал, поэтому не мог рассчитывать на отцовскую машину. Во Владимире сказал многим: «Ждите, приеду на машине». Появился у гаражей поздно, хотя приехал в город раньше и мог зайти попросить машину. Значит, поджидал Мурадова из гостей, чтобы завладеть ключами и машиной. Думая, что Мурадов мертв, спрятал его в гараже, чтобы подольше не нашли и успеть скрыться в другом городе. Соответственно и все обстоятельства обвинение излагает по-другому, чем показывает Рахманинов. Схватка была за машину, так как Мурадов сопротивлялся до последнего и не выпускал Никиту из гаража. Рахманинов не был в состоянии аффекта, так как уехал из гаража медленно, а не впопыхах: вывернул карманы Мурадова, достал документы, спрятал избыточное поглубже в гараже, прикрыл ворота. Логично?

— Не верится, — тянет Олег.

— Почему же не верится? — подначивает Родион. — Ты свежий человек. Мне важно, почему тебе так кажется. Где, по-твоему, нарушается логика? Ну-ка пошевели мозгами.

— Хорошо. Первое... Рахманинов знал, что удрать на «ситроене» невозможно, сразу засекут. Так? Второе. Он мог прихватить бесчувственного Мурадова и бросить его по дороге. Опять же он не мог не понимать, что в гараже утром Мурадова найдут и исчезновение машины тоже обнаружат.

— А дальше?

— Мне сдается, у него другое было в голове: пусть три дня, да мой. — Олег выпивает кисель, осторожно отставляет стакан. Он оглядывается — зал пуст. — Клади трояк, и двинули. На улице договорим.

— У меня уже имеется опыт, — говорит Родион, когда они выходят из здания, — если возникает разительное несоответствие между поступком и целью, надо копать и копать. Пока не найдешь другую цель...

Олег застегивается, поднимает воротник.

— Пожалуй, — ежится он. — Пойдем к автобусу? Пешком далековато.

Остановка автобуса за углом, стоит только обойти гостиницу.

— Именно в этих случаях, — продолжает Родион, — опасность судебной ошибки особенно велика. Вот, допустим, Тихонькин вызывает у меня симпатию, семья его тоже: отец воевал, инвалид, мать тоже инвалид, и, кроме того, нелепое, случайное убийство... А этот... — Родион прикуривает на ходу. — Да, видно, нет такого судебного дела, которое не требовало бы полной отдачи адвоката. Что-то в Рахманинове я проморгал. — Он останавливается, застегивает пуговицу на воротнике. — У обвинения какой еще довод? Оно сравнивает Рахманинова и Мурадова. Первый — авантюрист, бездельник, которому государство дало все, а он на это наплевал. Второй же — уважаемый во всех смыслах работник, приносивший пользу делу, стране. Отсюда соответствующий вывод.

— Хорошо, про обвинение ты мне толково разъяснил, ну а ты-то как себя поведешь?

— Не знаю. Думаю еще. Мыслю. Понял? Новые обстоятельства, возникшие за эти дни, я еще не переварил. Например, что связывало Мурадова с Рахманиновыми — матерью и сыном? То, о чем думает твоя Шестопал. Кроме того, завтра в гараже многое прояснится. Послушаем Рахманинова, Мазурина...

На автобусной остановке довольно солидная очередь.

— Между прочим,— Олег неуверенно останавливается,— мне кажется, нельзя все же класть на весы итог жизни сорокапятилетнего человека, который уже послужил на благо отечества, и двадцатисемилетнего.

— Разумеется... Так вот — я спрашивал Рахманинова: для чего вы ввали следствию, это же против вас. А он так спокойненько: сначала попробовал, клюнули. Значит, можно выкрутиться. А потом понесло — цеплял одно за другое... Но ведь, говорю, это подло — на других валить, имена называть. Знаю, соглашается, но меня гнало, как лисицу. Лишь бы отсрочить... Понятно? Вот тебе лишний пример, как важно объективное раскрытие преступления для сознания самого обвиняемого. В самой мысли о неотвратимости наказания, невозможности свалить вину на другого уже заложен первый посыл к его перевоспитанию.

— Ну, это очевидно,— усмехается Олег.

— Давай без иронии. Согласись, преступление — это всегда крайности человеческой психики, бездонность ее провалов. Действие, совершенное при исключительных обстоятельствах, которое невозможно в обычных условиях... Анализ подобных явлений много дает для исследования глубин подсознания человека.

— Да, да... И тут ты прав.

— Если влезть хотя бы в последние две недели перед преступлением Рахманинова и Тихонькина, то можно открыть для себя такой пласт жизни, быта, нравов, тенденций, что навек хватит. Знаешь,— вдруг останавливает он себя,— давай бросим эту затею ждать автобуса?

— Глупо, уже столько стояли. Сейчас придет.

— Ты оптимист,— роняет Родион.— Так вот, чтобы сделать выводы и поставить так называемую профилактику преступлений на соответствующий уровень, надо сложить все наши усилия — социологов, юристов, психологов и еще кое-кого. И главное — не ставить точку на деле, когда оно кончено.

— Пожалуй,— опять соглашается Олег.— Признаюсь, я оказался мало подготовлен ко всему этому. Где-то в глубине души я считаю, что сознательное покушение или убийство — это все равно состояние неменяемости, пусть временной, даже минутной. Просто еще не найдена градация этих состояний по сегодняшней шкале. Нарушение нормальной, здоровой психики может проявиться в истерическом срыве, мании преследования, ревности и в любой другой реакции, неадекватной обстоятельствам.

— К сожалению, старик, уголовный кодекс сегодня еще не приспособлен к твоим высоким открытиям.

Из-за угла выныривает переполненный автобус.

— Влезай, я пройду до Разгуляя,— протягивает руку Олег.

— Ладно, бывай. Я тебя вконец измучил? — Родион пытается пролезть в дверь — Олегу видно, как странно он изгибается при этом.

— Так, может, я завтра заеду к тебе перед заседанием? — предлагает Олег.

— Не надо! — кричит Родион.— Я не из дома поеду.

«Вторая осечка за сегодня,— констатирует Олег, издеваясь над собой.— Для одного дня более чем достаточно. Что ж, доживем до пятницы».

XI

Родион не сразу находит Сретенский тупик. Он находится вовсе не на Сретенке, а дальше, за темной глухой улочкой. Здесь стоят два ряда кирпичных гаражей, в каждом — тяжелые железные ворота,

запертые на засовы и замки. На место преступления Родион выезжает впервые, мрачность этих строений, унылая серость утра производят на него гнетущее впечатление.

Накануне вечером у него состоялось свидание с Рахманиновым в тюрьме. После встречи с Олегом Родиону хотелось еще раз попробовать вызвать своего подзащитного на откровенный разговор относительно обстоятельств, предшествовавших драке, и того, что связывало его с Мурадовым.

...Никита уже сидит в помещении для свиданий, перегнувшись пополам, голова втянута в плечи, рука подложена под щеку с большим зубом. При виде Родиона он не проявляет ни малейшего желания переменить позу.

«Плохо себя чувствуете?» — спрашивает Родион официально на «вы». «Нормально». «Завтра выезд на место». «Это я уяснил в суде».

Родион вынимает пачку «ВТ» и протягивает сигарету. Делать это не положено, но сейчас Родион сознательно идет на нарушение. Рахманинов, удивленно вскинув глаза на Родиона, берет сигарету.

«Ты приготовился к этому моменту?» — переходит Родион на «ты». «А что мне готовиться?» «Ты ведь обязан воспроизвести по сантиметрам, где, что и как произошло. Это твоя последняя возможность, понял?» «Да будет вам! Все я давно понял...» — говорит Рахманинов, устало прикрывая глаза.

Он не спал прошлой ночью и, видно, не заснет сегодня. И, как бывает перед решающим и тяжелым шагом, в воображении его все возникали обрывки собственной жизни. Не тех ее благополучных звеньев, когда он, еще счастливый мальчуган, строил фантастические планы на будущее, а тех неладных, неосуществленных, которые уж теперь никогда не поправить. Он подумал, что, став взрослым, он больше всего ценил свободу от близких ему людей, независимость от дома — матери и отца — и право жить иной жизнью, чем они. Но, отколовшись от них и уйдя из-под их влияния, он так и не смог добиться самостоятельности. Последние месяцы перед арестом он сравнивал себя с катящимся под гору колесом, которое, подпрыгивая и корежась на выбоинах, мчится вниз, ускоряя движение, пока не наткнется на преграду или не израсходует всю энергию. Несколько раз за последние годы он пытался сопротивляться этому навязанному и predetermined извне, как ему казалось, движению. Но когда он твердо решал бросить все: и этот бесконечный круговорот услуг, пьянок, беспамятств с малознакомыми женщинами, после которых просыпаешься с ощущением нестерпимого омерзения к жизни и к себе, — каждый раз, как только он решал завтра же встать и не звонить н у ж н ы м людям, не пить по вечерам, он выдерживал один день, максимум два, обнаруживая, что нет в его характере тех волевых пружинок, которые помогут ему выйти из порочного круга. И тогда он мечтал о том, что познакомится с сильным и хорошим человеком, который вытянет его, подтолкнет в стоящему делу, а потом уж он зацепится, утвердится в нем сам, но среди его окружения таких людей не было.

Он с горечью припомнил то двойственное чувство, которое овладело им после угона машины. Ему казалось, что теперь он полностью свободен от людей и их законов, что нечего ему теперь страшиться и он может хоть немного, но поступать как угодно, и одновременно не покидавшее его ощущение, что все уже кончено, все хорошее совсем уже кончено и он — труп. И последняя его гульба, и люди, которых он развлекал и катал, их любовь, удивление казались ему чем-то призрачным и ему не предназначенным.

Той ночью во Владимире, когда он лежал в гостиничном номере рядом со ставшей ему вдруг безразличной и чужой женщиной, он понял для себя и другое — что свобода от людей и их законов оборачивается во сто крат худшей зависимостью. Потому что становишься рабом, ежеминутного ощущения, что тебя преследуют, сознания, что все твои планы могут быть оборваны в любое мгновение.

Женившись на Козыревой, он пытался поменять свою жизнь, если уж нет у него воли и изменить ее; он хотел сыграть роль человека с будущим, образованного и честного, имеющего в обществе иную ценность, чем та, которая была в действительности, но и этого он не сумел. Он уговаривал себя тогда, что хочет списать свою прежнюю жизнь, чтобы честным уйти в другую, ощутить уважение людей театра, тяжело зарабатывающих свой хлеб. Но и перед ними он не смог стать иным, чем был на самом деле, и им он старался казаться птицей «особого полета». На первом же из прежних знакомых, который не захотел признавать в нем ничего нового, он сорвался и стал действовать по старым, водившимся меж ними законам торгашей и жлобов.

Родион сидит возле молчащего Рахманинова, потом собирает разложенные бумаги, двигается к выходу.

«Что я должен сделать? — слышит он хриплый голос Никиты. — Вы же адвокат... Собаку на этом съели».

Родион медлит у двери, глядя в упор на Рахманинова, на его озлобленную и опухшую физиономию, потом вспоминает об отце его, детском враче Василии Петровиче, который лежит в больнице и, быть может, уже не встанет с постели, и возвращается.

Сейчас, когда Родион идет вдоль гаражей, еще темно, как ночью, небо обложено вкруговую и проезд освещается электрическими лампочками без колпаков, подвешенными меж двух столбов. Их раскачивает, точно маятники, — номера гаражей то появляются, то исчезают. После истории с Мурадовым владельцы раскошелились на общее освещение, которого несколько месяцев назад еще не было. И все равно сырой туман, поднимающийся с земли, клочьями забивает проходы. Хорошего обзора нет.

У гаража № 19, на месте преступления, уже стоят многие из участников выездного заседания.

Нервное длинноносое лицо судьи серо, горло наглухо закрыто теплым шарфом. То и дело он раздражается кашлем.

— Результат ремонта в горсуде, — поясняет он, пожимая руку Родиона. — Прокурор уже здесь. Хорошо, что вы аккуратны.

Мокроусов озабочен. Сегодня перед выездом на место он зашел в прокуратуру и узнал, что следствие по делу бежавшего из колонии рецидивиста, убившего нескольких женщин на протяжении одной недели, никак не закончится. Преступник запирается. Это сообщение расстроило Мокроусова до крайности, и после Сретенского тупика он предполагал вернуться в прокуратуру и вплотную заняться этим... Ничто, однако, не выдает его озабоченности: Мокроусов, как всегда, подтянут, стекла безоправных очков поблескивают свежо и молодо.

Родион видит жену Мурадова, Нину Григорьевну, крашеную блондинку с настороженным лицом, и Ирину Шестопаля, которая кажется ему несколько тяжеловесной и утомленной. Здесь же толпа любопытных — из тех, кто жаждет дать любые сведения по любому поводу.

Судья просит публику отойти за гаражи. И сразу же на полной скорости въезжает в тупик Мазурин. Разворачиваясь, его спортивный «Москвич» грохочет, как целая автоколонна.

Мазурин кивает собравшимся, приваливается плечом к стене гаража. Маленькая пунцовощекая секретарша с клеенчатой тетрадью пристраивается рядом — вести протокол.

Наконец подъезжает тюремный фургон с арестантом.

Сначала из него выпрыгивают двое конвойных, вслед за ними овчарка на длинном поводке, затем спускается Рахманинов, за ним еще двое конвойных.

Никита Рахманинов в коротком черном пальто, с непокрытой головой выглядит жалко и неопратно среди озабоченных, деловых людей. У каждого из присутствующих здесь своя служебная цель, и только у него никакой цели уже нет. Рахманинов чувствует это с первых минут, когда все вокруг него начинают двигаться: открывают гараж, выкатывают оттуда машину, чтобы воспроизвести ситуацию.

Выйдя на свежий воздух, в вольной одежде и без наручников, он впервые за все эти недели чувствует желание жить, выжить. С особой остротой сейчас он осознает, что люди вокруг него — одно, а он — совершенно другое. И это полное его одиночество среди себе подобных кажется ему столь диким, невыносимым, что ему хочется зарвать на весь тупик, чтобы воспользоваться этим правом вопить и выть на всю вселенную. Перед его глазами вспыхивает огонек той ночи, когда он ехал в Москву и считал делом чести вернуться во Владимир на машине, чтобы покатать на именинах Галину и ее гостей, и это фанатическое желание кажется ему сейчас таким убийственно ничтожным, абсурдным рядом с его жизнью, что горло перехватывает судорога. Ему становится жарко, несмотря на промозглый холод этого осеннего утра, он начинает расстегивать пуговицы пальто, чтобы хоть что-то делать, не стоять истуканом.

Судья объявляет открытым выездное судебное заседание.

Сбруев, за минуту до этого прикованный к «ситроену», теперь подходит ближе к подсудимому. «Похоже, что вся моя вчерашняя работа — фьюить, насмарку», — думает он, отмечая болезненную красноту кожи у носа и на лбу Рахманинова, глухую затравленность его взгляда.

— Расскажите, как все произошло с момента попытки въезда машины в гараж, — говорит судья и закашливается.

— Я подошел, — едва слышно бубнит Рахманинов, пережидая кашель. — Поздоровался... Мурадов спросил, откуда я взялся. Я объяснил. Потом я сказал, что мне нужна машина дня на два. Он ответил: «Больше ничего не хочешь?» Я сказал: «Больше ничего». Он говорит: «Машина мне самому нужна. Завтра обещал кое-кого подвезти». И оттолкнул меня. Я догадывался, кого ему надо подвезти. Вozил он всегда одну и ту же...

— Кого же? — перебивает судья.

— Это неважно, — говорит Рахманинов.

— Это наше право решать, что важно, что нет.

— Я не могу сказать при его жене.

— Хорошо. Мы еще вернемся к этому. Что же вы ответили на отказ Мурадова?

— Я сказал, что он подвезет кого угодно через два дня, потому что меня надо выручить. Он засмеялся: «На мели, значит?» Я наврал, что у меня что-то случилось. Сейчас не помню что. Кажется, что жена собралась рожать.

Родион наблюдает за подзащитным. Краска залила его лицо, уши, открытую шею, он совсем распахнулся, как будто на дворе лето и нестерпимо печет солнце.

— У меня вопрос к подсудимому,— выступает вперед обвинитель.

Родион видит мощные плечи Мокроусова, холодный огонек ума за безоправными стеклами и понимает, что ему, Родиону, придется нелегко.

— Значит, уже при первой просьбе к Мурадову о машине вы прибегли ко лжи? — спрашивает прокурор.

— Да.

— И все это для того, чтобы только покатать свою жену и ее друзей?

— Только для этого.

— Продолжайте,— говорит судья Рахманинову.

— Потом мы заспорили с Мурадовым... Он стал меня оскорблять... Я сказал, что без машины все равно не уеду...— Фразы вдруг перестают выныривать из памяти Рахманинова, он все не найдет нужного слова.— Потом... он сказал, чтобы я убирался с дороги, и стал садиться в машину.

Родион краем глаза замечает вдали Олега. Тот переговаривается с охраной, хочет подойти ближе. При его появлении лицо Ирины Шестопал вздрагивает. Видно, уже не надеялась.

— Продолжайте.— Судья придерживает шарф рукой.— Что случилось после того, как Мурадов въехал в гараж?

— Я уже сказал,— снова как-то весь оплывает Рахманинов.— Я плохо помню детали. Я был не в себе.

— И все-таки попробуйте.

— Он замахнулся ломиком, хотел отогнать меня, мы сцепились, я попытался выгнать его из машины. Сказал: в последний раз прошу — дай мне машину, а то хуже будет. Он стал обзывать. Я ударил его, потом... я не помню... я же говорю.

— Позвольте,— снова высовывается из-за спины судьи обвинитель.— Вы сказали, что избивали Мурадова не для того, чтобы добыть машину?

— Нет.

— Для чего же?

— Заткнуть ему глотку!

— У меня все! — Мокроусов что-то записывает в книжечку.

— Разрешите? — Родион продвигается чуть вперед.— Рахманинов, покажите, где происходила драка?

— Здесь...— Никита тычет на место в центре гаража.

— Каким же образом избитый вами очутился в том углу?

— Я его туда оттащил.

— Он был без сознания, когда вы его тащили?

— Да.

— А когда уезжали, вы понимали, что оставляете человека в тяжелом состоянии?

— Нет. Я думал, что оттащил мертвого.

— Значит, вы решили, что убили его? Что он мертв?

— Да.

— Ясно. У меня пока все.

— Пойдемте в гараж.— Судья прижимает шарф к подбородку.— И вы, товарищ эксперт,— поворачивается он в сторону Мазурина.— И вы,— приглашает он Шестопал и Мурадову.— Подсудимого пока отведите подальше.— Судья делает знак конвою.

Рахманинова отводят шагов на пять и ставят спиной к гаражу.

В гараже темно, в беспорядке свалены банки, канистры. Подвесная полка болтается на одном гвозде и вот-вот сорвется.

— Подойдите ближе,— говорит судья Мурадовой.— А вы,— обращается он к Шестопал,— опишите позу Мурадова.

— Здесь, в углу,— показывает Ирина Васильевна,— он лежал свернувшись, поджав ноги, как будто спит...

— Вы подтверждаете это описание? — обращается судья к Мурадовой, когда рассказ Шестопал окончен.

— Да,— говорит она, бледнея.

Судья смотрит в бумагу.

— С описанием милиции совпадает. Теперь приведите подсудимого, а вы,— обращается судья к Мазурину,— ответьте на вопросы, связанные с дракой за машину и угоном.

В гараж вводят Рахманинова.

Он показывает место, где произошло избиение, угол, в который оттащил бесчувственного Мурадова.

— У вас есть вопросы к подсудимому? — оборачивается судья к Мазурину.

Тот кивает.

— Когда Мурадов пытался въехать в гараж,— Мазурин запинается, лицо становится напряженным,— ворота были полностью открыты?

— Да, наверно,— удивляется Рахманинов.— Одну половину он обычно подпирал ломом.

— А если не подпереть, можно было въехать в гараж?

— Не думаю,— мямлит Рахманинов,— бок обдерешь.

— Вы не помните, когда Мурадов повредил дверцу машины?

Рахманинов поднимает голову, в упор рассматривает Мазурину. Его куртку на «молниях», круглую апатичную физиономию, мощные плечи.

— Не припоминаю,— отворачивается он.

— У меня пока больше нет вопросов,— говорит Мазурин.

Родион прикидывает, куда гнет Мазурин.

— Рахманинов, значит, вы утверждаете, что драка происходила вот здесь, у дверцы? — задает он вопрос подсудимому.

— Да, со стороны руля... — бубнит Никита.

— Почему вы в этом уверены?

— Мурадов пытался въехать в гараж... я ему не давал, он оттолкнул меня, въехал. Наверно, тут он в воротах и ободрал все... — Чувствуя, что говорит не то, Рахманинов замолкает.

— Значит, вы вспомнили, что дверца была повреждена при въезде в гараж? — уточняет судья.

— Да. Думаю, что так.

— Объясните суду, почему вы так считаете?

— Я держал ворота, не давал подпереть одну створку ворот ломиком. Он решил так въехать. Когда понял, что помял машину, со всем взбесился...

— Разрешите вопрос к подсудимому,— подходит Сбруев ближе к Рахманинову.— В какой момент вам удалось овладеть ключами и вывести машину из гаража?

— После того, как с Мурадовым было кончено.

— Скажите,— продолжает Сбруев,— где хранил Мурадов железный ломик, которым подпирал дверь?

— Под сиденьем.

— Под правым или левым?

— Под правым, там, где пассажир.

— Спасибо. У меня больше нет вопросов.

— Товарищ Мазурин,— судья обходит машину и становится со стороны руля,— вы можете описать поподробнее, что надо было сделать Рахманинову, чтобы отнять машину у Мурадова, завести мотор и уехать?

Мазурин мнется. На круглом волевом лице снова проступает краска. Ему не по себе в центре внимания, среди чужих людей.

— Думаю,— словно бросается он в бурный поток,— Рахманинов пытался отнять у Мурадова ключи, овладеть рулем еще до въезда Мурадова в гараж. Есть системы, у которых ключи вынимаются при остановке двигателя, без поворота, а здесь надо повернуть полтора раза.— Мазурин подходит поближе к машине и начинает показывать.— Конечно, это мое предположение. Мурадов пытается оттолкнуть Рахманинова, но тот наваливается плечом на дверь гаража, чтобы ворота были закрыты, и одновременно руками держит открытую дверцу машины. Тогда,— он останавливается, обдумывая каждое слово,— Мурадов достает из-под правого сиденья ломик, замахивается, Рахманинов отскакивает, Мурадов въезжает, сильно помяв при этом машину. Затем, уже в гараже, Мурадов выскакивает из машины... Ругань, затем драка...— Мазурин замолкает.

— Мы вас слушаем,— подбадривает эксперта судья.

— Очевидно, Мурадов был уже без сознания, когда Рахманинов вывел машину из гаража...

— Значит, и вы полагаете, что повреждение машины — дело рук самого Мурадова?

— Да.

Наступает тишина. Слышно, как поскуливает овчарка за фургоном.

— Разрешите вопрос к подсудимому? — Голос Сбруева кажется чересчур звучным, громким.

— Если можно, короче,— недовольно соглашается судья,— а то мы и так очень затянули.

— Хорошо. Вы уверены, что Мурадов сам выскочил из машины?

— Уверен.

— Драка началась сразу же, как только он вышел?

— Нет, не сразу.

— После чего же она началась?

— Разрешите минутку. Соберусь с мыслями. Сейчас... я вспомню.— Он в изнеможении прислоняется к стене.

Длинная пауза.

— Хорошо...— подумав, говорит судья.— Товарищи, пятиминутный перекур! А вы обдумывайте...— бросает он уже на ходу Рахманинову.

Все, кроме конвоя, расходятся.

Мазурин мнет сигарету и не спеша направляется прикуривать к своей машине. По дороге он наталкивается на Олега.

— Ну как гонки? — спрашивает тот.— Кажется, вы говорили — последние?

— Завтра,— мрачно бросает Мазурин,— если интересуетесь, приходите на ипподром в десять утра.— Он всматривается в Олега.— Приглашаю серьезно, хотя успехов особых для себя не жду.

— Спасибо.— Олег кивает.— Очень возможно, что приду.

Никиту отводят к тюремному фургону.

— Присядь сюда,— наклоняется к нему белозубый конвойный, показывая на ступеньку машины.— Курево есть?

Рахманинов поворачивает голову, видит этого веселого парня, налитого здоровьем, и волна благодарности захлестывает его.

Он садится на край ступеньки, затягивается горьким дымом и теперь перед его мысленным взором с новой силой проходит картина того, как все было на самом деле.

«Больше ничего не хочешь?» — говорит сосед. Он открывает гараж, садится в машину, готовясь поставить ее на место.

Никита преграждает ему дорогу.

«Ты дашь мне машину! — кричит он, пытаюсь перекрыть шум заведенного мотора. — На два дня!» «Вот тебе!» Мурадов, показывает кукиш, хлопает дверцей. Сейчас машина въедет в гараж. «Ах вот ты как! — задыхается от обиды Никита. — А раньше ты иначе со мной разговаривал. Когда тебе надо было». «Ничего мне от тебя не надо. Не надо! — бешено кричит сосед, пытаюсь оторвать руки Никиты от дверцы. — Убирайся! Давно не видел твоей физиономии и не соскучился!» «Других нашел? — спрашивает Никита с ненавистью. — Не нужен стал? — Он пытается открыть дверцу. — И ты мне не нужен! С этим я завязал. Но долг платежом красен, и ты мне дашь машину!» «Убирайся или пеняй на себя!» — в ярости кричит Егор Алиевич, выхватывая из-под сиденья ломик. Никита отскакивает к воротам, пытаюсь закрыть створку. Мурадов с грохотом въезжает в гараж, ломая дверцу. «Ах вот ты как, значит, — шепчет Никита и проскальзывает вслед за машиной. — Этот номер у тебя не пройдет».

Он с силой дергает сплюсненную дверцу на себя, та открывается, еще одно усилие — и Никита овладевает рулем.

«Шкура! — неистово вопит сосед, выскакивая из машины. — Ты у меня заплатишь. — Он снова замахивается ломиком и кричит: — Ах ты сука и сын! Ах выродок!»

Никиту охватывает бешенство, он пытается выхватить ломик у Мурадова, но ему удастся лишь выбить его из рук.

«Мать твоя — сука, я с ней спал и буду спать! Когда захочу!» — издевается Мурадов. «Повтори, гад! — орет Никита, выхватывая из кармана гаечный ключ. — Гад, гад!» — бьет он по скользкой роже. Уже ни о чем не думая, ничего не соображая. Куда попало. Пока сосед не падает.

...Потом он ехал с горьким привкусом крови во рту по загородному шоссе: На ключе зажигания покачивался брелок с самоваром. Ровный гул мотора усыплял сознание. Ему все было до фени. Вокруг темень непроглядная, он гнал на ощупь, чувствуя под колесами плотность асфальта. Потом его остановил инспектор ГАИ.

Никита достал из кармана машины мурадовские права.

Молоденький щуплый лейтенант, осветив фонариком документы, просмотрел их.

Очевидно, Никита дрожал, потому что тот, взглянув на него, спросил: «Что, замерз? Закури — согреешься!»

Никита поставил машину на обочину, и они покурили.

«Не страшно ночью стоять одному?» — вырвалось у Никиты. — «Нет, — сказал инспектор. — Привычка!»

И вдруг Никита поймал себя на том, что много бы отдал за то, чтобы остаться здесь, никуда не ехать дальше, а побыть с этим парнем и выпить чего-нибудь покрепче. Он смутно помнил, как мчался по Горьковскому шоссе мимо густого леса, прудов, церквей...

Во Владимир он приехал под утро, уже почти рассвело.

Галина ждала в номере гостиницы, где они вместе прожили до этого две недели.

«Поздравляю, — сказал он вяло, — с днем рождения». «Что с тобой? — спросила она. — На тебе лица нет». «Ничего, — пожал он плечами. — Перетрухал малость». «А кровь откуда?» «Сбил человека

на шоссе». «Как? — испугалась она. — Где же он?» «В больницу отвез, и все дела».

Больше она не спрашивала...

Показав ей из окна машину, он сел за празднично накрытый стол и жадно ел, ел. Как будто с цепи сорвался.

Потом она увидела бурные пятна на брюках, куртке и сразу же принялась чистить, стирать.

Днем собрались ее друзья, подруги, и они поехали купаться на речку. Там же, в речке, она выстирала рубаху.

Холодная вода остудила голову Никиты. Тело, постепенно сбрасывавшее усталость, наливалось бодрящей энергией.

Весь город глядел на его голубую машину. Никогда здесь не выдывали «ситроена». А Никита, как обещал жене, катал всех по очереди: билетершу Катю, старика Бородкина, рабочих сцены, — всех, всех подряд. Потом они объездили Суздаль, Боголюбово, фотографировались на фоне Покрова на Нерли, ели малину и чернику, пили студеный квас из бочки.

На третий день в номер к Галине Козыревой пришли двое. Он сразу понял: в с е. Его время кончилось. Финита! Он сам вышел к этим двоим, пошептался с ними и протянул руки. Галя кинулась на них, билась в истерике, не понимая. Ему было все равно. Финита! У него все прошло к ней. Когда сознание прояснилось, ему показались лишними она, ее налитое тело, поставленный резкий голос, спутанные волосы.

На суде он ее выгораживал, чтобы не притянули, поверили, что не знала. Ведь она отмывала пятна, ездила в машине, заботилась о нем...

— Эй! Гражданин подсудимый! Вставай! — Веселый белозубый парень дергает его за плечо. — Подумал малость, а теперь к делу.

Никита приходит в себя, усилием воли открывает глаза. Он видит идущего к ним судью, прокурора, Сбруева и, мгновение помедлив, понуро выпрямляется.

XII

Родион вваливается в комнату, бросает куртку на диван, начинает вышагивать из угла в угол. Черт, какая неразбериха. В гараже все дело Рахманинова повернулось совершенно по-иному.

Он отшвыривает ногой попадающие на пути предметы, отфутболивает туфли под кровать, запускает теннисный мяч в дверь ванной.

Мурадов оказался пошлым бабником, жохом и циником. И Рахманинов избивает его, в сущности, не из-за машины. Актриса эта ему тоже не нужна. Только так, покрасоваться, хвост распустить... И как ловко все подвел судья: раз-де из машины Мурадова не вытащили, дверца была повреждена не Рахманиновым, а при въезде, значит...

Родион машинально переодевается, включает телевизор, бездумно щелкает переключателем программ: эстрада, хроника, спектакль, эстрада, хроника... Он выключает телевизор, берет со стола «Неделю». В разделе юмора шутка: «Подсудимый, вы должны говорить суду только правду, истинную правду. Все остальное скажет ваш адвокат». Вот вам, пожалуйста. Адвокат как синоним жулика. И это в порядке вещей. Юмор зарубежный, но и у нас что-то не приходится читать об адвокатах под рубрикой «Герои наших дней».

Он роется в ящике, ищет сигареты. Конечно, главный его прокол в том, что он так и не смог отделаться от личного отношения к Рахманинову. И сейчас его антипатия не меньше. Он вспомнил давние споры с Наташей. Видно, с этим ничего не поделаешь. Сколько себе ни внушай, все равно поддаешься собственным оценкам и чувствам.

А потом оказывается, что у лично вам малосимпатичных людей обнаруживаются обстоятельства, вызывающие сочувствие.

Первый раз, можно сказать, ему так воткнули. И прокурор, и рядовая свидетельница. Вдруг Шестопал без всякого протокола обратилась к Рахманинову: «Клевета то, что тебе сказал Егор Алиевич. Это же все ложь!» А тот как затравленный заметался. «Я ему не поверил! Не поверил!» И откуда голос взялся? Судья не пробовал его остановить, и он все бормотал под нос: «Я стер с его рожы похабные слова... стер...» Судье, думаю, не часто такое доводится видеть.

Родион гасит окурок. Он не находит себе места, ни к чему сейчас не лежит душа.

Еще год назад пошел бы к матери. А теперь? Заполнить пустоту утраты оказалось невозможным. Не объяснишь, что изменилось с ее смертью. В нем самом что-то сдвинулось, умерло.

Он мало виделся с матерью в последнее время, но звонил часто. По два раза в день, по три. Она говорила: «Может, заедешь?» «Постарась», — обещал он. Потом звонил, извинялся: «Не получилось». А теперь это ощущение зияющей пустоты и невероятного постарения. Как будто не год — лет десять прожил. Никому ты не обязан, не подотчетен. Свобода!

Сколько раз в жизни он мечтал, чтобы никто не лез в душу. Сколько раз с раздражением отмахивался от наивных наставлений матери, ее бесполезных советов. И вот — свободен! Ты сам свой высший суд.

Минуту он медлит, потом выскакивает из дома, идет в гараж. Вот славно — починили «жигуленка». Он смотрит на часы: без десяти семь.

Ехать некуда. А надо! Минут через пять обязательно настигнет Лариса. Для нового этапа выяснения отношений. Уже раз десять все выяснено-перевыяснено. Ей подавай причину разрыва. Нет причины.

Он заводит машину, бесцельно сворачивает на бульвар. У стенда с афишами притормаживает.

«Лебединое» — в Большом, «Двое на качелях» — в «Современнике», на Таганке — «Галилей». Не попадешь! В кино ринуться? Какое-нибудь «Золото Маккены» или «Три тополя на Плющихе» с Ефремовым и Дорониной? Нет, и в кино не тянет... Может, выпить для поднятия настроения? Олега разыскать? Тот небось у Ирины торчит, пылинки сдувает. Учительница музыки, высокоорганизованное существо. Бах, Моцарт... Родион усмехается.

А может, музыку послушать? Все ходят на концерты, упиваются: «Прокофьев, Малер», а он лет пять ни в одном концертном зале не был. Ладно, изучим афишу у консерватории.

На улице Герцена перед консерваторией толпятся люди — спрашивают билетик. В Малый зал. «Родион Щедрин. Двадцать четыре прелюдии и фуги». Это еще что? А-а-а... все одно. Говорят, Щедрин из новых весьма... весьма...

Он ставит в стороне машину, рядом тормозит такси. И по закону непредвиденного случая именно ему, а не ожидающим давным-давно энтузиастам толстяк, вышедший из такси, предлагает билеты. Пока он берет оба билета, компания меломанов настигает толстяка. Поздно!

Теперь Родион сливается с толпой безбилетников, машинально приглядываясь, кого бы осчастливить.

Две ослепительные красотки весело щебечут в ожидании мужчин. Одна в длинной юбке, другая в расшитом брючном костюме. Такие без билетов не остаются.

— Мода, эксперимент...— рассуждает та, что в длинной юбке и при браслете.

— Пусть так,— перебивает ее другая, в брюках.— Но до него только у Шостаковича и у Моцарта это было. Двадцать четыре прелюдии и фуги— это не кофточку связать,— встряхивает головой шатенка.— Ты еще увидишь, на что он способен. Щедрин — гений...

— Ерунда,— отмахивается первая.— Форма predeterminedена, никуда от нее не денешься.

Она оглядывается, выражая нетерпение. Мужчины запаздывают.

— Сонет тоже задан, но есть некоторая разница — Шекспир это или Бернс.— Ирония так и сочится из шатенки.

— Да,— вспоминает первая,— говорят, миди отходят, либо макси, либо мини. Я, пожалуй, желтое отрежу? Сделаю мини, как ты считаешь?

— У вас лишние билеты? — подходит к ним девушка.

Черный костюм, достоинство. Бог мой — Наташа! И ничего от той, что несколько дней назад убежала с парнем и смеялась, перекинув магнитофон через плечо.

— Может, и лишние,— говорит та, что собиралась отрезать платье.— Неплохо бы проучить наших мужиков.

Ее подруга улыбается Наташе:

— Шутит она.

— Разрешите предложить вам билет,— подходит Родион к Наташе.

Та поднимает глаза. «Согласится она или нет?» — еще успевают подумать он. Наташа соглашается.

Ах, как восторженно, как безудержно он любил ее в тот вечер!

В душе он сознавал, что принадлежит к тому гнусно-пошлому типу мужчин, который всегда желает того, что ему не принадлежит, стремится задержать то, что уходит, и тратит всю силу страсти и выдумки на того, кто к ним безразличен.

Он сидит рядом с ней, той самой Наташей, которой доставил так много страданий, перед которой был круглым подонком, и бесится оттого, что она спокойно слушает своего Щедрина. Из-за каких-то прелюдий она притащилась стрелять билетик у входа, а теперь упирается ими и следит отнюдь не за его настроением, а за вариациями, которые с такой легкой замысловатостью выполнял на рояле сам автор.

В начале антракта, пока публика продолжала бить в ладоши, приветствуя бледного от напряжения Щедрина, Родион наклоняется к ней.

— Тебе не кажется,— говорит он,— что в случайности иногда заложена судьба человека?

— Не кажется,— пожимает она плечами.

Так длится довольно долго. Когда они наконец выходят из зала, Наташа забивается в угол, спокойно рассматривает движущихся по вестибюлю слушателей, кивая знакомым.

— Ты здесь часто бываешь? — интересуется он, когда она здоровается с компанией, стоящей на лестничной площадке у входа в репетиционные комнаты.

— Нередко,— отзывается Наташа.— Прости, мне нужно кое-что сказать ребятам.

Она отходит. И вновь Родион с досадой отмечает ее независимый вид, уверенность движений, походки. Ему становится тошно.

Он злится совершенно несообразно обстоятельствам и ничего не может с собой поделать.

— Знаешь, я, пожалуй, пойду,— говорит он, когда звенит звонок, приглашающий ко второму отделению.— У меня работа. Ты не оби-дишься?

— Что ты! — удивляется она.— Конечно, нет.

— Тебе можно как-нибудь позвонить?

— Зачем? — отвечает она вопросом.

— Знаешь, мне этого почему-то дико хочется,— не пытается со-слать он.

Она улыбается.

— Позвони, если так «хочется».

Он держит ее руку.

— Как ты живешь сейчас?

— Нормально.

— Нормально о д н а или нормально вдвоем?

— Как придется,— спокойно отнимает она руку.— Извини, уже свет тушат.

Он возвращается домой, срывает с себя пиджак, рубаху, брюки, носки, бросается под душ и долго хлещется горячей водой, не обра-щая внимания на ноющую боль в пояснице, пока не устает. Потом он выпивает кофе и садится с сигаретой, пробуя вернуться к своим делам.

Суд над Никитой Рахманиновым прервали, отложив до момента, когда Мурадов сможет говорить. То есть до выписки из больницы, а это минимум на месяц. Без допроса потерпевшего этот клубок не размотать.

Родион тянется за новой сигаретой, медлит, разминая ее, затем отшвыривает пачку подальше.

Тихонькин. За эту неделю Вяткин поработал на славу — вызвал всех дополнительных свидетелей: Гетмана, Римму, Катю Тихонькину. Документация готова, пора подумать об эксперименте и о своей за-щитительной речи.

Он присаживается к столу, вынимает записи. Пытается перечи-тать их. Нет, сегодня ему уж не сосредоточиться. Башка не варит. Еще эта встреча в консерватории. Все одно к одному. Он листает за-писи, вынимает бумагу в надежде, что, начав составлять план, он в процессе привычной работы заставит себя думать.

Около десяти, насилуя себя, он заканчивает первый, приблизи-тельный вариант речи и, откинувшись в кресле, ощущая изнеможе-ние во всем теле, перечитывает написанное:

«Товарищи судьи! Вот уже более года, как Михаил Тихонькин упорно доказывает, что он убил Рябина. Даже здесь, в суде, под пристальным взглядом сотен людей он продолжает твердить: «Я бежал за ним, держа в каждой руке по ножу. Сперва я ударил сапожным ножом, который был в правой руке, потом охотничьим, который дер-жал в левой руке».

Я надеюсь доказать здесь, что это ложь. Оправдалось то, о чем предупреждал он друга — Василия Гетмана, чье письмо я приведу здесь с разрешения суда.

«Если я задался целью,— писал Михаил,— то сделаю все, что от меня зависит, чтобы достигнуть ее. Что бы ни было, я буду стоять на своем».

И стойт! Вопреки очевидным фактам.

На вопрос суда, за что он убил Рябина, Михаил ничего от-ветить не смог. Он признает, что Рябина раньше не знал, впервые увидел его в клубе за два часа до убийства и даже ни о чем с ним

не говорил. «Просто так...» — вот был единственный ответ семнадцатилетнего Тихонькина о причинах убийства.

Мне придется в этом процессе опровергать показания своего подзащитного. Я буду доказывать, что он вводит суд в заблуждение. Я буду просить вас не верить показаниям человека, которого я защищаю. Я сам призываю вас не верить подсудимому...»

Родион останавливается. Он представляет себе реакцию зала и, подумав, решает отместить главный контраргумент.

«Это — редкое и необычное положение адвоката. И, естественно, может возникнуть вопрос, а вправе ли защитник действовать против своего подзащитного?»

Закон дает ясный ответ. Да, вправе, если это отвечает действительным интересам подзащитного. Статья 51 Уголовно-процессуального кодекса обязывает адвоката использовать все средства и способы защиты в целях выяснения обстоятельств, оправдывающих обвиняемого.

Самое дело подсудимого — это не его личное дело. Обществу не безразлично, кто понесет ответственность за совершенное преступление. Закон требует, чтобы каждый, совершивший преступление, был подвергнут справедливому наказанию и ни один невиновный не был привлечен к уголовной ответственности и осужден...»

Раздается звонок. Родион не сразу соображает: телефон. Бог с ним. Не до него. Телефон продолжал трезвонить. Не выдержав, Родион берет трубку.

— Ты получил мою записку? — Голос Ларисы привычно агрессивен.

— Возможно.

— Значит, получил.— Она переводит дух.— Трудно, что ли, было позвонить?

Он морщится. Как не вовремя.

— Мы уже все выяснили,— силится он побороть раздражение.— Извини, у меня ни минуты.

— Ни минуты? — перебивает она.— Чем же ты так занят?

— Пишу речь.

— Вот как,— угрожающе воркует ее голос.— И только?

Он молчит. Господи, ведь он сам поддерживал этот напор страстей, утомительно-высокую ноту ее монологов.

— Не только,— сдерживается он.

— Хорошо, что ты еще врать не научился,— продолжает она,— хотя и это не за горами... Ты прекрасно знаешь, что не вывернешься и мне все известно.

— Что известно?

— Что твоя машина весь вечер отсутствовала и видели ее совсем в другом месте.

— Значит, взялась за прежнее?

— Думаешь, так легко избавиться от меня? — не слушая, продолжает она.— Между прочим, я тоже занята. Еще не сдан отчет по конференции. И вообще это неинтеллигентно не отвечать на записки... Скажи, почему я должна убивать на ожидание весь вечер?

— Прощу тебя,— перебивает он,— не жди ты ничего. У меня башка трещит.

— Ах вот как! — звенит ее голос.— Я и не знала, что музыка тебя так утомляет. Может, ты с ней еще и выпил?

— Прекрати сейчас же! — орет он, срываясь.— Не мешай мне работать!

— Буду, буду мешать,— звенит ее голос,— сегодня, сию минуту ты выслушаешь, что я о тебе думаю.— Она употребляет несколько

сильных прилагательных.— Думаешь, если другие считают, что ты известный защитник, то тебе все списывается? Нет, дружок. Я-то вижу, что все это показуха, фальшь! Тебе до другого человека нет никакого дела. Твой махровый эгоизм прикрывается высокопарными словами о гуманности...

Он бросает трубку. Сегодня его нервная система к этому не приспособлена. Через пять минут она позвонит, будет извиняться, говорить: «Что взять с женщины, которая издергана любовью». Она издергана самолюбием, а не любовью.

Он открывает дверь на балкон. На улице сыро и безветренно. Сквозь рубаху сразу же пробивает холод. Он возвращается в комнату, еще раз перечитывает написанное. Необходимо ярче выразить общую идею. Почему важно именно в нравственном смысле опровергнуть ложные показания преступника.

Он ходит по комнате минуту, две, потом набирает номер. Уже набрав, смотрит на часы — пять минут двенадцатого. Не очень-то удобно. Идиотски колотится сердце.

— Да,— ответила она тихо.

— Ты не спишь? — глупо спрашивает он.

— Нет, пришла недавно.

— Концерт так поздно кончился?

— Прошлись пешком, вечер хороший.

— Когда я тебя увижу? — спросил он.

Она помолчала.

— Это зависит не от меня.

— От кого же? — Он до смерти испугался. Сейчас — все, конец. Она еще помолчала.

— От тебя,— сказала она.

Ему показалось, что она издевается. Но она ждала, и он оторопел. Потом вдруг понял. Бог ты мой, это же всегда в ней было потрясающе! Беспощадная искренность. Без всякого там выламывания, цирка...

— Наташка! — завопил он.— Ты великий человек! Нет, ты просто... даже не знаешь, какая ты! Почему ты не поставила меня на место? Не сказала: катись, мол, ко всем чертям, сам твой голос мне отвратителен? Почему, а?

Она засмеялась:

— Не знаю. Наверно, просто не могу.

— У меня есть предложение! — заорал он.— Значит, так. Я завожу машину и еду к тебе. Ты в это время спускаешься вниз. Садись в «Жигули» 63-37. Мы едем ко мне. Затем, затем...— он приостановился,— ты готовишь ужин, мы ужинаем... Потом я доканчиваю работу, а ты... ты сидишь рядом на диване и читаешь великолепный детектив Жапризо под названием «Ловушка для Золушки», у меня даже подсудимый один просил. А затем? Затем ты читаешь мою речь и даешь оценку, понятно?

— Понятно,— усмехнулась она.

— Я сказал что-нибудь не то? — снова испугался он.

— Нет, нет,— засмеялась она,— ты сказал именно то, что должен был сказать.

Родион кладет трубку. Все еще не веря в то, что произошло, он включает магнитофон на всю катушку и, преодолевая боль в спине, начинает выделывать ногами козлиные па, потом, задохнувшись, включает маг.

— Наташка! Наташка! — орет он, шалея.— Ты помнишь наши встречи... на берегу-у-у!

Когда он немного успокаивается, он вспоминает о защитительной речи... На чем же он остановился? Важна общая идея... восстановление справедливости в каждом случае... в каждом преступлении... Нет, не получится сегодня... А надо.

Он садится к секретеру, заставляя себя думать, затем, немного погодя, записывает: «Требование закона: «Ни один невиновный не может быть осужден неправильно» — отражает неразрывную связь интересов общества с интересами личности». Родион останавливается, потом добавляет: «Каждое зло, каждая несправедливость в отношении отдельного человека нарушает правильную связь между человеком и обществом, воздвигает между ними стену, а значит, и вредит как интересам личности, так и общества в целом».

Перечитав это и выделив главное, Родион останавливается в раздумье. Все правильно, но звучит крайне казенно, неубедительно. Продолжать не имеет смысла.

Он переодевается, ставит на стол два прибора, бутылку вина. Затем, взглянув на часы, набирает номер Олега.

— Извини, не разбудил? — шепчет он в трубку. — Можешь завтра вечером заскочить ко мне?.. Ага, я так и знал. А когда? Ну ладно, ладно, бог с тобой, позвони утром.

Еще раз он внимательно осматривает комнату, расставляет все по местам. Потом заводит машину и едет за Наташей.

На рассвете, часов в шесть, Родион тихо пробирается на кухню. В квартире стоит запах «Шипра», сигарет, соединившихся с едва уловимым запахом душистого мыла и жасмина. Он зажмуривается от забытого ощущения ее присутствия. Наскоро перехватив сосисок с бутербродом, проходит в кабинет. Минуту сидит у секретера, боясь стряхнуть с себя блаженное оцепенение, потом пробегает вчерашнее начало защитительной речи. Переписывает одну фразу, другую, постепенно полемика с Тихонькиным захватывает его, и вот он уже катает страницу за страницей:

«Свой показания Михаил начинает с рассказа о том, как он сидел в переполненном клубе, где в этот воскресный вечер шла кинокартина «Кавказская пленница». В левом кармане, уверяет подсудимый, он сжимал раскрытый охотничий нож, в правый рукав пальто был вложен сапожный нож. Зачем он пришел в клуб с ножами, почему держал их в руках — на эти вопросы он ответить не смог».

Дальше на трех страницах шло изложение происшедшего в кино, которое заканчивалось так: «Тихонькин уверяет, что после того, как весь этот вихрь погони скрылся из виду, он-де вырвался из рук матери и побежал за ребятами. Эта часть объяснения моего подзащитного — от момента, когда между ним и Шаталовым произошла перебранка, и до того момента, как Михаил вырвался от матери, — подтверждена многими очевидцами и сомнений не вызывает».

Теперь Родион переходил в наступление: «Но то, что вслед за этим утверждает мой подзащитный, выглядит так же маловероятно, как и то, что он сидел в кино, держа в руке по ножу. По утверждению Михаила, он побежал из клуба к забору, который огораживает детсад, выставив вперед два ножа. Увидев там Рябинина одного, он бросился на него и нанес два удара двумя ножами. И хотя твердо установлено, что в момент, когда добежал Тихонькин до забора, вся группа давно пробежала мимо этого места, он все же настаивает на своем. На все вопросы Михаил отвечает: «Было все так, как я говорю». Но изложу сначала сначала вкратце, как появились сегодняшние показания Михаила...»

Здесь Родион оставляет место, чтобы позднее вписать признания Кеменова на другой день после преступления, очную ставку с Кеменовым, когда возникла новая версия.

«Отныне,— продолжал читать Родион,— для следствия все стало сразу предельно ясным: Тихонькин сидел с двумя ножами в кино. Тихонькин незаметно для всех опередил ватагу, бежавшую за Рябининым, и бросился на него с двумя ножами в руках.

Городским судом семнадцатилетний Тихонькин был осужден за нанесение двух смертельных ранений к десяти годам лишения свободы, к максимальному наказанию для лиц, совершивших преступление в несовершеннолетнем возрасте.

Но этот приговор был обжалован. Даже мать убитого Валентина Ивановна Рябинина, которая до сих пор не может поверить, что сын, которого она сама уговорила пойти в кино, больше никогда не вернется домой,— даже потерпевшая сейчас заявила в своей жалобе, что не верит ни приговору суда, ни показаниям Тихонькина.

Эта женщина добивается лишь одного: она хочет, чтобы за убийство сына ответил тот, кто его совершил...

Верховный Суд нашей республики отменил приговор суда и возвратил дело на дополнительное расследование...»

Звонит телефон. Родион поспешно хватается трубку, чтоб не разбудили.

— Ну что там у тебя? — раздается голос Олега.

— Ничего,— шепчет Родион.— Работаю.

— Ты что, осип?

— У меня тут спят.

— Ха... — неопределенно хмыкает Олег.— И много народу... спи?

— Немного. Валяй дальше,— довольно гудит Родион.

— Валяй. Позиция невмешательства в личную жизнь друзей меня всегда устраивала. Что Рахманинов?

— Отложили. Ждут возможности допросить Мурадова.— Родион косится на спальню.— Знаешь,— признается он,— я поражен твоей Шестопап. Видно, старею, механизм разладился.

— Эту свежую мысль ты высказал, помнится, последний раз года три назад. И до этого еще лет за пять.

— Надо признавать свои ошибки. Если она сумела выудить у подсудимого то, что я не мог на протяжении полугода,— пора подавать в отставку.

— Кроме того,— Олег смеется,— Ирина в некотором роде медиум.

— Таких в природе не водится.

— Как это? Не ты ли расписывал после Болгарии про ясновидящую Вангу из Петрича? — Олег довольно хмыкает.

— Так то ж Ванга... Ее, брат, академии исследуют как феномен.

— Ладно, не очень-то казись.— Олегу кажется, что голос Родьки куда-то пропал.— Главное — избежали ошибки. Чего тебе еще надо?

— Избежать-то избежали, да помимо меня.

— А что, лучше было бы, если бы благодаря тебе все проморгали?

— Давай... лупи. Все одно.

— Ты знаешь, в чем я окончательно утвердился после дела Рахманинова? — помедлив, говорит Олег.— Его первый удар был ответом на смертельное оскорбление. Так ведь? Вот ты бы и заявил где-нибудь в высшей инстанции, что словесное увечье может служить таким же веским поводом для ответного удара, как повреждение челюсти. Ни в одном процессуальном кодексе сегодня еще не фигурирует эта сторона дела. Рукоприкладство карается, а оскорбление

с л о в о м, которое порой приводит к смерти — через час, день, месяц? Помнишь, мы говорили с тобой об этом? Раны чаще всего заживают, а последствия нервных потрясений остаются.

— Когда это будет, старик? — сдавленно гудит в трубку Родион.

— В недалеком будущем. — Олег не сдаётся. — Наука так же легко будет подсчитывать число нравственных увечий, ставших физическими, как воспаление легких или ангину. — Он замолкает, Родион слышит шуршание. — Инфаркт как следствие разговора с начальником. Неплохо, а? Или, допустим, заболевание печени как результат систематического издевательства любимой женщины. Годится? А психический стресс как итог лжи, надругательства? Ничего, а?

— Не может быть, — бурчит Родион.

— Вот ты тут скепсис разводишь, — голос Олега густеет, — а некий психиатр Лешан, кажется из нью-йоркской академии, почти доказал, что психические травмы часто имеют канцерогенный эффект. Понятно? А это означает, что имеется связь между нервными перенапряжениями и раком. Вот к чему сегодня подбирается наука! Доходит?

— Что ж, я по-твоему, отстал, а?

— Не расстраивайся. Это до конца не доказано... А что твой гениальный эксперимент? Давно не слышу о нем. Ты же хотел посоветоваться.

— А у тебя что, явный избыток времени с утра?

— Считаю, что так.

Родион медлит.

— Ну, если хочешь, то вот в двух словах.

И шепотом он объясняет Олегу суть эксперимента.

XIII

Наташа выдвигает один ящик, другой, пытаюсь привести в порядок белье — рубахи, майки, носки.

Родион ушел позже обычного. Судебное заседание по понедельникам часто начинают с одиннадцати. Сегодня прения сторон по делу Тихонькина. Ночью ей даже приснился этот Тихонькин. Будто он бежит по льду, ноги расползаются, как у олененка. Он падает, потом опять поднимается. «Зачем же ты бежишь по льду?» — кричит она ему изо всех сил. «Нож надо в прорубь бросить», — мычит он ей в ответ, а ноги опять все расползаются и скользят на одном месте...

Разобраться в белье — и на работу. Эту неделю — понедельник, среда, пятница — с полтретьего, следующую — с утра. Никак она не умеет примениться к своей новой жизни, к этой квартире. Хотя что изменилось в ней? Телевизор побольше, магнитофон новый. В глубине, над столом, справа от фотографий отца и школьного выпуска, появился портрет матери. Да, мать умерла. Когда Наташе сказала об этом ее сменщица на Петровке, она кинулась искать Родиона, звонила раз пять. Подходила женщина...

Наташа добирается до нижнего ящика, присаживается на корточки.

Теперь уж Родион не так мчится по улице, не обрушивает на тебя каскад планов, фантазий — перемезился. Может, из-за смерти матери? Раньше долго он ни на чем не умел задерживаться. Даже на себе самом. Уж не говоря о ней. Скажет: «Как ты себя чувствуешь?» — или: «Что-нибудь стряслось?» — но ответа никогда не слышит. Иногда она обижалась: «Почему ты не спросишь, как у меня дома? Я ж тебе вчера сказала, что отец заболел». Он удивленно вскинет брови: «Так ты же ничего не рассказываешь! Как там с отцом?»

Она ответит, и он облегченно вздохнет: «Ну вот, я же знал, что ты сама все объяснишь».

И никогда он не умел лицемерить. Сразу запутается, растеряется. В этом и беда. Когда ты станешь ему неинтересна, он тоже не притворится. Из вежливости там или с умыслом. Как не захотел продолжать спектакль той осенью. Исчез, и конец. Словно переселился в другой город...

Рубашки хрустящие, хорошо отглаженные. Приспособился без матери, отдает в «Снежинку».

Через два дня наконец-то кончится процесс по делу Михаила Тихонькина. Слава богу. Родион весь издергался.

Она смотрит на часы, не опоздать бы на работу. Одной пациентке на полчаса раньше назначила. У немолодой тощей женщины после кишечного заболевания стали выпадать волосы. «Век лысых женщин», — написал когда-то французский «Вог», рекламируя парики. Положим, и мужчин тоже.

Действительно, после тридцати пяти волосы лезут очень у многих.

Наташа надевает пальто, бегом спускается по лестнице.

Тощей пациентке стоит посоветовать дарсонваль, витамины В₁, В₆. Пусть походит на процедуры, поколется. Согласится ли? А то ведь скажет: «Когда мне ходить на уколы, заниматься витаминами, массажем?» А без этого положение не улучшится. Настаивать, грозить облысением — нельзя. Мало ли какие у человека обстоятельства.

Когда-то Наташа сама пришла в «Косметику». Еще в старое здание на Петровку. На шее неожиданно выступило множество мелких, как присоски, родинок. Подобно опятам у пня, они множились с невероятной быстротой. Казалось, будто шея забрызгана капельками грязи. «Не расстраивайтесь, — сказала ей врачиха с кожей смугло-абрикосового отлива, улыбаясь живыми, веселыми глазами, — это поправимо».

Она повела ее в другой кабинет к косметологу-хирургу Анне Георгиевне Массальной. Наташа не могла оторвать глаз от Анны Георгиевны, от тонкого профиля пушкинских времен, прозрачно-молочной кожи лба и щек, каштановых пенистых волос. Тихий, ласковый голос Массальной действовал магнетически. Наташе захотелось быть хоть чем-нибудь похожей на эту женщину, которая была намного старше ее.

Впоследствии они подружились.

Наташа обнаружила, что множество самых разных пациенток стремятся к Анне Георгиевне отнюдь не только для исправления ошибок природы. Уход за внешностью составлял лишь одно из слагаемых извечной тяги женщин к самосовершенствованию. Кроме того, к ней шли по всякому поводу, как будто во власти Массальной было вернуть друга, мужа, купить нужную мебель...

Наташа стала мечтать о профессии врача-косметолога. Теперь она всматривалась в женские лица, примериваясь, как сделать лучше внешность той или другой из них. И однажды она решилась. Пошла сдавать экзамены в медицинский институт.

Теперь она работала в новом Институте красоты, что на Калининском, где главврачом была знаменитая Кольгуненко. Туда же перешла и Анна Георгиевна...

На улице холодно. Уже ноябрь. Снег лежит. Наташа вспоминает, как когда-то с Родионом они летали на лыжах с гор в Опалихе, потом ели обжигающий борщ в избе. Вкуснее этого борща она сроду ничего не едала. Каталась Наташа плохо, то и дело он вытаскивал ее из снега. Когда лыжи глубоко завязнут, ни за что одна не подни-

мешься. А он издевался: «У тебя просто тыльная часть перевешивает».

...В метро рядом оказываются студенты. Они бурно обсуждают итоги очередного конкурса бит-ансамблей. Наташа слушает их голоса, не вникая в смысл. Она думает. Что представляет собой жизнь Родиона теперь, когда они снова вместе? Две трети времени уходит у него на подготовку к процессу и на судебные заседания, подобные вчерашнему. Длительные, изматывающие. Какие же на это все нервы нужно иметь, волю, выдержку!

И снова — уж в который раз! — возникает перед ней картина единоборства между Родионом и Тихонькиным.

Тихонькин стоит, хмуро глядя мимо судьи. За спиной, на лавке, Саша Кеменов и Кирилл Кабаков.

Кеменов согнулся, теребит рукой лацкан пиджака. Светлая голова аккуратно причесана, пиджак хорошей шерсти. Отвечая, он поднимает голову, устремляя бесстрастный, холодный взгляд в пустоту, на щеке начинает дергаться мускул.

Кабаков то и дело сморкается, подавляя всхлипы. Он в отчаянии. Слезающиеся глаза неотступно следят за Тихонькиным. Когда тот отвечает на вопросы суда, Кабаков ерзает на скамье, чтобы изловчиться и заглянуть в лицо Михаилу.

После вопроса Тихонькина поднимается Родион. Наташа знает это упрямое выражение его лица, когда жестко наливаются скулы, настороженно горят глаза, точно гипнотизирующие собеседника. Сегодня лицо Родиона выглядит серым, нездоровым — лицом человека, не спавшего много ночей.

«В свое время, — говорит он, — медэкспертиза установила, что ни одно ранение не могло быть сделано ножами, которые приобщены к делу. Характер раны в легком говорил...»

Сбруев бубнит уже знакомое суду, его едва слышно.

«Вы настаиваете на том, что взяли сапожный нож у отца и им нанесли удар в бок?» — обращается он к Тихонькину. «Настаиваю», — говорит Тихонькин, уже сильно измотанный. «Вы подтверждаете, что этот нож вы затем бросили в прорубь?» — позывает голос Родион. «Подтверждаю», — выдавливает из себя Михаил, готовясь повторять одно и то же до обморока. «Разрешите прервать вопрос подсудимого, — обращается Родион к судье, — и пригласить в зал еще одну свидетельницу».

Судья выслушивает согласие Мокроусова, безразлично вялое подкивание Тихонькина, Кеменова, Кабакова, затем, посоветовавшись с заседателями, отдает распоряжение конвоиру. Тот исчезает за дверью.

В зал входит мать Тихонькина.

Она приближается к столу, чуть шаркая, вперив глаза в судью. Ни разу она не позволяет себе взглянуть на сына за перегородкой. Но тот... Наташу мутит при одном воспоминании о реакции Михаила на появление матери, с которой за прошедшие два года, очевидно, произошла разительная перемена.

Подойдя к судье, Васена Николаевна разворачивает темную тряпку, вынимает из нее нож. Заточенный кусок металла весело блестит на темном сукне стола.

«Объясните суду, — властно поднимается голос Родиона, — где находился нож все это время?»

Васена Николаевна монотонно, будто заученно излагает историю обнаружения ножа. В процессе ее рассказа лицо Тихонькина становится пепельно-белым, глаза застывают на фигуре матери. Васена

Николаевна замолкает, в **полной тишине** зала она идет и садится на скамью, держа в руке тряпку.

«Тихонькин, встаньте!» — раздается решительный голос судьи. Опыт подсказывает ему, что этот момент — единственный для признания, через минуту будет поздно.

Михаил встает.

«Вы узнаете этот нож, предъявленный суду вашей матерью?» «Узнаю», — опускает голову Тихонькин. «Это тот самый нож, о котором вы говорили?» — «Да». — «Значит, вы обманывали суд, когда утверждали, что бросили его в прорубь?»

Тихонькин молчит. Проходит вечность.

«Отвечайте суду», — требует судья. Тихонькин кивает. «Мы не слышим вас, — повышает голос судья. — Обманывали или нет?» «Обманывал. Я знал, что он пропал у отца раньше». Не давая ему опомниться, судья предлагает: «Расскажите суду, как все было в действительности».

Тихонькин смотрит куда-то мимо судьи, потом опускает глаза, потом снова тоскливо смотрит в ту же точку и, не глядя ни на кого, бормочет: «Когда я вырвался от матери, я хотел догнать ребят, но они были уже далеко... Нож я потом взял у Кеменова...»

Михаил отвечает, голос звучит бесцветно, а на скамье подсудимых растет смятение. Кеменов цепким взглядом впивается в Тихонькина, словно пытаясь остановить поток его признаний, мускул на щеке дергается сильнее. Кирилл Кабаков начинает гримасничать, кричаться, вот-вот разрыдается.

Тихонькин останавливается, словно опомнившись, оборачивается к Кеменову. «То, что я сейчас рассказал, — равнодушно цедит он, — не меняет положения. Уже потом я ударил его... и убил все равно я».

Наташа видит бросившуюся к выходу сестру Тихонькина, чувствуя, что сейчас все сорвется, но она вспоминает, что главные аргументы у Родиона еще **впереди**.

...В институте ее уже ждут.

Волосы тощей пациентки выпадали главным образом на висках и темени.

— Вам обязательно уезжать? — спрашивает Наташа.

Пациентка густо краснеет.

— Конечно, — спешит Наташа, — я могу вам предложить особое мыло, втирание и самомассаж по утрам, но лучше было бы...

— Скажите, я совсем потеряю волосы? — спрашивает пациентка.

— С о в с е м — нет. Но лучше было бы вам остаться на месяц — мы бы многое успели. Уколы, дарсонваль.

— Месяц? — говорит пациентка и смотрит на Наташу с отчаянием. — Хорошо, я подумаю.

Пока Наташа выписывает рецепт, пациентка сидит застыв, как изваяние.

Наташа протягивает бумажку, в комнату заглядывает следующая по записи. Уже около трех. А эта все сидит в кресле, сохраняя полную безучастность к окружающему.

Санитарка вносит мокрые компрессы. Наташа начинает мыть руки.

— Он бьет меня, — вдруг говорит пациентка, испуганно озираясь. — Возьмет что-нибудь тяжелое и швырнет. Иногда завоешь от боли.

— То есть как? — Наташа **немая**.

— Так. Если я долго не уезжаю в командировку, он впадает в бешенство. И **норовит покалечить**. Я это все выдумала про кишечное

заболевание. Это от нервов у меня волосы лезут.— Она перегибается в кресле, беззвучно плачет.

Наташа теряется.

— Ну вот... Ну как же это... Успокойтесь, пожалуйста, я сейчас положу компресс на лицо, горячий, потом холодный.— Она машет махровой салфеткой в воздухе, от салфетки идет пар.— Посидите минутку. Кожа расправится, посвежеет. Потом сделаем питательную маску. Ну успокойтесь, ну. Нельзя так.

Женщина затихает. Десять минут она сидит в маске, источающей запах земляники. Затем Наташа протирает ей кожу, кладет тон, пудрит.

— Нет, мне придется уехать,— говорит пациентка, застегивая пуговицы на кофточке и изумленно глядя на свое отражение в зеркале,— иначе может быть беда. Он напьется, искалечит меня, свою жизнь. Уеду, все будет легче.— Она тяжело вздыхает.

— Да что ему от того, что вы уедете? — восклицает Наташа.— Ему без вас лучше?

Пациентка как-то странно смотрит на Наташу.

— Милая вы моя,— говорит, качая головой,— ему не без меня лучше, ему с той лучше. Квартира ему нужна. Понятно? Я уеду — он ее притаскивает. Побудет с ней недельку и отойдет, заскучает. Из командировки приедешь, он другой. Виноватый. Вот я все в командировки и прошусь.

— Когда вас нет, она живет в вашей комнате?

— «Живет»,— передразнивает пациентка.— Да она у меня полная хозяйка. Всем пользуется как своим. Халатом, обувью, платьями. Потом месяц отмываюсь от их грязи.— Она встает.— Извините. Вас уже ждут.

— Вот рецепт, не забудьте,— протягивает Наташа бумажку.— Это очень хорошее средство. Сами массаж делайте. Вот так,— она показывает движения по ходу мышц головы.

Пациентка обнимает ее, напяливает парик и выскакивает из кабинета.

В открытую дверь просовывается голова медсестры Раечки.

— Идите скорее,— шепчет она.— К телефону.

Наташа сажает новую пациентку в кресло, протирает ей лицо тампоном.

— Приготовьте парафин, пожалуйста,— говорит Раечке и идет к столу администратора.

— Слушай,— слышит она нетерпеливый голос Родиона,— ты еще долго намерена торчать на работе?

— Я недавно пришла.

— Досадно! Мне совершенно необходимо тебя увидеть. Срочно. Она улыбается:

— Вечером увидимся.

— Разве? — смеется он.— Но я должен немедленно сказать тебе два слова об эксперименте.

— Ты же не хотел.

— Только сейчас получил согласие.

— У меня, между прочим, рабочий день.

— Господи, что ты — не можешь на полчаса смыться?

— На полчаса не могу.

— А на сколько?

— Минут на десять. И то в пять тридцать, не раньше.

— Нет, сейчас. Я поднимусь, где пьют кофе.

Он бросает трубку.

Через полчаса они сидят на втором этаже «Чародейки» среди женщин в бигуди, мастеров в белых халатах, устроивших перекур, молодых людей, ожидающих своих приятельниц.

Родион набрал пирожных, глазированных сырков, но сам ни до чего не дотрагивается. Он с азартом чертит на салфетке схему эксперимента, объясняя, как все произойдет.

Наташа молча жует пирожное, вслушивается в голос Родиона, ее что-то тревожит, настораживает в нем. «Да, так будет всегда», — думает она. Она сама это выбрала. И другого ей не дано.

В среду Наташа снова работает во вторую смену. Она дома с утра. Родион завтракает, уткнувшись в какую-то бумагу; уходя, целует ее в макушку, тяжело ступая, направляется к двери. Сегодня он возьмет макет, заказанный для эксперимента, согласует ход его в деталях с судьей.

— Так я жду тебя через час. Зал номер одиннадцать, — обращается он, на ходу застегивая куртку.

В суд она идет медленно. Когда попадает в зал, слышит хриплый прерывистый голос Тихонькина. Опоздала.

— ...Я думал его поучить только, — бормочет Тихонькин, присвистывая на букве «ч».

— Вы помните, как ранили Рябинина? — раздается вопрос Родиона.

— Я же сказал, что помню...

Теперь Наташа отчетливо видит Тихонькина. Низкорослый, с красивыми темными глазами, выбритый опытной рукой.

— Заявляю ходатайство перед судом на проведение эксперимента.

— Попрошу подробнее рассказать о сути эксперимента, — говорит обвинитель.

Родион торопливо описывает задуманное.

— Не вижу особой необходимости в этом, — пожимает плечами прокурор Мокроусов. — Впрочем, если защита настаивает... Я не против.

Судья, посоветовавшись с заседателями, кивает.

— Внесите! — приказывает Родион.

Дверь открывается, двое конвойных вносят высоченный манекен.

По залу проходит тревожный шорох.

Куклу водворяют на пол перед столом суда, она кажется громадной. Рост Рябинина — сто девяносто два сантиметра, — воспроизведенный в муляже, выглядит в небольшом зале неправдоподобно высоким.

— Дайте, пожалуйста, подсудимому деревянные ножи, — обращается Родион к конвойному и, обернувшись к Тихонькину, предлагает: — Покажите суду, как вы ударили.

Тихонькин бледнеет, внезапность предстоящего сражает его, но он силится овладеть собой. Наконец он поднимает горящие глаза на смуглолицего конвоира и берет у него деревянные ножи.

Теперь Наташу поражает на лице Родиона новое выражение — тяжелой необходимости и властного вдохновения. Таким она его совсем не знает. С болезненным возбуждением следит он за борьбой, происходящей в Тихонькине, маниакально убежденном, что обязан доказать то, чего на самом деле не было. Держа по ножу в каждой руке, подсудимый подходит к кукле, мучительно долго прицеливается, но ударить не может. Руки не слушаются, его бьет дрожь. Наконец он напрягается и делает первую попытку. Нож, соскользнув, задевает бедро.

— Михаил, брось! — неистово орет кто-то.

Все видят вскочившего с места Кеменова.

— Подсудимый Кеменов! — спокойно останавливает его судья. — Ведите себя как полагается! Успокойтесь! Иначе мы вынуждены будем прервать заседание.

Кеменов садится на место. Кабаков, закрыв голову руками, медленно раскачивается из стороны в сторону.

Держа нож лезвием вверх, невысокий Тихонькин снова направляет его в правый бок манекена, там, где расположено легкое. Но и на этот раз удар, направленный снизу вверх, не соответствует тому, подлинному. Со все нарастающим остервенением Тихонькин бьет и бьет в куклу, стараясь попасть в легкое. Кажется, он рухнет сейчас. Наконец он останавливается в изнеможении.

— Отдохните, — говорит судья ровным голосом, — если хотите, попробуйте еще раз... Вы по-прежнему настаиваете на своих показаниях?

Наташа чувствует подступающую дурноту. Она опирается на чье-то плечо и, пригнувшись, выскользывает из зала.

Дома она падает в кресло, долго сидит не шевелясь, затем набирает телефон тощей пациентки.

— Забыла дать вам совет в дорогу. Вы ведь сегодня собираетесь?

— Да, еду, — помолчав, отвечает та. — Пропущу стаканчик на дорогу — авось проснусь в Орле.

— Старайтесь парик не больше трех часов носить, проветривайте кожу. — Наташа замолкает. — Ну что ж, отвлекитесь — в вагоне новые впечатления, новые люди.

— Какое там, — возражает пациентка. — От себя не уйдешь. Надо решаться на что-то. Вчера он говорит: «К Новому году чтобы была на месте, слышишь?» «Слышу, говорю, а что за толк? Моя компания тебя все равно не устраивает. Прожду целый вечер одна». «И подождешь, говорит, от тебя не отвалится». Я и отвечать не стала, что ему, дураку, объяснишь. А он видит, молчу, и еще добавил: «Настанет, говорит, у меня такое настроение повидать тебя — приду. Выпьем чин чинарем, разложим по параграфам нашу семейную канитель. А не настанет — спать ложись. Что тебе еще делать-то?»

— И вы это все сноситесь? — ужасается Наташа. — Да бросьте вы его! Видная такая женщина. Зачем он вам?

— Пробовала, — вздыхает пациентка. — Однажды даже к подруге переехала — через неделю является. Ласковый, как дворняга. С подарками. Я, мол, тебя в обиду не дам ни себе, ни другим. Вернулась. А через три дня он мне консервной банкой промеж лопаток врезал. И опять все пошло-поехало. Теперь куда уж денусь? Мне теперь — все. Крышка. Ребенок у меня будет.

— Ребенок? — совсем теряется Наташа. — Так, может быть, это все и поправит? Сын или дочь...

— Не поправит. — Пациентка долго молчит, потом раздается всхлип, звон стекла. — Я только намекнула, а он: «Немедля чтобы избавилась, говорит. Я еще себя не похоронил — детей заводите. Мне еще пожить охота». — Пациентка замолкает надолго. — Мне ведь аборт никак нельзя, — совсем тихо добавляет она. — Кровь плохо свертывается. Да и вообще не хочу, понимаете, не хочу я! Может, это последний мой шанс...

Наташа ищет что бы ответить, но так и не находит.

— Вернетесь — позвоните, пожалуйста, — просит она. — И теперь уж пить-то не надо, ребенок ведь... А насчет волос не тревожьтесь, за десять сеансов мы это поправим.

— Позвоню,— обещает пациентка.

Наташа сидит с телефоном на коленях в состоянии, близком к панике. Утренний эксперимент, поведение Родиона, незнакомого, безжалостного — как охотник, наступающий дичь,— и еще этот разговор. Ей почему-то кажется, что тощая пациентка непременно покончит с собой. Или что-нибудь в этом роде случится. «Что же теперь делать?» — лихорадочно прикидывает она.

Звонит телефон. Она машинально берет трубку.

— Это ты? — тихо гудит юношеский басок.— Ну как тебе живется, Кот?

Котом она была только для одного человека.

— Ничего. Живу. Ты-то как?

Он что-то начинает рассказывать о ребятах со Щербаковки, о своем дипломе, нововведениях в Измайловском парке, а у нее внутри все дрожит. «Ах, Толенька, Толенька. Милый ты, светлый мой человек».

— ...Вообще-то живем мы интересно,— закругляется он.— Мама тебя на именины приглашает. Придешь? Ладно, ладно. Знаю. Только ты вот что... Поимей в виду, если у тебя что не так, мы тебя ждем, поняла?

Наташа слушает, по щекам ползут слезы. Какие такие локаторы водятся у людей, которые все понимают? И самой-то себе не объяснишь, почему ей здесь не по себе, почему не может она привыкнуть и уж не привыкнет, видно. И все равно у нее на уме только этот занятый своими процессами, ограблениями, убийствами, глухой ко всему другому человек. Только этот. Которому она не очень-то и нужна. А тот — милый, славный, лучший в мире Толенька,— он не для нее.

Наконец она справляется с собой.

— Ты... сам меня нашел, Толя?

Он смеется.

— Нет, объявление в газете прочел. В общем,— он пересиливает себя,— мы ждем тебя дома.— Он все никак не решается повесить трубку.— Ну пока, Кот.

— Пока, шепчет она, не вешая трубку.

хiv

В день эксперимента Олег не был в суде. Он все забыл — и обещание Родиону, и встречу с Ириной,— когда обвалилось на него сообщение Инны Ивановны, что у четырех из тридцати пяти больных, лечившихся по новой системе, резкое ухудшение.

Он метался из кабинета в кабинет, сопоставлял анализы, цифры давления и множественные кривые, подолгу сидел у каждой койки, расспрашивая больных об их самочувствии. К двенадцати собрал всех сотрудников, пригласив и смежников, но консилиум был малорезультативен.

Только к вечеру он выбрался к Родиону.

В дверях молча стояла молодая женщина.

— Помнишь Наташу? — вяло спросил Родион, представляя ее, и Олег попытался вспомнить, когда он видел это точеное лицо, черные жесткие волосы, темные глаза, чуть разбегающиеся в разные стороны.— Заходи, ужинать будем.

Наташа молча, без улыбки следила за Олегом, за его колебаниями, затем взяла со стола поднос и вышла.

— М-да,— промямлил Олег.— Давняя твоя барышня.

— «Барышня»,— передразнил Родион.— Полегче на разворотах.

Олег скинул куртку, присел. Он жалел, что пришел.

Спустя минут десять, когда с кухни послышалось шипение и запах жареной яичницей, Олег почувствовал себя увереннее.

— Хорошенькая...— сказал он, затыгиваясь.— Курить не запрещает?

— Ты ведь уже куришь, что спрашиваешь? — засмеялся Родион, и в голосе и смехе было что-то новое.— Знаешь,— сказал он с тем же подъемом,— я тебе дико признателен за приезд. Хотя это и не из-за меня. Но все равно...— Он расставил тарелки, чашки.— Да тебе и самому крайне полезно было понаблюдать за процессом Рахманинова. А?

Олег кивнул. Ему нравилось в этой комнате, он на минуту забыл о своих бедах, размяк. Его потянуло философствовать.

— Знаешь, что мне непонятно? — Он положил сигарету на край пепельницы.— Почему этот Никита или даже Тихонькин так мало страшатся последствий? Самого наказания?

Родион разводит руками:

— Все они редко думают о том, что их ждет впоследствии. Если думают — все равно не предвидят, что с ними произойдет. В психологическом смысле. Не осознают того устрашающего одиночества, которое их ждет. Когда цель преступления достигнута — нажива, карьера, месть, я беру оптимальный вариант,— то выясняется, что человек не может жить без одного — без привязанности себе подобных. Преступник, как правило, уже не способен общаться с людьми как прежде, а другого-то ему не дано. Вот и наступает то состояние, которого почти никто из них морально не выдерживает.

— Что ж, по-твоему, нет преступников, спокойно процветающих после того, как им удалось уйти от разоблачения и наказания?

— Ну, во-первых, таких немного. Во-вторых, и они, уверен, по крайней мере девяносто процентов из них, хотели бы вернуться к честной жизни, если смогли бы это сделать без наказания. Понял?

Олег кивает.

— Но вообще-то,— он крошит хлеб и хитро щурится,— еще не было общества, которое было бы свободно от преступности. Может, среди людей должен сохраняться какой-то процент хищников, чтоб не нарушалось равновесие, гармония развития..

— По-твоему, общество не может жить без тех, кто нарушает его законы? — Родион вскакивает.

— Ну... в каком-то смысле,— бурчит Олег.

— Небось начитался об эксперименте о волках с оленями? — Родион вынимает последний номер журнала.— Ах, не в курсе? Тогда — вот здесь приводится общеизвестный пример. Оградили в диких прериях участок, где волки могли беспрепятственно поедать оленей. Сто с лишним — стадо оленей, и двадцать с лишним — стадо волков. И что же? Волки, как оказалось, вовсе не истребили оленей. Естественное соотношение сохранилось: сто на двадцать. И воспроизводство шло точно по законам природного равновесия. Но при этом выживали сильные и выносливые олени, а погибали слабые и больные. И выходит: в диких условиях стадо накапливало здоровые, сильные качества. А следовательно, можно предположить, что волки в известном смысле даже приносили пользу оленям, поедая их, а?

— Логично. Но, к счастью, люди не олени.

— «Не олени»,— передразнил Родион.— Чем же?

— Люди-то, милый мой, не могут допустить гибели слабых и больных. Как ты не раз проповедовал, они обязаны проявлять гуман-

ность именно к слабым, поверженным, оступившимся. На то они и люди. И наши с тобой профессии призваны ограждать прежде всего этих людей, которым грозит опасность. Они пострадали, им нужна защита. Так? А защищают, как известно, не от слабых...

В дверях возникает Наташа. Молча ставит масло, поджаренный хлеб, свекольный салат и мед в розетках.

— Выпить хотите? — поднимает она наконец глаза на Олега.

Олег пожимает плечами.

Наташа выходит.

— Поразительный человек, — шепчет Родион, и в его глазах прыгают искорки. — Знает такое — уму непостижимо. Прямо не устаю удивляться. Вчера, к примеру, замечаю: «Какой-то особый мед у тебя». А она: «Еще бы: с химическим карандашом на рынок хожу». «С чем?» — спрашиваю. «Пчела, говорит, дурень, воды не пьет ни капли, настоящий мед химический карандаш не растворяет. Если су-нешь его в капельку и краска не поползет — бери. Натуральный!» Видал? — Родион оглядывается, как заговорщик. — Иногда мне кажется, что с нею годков десять скинул, а иногда... — Родион вздыхает, — что я старше ее на сто лет. Вон — на окне у нас, — показывает Родион, — пшеница проросла! Видишь? На птичьем рынке достала. Проращивает в воде, под марлей. «Утром, говорит, съешь десять проросших зерен — вся норма витаминов за день выполнена». — Он дергает по-мальчишески головой, победоносно оглядывает Олега.

Тот ковыряет ложкой салат. Не понять, слушает он Родиона или нет.

— Веришь, головную боль и ту может снять. Большой палец упрет в лоб над переносицей и давай тереть. Сегодня утром такой массаж мне пять минут провела, и отошло... Здесь у человека, оказывается, нервные окончания сходятся — глаз, носа, ушей. Особенно полезно тем, кто долго глазами работает.

— А Тихонькин твой как? Эксперимент удался? — помолчав, спрашивает Олег.

— Надо было самому приходиться. — Родион нехотя переключается.

— Не мог. Чепе в клинике.

— Защитительная речь еще предстоит, приходи, если хочешь.

— Ладно... — Олег кивает. Мысль о клинике заставляет его подтянуться... — Извинись перед Натальей, — бормочет он, — салат у нее первосортный. Но мне на работу надо срочно — больной в тяжелом состоянии. На речь твою приду обязательно.

— Хорошо, что ты появился, — говорит Мышкин, увидев входящего Олега, и начинает двигать бровями. У него такая привычка — двигать бровями. — Нужен новый консилиум.

Они вместе сидят в ординаторской, отдавая какие-то распоряжения и стараясь не мешать реаниматорам. Те орудуют у койки сорокадвухлетнего больного с прилипшей ко лбу рыжей прядью. Ожидаемого улучшения не возникает.

Только под утро Олег уходит из клиники.

Дома принимает дозу намбутала и тюфяком валится на кровать. Когда просыпается, с этим рыжим лучше. Невероятно! Он кидается вон из города, целый день мотается под снегом и дождем в лесу.

К вечеру он входит к Ирине и, не раздеваясь, продрогший до костей, заявляет:

— Не могу я без вас. Извините.

— Да что это вы? — говорит она, пугаясь его безумного вида. — Бог с вами, вы же вымокли до нитки.

Он машинально отдаёт ей куртку, свитер, на паркете образуются лужи от ботинок, но ботинки он не рискует снять.

— Что с вами? — В руках у нее махровый халат цвета морской волны.

— Потом, — отмахивается он.

— А у меня огорчение. Сообщили, что отцу Марины стало хуже. У него ведь уже был инсульт. — Она выворачивает рукава халата и подает его Олегу. — Он срочно зовет Марину на Курилы.

«Ну конечно же, — с трудом пытается сориентироваться Олег. — Ее бывший муж, Маринин отец. Теперь он болен». Впервые все это складывается вместе в его сознании.

— Когда лететь? — спрашивает.

— Во вторник.

— Мы проводим ее на аэродром.

— Конечно. — Ирина заглядывает ему в глаза. — Я вообще не представляю, как обойдусь без вас. Уже привыкла с вами советоваться...

— Куда я денусь, — отмахивается он, мужественно пытаясь сохранить самообладание.

— Сначала Курилы, потом у нее сессия, — говорит Ирина печально, — и снова я одна. — Она расправляет его мокрую одежду у батареи. — Ведь это были такие прекрасно-напряженные дни... Так много у меня было забот и занятий, а завтра я проснусь — и что делать?

— Завтра? К половине десятого будьте готовы, — говорит он с излишней прямолинейностью.

— К чему готова? — глядит она испуганно.

— Мы поедем на автогонки. На ипподром.

Она жалко улыбается:

— Да, это единственный выход из положения.

— И я, — высовывается из-за двери Марина.

Он вздыхает с облегчением.

— Значит, до завтра, — машет он рукой с ощущением, что отвоевал год жизни.

xv

В ту субботу гонки отменили. Ледяная метель изуродовала дорогу. Пришлось отложить состязания до следующей субботы.

Но и в этот раз мало что изменилось, холод стоял по-прежнему невыносимый. Олег не предполагал, что на ипподроме такой ледяной ветер, оделся он совсем легко.

В ложе № 2, где билет стоит на тридцать копеек дороже, уже порядком набилось народу, Олег с трудом протискивается к боковому барьеру.

А публика все прибывает. Вваливается человек восемь молодых парней и две девахи. Они хохочут, не морщась жуют мороженое, облизывая падающий на него снег, и закусывают горячими пирожками по десять копеек. Компания чувствует себя как дома. Они называют гонщиков по именам — Саша, Вася, Серафим — и делают долгосрочные прогнозы о победителях. А впритык к ним два старика ведут свою степенную беседу.

— Смотри-ка, — говорит один, отчеркивая ногтем строчку в программе. — Царев-то на «Москвич» пересел. Помнишь его рысака? — Мясистые губы посасывают сигарету, в бороде блестят замерзшие капли.

— Не может быть! — изумляется второй, нацепляя очки.— Да. Точно, он! И инициалы совпадают. Как говорится, на всех видах транспорта. Сколько сейчас ему? Должно быть, годков тридцать пять?

— Никак не меньше.

— А помнишь, лет десять назад он на Ниле гонял? Гнедой с полосами жеребец, как зебра? От Избалованного и Крошки?

— Еще бы,— солидно подтверждает безбородый.— Такого второго не было. Разве что Калиф от Легиона и Карусели. Тот тоже был чудо. Да они и видом схожи...

Олег только раз в жизни был на ипподроме, студентом, с какой-то компанией. От того похода у него в памяти остался неожиданный выигрыш, сорванный за три рубля с таинственно прекрасной лошади по кличке Локатор, гульба с ребятами на шальные деньги...

— Олег Петрович,— вдруг слышит он голос, и две холодные варежки закрывают ему глаза. Он оборачивается, видит смеющиеся Маринины глаза, хлопья снежинок на ресницах. За ее спиной улыбается Ирина Васильевна. Олег обалдело разглядывает их шубки, меховые унты, расшитые яркими узорами.

Девочки и мальчики из сплоченной компании как по команде прекращают жевать пирожки, замолкают и тоже лупятся на вновь прибывших.

— Ну и погодка — не бей лежачего! — оглядывает Марина поле ипподрома.— Не везет гонщикам.

— Здравствуйте,— протягивает обе руки Ирина Васильевна.— Как я рада вам!

Она действительно рада. Желтое сено волос переливается на свету. Он с трудом открывает глаза.

— Вот сюда,— он подвигает ее ближе к перилам.— Здесь не будут толкать.

Хрипит репродуктор. Все приходит в движение.

Марина, вцепившись в перила, не отрываясь следит за происходящим.

— Что нового? — наклоняется Олег к Ирине Васильевне.

— Даже не знаю, как ответить. Соседи наши еще в большом волнении. Мать Никиты, Ольга Николаевна, не поймет, что же теперь будет. Поправится ли Егор Алиевич? Вам Родион Николаевич ничего не говорил?

Олег отрицательно качает головой.

— Я встречу с ним на заключительной речи по другому делу.

— Может, будут подробности?

— Смотрите же,— перебивает Марина,— первый заезд.

Взмах флага, восемь фыркающих машин с ревом срываются со старта, и сразу же лидеры отрываются от основной шеренги. Их двое. Однако на правом вираже, с подветренной стороны, одному из них приходится туго. Машину слегка заносит на скользкой дуге, и вот уже третий гонщик проскакивает вперед.

— Внимание! — слышится голос из репродуктора.— Второй заезд!

И тут же на табло выскакивают фамилии участников и номера их машин. Мазурин значитесь вторым, номер «73».

На старте какая-то заминка, не хватает одной машины.

— Ваш Сбруев очень талантлив,— наклоняется Ирина к Олегу.— Надеюсь, обвинение в преднамеренности теперь будет снято и тогда приговор будет справедливым.— Она кутается в шарф.— Пусть Никита Рахманинов живет с другим ощущением. Ведь пока живешь, всегда есть надежда.

— Да, в этом вы правы,— подтверждает Олег, думая о своем.

— Мне показалась особенно интересной у Родиона Николаевича эта часть об оскорблении словом... Смотрите, вот ваш знакомый.

Саша срывается со старта четвертым. Но уже через круг он обходит идущую впереди машину, на рискованной скорости пройдя вираж.

Олег следит за гонкой с той же мыслью о странных повторениях, случающихся в жизни, когда тебе кажется, что по второму разу прокручивается лента фильма, который ты уже видел: Мазурин за рулем, гонки, другая женщина, которую любит Олег... Как будто стрелку часов передвинули на много лет назад.

Поразительно. За десять лет манера и характер езды Мазурина мало изменились. С таранным упорством он держит заданный ритм, почти не отступая от него всю дистанцию.

Через девять кругов красная машина Мазурина идет уже третьей. И здесь происходит самое эффектное для зрителя. После многих попыток обогнать вторую машину Саша будто бы отступает. Желтый соперник Мазурина, успешно маневрируя из стороны в сторону, не пропускает «73-го» вперед. С минуту они так и идут, как сцепленные тросом, вихляя вправо, влево. Потом Саша ловко обманывает соперника. Будто бы рванувшись вправо, он резко берет влево и под рев трибун проскакивает вперед, в считанных сантиметрах от желтого противника.

Теперь Мазурин пытается сократить дистанцию между ним и первой машиной. Она невелика, но на вираже у его машины внезапно открывается капот. Бог мой, какая нелепость! Сейчас «73-го» начнет сносить в сторону... Гонщик почти с цирковой сноровкой виртуозно удерживает ее на ледяном вираже, и вот уже прямая.

Желтый предупредительный флаг парит в воздухе, напоминая о скором финише. Только бы ему добраться до конца! Тормозящий капот отнимает с таким напряжением завоеванные секунды.

— Вот это заезд! — говорит парень с обмороженным лицом.

Желтый соперник Саши неумолимо настигает его и успевает обойти перед самым финишем!

Трибуны неистово топают, орут. Никто не слушает новых объявлений, пока на табло не появляются имена участников следующего заезда. Мазурин снова едет. Подряд два заезда.

Машина уже в норме. Вопреки ожиданиям Саша уверенно набирает темп. В этом заезде он финиширует первым.

У Марины дрожат губы, пылают щеки. Не дождавшись конца, она опрометью бросается вниз.

Последний заезд.

Машины срываются со старта. Ажиотаж на трибунах достигает апогея. Подсчитывают очки, спорят, делают прогнозы.

Последние две машины притираются друг к другу, и вот уже одну выбросило за колею гонок. Около нее сразу начинают суетиться дежурные, появляется «скорая». Гонщик отряхивается от снега, как ни в чем не бывало напяливает шлем.

Флаг опускается. Конец.

Публика валит из ложи, Ирину прижимают к Олегу.

— Ваш Саша занял третье место... — вбегает Марина через минуту. — Теперь войдет в состав сборной Союза. Извините, Олег Петрович, я побегу. Мам, в общем, вечером я появлюсь... — Она оглядывается на мать и вдруг сникает. — Может, ты хочешь со мной?

— До свидания, — протягивает Ирина руку Олегу. — После свидания со Сбруевым загляните к нам!

Он не успевает ответить, их уже далеко относит толпа.

Конечно, он заглянет на Колокольников. Непременно.

XVI

За три часа до заключительного заседания в суде, в восемь утра, Родион въехал во двор клиники на Пироговской и поставил машину поближе к подъезду. Вчера дурацкий приступ радикулита согнул его пополам. С трудом выбравшись из «Жигулей», он позвонил Олегу, и тот настоял на рентгене у профессора Линденбратена, которому доверял. Пришлось сегодня терять драгоценное время и спозаранку перетянуться к этому светилу, чтобы выслушать его богоспасительный совет — поменьше ездить в машине, побольше двигаться, бросить курить, пить и соблюдать диету, препятствующую отложению солей в позвоночнике. Года два назад он уже выслушивал все это, но тогда не случалось таких чертовых ситуаций, которые делают тебя посмешищем всей улицы в момент, когда вытаскиваешь задницу из машины.

Сейчас, у клиники, он тоже с трудом выбрался из кабины (движения вправо и влево причиняли острую боль), прошел по широкому коридору мимо множества кабинетов в самый конец, на кафедру рентгенологии.

Через десять минут он стоял голый перед экраном. Потом сидел в коридоре в ожидании, когда проявят снимки, потом что-то глотал, снова стоял на рентгене и сидел в коридоре.

И вот по истечении двух с половиной часов он был свободен. Свободен как никогда. Защитительная речь по Тихонькину. И все. Больше дел у него не было. Что симпатично в этих милых докторях, и особенно в светилах, — это документальность стиля. Никакой художественной орнаментовки или смягчающих прокладок. «Немедленная госпитализация, немедленная операция...» У них все «немедленно». Пока он сидел в кабинете Линденбратена, а они там совещались и вгрызались в его снимки, прозвонился Олег. Он тоже сказал: «Я сейчас немедленно приеду». Что ж, пусть едет. Посмотрим, во сколько минут исчисляется его «немедленно».

Родион вышел из клиники, закурил. Боль почти утихла, и ему стало казаться, что ничего и не было. Одна игра воображения, обычная перестраховка докторов. Только от этих глотательных смесей осталась тяжесть под ложечкой.

Он влез в машину, поджидая Олега в состоянии опустошенности, какого давно не испытывал. Первое, что пришло ему в голову, когда этот Линденбратен врзал про операцию: «Хорошо, что мать не знает». Только в следующее мгновение он сообразил, что она не узнает, потому что ее нет. Вторая мысль, шевельнувшаяся в его мозгу, была мысль о Наташе. Слава аллаху, что обвел он судьбу вокруг горлышка, не связал женщину окончательно, не нарожал детей. Теперь бы им всем досталось на орехи. Наташу надо будет от этой ситуации избавить. По-тихому, без широковещательных формулировок и уютных объяснений. В ее двадцать шесть все поправимо.

Собственно, сюжет самый банальный.

Сколько читано об этом, сколько видано спектаклей, фильмов. О болезнях, которые отменяют всю прежнюю жизнь, девальвируют прежние ценности... Но когда это происходит на самом деле, и не с другим, а с тобой, и ты оказываешься единственным вместилищем богатейшей информации Линденбратена, все одно чувствуешь себя малоподготовленным.

Он усмехнулся, вспомнив, как однажды присутствовал при споре Олега с его ординатором Юрием Мышкиным в кабинете кафедры. Олег за что-то выволакивал парня, тот слушал молча, насупленно. Казалось, Олег убедил его.

«Вся беда, что мы с вами принадлежим к разным типам людей,— вздохнув, вдруг заговорил Мышкин,— вы к типу А, а я — к Б. От коронарной недостаточности погибнете...» « Попрошу без грубостей», — отмахнулся Олег, уже выпустивший пар, и начал рыться в своем столе. «...а Юра Мышкин,— с постной миной добавил ординатор,— умрет от рака».

Родион, не выдержав тогда, расхохотался: «А я — по вашей шкале?» «Не имею чести достаточно хорошо знать вас,— хмуро отозвался Мышкин. Потом пристально посмотрел на Родиона.— Вы агрессивны? Конкурентоспособны? Нетерпеливы?» «Еще как!» — улыбнулся Родион. «И времени всегда в обрез? Тогда вы тоже — тип А, как Олег Петрович. Только это не моя шкала, а американская. В книге Фридмана и Розенмана про вас обоих сказано: «Именно бесконечное напряжение такого рода людей, их постоянная борьба со временем ведут так часто к ранней смерти от коронарной недостаточности». «А еще по части Олега Петровича что у них сказано?» — нарочно громко спросил Родион. «Замечено,— оглянулся Мышкин на Олега, и во взгляде его промелькнуло обожание,— что, если много высказываться о вышестоящих лицах, можешь схлопотать инфаркт».

Олег листал бумаги на своем столе, не реагируя.

«Ну ладно,— согласился Родион,— а вы, то бишь тип Б, вам что грозит?» «Мне? — Юра широко улыбнулся.— Я же вам сказал уже. Мне, человеку с мягким характером, уступчивому, неконкурентоспособному, редко вступающему в пререкания с шефом, грозит злокачественная опухоль. Эту закономерность вывела мисс Кэролайн Томас».

«Интересно,— думает сейчас Родион,— что у этой Кэролайн сказано об образованиях в позвоночнике? — Он усмехается.— Нет, американцев я обманул. С сердцем у меня полный порядок. Никакой недостаточности».

Родион включает приемник. По «Маяку» — информация.

«Ликвидировать неотложные дела,— думает он,— затем придумать, допустим, срочную командировку с выездом на место преступления... На Камчатку или куда-нибудь еще. Кстати, оттуда действительно пришло письмо с просьбой принять на себя защиту матери-одиночки — водителя автобуса, которая сбила шестидесятилетнего мужчину. Экспертиза установила, что выпила грамм сто. При сорока градусах на дворе не прогреешься — не поедешь... Ух ты,— замечает Родион длинную фигуру Олега, вылезавшего из машины,— на такси прикатил!»

Родион наблюдает, как ловко высокий Олег выбирается из машины, как спортивно пружинит его походка, не соответствуя хмурому выражению лица, и в очередной раз ругает себя за то, что втянул друга в свои заботы. Отпуск его погорел теперь начисто.

— Давай побыстрее,— говорит Родион, открывая дверцу машины.— Опаздываю в суд из-за тебя. Ты сам-то располагаешь временем?

Олег кивает.

— Моя речь не будет длинной, думаю, и Мокроусова тоже. Часам к четырем освободимся.

— Ладно паясничать,— морщится Олег.— Наталия в курсе?

— Это еще зачем?

— Так, для сведения. Думал...

— Так вот. Чтобы ты лишнего не думал, я тебе разъясню. Я не собираюсь устраивать спектакль из своей болезни, ясно? И полагаю, что она не составит предмета для обсуждения с родственни-

ками и сослуживцами. Тоже ясно? Я просто вы бы в а ю месяца на полтора-два. И все. Никому я не обязан давать отчеты, куда я вы- бываю: к тебе в деревню или в командировку для участия в про- цессе...

Олег слышит знакомый голос Родиона, агрессивно-запальчивые нотки, протест против кого-то или чего-то и не может заставить себя вникать в суть. Известие, которое Линденбратен обрушил на него, слишком серьезно. Даже не столько сама операция опасна, сколько последствия, которые потребуют многолетних терпеливых забот о себе, к которым Родион абсолютно не готов. Олег договорился с Линденбратеном о консультации со специалистами-смежниками сегодня же в шесть часов. Рентгенологи, хирурги. Обязательно ли оперативное вмешательство? И нельзя ли обойтись вытяжением позвонков, лекарственной терапией и прочими мерами? В любом случае необходима госпитализация. Предстояло решить, куда именно класть Родиона и зачем. Болтовня его о командировках, деревне и прочем не имела сейчас ни малейшего смысла. Ставка была только на жизнеспособность пораженного организма, его энергию, выносливость. Олег был врачом и стремился прежде всего к ясности. Консилиум, как он предполагал, может дать более полную картину заболевания.

— К шести мне в клинику,— говорит он.

— Пожалуйста,— пожимает плечами Родион,— думаю, к пяти уже будешь свободен. Как волк в поле.

Наташа шла по извилистой улочке мимо трех вокзалов. Она знала, что ждет ее сегодня. Выступят прокурор, общественный обвинитель, потом Родион и другие адвокаты. И все с Тихонькиным к обеду будет решено.

Она шла, пытаясь разобраться в себе, понять, почему сейчас, когда все так прекрасно ладилось в ее жизни, ей так страшно.

Конечно и это. Звонок Толи. Все эти дни она отводила от себя мысль о Щербаковке, где он живет с мамой, где ее ждут. Она чувствовала себя старшей по отношению к этим двум существам — сыну и матери, но с ними ей было проще, чем с Родионом. Она знала: кончатся эти столь важные для него два процесса — и наступит реакция. Обычная для него. Можно назвать это депрессией или чем-то другим. От этого ничего не меняется. Через пару дней Наташа почувствует, как он раздражен, мрачен, как мечется из угла в угол. Окружающее будет ему отвратительно, погода покажется мерзкой, работа бесполезной. И выхода не будет.

Что она ни предпримет — все будет впустую. Если пытаться его развлечь или переключить на что-нибудь другое, он огрызнется, станет грубить, оскорбит ее тоном и безразличием. Если она сделает вид, что все нормально,— он вдобавок еще и обидится. Значит, останется просто ждать, терпеть, молчать. Или погрузиться по уши в неотложные дела, пока он не придет в норму.

Она села на троллейбус, проехала одну остановку до метро, затем долго стояла на перекрестке, пережидая поток встречного транспорта. Но мысли неотступно следовали за ней — по улице, в троллейбусе, на Каланчевской площади.

Может быть, она уже привыкла жить без этих перепадов его настроения, в легкой свободе поступков и ощущений, когда не надо ни приспособливаться, ни подстраиваться? Сейчас она должна была в последний раз во всем этом разобраться, все взвесить — и решить главное.

XVII

В городском суде ремонт кончился, помещение протопили. Олег не сразу понял, что находится в том самом коридоре, где несколько дней назад сидел с Ириной в ожидании вызова по делу Рахманинова.

Он видел, как Родион прошел в судейскую комнату, все уже было готово, но подсудимых еще не привезли. Новый секретарь — бледнолицая, прыщавая, с молодой косой женщина средних лет — раскладывала бумаги.

Олег пристроился в дальнем конце зала, и сразу же рядом очутилась Наташа. Ее ему меньше всего хотелось бы сейчас видеть. Счастье, казалось, светившееся в ее взгляде, останавливало Олега, мешая поговорить с ней откровенно. И собственные его переживания — тяга к Ирине, тоска, надежда, неуверенность, сменявшие друг друга последние дни, — тоже заглохли, притаились, уступив чувству всепоглощающей тревоги.

— Хорошо, что вы не были на эксперименте, — слышит он Наташин голос, — вам повезло...

— Повезло? — удивился Олег.

— Да, это было ужасно... — Она вдруг замолкает.

— Выйдем минут на пять? — решается Олег, не зная еще, как поступит.

В коридоре, у окна, он разглядывает Наташу в полный рост. Узость бедер подчеркнута бежевой юбкой на ремешке, темно-зеленый свитер оттеняет пышность смоляных волос.

— Почему же мне повезло? — хмуро переспрашивает он, упорно решая вопрос: подготовлена ли эта женщина для понимания того, что предстоит Родиону? Пройдет всего несколько недель — и все, чем она недовольна сейчас, чем озабочена, отодвинется на сто лет...

— Трудно было вынести это.

— Но цель-то достигнута? — машинально продолжает Олег.

— Да, конечно.

— Тогда что же вас тревожит?

Она мнется.

— Не знаю. Может быть, по закону все будет правильно. Родион вывел наружу обман Тихонькина, и теперь засудят Кеменова и Кабакова... Но в одних ли статьях кодекса дело? Есть какой-то иной счет.

— Какой же?

— Сама не понимаю. В этом еще надо разобраться... В том, чья вина здесь не обозначена.

Публика хлынула в зал. Привезли подсудимых.

Олег и Наташа пробираются внутрь зала, поближе к столу суда, и оказываются с той стороны, где сидит Родион. Олег разглядывает Родиона. Сосредоточенное, упрямое лицо, недвижно лежащие на столе руки.

«Если я знаю о нем больше, чем он сам, — думает Олег, — то я и обязан решать, взвешивать. А он имеет право не думать. Знание, как выясняется, разрушительнейшая вещь порой».

Слово дают общественному обвинителю. Тот начинает медленно разбирать написанное, его плохо слушают, доказательства почти полностью совпадают с обвинительным заключением, они уже хорошо известны залу.

«Что честнее, разумнее, — продолжает стучать в мозг Олега, — сказать Родиону обо всем, что ему предстоит, или скрыть? Как определить этот нравственный предел взаимооткровенности одного человека с другим?»

Он смотрит на друга. Для постороннего ничего такого не обнаружись. словно болезнь не коснулась его внешности. Родион встает, уверенно льются слова, и рука знакомым жестом отсекает одну фразу от другой. До Олега доходят обрывки речи, но он плохо связывает их воедино, пропуская, быть может, самое существенное.

— ...В суде выяснилось также, — врывается в его сознание, — что Тихонькин не участвовал в погоне за Рябининым и ни одного из двух ножей у него быть не могло. Сапожный нож, который якобы Тихонькин бросил в прорубь, был вам предъявлен его матерью, и, когда был продолжен допрос подсудимого, он заявил, что обманывал и следователя и суд... Тихонькин считает с себя ответственным за все, что случилось, — слышит Олег. — «Я за ними послал, — рассуждает он, — они прибежали, чтобы меня защищать... Я крикнул им «бей!». Разве я вправе допустить, что теперь они пострадают больше меня?» Будучи по натуре своей человеком честным, Михаил сделал вывод, что должен ответить за все. Кто держал в руках по ножу, кто бил ими — для него второстепенный вопрос. Но мы с вами не можем встать на подобную позицию. Тем более что есть еще одно немаловажное обстоятельство, заставившее Тихонькина стоять на самооговоре до конца. Это обстоятельство — дружба Тихонькина с семьей Кеменовых, человеческий долг, который он платит матери Саши Кеменова, взявшей его в дом и воспитавшей в тяжелую для семьи Тихонькиных пору...

Олег теряет нить происходящего. Он вспоминает встречи с Родионом, их разногласия, споры, увлечения, всегдашнюю необходимость их друг другу. С чем это сравнишь? И имеет ли значение теперь, что кто-то из них оказался прав, а кто-то ошибался? Где, в какой точке подсчитываются эти итоги случайностей и закономерностей, ошибок и достижений, эти конечные производные наших и не наших плюсов и минусов?

«...Раньше, брат, покупали все на деньги, — говорил еще два года назад Родион, прикрыв дверь в комнату тяжело больной матери, — до этого брали натурой, а в наш век все покупается на время. Во что его вложишь, то с тобой и останется. Новый закон: жизнь на время. Потратишь время на дело — будешь большой специалист. На женщину — будешь любим. На размеренный режим или там спорт — будешь здоров...» «А если на других?» — усмехается Олег. «На других? — останавливается Родька. — Тогда не будешь о д и н. Это как в сказке с тремя дорогами».

Олег прикрывает веки как от ожога.

Вот тебе и три дороги...

Когда Олег приходит в себя, все уже говорят разом, стучат скамейки, кто-то толкает его. Машинально он поднимается, бредет вслед за Наташей.

— Никак не привыкну к этому, — говорит она. — И порой стыжусь, что не могу Родиону помочь сочувствием. А ведь его процессы — это он и есть. Почти весь, без остатка... — Она невесело усмехается.

Олег идет по проходу, рассматривая родных и близких тех, что сидят за ограждением. Мысленно он отмечает некоторое сходство своих мыслей с тем, что вырвалось сейчас у Наташи. Пожалуй, она действительно не просто барышня из парикмахерской. Олег вспоминает о проросшей пшенице на окне, о меде. Есть в ней что-то... Это не сразу заметишь.

— Перерыв надолго? — спрашивает он уже в коридоре.

— Наверное, минут на пятнадцать, — пожимает **Наташа** плечами. — С Кабаковым же истерика.

В просвет неожиданного перерыва, объявленного из-за этой тряпки Кабакова, Тихонькин наконец может побыть наедине с самим собой. Из всех чувств, обрушившихся на него, самым сильным была обида. Он страдал оттого, что жертва, которую он принес ради другого, не только не была оценена Кеменовым и окружающими, но имела даже некую обратную реакцию. Получилось, что уже само обвинение в убийстве, которого он не совершал, разрушило его отношения с самыми, казалось, верными людьми. Поразительно и обидно было то, что люди на воле, которые знали правду, из-за которых он пошел на это, вели себя так, будто он был истинным убийцей. Они перестали подавать признаки жизни, бывать у его матери и сестры. Только Римма и Вася Гетман, как раз не участвовавшие в том, что произошло, не предали его, остались такими же. Михаил оказался отвергнутым именно теми, кто, казалось, больше всех должен был понять его. Ведь он был уверен, что, взяв вину на себя, поступает как человек великой души, смелый и бескомпромиссный. И когда придется ему отсиживать срок, думал он, долгими днями изнурительной работы и унылыми ночами без снов он будет утешаться мыслью, что ребята ни на минуту не забывают о его жертве, что он живет повседневно в благодарной их памяти. По нему скучают, его ждут.

Теперь же все оборачивалось по-иному. То, что уже сегодня (даже не по истечении срока) они вычеркнули его из жизни, это — а не предстоящее наказание — угнетало его больше всего. Он не мог смириться с безразличием, равнодушием к своей судьбе тех, ради кого он принял все на себя. Он так жаждал их любви, доверия, почитания! Но все произошло иначе. Оговорив себя, Михаил поступил лишь своей собственной, единственно данной ему жизнью, до которой его приятелям не было никакого дела. Это чувство утраты друзей делало его одиночество невыносимым. Тайна, которой он уже не в силах был владеть, угнетала его, ожесточала. Случилось самое невероятное: его жертва обернулась для него и его семьи только позором.

Минутами у него возникало непреодолимое желание открыть суду правду об этом деле, но его останавливала гордость, невозможность предстать в новой роли — кающегося, разоблачающего себя. Поэтому в сокровенных глубинах души он почти ждал или, точнее, надеялся, что Сбруев докопается до истины, а сам-то он останется как бы в стороне.

О возвращении домой Михаил даже не мечтал. Он знал, что прежней жизни все равно не будет. Он только искал, думал, откуда началась его действительная вина.

Последние дни он часто вспоминал о Толе Рябинине.

Раньше его воображению предстал высокий парень, молча бегущий вдаль забора, ничем не примечательный, кроме своего роста... Теперь до него доходили другие сведения. Михаил узнал, что хоронили Рябинина всем районом. Оказалось, что это был странный, упрямый парень, помешанный на растениях. Он делал в школе доклад о растениях-хищниках, которые будто бы питаются насекомыми или чем-то там еще. За ним не водились увлечения девчонкой или спортом. Только вот эти растения да дружба с тем парнем, к дому которого он бежал, истекая кровью... Узнал Михаил и о проклятиях по адресу убийцы, которые неслись над гробом. И в голове Тихонькина образовалось непонятное смещение. Человек, которого он никогда не знал в жизни, будучи мертвым, становился для него все живее, реальнее, и он уже не мог представить себе, как произошла та чудовищная ошибка, в результате которой погиб этот хороший парень, и

как случилось, что именно он, Тихонькин, стал инициатором всей этой истории.

В этот последний перерыв, перед вынесением приговора, Михаила так и не смог определить линию поведения, решиться на что-либо определенное хотя бы в своем последнем слове. Он чувствовал, что защита Сбруева идет по верному следу, но самолюбие мешало ему своим признанием подтвердить сказанное адвокатом. В этом состоянии неопределенности он и застал объявление судьи о конце перерыва.

Теперь Сбруев переходит к выводам.

— Признавая самооговор Михаила Тихонькина, ложность его показания,— говорит он,— мы не можем отказать ему в мужестве и глубоком осознании всей чудовищной несправедливости того, что случилось. Скажем прямо — Михаил Тихонькин избрал вредный для правосудия путь самообвинения. И все же я беру на себя смелость утверждать, что за неправильным поведением этого юноши скрывается ложно понятое, но все же чувство личной ответственности за смерть Рябина.

Родион останавливается, переворачивает несколько исписанных листков и, откинув их прочь, продолжает:

— Тихонькин ложно трактует законы товарищества. «Я для друга ничего не пожалею»,— пишет он брату. Ничего не жалеть для друга — это прекрасное качество уродливо обернулось в данном случае желанием во что бы то ни стало обмануть правосудие. Защищать друга, совершившего преступление, во имя своей ложно истолкованной справедливости. Подобные представления, увы, нравственно портят и того, кому хотят помочь, и того, кто приходит на помощь!..

Олег сидит оцепенев, ощущая плечом неподвижную напряженность Наташи, он дивится самообладанию Родиона. Откуда эта уравновешенность, молодая броскость жестов, блеск глаз? Олегу хочется спросить Наташу о ее планах, но он видит холодно застывшее лицо, внимающее каждому слову защитника, беспомощную складку у губ. Нет, ничего он не понимает в ней.

— ...И еще одно.— Взгляд Родиона переходит от судьи к народным заседателям.— Поступки Тихонькина во многом зависели и от того, кто его окружал, кого он слушал. «Там было конкретное дело, сплоченная группа ребят»,— скажет он о новом комплексе в степном городке, который помогал сооружать. На стройке, вы знаете, он был одним из лучших. «А в нашем дворе что делать? У нас только пьют». Кто же в последние месяцы, кроме известных вам приятелей, окружал Тихонькина? Мы с вами слушали матерей и отцов, представителей школы, завода, председателя комиссии жэка, где подсудимые проживали,— все они вспоминали, приводили примеры, разоблачали или зывали к совести. Но никто из них даже не попытался проанализировать, почему именно эти парни, которые росли у них на глазах, оказались способными совершить преступление. Попытаемся сделать это мы. Многие скажут: «Зачем искать причину — это преступление во многом случайно, а Толю Рябина теперь не вернуть». Да, это так. Но поведение Тихонькина и его друзей в этих обстоятельствах, их мораль и, главное, их отношение к человеку вообще — вот что не случайно в этом преступлении. И каждому из нас необходимо осмыслить самые глубокие причины происшедшего, чтобы задуматься над тем, что и кто должен делать, чтобы уберечь молодежь от преступности. «Зачем же ты продолжал преследовать избитого парня,— спросил судья Кирилла Кабакова, у которого, как вы видели здесь, сдали нервы,— ты же знал, что ему и так уже здорово досталось?» «...Я не

мог сказать им, — ответил тот, — что мне стало жалко парня». Кабаков считает унижительным сказать другому, что жалко убивать невинного человека, — вот в чем смысл этих слов. Вот что страшно! Значит, мы не привили этим парням элементарных понятий о доброте, человечности, сострадании, мягкости. Эти чувства они считают постыдными. Вот что в этом случайном уголовном деле не случайно: жестокость характеров, отсутствие уважения к чужой жизни, безразличие к другому человеку, если этот другой не «свой». В письме учителей одной из школ, посланном мне лично, были слова: «Чистое дело случая, кто добил жертву ножом. Если даже это был не Тихонькин, в интересах общего дела нельзя было отменять приговор — это нанесет непоправимый ущерб воспитанию молодежи». Нет, уважаемые учителя, непоправимый вред наносит обществу несправедливый суд и наказание невиновного. Нарушение законности в любом из звеньев нашего судопроизводства не может принести пользу общему делу, сколь бы вам лично ни казалась бесполезной жизнь кого-либо из обвиняемых. Общее дело может выиграть только от полного и неукоснительного соблюдения законности. Поэтому нельзя допустить, чтобы вину одних взял на себя другой, чтобы наказание понес человек, не совершавший данного преступления. Товарищи судьи! — Родион отводит глаза от подсудимых. — По обвинению в убийстве я прошу вынести Тихонькину оправдательный приговор!

Помедлив, он садится. В зале наступает тишина. Долгая, томительная. Судья и народные заседатели совещаются.

Теперь Родион спокойно оглядывает зал, коренастую фигуру Тихонькина, согнувшегося за барьером, подрагивающие плечи Кабакова, белокурого Кеменова, вцепившегося побелевшими пальцами в скамью.

Да, сегодня он победил. Он уже чувствует, что в его жизни выпал тот редкий случай, когда именно защитник сыграет решающую роль, повернув весь ход процесса в другую сторону. Но будет ли эта победа оценена теми, ради кого она так мучительно готовилась? Сейчас Тихонькин раздавлен случившимся, но кто знает, сумеет ли он оправиться? И что будет с Кеменовым? Какой жизненный итог подведут эти двое и их семьи в результате сегодняшней его победы?

Господи, сколько раз зло представлялось ему неким огромным, медузообразным организмом, сколько раз в минуты усталости собственная борьба со злом казалась ему ничтожной, малорезультативной! Но однажды он вдруг подумал, что ка ж д ы й, даже чуть ощутимый удар отзывается во всем чуде. Любое пресечение несправедливости наносит в каком-то смысле урон всеобщей системе зла.

Так ли это? Родион слышит, как судья объявляет перерыв. Потом последуют речи других защитников — Кеменова, Кабакова...

Олег смотрит на часы — половина пятого. Речь Родиона окончена. Все. Через полтора часа начнется консилиум на Пироговке. Больше здесь делать ему нечего.

— Пойдемте! — дотрагивается до его руки Наташа.

В коридоре у окна они останавливаются.

— Тут приглашение есть, — приглушает она голос. — Григорий Глушков утром заезжал. Не знаете? Из ансамбля «Ритмы» солист...

Олег машинально поддакивает.

— Бывший его подзащитный. Родион столько сил когда-то в его дело вложил.

— Ну и что он заезжал? — никак не может вникнуть Олег.

— Их ансамбль выступает вечером во Дворце культуры МИИТа.— Она мнется.— Может, стоит предупредить Родиона?

— Подождите,— решается наконец Олег, всматриваясь со все возрастающим доверием в черты лица, опустошенного тревогой, предчувствием.— Выйдем на минутку на улицу, мне надо сказать вам кое-что.

Наташа чувствует недоброе, она лихорадочно начинает застегивать пуговицы, искать что-то в сумке, руки ее не слушаются. Потом молча следует за Олегом.

— Есть ли более неблагодарная роль, чем роль адвоката? — всплывает она руками, словно оттягивая сообщение Олега.

— Пожалуй, есть,— отшучивается он невпопад,— роль же ны адвоката.

Они отходят в сторонку, к мокрой ограде, где стоял снег. Олег берет ее ладонь, влажно холодеющую в его руке. Он рассказывает Наташе о результатах рентгена, о предстоящей операции и ее возможных последствиях. Он всматривается в ее бледное лицо с высоким лбом и темными, напряженно застывшими глазами и все больше верит, что, оправившись, Наташа поведет себя именно так, как нужно в предстоящих долгих месяцах борьбы за жизнь Родиона. Думает он и о том, что связь его друга с этой женщиной гораздо более прочна и надежна, чем то, на что мог надеяться он сам, и от этой, казалось, такой неутешительной для себя мысли Олег испытал первую радость за все томительные часы этого нескончаемого дня.

Здание городского суда наполнялось все новыми людьми, освобождаясь от тех, кто уже завершил свое дело, и эти два встречных потока отчаяния и надежды, страха и веры казались такими же вечными, как серые, плывущие в тусклом небе облака, уходящие за ясный горизонт.



ИЗ СОВРЕМЕННОЙ АРМЯНСКОЙ ПОЭЗИИ



БААГН ДАВТЯН

Песнь о крови

Ты в теле моем,
 словно маки на поле пшеничном,
Чернотой затаенной сияешь,
 горишь.
Ты причина бессонницы,
 тревожности необычной,
Ты к прохладе рассвета дорогу торишь.
Если чудом случится такое открытие
И раскроется алого таинства суть,
Свет легенд засияет предтечей события,
Озарит в мирозданье человечества путь.
О древнейшая, ревностью бога
 для птиц в назиданье
К круговерти планет обратила века и века.
Ты мелодия, что до сих пор не имеет названья,
И стихи, что без слов остаются пока.
Удивительна ты...
Ты страдание к сердцу подбросишь,
Легкость,
Ту, что надеждой зовется,
Ты сводишь на нет.
Ты усталая в теле измученном бродишь,
Ты рассвет,
 вечно замкнутый в теле рассвет.

Песнь о подснежнике

Поутру пробудилась от спячки весна
И сказала:
— Вставай, мой детеныш — подснежник! —
Он поднялся — тугие ветра, снега голубизна,
Ну а он гол, открыт в этом мире безбрежном.

И он встал одиноко, смирился с такою судьбой,
Он светился слезами, был хрупок, всему доверялся.
Сверху град пригрозил лапой мерзлой, слепой,
Снизу лапой тяжелой бурев примерялся.

Он стоял и мечтал средь бушующих вьюг:
 Скоро теплые ветры пройдут над снегами планеты,
 Кольханьем наполнят бескрайний фиалковый луг
 И шиповник в камнях свои талые пустит ракеты.

И снега по горячему зову земли
 Вдруг прольются слезами, наденут зеленые платья,
 Персик нежно раскроет чистый парус любви
 И хмельную пчелу сладко примет в объятья.

Колокольчик, подкрашенный синей сурьмой,
 Грациозно раздаст обещанья в мгновенье,
 И утес изумруд и багрянец оденет,
 Распроставшись с зимой,
 Водопады над ним пронесутся с благословеньем.

Праздник!.. Солнечным звоном наполнится мир —
 Встанет хлебом земля и вином свет предстанет...
 Все придут, все придут — будет солнечный пир.
 Но подснежник умрет... до весны не дотянет.

Песнь о первом снеге

Опускаешься вновь,
 Только я не забыл,
 Как в те дни надо мною качался,
 Чуть теплее ты был,
 Еще легче и чище казался.

Опускаешься ты,
 А она горделиво, легко,
 Повторяя твою грациозную снежность,
 Проходила... капризна,
 Но меж нами легло
 Имя, светлое имя — цветочная нежность.

Одиноко, печально весь день напролет
 Я кружил... ты мечтой на колени спускалась,
 Прерывали горячие губы полет —
 Ты растаяла,

привкусом неба осталась.

Я так много прожил, и потерь я немало видал,
 И печали то стонут,
 то плачут в надежде

И зовут,

и зовут в ту туманную даль,

Где легко и печально

ты спускаешься с неба как прежде.

О, скорей в невесомость!

И это уже не пройдет —

Этот свет,

эта память встает как живая,

Прерывают горячие губы полет,

Привкус неба на долгую жизнь оставляя.

Затеряюсь в снегу
 и твой сон я внезапно прерву,
 Твоя белая буря над полем пустынным прорвется...
 Только горькие дни
 мне потерь не вернуть,
 Горький плач этих дней как пустынное поле проснется.

Перевел В. РАВИЧ.

СИЛЬВА КАПУТИКЯН

* * *

Мой неведомый бог, может, вправду ты есть...
 Как легко я к тебе обращаюсь с мольбою!
 Что б ни делал — всегда воздаю тебе честь,
 Я внушаю себе быть довольной тобою.

Одарил дарованьем, влил силы в меня,
 Выдал славы с лихвою и радости песен.
 Но одумавшись, может, иль щедрость кляня,
 Взял и чаши весов ты привел в равновесье:

И меня, всемогущий, отца ты лишил,
 Сиротой меня сделав еще до рожденья.
 Даже память о счастье невесты решил
 Отобрать, мне оставив лишь боль отчужденья.

Отнимал постепенно, одно за другим,
 Все, что женское счастье составить готово:
 Отнял нежность мужскую и сладостный дым
 Очага, лепет внуков, сыновнее слово...

Как бы жизнь ни грозила сразить наповал —
 Не ропщу, не в моем это нраве... Но все же
 Ты сравнил бы — что отнял и что даровал:
 В равновесье ли чаши, о праведный боже?..

На полустянке

Шуршит толстовский лес, как книжные листы.
 О, как он величав, как тих и необъятен...
 Прочь, грохот городской, меня замучил ты,
 Лишь этот шорох мне и близок и понятен.

О, Анна, по твоим следам сейчас бреду,
 Но тяжек шаг — боюсь, еще труднее станет.
 Твоя ль тоска песком лежит, как на беду,
 Мое ли сердце вниз меня, как гиря, тянет?

О, Анна, для чего ожгла железо кровь?
 Обидней жертвы нет, нет горестнее доли!
 Ведь сердце женское в отчаянии вновь
 Дымится, и горит, и мечется от боли.

Опять расчетлив мир. Опять инстинкт влечет.
 Вновь скачки и бега. Вновь Он — и мозг и воля.
 И рядом вновь — Она: порыв — а не расчет,
 Незащищенная в своей любви-неволе...

А вот и станция — скрещенных рельс клинки.
 И телефон, что нас толкает на поступки —
 Лишь руку протяни! — рассудку вопреки:
 И — улыбнется вдруг победный голос в трубке...

О, Анна, научи собою оставаться,
 Уж лучше — под вагон, но в ноги — не бросаться!..

На окраине большого города

Не крылья сновидений,
 Не прибор
 Мудреных фантастических романов —
 Всего лишь грязно-серое такси
 Пыхтит среди окраинных бурьянов.
 Дорогой грязно-серою меня
 Везет, везет, везет — куда?
 Обрати ль —
 Не в юность ли?..

На счетчике сложились километры,
 А между тем четыре колеса —
 Четыре прялки —
 В бешеном круженье
 Все тянут нить
 И на свои покрывки
 Наматывают туго,
 Вычитая
 Из жизни перепутанной моей
 Года — их столько, сколько километров
 На счетчике сложилось...
 Приближают
 Меня к тебе
 И к дому твоему...

А комнатка уютная твоя
 Как будто онемела, растерявшись,—
 Так впору лишь студенту растеряться
 Перед зачетом...
 Ты наверняка
 Не ждал меня?
 Взгляни, мне вновь семнадцать:
 Так безрассудна я и так робка.

Сбрось с плеч моих,
 Освободи меня
 От духоты каракулевой шубы,
 Сбрось с плеч моих
 Призвание и признание,
 Мои заботы, годы и невзгоды,
 Сбрось с плеч моих,
 Швырни куда попало,
 Хотя б на этот колченогий стул.

Запри же дверь и выключи приемник,
Навязчивый, как мир.
Пусть этот гул
Исчезнет...
Шторы темные задвинь,
Пускай и даль и синь
Снаружи остаются.
Все позади — успехи и напасти.
Здесь только ты,
Твой взгляд, меня обнявший,
И только слезы, слезы моего
Так поздно найденного счастья...

Перевела ЕЛЕНА НИКОЛАЕВСКАЯ.

РАЧИЯ ОВАНЕСЯН

* * *

Дней молчания и маеты
Вот мои последние цветы.
Вот они в сверканье поздних рос —
Не отринь, я их тебе принес!
Я их в переулке не купил
И кустов напрасно не губил.
С радостью, что я постиг один,
Из сердечных их извлек глубин.

Как они свежи! Ах, как свежи!
Лепестки — дыхание души...
О, как я берег их, чтоб и впредь
Не поблекнуть им, не потускнеть!..
По заветным я бродил лугам,
Чтоб собрав — сложить к твоим ногам...
Никому — ни на день, ни на миг —
Лишь тебе одной доверил их.

* * *

Звезды Ригель прозрачный свет
Добрался до земли:
Через миллионы светолет
Его лучи дошли...
Недолговечен человек,
Он уязвим и прост,
Но он за свой короткий век
Разведал тайны звезд —

Рождение и гибель их
Постиг умом своим...
И небосвод, и чист и тих,
Склоняется пред ним

Необозрим, открыт, высок,
Где свет всегда в пути...
О безграничности исток!
О вечность во плоти!..

Перевела ЕЛЕНА НИКОЛАЕВСКАЯ.

АРАМАИС СААКЯН

Клянусь хлебом

Когда бы честных не было людей
всегда — и ныне, и во время оно,
когда бы честность не была сильней
и зло не побеждала непреклонно,—
иссякла б жизнь на шаре на земном.
Вот почему все глубже убеждаюсь
и говорю: хорошее всегда есть,
клянусь я хлебом на столе моем.

Как ни умен злодей, как ни хитрит —
слетает маска, сущность открывая.
Какой ни принимает гордый вид,
злой человек счастливым не бывает.
Не только люди, что живут кругом,
но даже злой терпеть не может злого.
За добрым сила, велика, сурова,—
клянусь я хлебом на столе моем

За встречу добрых рук и чутких глаз,
за братство и любовь под отчим небом
спасибо всем, кто одаряет нас
для плоти и души насущным хлебом.
Заботою друзей не обойдем
и словом, полным теплоты и света.
Прекрасней ничего на свете нету,
клянусь я хлебом на столе моем.

Добрые люди

Подобно ясным звездам мироздания,
во мне сияют имена людей,
людей, что добрые воспоминанья
оставили навек в душе моей.

Какой бы срок ни вышел, согревая,
воспоминанье светит как звезда.
Все, кто помог мне, знайте: вспоминаю
вас с благодарной нежностью всегда.

Стараюсь поскорей забыть дурное,
заболеваю, вспомнив о плохом.
А доброе храню, оно со мною,
и я мужаю, думая о нем.

Иные люди надо мной глумиться
старались — как мне было тяжело!
Но за одну-единую крупицу
добра я им простил бывшее зло.

И с каждым добрым человеком встречу
храню я в сердце бережно своем.
И многократно за добро отвечу
я каждому участием и добром.

Перевел А. КАНЫКИН.

АМО САГИАН

Преклоняюсь, прости...

Что я с горы принес?
Теплого сна немного,
Небо в отблесках звезд,
Веру в землю, в дорогу.

Веры полную грудь,
В сердце
Совесь священную,
Горечь утрат и грусть,
Способность краснеть от смущения.

Цельную душу как есть,
Заветы братьев по крови,
Семьи нерушимую честь,
Хранимую вечной любовью.

Зримые дали полей,
Полдень,
Зарю, закаты,
Голос молитвы моей,
Птичьего пенья раскаты.

Говор народный принес,
Аромат первозданный звучания —
Гибкий, как ветви лоз,
Грустный, как голос отчаянья.

И преклоненье...
Прости,
Горько бывало,
Не скрою,
Людям желал донести
Веру в добро святое.

И я дарил,
Не секрет,
Это добро по крупицам.
Люди,
Вот столько лет
Это не может забыться.

Так приходите в дом,
Долю свою забирайте
И, наслаждаясь теплом,
Хлеба священным теплом,—
Этого не забывайте.

И сама в себе

Голова в море,
на горе хвост,
в ущельях подола,
пупок на камнях.
Вглядишься —
и возникает вопрос,
где встреч и разлук
обозначить мгновенья?

Ликует течение
весь год напролет,
летит,
устремляясь исконной дорогой,
со старую песней
на берег волна упадет
и в новой стихии
забьется с извечной тревогой.

Наполнена небом,
сама же
земная насквозь,
несется рассерженно,
гневно,
тревожно,
но гаснет,
стихает минутная злость...
Она так добра —
не любить ее
невозможно.
Земля и камень
всецело владеют судьбой,
то гонят по суше,
то к морю выносят,
но все же,
в итоге
сама оставаясь собой,
она состраданья,
увы,
ни на миг не попросит.
В заботах безмерных
века и века
струится без роздыха и перебоя
и счастье находит,
обычное счастье, река
лишь в том,
что сама
так счастлива собою.

Перевел В. РАВИЧ.

ГЕВОРГ ЭМИН

Что страшиться смерти, если
Баклажаном и вином
Моложаво пахнет дом
В час труда, любви и песни?

Если в добром мире нашем
Смертью смерть поправить должна
Мощь пшеничного зерна,
Ведь воскреснет вновь она
Теплым хлебом — матнакашем!

Если сок волшебных лоз
Бродит в сумраке осеннем,
Душу тешит воскресеньем
Вертоград весенних гроз!

Если к нам грядет любовь,
Будто смерть, неотвратима?
Только гибель — мимо, мимо,
Жизнь спешит воспрянуть вновь!

Если смерти вопреки
Буквы, символы и знаки
Подают сигнал атаки
В дебрях творческой строки?

Что страшиться умиранья,
Бренность жалкую кляня,
Если хлеб, вино и песня
Загостились у меня?

Все мы гости в мире этом,
Но умеете гордо жить —
Ведь Пронизанного Светом
Смерть не может умертвить!

Что мне смерть, коль жизни жребий
Воплощен в тебе, во мне,
В нашей почве, в нашем небе,
В золотом крестьянском хлебе,
Винограде и вине?

Перевел АЛЕКСАНДР ГОЛЕМБА.



ВИКТОР АСТАФЬЕВ



ЧЕТЫРЕ КОРОТКИХ РАССКАЗА

ПАДЕНИЕ ЛИСТА

Я шел лесом, затоптаным, побитым, обшарпанным, в петлях троп и дорог, вроде бы не колесом, а плугом ездили здесь, вроде бы воры-скокари ворвались в чужой дом среди ночи и все в нем вверх дном перевернули. И все-таки лес еще жил и силился затянуть травой, заклеить пластырями мхов, припорошить прелью рыжих гнилушек, засыпать моросью ягод, прикрыть шляпками грибов нанесенные ему ушибы и раны, хотя и такой могучей природе, как сибирская, самоисцеление дается все труднее и труднее.

Редко перекликались птицы, лениво голосили грибники, вяло и бесцельно кружился вверху чеглок; двое пьяных парней, надсаживая мотор, с ревом пронеслись мимо меня на мотоцикле, упали по скользкому спуску в ложок, ушиблись, повредили мотоцикл, но хотали, чему-то радуясь.

Была середина воскресного дня. В лесу там и сям чадили костерки, возле них спали наехавшие из города труженики, и кому хотелось напиться — уже напильсь, кто, разгоняя гиподинамию, рубил, пилил, ломал, поджигал — притомились, сомлели, грелись и культурно отдыхали под солнцем, с утра скрывшимся за такой громадой туч, что, казалось, и месяц и год не выпростаться ему оттуда. Но совсем легко, как бы играючи, солнце продрало в самой середке хламье туч, вылезло в дыру — и скоро ничего на небе не осталось, кроме довольного собою, даже самодовольно-бодрого светила.

Впереди, чуть выдавшаяся к дороге, стояла некрупная, коленом изогнутая черно-пегая береза, вся прошитая солнцем, трепещущая от тепла, истомы и легкого, освежающего дуновения, происходящего в кроне, наверное, это было дыханием самой кроны.

Я приостановился, приложил ладонь к корявинам ствола и услышал горькой струей сквозящую печаль — так может пахнуть только увядающее дерево, и не слухом, не зрением, а каким-то во мне еще не отжившим ощущением природы уловил неслышное движение, заметил искрой светящийся, парящий в воздухе и носимый воздухом березовый листок.

Медленно, неохотно и в то же время торжественно падал он, цепляясь за ветки, за изветренную кожу, за отломанные сучки, братски приникая ко встречным листьям.

Мне чудилось — дрожью охвачена тайга, которой касался этот

первый падающий лист, и крона березы, обмирающая, трепещущая, шелестела голосами всех живых деревьев: «Прощай!.. Прощай!.. Скоро и мы... Скоро и мы... скоро... скоро...»

Чем ниже кружился и опадал лист, было ему падать все тяжелее, встреча с большой, почти уже охладевшей землею словно бы пугала его, миг падения все растягивался, растягивался, время как бы удлинялось, но могильная темь земли, на которую предстояло лечь листу, погаснуть, истлеть и самому стать землею, неумолимо вбирала желтое свечение листа, втягивала его в себя.

Я подставил руку. Словно учуяв тепло, лист заиграл, зареял надо мной и недоверчивой нарядной бабочкой опустился на ладонь.

Растопорщенный зубцами, взъерошенный стерженьком, охлаждающий кожу почти невесомой плотью, лист все-таки освежал воздух едва слышной, едва уловимой горечью, последней каплей жизни, растворенной в его недрах. Упругости листа хватило на полминуты, не более, от тепла он ослаб, прогнулся середкой, жилы и жилочки листа распустились, он обрывком бумажки расклеился на моей ладони, сделался вялым и беззащитным.

Я долго обшаривал глазами березу и в чуть колеблющейся, как бы случайно здесь присутствующей тонкой нити обнаружил не прочерк, не проседь, а слегка лишь приморившуюся струйку зелени, тронутую стынью, исходящей от ключа. Там, вверху, в зеленой семье жил и этот листок величиною с гривенник. Самый маленький, самый слабый, он не удержал своей тяжести, у него не хватило силы на все лето, и суждено ему было первому подать лесу печальную весть о надвигающейся осени, первому отправиться в свой единственный беспредельный полет...

Как он пробудился весной и занял свое место в живом лесу? Не замерз весной, не засох в июльской жаре? Сколько сил потратила береза, чтобы один из ее многих листов выпростался из немой, плотно заклеенной почки и зашумел веселым шумом вместе со всеми листьями, стал частицей мира, в котором с таким трудом утверждается все полезное, доброе, а безобразное, жадное, злое является вроде бы само собой, расталкивая всех и вся, живет, совершенствуясь в силе и наглости.

Их были тысячи и тысячи — ублюдков, костоломов, психопатов, чванливых самозванцев, и все они, начиная от инквизитора Торквемады, дубиной проламывавшего неразумным черепом, чтобы вбить в них самую справедливую веру в господу бога, от конкистадоров, миссионеров, божьих слуг и всевозможных благодетелей, пекшихся о «свободе» и «чистоте души» человеческой, до припадочного фюрера и великого кормчего упорно пытались искоренить людские «заблуждения». Всего лишь миг космического времени разделил их, но эти вместо бога вбивали уже себя, и не дубьем — новейшим оружием и все той же вроде бы ветхой, однако во все времена пригодной моралью: дави слабого, подчиняй и грабь ближнего.

Повторялись «отцы-благодетели», повторялся смысл и дух новых нравоучений, от которых все так же отвратительно смердило древней казармой и балаганом, а вот лист, оставаясь листом, никогда ни в чем не повторялся. Даря земле, тайге, березе и себе радость вечно-го обновления, он расцветом и сгоранием своим продолжался в природе. Увядание его — не смерть, не уход в небытие, всего лишь миг нескончаемой жизни. Частица плоти, тепла, соков и этого вот махонького листа осталась в клейкой почке, зажмурившейся скорлупками ресниц до следующей весны, до нового возрождения природы.

Падает лист. Маленький, бледный березовый лист. Наступает еще одна печальная осень, всегда пробуждающая потребность в са-

моочищении. Пройдет неделя, другая, и всем ударам себя подставившая, порубленная, изувеченная придорожная береза отодвинется от всего леса, от мира, от людей. Она будет стоять все тут же, все так же, у всех на виду и в то же время сделается отчужденной, в себя самое погруженной; и лес по горам оцепенеет в неслыханно ярком наряде, все силы, всю свою мощь, всю тихую тайну выставив напоказ, и грустная прелесть увядания коснется наших зачерствелых сердец, стронет в них что-то древнее, неотступное. Скорбь уходящего лета напомним о наших незаметно улетающих днях, как бы охолодит душу, замедлит ход крови, все вокруг обретет другой, более глубокий смысл, и нам захочется остановиться, побыть наедине с собою.

Но и это робкое желание невыполнимо. Нам некогда остановиться. Мы мчимся, бежим, рвем, копаем, хватаем, говорим пустые слова, много, очень много самоутешительных слов. Вот уж воистину: чем хуже дела в приходе, тем больше работы звонарю...

Послушать бы, подумать, проникнуться светлой грустью бледного листа — предвестника осени, еще одной осени, еще одного кем-то означенного круга жизни, который совершаем мы вместе с нашей землей, с этими горами, лесами и когда-то закончим свой век падением, скорей всего не медленным, не торжественным, а обыденным, обидно простым. И возникает одна и та же неотвязная мысль: «Пока падал лист, пока он достиг земли, лег на нее, сколько же родилось и умерло на земле людей? Сколько произошло радости, любви, горя, бед? Сколько пролилось слез и крови? Сколько свершилось подвигов и предательств? Как постигнуть все это? Как воссоединить простоту смысла жизни со страшной явью бытия?»

Притихла земля, притихли леса и горы, воссияло всей глубиной небо, чтоб отражение листа в нем было нескончаемо, чтоб отпечатался его лик в беспредельности мироздания, чтоб сама Земля, приняв форму листа, легко и празднично кружилась, летела среди звезд, планет и там, в неизведанных еще далах, продолжилась в стремительном движении неведомых нам миров.

Я разжал ладонь. Лист еще жил, слабо дыша воедино сплетенными жилками, однако не впитывал света, и тепло не проникало в глубь его. Все силы листа растрачены на чуть желтоватый, бледный цвет — и на этот краткий и бесконечный миг падения к подножью дерева.

Я прижимаю мягкий, выветренный лист к губам. Мне грустно, очень грустно и хочется куда-то улететь или уехать, крикнув что-то прощальное вслед улетающему одиноким листом еще одному году моей жизни. Я словно бы чувствую, ощутимо чувствую крылья, хочу взмахнуть ими, подняться над землей. Но пересохли, сломались и отмерли мои крылья. Никуда не улететь. Остается лишь томиться непонятной человеческой тоской и содрогаться от внезапности мысли о тайне нашей жизни. Страшась этой тайны, мы все-таки упорно стремимся ее отгадать и улететь, непременно улететь куда-то. Может быть, туда, откуда мы когда-то слетели живым листом на маленькую зеленую планету?

Кто скажет нам об этом? Кто утешит и успокоит нас, мятущихся, тревожных, слытно со всей человеческой тайгой шумящих под мирскими ветрами и в назначенный час по велению того, что зовется судьбою, одиноко опадающих на землю?

ЖИЗНЬ ТРЕЗОРА

Пестрый кобель с круглыми лапами и сонной мордой вразяжку лежал поперек крыльца, обязательно поперек, чтобы кто ни шел — за него запнулся и он следом прорвался бы в избу. В жилище Трезор

сразу забирался под стол, вольготно там растягивался; если на него ставили ноги сидящие, наступали на широко разбросанные лапы, он подскакивал, бухался башкой в столешницу и дико влаивал: «Э-э, товарищи, не забываетесь! Я здесь!»

Ел Трезор из старой эмалированной кастрюли. Посуда — одна на всех животных, обитающих в доме: трех кошек и его, Трезора. Засунув морду в кастрюлю, пес выбирал что помягче, повкусней. Кошки терпеливо сидели вокруг и облизывались, не смея потревожить трапезу господина. Если какая из кошек совала морду в кастрюлю, Трезор изрыгал рокот — такой гневный, что кошки бросались врассыпную.

— Ну, нечистый дух! Тигра и тигра! — кричала хозяйка.

Трезор вопросительно глядел на нее, пытаясь понять: тигра — это хорошо или плохо?

Просыпался он и нехотя вылезал из-под стола после полудня, когда хозяйка начинала собираться в магазин — работала она на телятнике и еще торговала в магазине. Стоял на крыльце магазина Трезор, бухал на всю округу лаем, словно в колокол бил: «Спешите! Спешите! Открыто! Открыто! Открыто!» — и меж ног покупателей пробирался в магазин. Если же не было таковых, лбом отворял дверь и останавливался перед прилавком в ожидании.

— Куда тебя денешь? — говорила хозяйка. — Заработал — получи! — И бросала Трезору кусочек сахара, колотый пряник либо мятую конфетку.

Скушав угощение, Трезор или засыпал возле дверцы топившейся печки, или снова выбедал на улицу, потягивался, широко, со сладким воем открывая пасть, и отправлялся заедаться на брата Мухтара.

Мухтар был мастью и статью вылитый Трезор, но характером совершенно от него отличался. Если Трезор отпетый туняец, хитрован и увалень, то брат его, наоборот, был трудолюбив, особенно на охоте, строг, сердит и потому сидел на цепи. И горька же ему, вольному, стремительному, подтянутому телом, быстроногому, была такая жизнь. А тут еще братец явится и ну рычать, ну разбрасывать снег лапами, иной раз до земли докопается, весь столб обрызжет, полено в щелки изгрызет, показывая, как и что бы он сделал с Мухтаром, если б захотел.

Мухтар на все это издевательство отвечал свирепым хрипом, рвясь с цепи, душился до полусмерти, глаза его кровенели, изо рта сочилась пена, и, случалось, рвал ошейник или цепь — и тогда белопестрый клубок из двух кобелей катился по заулку, разметывал сугробы, ронял поленицы, сшибал ведра, ящики — так пластали псы друг дружку, что разнять их было невозможно.

Раскатытся, разойдутся на стороны братья, полежат, облизнутся, отдышатся и снова: «Р-р-р-р, rrr-ра, rrr...»

Схватки чаще всего случались зимой, от скуки должно быть. Надравшись до изнеможения, до полной потери сил, кобели надоело успокаивались и если встречались — воротили друг от друга морды, брызгали на столбы, издали предупредительно рыча: «Ну погоди, гад! Погоди!..»

Летом Трезор совсем ни с кем не дрался. Он был совершенно поглощен заботами о сладком пропитании, которое научился вымогать у приезжих из города ребятишек, сердобольных тетенок. В то время, когда брат его Мухтар плавал по реке следом за лодкой хозяина, шастал по берегу, кого-то отыскивая или раскапывая, караулил, и строго караулил, нехитрое имущество рыбаков, Трезор, начиная с крайней избы, обходил деревушку. Он садился против ворот или пе-

ред открытым окном и ждал, когда ему дадут сахарку или какое другое лакомство. Если долго не давали, Трезор напоминал о себе лаем и в конце концов получал чего хотел. Неторопливо хрустя сахаром, Трезор облизывался и совал здоровенную свою лапу благодетелю либо ложился возле ворот и какое-то время «сторожил» добродетельных людей, двор их и хозяйство.

Норма его работы зависела от угощения: мало дали сахару — он и лежал под воротами недолго, а то и сразу убежал к другой избе; и так по два раза на день происходил обход и совершались поборы, при этом Трезор совершенно не замечал изб и дворов, где его не баловали подачками и когда-то прогнали, и пусть после раскаялись, пытались заманить — он деликатно уклонялся от приглашений.

Ближе к осени Трезор скучнел: городской народ разъезжался из деревушки и каждую семью он провожал до автобусной остановки. Опустив голову, повесив хвост, плелся пес до дороги, со вздохом ложился в тени: «Что поделаешь? Отпуск есть отпуск. Но помните, люди, у вас здесь остается верный и надежный друг».

Стоило, однако, автобусу удалиться за мосток, переброшенный через речку, исчезнуть за островком ельника, как Трезор завинчивал кренделем хвост, ставил уши топориком и с бодрым лаем возвращался в деревушку: «Протурил я, протурил этих дачников! Наповадились, понимаешь. Одно от них беспокойство...»

Осенью, перед октябрьскими праздниками, Трезор — полная всей деревушке любезность! Приближался забой скота: пир собакам, кошкам и птицам. Глянешь: возле какого-нибудь двора на тополях и черемухах осыпью вороны, сороки, галки; на колышках оград кошки окаменели, будто кринки, на острие надетые. На земле Трезор лежит, уронив на лапы морду, все сосредоточенно и молчаливо ждут — стало быть, в этом доме, в этом дворе забили на мясо овцу, телку или бычка.

Обдерут хозяева скотину, уберут обветриваться мясо на поветь, уйдут жарить картошку со свежатиной — вся живность придет в движение: столбятся над двором вороны, отбирая друг у дружки поживу; суетятся и трещат сороки с окровавленным кусочком кожицы или крепкой жилы в клювах; шастают со свирепо горящими глазами кошки, шипя и фыркая друг на дружку. Трезор тоже с угощением в обнимку на поляне лежит — кость-то уж ему обязательно отломится, его никто не забудет. Иной раз и поспит возле кости, отдохнув, снова брюшками передних лап ее прихватит да неторопливо, с чувством, с толком грызет, развлекается.

Как-то раз уписывал он кость, скрежеща зубами, а с тополей на него смотрели жадные вороны, время от времени мешковато переступая и переговариваясь: «Это что же такое?! Жрет и жрет! Ни стыда, ни совести! Оставил бы хоть маленько...»

Вороны срывались с деревьев, планировали над Трезором, пугая его криком, пытаясь задеть когтями, — кобель и ухом не шевелил, грыз кость, белую, хрупкую, точно сахарок. И одна старая смелая ворона села прямо перед мордой Трезора, ждала, когда он забудется или задремлет. Мелкими шажками, будто по своим делам, ходила ворона возле жирующего пса, ворошила землю клювом, долбила чего-то, совсем уж подкралась, изловчилась хватануть у собаки косточку — да не тут-то было! Трезор начеку, сделал такой прыжок — чуть было ворону без хвоста не оставил!

Села старая ворона на ветку тополя, смотрела на Трезора, думала, думала и додумалась до большой стратегии — каркнула, приказав семейке следовать за ней; и начали вороны вокруг пса ходить-колесить, подлетать и даже кричать на него. Кобелю взять бы кость да

убраться подобру-поздорову под навес, так нет, он настолько обленился или таким себя считал умным и сильным, что никого и ничего не хотел признавать, и поплатился за это.

Старая ворона ходила-ходила возле песьего хвоста да ка-ак схватит его клювом, да ка-ак дернет! Пес не выдержал, вскочил и с лаем бросился на ворону. Шерсть дыбом, глаза яростно сверкают.

Ворона вроде бы испугалась, отлетела, замахала крыльями, еще шага на три отлетела, качается от страха, клюв открыла бессильно. Трезору того и надо — он дальше за вороной погнался, вот-вот ее сцапает за хвост.

В это время семейка воронья и ограбила пса, схватив кость, и, то роняя ее, то снова подхватывая, вороны несли поживу Трезора за деревню, в огороды и закаркали там, закружились, деля добычу.

Трезор слушал, слушал, вернулся к тому месту, где грыз кость, нюхал мерзлую траву на поляне, когтями царапал землю, огляделся, шерсть на нем опала, уши опустились на стороны, хвост распустился — ничего не мог понять пес: была кость — и нету! Куда девалась? А на жерди сидела мама-ворона и, дергая хвостом, орала: «Дур-ррак! Дур-ррак!»

Трезор побежал по деревне, распугивая ворон и сорок, надеясь, что где-нибудь да отломится ему кость, а где и мяска кусочек.

Прошлой зимой, глухой, метельной, длинной, Трезор и Мухтар бились особенно озверело. Мухтар почти вырвал Трезору глаз, прорвал ухо, губы. Трезор прокусил у брата какой-то нерв на голове — и Мухтар быстро начал гложнуть. Сразу погас охотничий пес, распустился телом, стал ходить медленно, уши у него обвяли, хвост сделался мятый, неопрятный, с редким волосом. Старого, больного кобеля заменили новожителем — большелобым гончим щенком Дунаем, который скоро вымахал с колодезный сруб ростом и бухал лаем так, что старухи по домам с перепугу крестились.

А Мухтар исчез со двора: дострелил его, больного, никому не нужного, хозяин, ушел ли он сам умирать в лес — неизвестно.

Непонятное начало твориться и с Трезором. Он тоже разом постарел, закручинился, перестал принимать лакомства, гавкать, провожать хозяйку в магазин. Потом взял и совсем ушел из села верст за пять от своего дома, стал жить на скотоферме, спать на соломе, неизвестно чем питаться.

Хозяйка не раз бывала в соседнем селе, звала Трезора с собой. Он хвостом вилял извинительно, даже провожал ее за околицу, но на всполье присаживался, отставал.

— Трезор! Трезор! Пойдем, миленький! Пойдем домой!

Кобель в ответ сипло, старчески, безнадежно и горько взлаивал, словно бы говорил: «Не могу! Уйти не могу... Простите!»

Может, за тем селом, за той фермой Мухтар зарыт? Может, повернулось что в разуме Трезора? Поди узнай!

А без собаки тоскливо стало, деревушка вроде бы живую душу утратила, притихла, стала совсем сиротой.

ГЕМОФИЛИЯ

Я решил заночевать там, где вечером гонял рябчиков, — в крутом оловом косогоре, с боков обрезанном распадками, в которых выше человеческого роста плотно стояли бледная крапива, подсохший лабазник, молочай, вехотник и всякий разный дудочник, чуть только присмиривший от первых холодов, но все еще нагло зеленеющий, напористо растущий. В распадках густо клубился ольшаник и ивняк. По откосам плотными рядами наступали осинник, березняк, липа, но,

упершись в плотную еловую стену, как бы ожегшись о раскаленную огнем полыхающую полосу рябинника, окаймляющего зоревым ожерельем сумрачный хвойняк, останавливался, покорно и согласно замирал, оттекая в вершины ключей, в сумрачную прель логов.

Взлобок косогора был почти гол, лишь вереск, боярышник да таволожник разрозненной, потрепанной в боях ротой наступали снизу, от реки, и чем далее в ночь, тем более походили кустарники, в особенности можжевельные, на человеческие фигуры. Самым подолом, на край которого намыло и навалило камешнику, косогор уходил прямо в реку Усьву, за которой широко и медленно отцветала вечерняя заря, и ключи, выдавленные горой из моховых и каменных щелей, слезливо взблескивали, расчертили поперек бровку берега, а сама река, словно бы вылитая в изложницу русла, остывала, покрываясь окалиной от земли, но в середине все еще переливалась, ярко мерцала последними красными отблесками с седоватой просинью пламени. Над поверхностью тяжелой, свинцовой воды поплясывал и все плотнее оседал остатний горелый воздух и жар.

Я еще засветло принес с берега Усьвы сена из стога, зачерпнул котелок воды, наломал прутьев смородинника, заварил, напарил чаю, неторопливо поел, прибрался у огня и, навалившись спиной на ствол чадно пахнувшей, плотно надо мной сомкнувшейся пихты, грел разутые ноги, нежил их, натруженные, со вздутыми жилами, и чувствовал, как отходит мое тело, как оно распускается, кости, словно бы вывороченные в суставах и узлах непосильной работой, выпрямляются, прилегают всякая к своему месту и весь я делаюсь отмякший, как бы даже и отдаляюсь чуть от себя самого, погружаюсь в медленную, доверчивую дрему, только спина, взмокшая от пота и горячего чая, еще ежится, вздрагивает, вжимаясь в сено, находя удобное ей место.

Я дремал, но засыпать не торопился, зная, какая длинная и покойная ночь впереди, сколь много еще отдыху мне предстоит и какое блаженство знать об этом и никуда не торопиться. Можно смотреть, смотреть и каждую минуту замечать вокруг в природе перемены и ощущать вместе с нею чуткое, в ночь переходящее за вечерье. Все еще видно внизу остывающую реку, за нею зароды сена сделались отчетливей на осветившихся лугах, перелески по-за лугами, означившиеся на последнем небесном свету, совсем отемнели, сцепившись в тихом испуге стволами и листвой. Ничего не слышно, и потому, должно быть, в ушах у меня все еще переливался рябиновый пересвист. Уже без азарта и злости вспоминал я, как хитрили рябчики, не подпуская меня близко, а заряды старые, слабые, стегнутые дробью рябчики ушибленно подскакивали вверх и оттуда мячиками катились в дурнину распадков. Обжигаясь о крапиву, царапаясь о сучки, я спешил вниз и находил на дудках и ягодниках живо качающихся три-четыре легких пестреньких перышка — пух остался, мясо улетело!

За весь вечер я взял трех рябчиков, хотя палил раз шестнадцать — ослаб хваленый бездымный порох. Э-эх, то ли дело древний черный порох! Громко, дымно, зато убойно. Лежи он, порох, хоть год, хоть десять, стрелил — дичь в сумке, а за этой вот бегать надо. Ну ничего, у меня в патронташе еще есть штук пять патронов с дымным порохом и завтра утром я дам этим отоспавшимся хитрованам пару! Сяду в ельнике, на грани мелколесья, чтоб видно мне было распадок до самого дна, чтоб влево и вправо слышал я и зрил на рябниках жирующих птиц.. Вот я вам ужо!..

Скорей бы утро! Скорей бы это завтра..

Длинна и благодатна осенняя ночь, благодатна прежде всего тем,

что ни комар, ни муха тебя не беспокоят, спишься на холоду, к утру в особенности. так крепко, что и чувствуешь: продрог, замерз, надо бы встать и поджечь едва тлеющий костер, но нет сил совладать со сном, шевельнуться, вылезти из теплого, тобою свитого и обжитого гнезда на дрожью пробирающий, бодрый если иной, то и знойкий холод, вот и тянешь, как парнишка, на себя одежку, ужимаешься, в калач свиваешься — тут, в лесу, да еще одному оттого еще хорошо, что можно вести себя как тебе хочется, никто не осудит.

Наяву, сквозь сон ли я услышал движение снизу, от реки. Показался мягко, шорохливо камень, взял разгон, подпрыгнул на кореньях, щелкнул о камни берега раз-другой и плюхнулся в воду. Я открыл глаза. По темной воде гнало медленный, еще более темный круг. «Рыбак небось возвращается домой, в город». Я снова начал успокаиваться, засыпать, однако камешки все чаще и чаще сыпались вниз и булькали в воду, все ближе потрескивали сучки, послышалось тяжелое дыхание — я пододвинул к себе ружье. Совсем близко раздался голос:

— Не беспокойтесь, пожалуйста, я — рыбак.

В ту пору, а было это в конце сороковых годов, в тайге можно было опасаться только беглых арестантов: леса, реки, луга и горы еще не ошеломлены, не растоптаны, не замордованы были нашествием отдыхающих горожан. Я наперечет знал в нашем небольшом городке всех, кто охотничал, рыбачил и просто любил бродить по лесу за ягодами, грибами.

Голос человека был незнаком. Я ждал, не поднимаясь с сена, от костра, а незнакомец медленно шевелился меж темных кип можжевельника, все приближаясь и приближаясь. Наконец он возник в свете костра, приблизился к огню и не сел — почти упал на землю.

Долго и неподвижно сидел человек, смежив глаза, уронив в бассейли голову. Я не тревожил его и ни о чем не спрашивал — есть такое неписаное правило: раз человек объявился в лесу на твоём стане, он сам скажет о чем хочет и попросит что нужно.

Человек был аккуратно и ладно одет в поношенный, ветрами и дождями отбеленный плащ, из-под которого топорщились петельки телогрейки, чуть обросший подбородок упирался в разношенный ворот самовязанного теплого свитера. Резиновые сапоги с высокими голенищами были аккуратно клеены во взъемах и по сгибам голенищ. На боку висела вместительная брезентовая сумка, и от нее донесло запахом той рыбы, который не спутаешь ни с чем, едва слышный, как бы замешанный на белом лесном снегу, чуть отдающий огуречной свежестью и еще какой-то сквозно струящейся, редкой травкой, но все это вместе пахло просто рекой, хорошей, горной, стремительной рекой.

«Харюзятник!» Длинная палочка, на которую рыбак опирался, вовсе и не палочка, не сучок, а удилище, вершинка у которого бамбуковая, наконечник же из тонкой, стеклышком скобленной черемушки, половинки удилища соединены жестяными трубочками. Удилище прямо и в меру жидко, поплавок на леске не было. Но я только секунду-другую смотрел на обряд рыбака. Заметив, что правый рукав, в который человек все время втягивал руку, тяжело набряк и скоробился, я сначала думал — от мокра и слизи, однако, присмотревшись, обнаружил, что обшлаг плаща, петельки телогрейки, выставившиеся из-под него, даже пуговица в каком-то красном налете, как бы в засохшей кирпичной жиже. И вдруг меня прохватило жаром: «Да это же кровь!»

— Что с вами? — быстро отбросив плащ, приподнялся я. — Вы ранены?

— Нет-нет! — торопливо отозвался человек и, открыв глаза, протянул в мою сторону толсто замотанную руку.— Гемофилия.

Я вопросительно и молча глядел на рыбака.

— Несвертывание крови. Болезнь такая.

Конечно, не таскайся я по тайге с детства, не побывай на фронте, не навидайся всяких страстей и чудес, так и сказал бы, наверное: «Какие же черти носят тебя по лесу с такой болезнью?» А тут поскорее поднялся, подшевелил огонь, бросив в него сухих сучков, чтобы ярче горело, подсунул на уголья котелок с остатками чая и спросил:

— Чем я могу вам помочь?

— Если есть сухая и чистая тряпица?

Я достал из кармана носовой платок, протянул его рыбаку, он кивнул — сгодится. Вспомнив про хлеб — он у меня в холщовом кошельке, — вынул поклажу из рюкзака.

Долго и осторожно разматывал я руку незнакомца и чем далее разматывал, тем мокрее и тяжелее от крови делались тряпки, и я ожидал увидеть большую рану на руке, но, размотав кисть и вытерев пальцы, нигде ничего не обнаружил.

— Ерш, — слабо и виновато улыбнулся человек. — Ключнул проклятый. Как я ни остерегался, все-таки ткнулся, и вот...

Осторожно, не очень туго я заматывал руку рыбака и дивился этойкой оказии: на брюшке большого пальца, едва заметная, возникла бисеринка, и пока я прицеливался обмотнуть на руке платок, налилась со спелую брусничку, округлилась, лопнула и тонкой ниточкой потянулась по запястью под рукав.

— И ведь когда стараешься не наколоться, не поцарапаться, обязательно наколешься и поцарапаешься, — продолжал уже бодрее говорить человек, как бы оправдываясь передо мною.

— Это уж точно, — поддержал я, — рябчика манишь — хоть бы не кашлянуть, хоть бы не кашлянуть, а тебя душит, а тебя душит... Ну и забухаешь. Рябчика как ветром сдует...

Рыбак неторопливо попил чаю, сладкого, хорошо упревшего, и, слегка уголив жажду, поведал мне о том, что болезнь эта у него прирожденная, что сам он из Ленинграда, здесь, на Урале, живет его сестра и он каждый отпуск ездит к ней, да и не столько к ней, сколько подивиться на уральскую, такую могучую древнюю природу, осенями дивную и тихую. Нигде нет более такой осени. Но главное, страсть свою потешить — нет для него большей радости, чем харюзование, особенно осенями, когда хариус катится из мелких речек. Предупреждая мой вопрос: как же с такой болезнью один по тайге? — немного оживленный чаем, рыбак добродушно и все так же чуть виновато и доверительно улыбнулся:

— Ну а что? Лучше умереть дома? В больничной палате? Нет, нет! Я уж надышусь, насмотрюсь, нарадуюсь за тот век, который мне отпущен. Пусть он недолгий век, но видел я красот, изведал радостей столько..

Что с ними, с этими чокнутыми природой, поделаешь? Сам такой! Пока мой новый знакомый говорил о рыбалках, об Урале, реки и леса которого он, к удивлению моему, знал куда как лучше меня, пять лет здесь прожившего, я напрягал память, пытаюсь вспомнить кровоостанавливающие средства, ибо платок мой и поверху примотанный холщовый мешочек уже пробило изнутри репейно оцетиненным пятнышком, но ничего, кроме крапивы, не вспомнил.

Я сделал из бересты факелок, вылил чай до капли из котелка в кружку и спустился в распадок, где и нарвал лесной крапивки, вымочившись в дурнине почти до ворота. Пока бродил во тьме, рвал крапивку, вспомнил о змеевике — кажется, верное кровоостанавли-

вающее средство, особо корень. Еще бы зверобойчика хоть кустик сыскать — от всех бед и болезней трава, ну а подорожник-то всюду найдется.

Долго шарил я под завесой пихтача, возле покосов по-бабьи вольготно, зеленой юбкой рассевшегося, отыскивая в не выбитых литовкой уголках лечебную траву, повторяя, чтоб не забыть начало деревенского наговора: «Горец, горец, почечуйный, перечный, птичий, змеиный или еще какой молодец, — покажись мне, откройся...»

Но отсыяли, отцвели травки — осень все же, попробуй без цветов и примет отыскать траву, да еще в потемках — все жухлы, бледны. Однако в теньке среди оплывших морковников и мочалкой свитых трав я нашел все же былки бледно доцветающих стрелок змеевика и рядом его собрата — ветвистый перечный горец, для верности пожевал и ощутил с детства не забытую, почти щавельную кислинку.

За пихтачом, отоптанным колхозными коровами, на маленькой кулижке, возле утихшего муравейника сыскал и ветки зверобоя с отгоревшими восковыми цветочками. Подорожник рвал на ощупь возле речной тропы.

Я парил травки в котелке, остужал навар, делал кашицу из подорожника ножиком. Мой новый товарищ смотрел на меня и рассказывал про Ленинград, воспринимая как что-то должное мои хлопоты — верный признак того, что сам он много помогал людям.

— Война кончилась, — как о чем-то обыденном и привычном говорил рыбак. — Утихает горе. Люди, природа, все-все как бы вновь и новой, какой-то неведомой добротой открываются нам... Жить бы да жить...

Я промыл его руку теплым отваром, осторожно и в то же время содрогаясь от бессильного недоумения и внутри занявшегося холода, вытер капельку крови с брющка пальца, залепил прокол величиной с иголочное ушко кашицей подорожника, завязал руку оторванным от натальной рубахи лоскутом и указал на котелок:

— Пейте. Как можно больше пейте — это должно помочь...

Он послушно пил теплый отвар, с вялой настойчивостью поел хлебца с маслом, разошелся в еде и прямо с кожурой уплел пару моих почти до хруста упекшихся в углях картошек. Я тем временем еще раз спустился к речке с котелком, вернулся с водой, и рыбак ублаженно молвил:

— Навязался вот...

— Ничего, ничего, выплось. Успею. Мои рябки от меня не уйдут! Рядом, бродяги! — кивнул я на распадок.

— А мои харюзы в реке. Странно, правда? Спят вот и не знают, что мы тут наготове...

— Да, да...

Я растряс сено пошире, подбил его от пихты в головах. Рыбак прилег лицом к костру, выставив завязанную руку на тепло, и быстро утих. Спал он младенчески тихо, не шевелясь, и я порой вскидывал голову — живой ли? Еще один встречный, еще одно удивление человеческой неодолей, силой его, величием перед неотвратимой смертью.

Привычное еще с войны, с госпиталя, непроходящее чувство вины перед обреченным угнетало меня. Происходило это еще и от спокойствия человека, от его невысказанной обиды на судьбу. Но общение с ним не давило. Обезоруживала его обыденная, прямодушная откровенность, в которой не было места истерике, зависти и ненависти к тем, кто живет и останется жить после него, — признак здоровой натуры, трезвого ума и незлого характера.

Я подживлял огонек, палкой сгребая уголья к краю кострища, чтобы грело рыбака спокойным теплом, и в поздний час, в студеное предутрие, сам уснул мгновенно и глубоко.

Проснулся и едва не ослеп от белизны: повсюду на лугах, на зародах, на зеленой отаве, вдоль берегов Уссы, на ельниках и последних листьях осин и берез белел иней. Каждая хвоинка на пихте с той стороны, где не доставало тепло огня, была как бы обмакнута в серебряную краску. Внизу, в распадке, звонко и беззаботно пищал рябчик, у реки трещали дрозды и, отяжелев намокшим пером, коротко перелетали над землей. шарахались в ельниках, осыпая иней, — птица тянула на рябинники.

Я вскочил от огня, бойко горевшего сдвинутыми головешками, и не обнаружил рыбака. На сене лежал клетчатый листочек, вырванный из блокнота, и на нем было написано: «Спасибо, брат!» Я осмотрел листочек с обеих сторон — он был чист, не захватан кровью. «И слава богу!» — сказал я себе, поскорее собираясь. Под пихтой, подальше от тепла что-то серебрилось. Я наклонился: три отборных, крупных хариуса чуть прикрыты сырым мохом и веткой пихты.

Под горой, ниже охвостки острова, заметно темнела фигура человека — он забродом стоял на струе и редко плавно взмахивал удилицем — искусник, рыбачит на обманку!

Оставив завтрак на после, на ходу хлебнув из кружки теплого чая, я торопливо надел рюкзак и поспешил из ельников на опушку, к белолесью, вдоль которого уже пели, заливались задиристые петушки и мама-рябчиха понапрасну серчала и сипела с земли, призывая неразумных молодцов к осторожности и благоразумию.

Утро, солнечное, бодрящее, белое, звенело примороженным лицом, словно били леса в колокола, пробуждая к жизни все сущее на земле.

ДРЕВНЕЕ, ВЕЧНОЕ

Загулял наш конюх. Поехал в райцентр вставлять зубы и по случаю завершения такого важнеещего дела загулял. Рейсовый автобус ушел, и он остался ночевать у свояка.

Кони (их было семеро — два мерина, две кобылы и трое жеребят) долго бродили по лугу и, когда я шел от реки с удочками, вскинули головы и долго смотрели мне вслед, думая, что, может, я вернусь и загоню их, но, не дождавшись никого, сами явились в деревню, ходили от дома к дому, и я решил, что они уснут на лугах или прижавшись к стене конюшни, нагретой солнцем со дня.

Поздней ночью я проснулся, пошел на кухню попить квасу. Что-то остановило меня, заставило глянуть в окно.

Густой-прегустой туман окутал деревню, далее которой вовсе ничего не было видно, и в этой туманной пелене темнели недвижимые, как бы из камня вытесанные силуэты лошадей. Мерины и кобылы стояли, обнявшись шеями, а в середке, меж их теплых боков, опустив головенки, хвосты и желтенькие, еще коротенькие гривы, стояли и спали тонконогие жеребята.

Я тихо приоткрыл окно, в створку хлынула прохлада, за поскоотиной, совсем близко, бегал и кричал коростель; в ложку и за рекой Кубеной пели соловьи, и какой-то незнакомый звук, какое-то хрюканье утробное и мерное доносилось еще. Не сразу, но я догадался, что это хрипит у самого старого, надсаженного мерина в сонно распутившемся нутре.

Время от времени храп прекращался, мерин приоткрывал чуть смеженные глаза, осторожно переступал с ноги на ногу, насторожен-

но вслушавшись — не разбудил ли кого, не потревожил ли? — он еще плотнее вдавливал свой бугристо вздутый живот в табунок и, сгрудив жеребят, успокаивался, по-человечьи протяжно вздыхал и снова погружался в сон.

Другие лошади, сколь я ни смотрел на них, ни разу не потревожились, не пробудились и только плотнее и плотнее жались друг к дружке, обнимались шеями, грели жеребят, зная, что раз в табуне есть старшой, он и возьмет на себя главную заботу — сторожить их, спать вполусон, следить за порядком. Коли потребует, он и разбудит всех, поведет куда надо. А ведь давно не мужик и не муж этим кобылам, старый, заезженный мерин, давно его облегчили люди и как будто избавили от надобностей природы, обрекли на уединенную, бирючью жизнь. Но вот поди ж ты, нет жеребца в табуне — и старый мерин, блюдя какой-то нам не ведомый закон или зов природы, взял на себя семейные и отцовские заботы.

Все гуще и плотнее делался туман. Лошади проступали из него — которая головой, которая крупом. Домов совсем не видно стало, только кипы дерев в палисаднике, за травянистой улицей, еще темнели какое-то время, но и они скоро огрузли в серую, густую глубь ночи, в гущу туманов, веющих наутренней, прохладной и промозглой сонной сырью.

И чем ближе было утро, чем беспросветней становилось в природе от туманов, тем звонче нащелкивали соловьи. К Кубене удрал коростель, пытался перескрипеть заречного соперника, и все так же недвижно и величественно стояли спящие кони под моим окном. Пришли они сюда оттого, что я долго сидел за столом, горел у меня свет, и лошади надеялись, что оттуда, из светлой избы, непременно вспомнят о них, выйдут, запрут в уютной и покойной конюшне, да так и не дождались никого, так их тут, возле нашего палисадника, сном и сморило.

И думал я, глядя на этот маленький, по недосмотру заготовитель, точнее, любовью конюха сохраненный и все еще работающий табунок деревенских лошадей, что сколько бы машин ни перевидал, сколько бы чудес ни изведаль, вот это древнее чудо — спящие лошади среди спящего села, недвижные леса вокруг, мокро поникшие на лугах цветы бледной купавы, потаенной череды, мохнатого и ядовитого гравилатника, кусты, травы, доцветающие рябины, отбелевшие черемухи, отяжеленные тихим покоем, все-все это древнее, вечное нетленно.

И первый раз по-настоящему жалко сделалось тех, кто уже не просто не увидит, но даже знать не будет о том, что такое спящий деревенский мир, спящие среди села, смирные, терпеливые, самые добрые к человеку животные, простившие ему все, даже живодерни, и не утратившие доверия к этому земному покою.

А кругом туман, густой белый туман, и единственный громкий звук в нем — криканье коростеля, но к утру устал и он, набегался, умолк. Вышарил, наверное, в траве подружку, затаился с нею в мокрых, бело цветущих морковниках. И только соловьи щелкали все азартней и звонче, не признавая позднего часа, наполняя ночную тишину вечной песней любви и жизни.



ВИНСЕНТ ЭРИ

★

КРОКОДИЛ

Роман

Винсент Эри родился в 1936 году в селении Мовеаве, на юге Папуа, в том самом, где разворачивается действие романа. Получив среднее образование, Винсент Эри стал учителем и преподавал некоторое время в начальных школах своего округа. В 1967 году он поступил в только что созданный Университет Папуа Новой Гвинеи в Порт-Морсби, а в 1970 году стал одним из его первых выпускников. В том же самом 1970 году в Австралии вышел «Крокодил» — первый роман, написанный папуасом. «Крокодил» сразу привлек к себе внимание читателей и литературных критиков: впервые опыт людей каменного века, вступивших в вынужденный и далеко не безболезненный контакт с цивилизацией белых, стал предметом художественного исследования. Роман был воспринят как произведение талантливое, яркое и верное правде жизни, судьба его персонажей глубоко трогала читателей. В 1971 и 1972 годах последовали переиздания, затем «Крокодил» вышел в Англии дешевым массовым изданием — судьба, не часто выпадающая на долю самого первого в молодой литературе романа.

ГЛАВА ПЕРВАЯ

Листья саговых пальм, покачиваясь, сухо шуршали, совсем не так, как листья кокосовых — те ласково шелестели.

Внизу, в селении, через лес свай, на которых стоят хижины, пробегали, приплясывая, вихрящиеся бурые клубы пыли. Сквозь щели в полу и дыры в стенах врвался ветер. Крутясь, клубы пыли принимали все новые и новые формы, причудливые, странные.

Селение окружала изгородь футов в пять высотой. Сделана она была из длинных стволов бамбука — они лежали один на другом между вбитыми в землю кольями, которые пустили корни и уже дали зеленые побеги. Огородили селение по приказу чиновников администрации: чиновники говорили, что свиней в селение пускать нельзя.

Один дом стоял особняком, за изгородью, с наветренной стороны селения. Одним торцом он смотрел на север, другим на юг. Вход был с северной стороны. Внутри на каждой из четырех стен висела класная доска, самая большая — на южной. Кроме досок, на стенах висели картинки из священного писания и большой кусок картона с буквами. Около каждой буквы был изображен предмет, но многих из этих предметов дети в жизни никогда не видели. Голодный таракан прогрыз один из них насквозь — тот самый, который учитель называл «яблоком». На детей смотрели три портрета: короля Георга VI, архиепископа де Буаменю с острова Юле и покровительницы школы святой Терезы.

Все классы занимались в одной большой комнате. Ученики усаживались прямо на полу, сделанном из стволов пальм.

Около школы всегда было сыро. Владельцы земли только потому разрешили выстроить здесь школу, что строить на этой земле жилье было нельзя. После каждого половодья вокруг школы оставались россыпи мусора и испражнений, к которым днем добавляли дети, а ночью — взрослые.

Над школой высились огромные хлебные деревья, они загораживали солнце. Кусты и

деревья вокруг школы росли так густо, что даже из селения увидеть ее было нельзя. В полутьме под деревьями висели облака мошкеры, ни на миг не оставлявшей детей в покое.

Уборных не было. «Зачем строить дома тому, что мы из себя выкидываем?» — говорили люди санитарам, когда те их ругали. Люди соглашались с ними: да, чиновникам и белым миссионерам «маленькие домики» нужны — их красивая белая кожа слишком нежная, ходить по нужде в лес им нельзя. И учителя и ученики справляли свои нужды в лесу, и там же их справляли все остальные. Чистоту в лесу наводили свиньи, они жирели от этого, и их огромные животы волочились по земле.

Пять дней в неделю дети до хрипоты в горле повторяли нараспев числительные и алфавит. По учителям не видно было, чтобы шум на них действовал. Родители, когда шли мимо школы на огороды, слышали хор детских голосов. Для них это значило, что дети учатся, а чему именно, было не так уж важно.

Неделю назад в подготовительный класс пришел новый мальчик. Его перевели из протестантской школы, которой управляло Лондонское миссионерское общество, сюда, в католическую. В классный журнал его записали как Хоири Севесе. Отец его, Севесе Овоу, был диаконом церкви Лондонского миссионерского общества. Хоири было около семи лет. Живот у него был большой, а ноги очень тонкие. И как он только видел, когда шел, куда их надо ставить? Дети прозвали его в насмешку Таубада¹.

Непохоже было, что Хоири унаследует рост и сложение отца. Он был маленький и хилый, и кое-кто говорил даже, будто он растет вбок. Здесь, в новой школе, ему многое было непривычно. Детей он знал — ведь жили они в одном селении и играли вместе уже не один год. Но учили здесь по-другому и даже молитвы читали по-другому. Однако теперь он уже знал почти все, что следовало знать в новой школе. Знал, например, что стоит только спросить: «Можно выйти?» — и тебя тут же отпустят, и так сколько хочешь раз.

Как раз сейчас выйти было очень нужно. Он перед уроком запрятал в укромное местечко под пальмовым полом, между опорами, кусок саго и теперь боялся, как бы этот кусок не увидел случайно кто-нибудь из детей. Все дети, чтобы съесть потом, прятали в такие уголки то, что не доели за завтраком, поэтому просьбы разрешить выйти слышались то и дело. Сейчас просились очень многие его товарищи, и ему хотелось выйти тоже, но попроситься не хватало смелости. Внезапно мальчик, сидевший с Хоири рядом, вскочил с места — будто пробка выскочила из воды.

— Учитель, разрешите, пожалуйста, Хоири выйти! — крикнул он во весь голос.

Что делать учителю, когда четыре или пять таких просьб уже раздалось из разных мест класса? Даже не повернув головы, он разрешил.

Спасибо смелому другу! Если саго на месте, надо обязательно с ним поделиться.

Через мгновение он уже был под домом. Одна или две свиньи лениво поднялись и искося на него посмотрели, другие стали яростно тереться грязными боками о сваи, на которых стояла школа. Дети давно уже привыкли к тому, что пол трясется, будто непрерывно происходят слабые землетрясения.

Саго не оказалось: кто-то нашел его укромный уголок. Только бы не заплакать! До обеда еще очень долго. Когда хочется есть, ученье не идет в голову. А зачем вообще он ходит в школу? Толком Хоири не знал, но научиться языку белых людей, пожалуй, было бы хорошо. Не для того, чтобы получить работу, за которую хорошо платят, такой работы для папуасов все равно нет, а потому, что, если он сможет разговаривать с белыми людьми, он станет у себя в селении уважаемым человеком.

Не раздобудет ли он чего-нибудь поесть в доме у тетки? Две недели назад все было по-другому. Тогда еще была жива мать, и даже когда она уходила работать на огороде или ловить рыбу, она всегда оставляла ему поесть. Но теперь матери нет, и когда с его губ слетают последние слова молитвы и занятия кончаются, он уже не так торопится сбежать по ступенькам школьной лестницы.

— Когда же ты станешь на колени, Хоири? Мы все тебя ждем, — донесся откуда-то издали голос учителя.

Он задумался и не заметил, что все дети молчат!

Очень трудно оказалось привыкнуть становиться для молитвы на колени и осенять себя

¹ Таубада — почтительное обращение, эквивалент слова «господин» (Здесь и далее примечания переводчика.)

крестным знаменем так, как это делают католики. В прежней школе учитель читал молитву один, а все остальные стояли, склонив голову и закрыв глаза. Здесь же они все читают молитву вместе с учителем. Но как странно: и здесь в молитве поминают тех же отца, и сына, и святого духа. Из-за чего же тогда так не ладят между собой у них в селении последователи той и другой веры? Но неважно, о чем они там спорят, все равно Лондонское миссионерское общество сильнее. Оно появилось у них в селении первым. Его дед был еще мальчиком, когда преподобный Джеймс Чалмерс впервые ступил на берег в Мовеаве.

Хоири шел в селение. На небе не было ни облачка. От яркого солнца тени хижин казались издали темнее, чем были на самом деле. Среди этих хижин, стоявших неровными рядами, возвышались, выделяясь своими высокими острыми крышами, элаво². Хотя Мовеаве было одним из самых больших селений в заливе Папуа, сейчас оно казалось почти безлюдным. Несколько женщин, сидя под хижинами, плели циновки и сплетничали, остальные чинили рыболовные сети и искали в голове друг у друга вшей.

Песок под лучами солнца блестел так, что резало глаза. Воздух неприятно пах пересохшей землей. Как жаль, что ростом он всего в три с половиной фута, — ему так хочется стать повыше.

Тьфу, да что же это за люди: не приучают своих детей и собак выходить по нужде за ограду селения!

По улицам бродили своры всегда голодных собак. Они жалобно скулили — вдруг найдется добрый человек и бросит им что-нибудь.

Еще издали Хоири понял: тети Суаза и остальных, кто живет с ней в хижине, сейчас там нет. Лесенка, по которой туда поднимались, была отодвинута в сторону, чтобы не забрались собаки. Нет ли чего-нибудь на полке над очагом, на которую кладут еду? За годы дым от очага выкрасил стены, пол и потолок хижины в грязный коричневый цвет. Сперва ничего видно не было, только постепенно глаза привыкли к темноте.

— Нашел что-нибудь? — раздался снаружи голос Меравеки, его двоюродного брата, который ходил в школу Лондонского миссионерского общества. — У меня есть целая палка саго, хватит на нас обоих и еще останется.

Когда Хоири вынырнул из темноты, в руках у него был печеный плод хлебного дерева и половина сушеного кокоса еще в скорлупе.

Они пошли вместе, угощая друг друга тем, что было у каждого. Маслянистый сухой кокос помогал глотать вязкое, похожее на резину саго.

— Ну как, нравится тебе католическая школа? — Меравеке не терпелось выведать, что новое знает теперь его двоюродный брат. — Было лучше, когда мы ходили в школу вместе. Не понимаю, почему мои родители, когда умерла твоя мать, не взяли тебя к нам. Разве не родные отца должны заботиться о детях, когда умирает их мать? Но почему-то твоей тете Суаза разрешили взять тебя с братом и сестрой к себе в дом, и теперь она заставила тебя стать католиком.

От слов Меравеки стало как-то беспокойно. Ведь он не виноват, что все так случилось. И отец ничего не объяснил ему, да еще исчез куда-то после похорон матери, и неизвестно, где он теперь и что делает.

— Так решил отец, — наконец выдал из себя. — Что я мог сделать? Пришлось перейти жить к тете Суаза. А она сказала: если я не пойду в католическую школу, она не даст мне рами³. И я подумал: лучше быть одетым, а то девчонки будут пялить на меня глаза.

Они замолчали. Теперь Меравека понял, что заводить об этом разговор не следовало, и заговорил о другом.

— Чему вас учат в новой школе?

— Да все тому же, чтению и счету. Главная разница в том, что здесь учителя почти все время говорят с нами по-английски.

— Мне бы тоже хотелось научиться говорить по-английски, — сказал Меравека. — Завидую нашему полицейскому, членам совета и санитару — когда приезжают чиновники, они могут с ними разговаривать. Самоанские пасторы в нашей школе учат нас хорошо, только мне не нравится, как они говорят на нашем языке.

¹ Элаво — так называемый «мужской дом», где постоянно живут неженатые мужчины рода и могут также ночевать женатые.

³ Рами — предмет верхней одежды, нечто вроде юбки.

Настроение у Хоири поднялось: оказывается, он учится тому, чему бы хотел учиться его двоюродный брат. И он добавил, что в католической школе детей не заставляют делать для учителей саго. В школе Лондонского миссионерского общества на это уходила большая часть дня. Отец частенько говорил другим взрослым: «Жаль, что ученикам приходится делать саго, но без этого нельзя обойтись. Эти самоанцы приплыли издалека, чтобы донести до нас слово божье. Земли у них здесь нет, посадить огороды им негде, и мы должны заботиться о том, чтобы им хватало еды».

— Эх, если бы я тоже мог ходить в твою школу, — сказал едва слышно Меравека.

Да, Меравеку было жаль. Хоири знал, какво ходить в лес делать саго, и знал, как наказывают тех, кто уваливает. Большинство мальчиков решали: лучше поскучать в таком походе, чем сгорать от стыда, когда тебя голого бьют на глазах у девочек палкой.

Они вошли в речку, единственную к югу от селения, по которой можно было добраться до широкой реки. Вода спала, сейчас она была чуть выше колена. От прохладного запаха глины дышалось легче.

Там, где лодки затаскивали на берег, глину прорезали длинные параллельные борозды. Сейчас на берегу валяется лишь несколько никуда не годных лодок, но в субботу или в пятницу — в «день администрации» — лодок появится на реке столько, что воды не будет видно.

— Ты заметил? Когда вода стоит низко, чиновники у нас обычно не появляются. Наверно, из-за дерьма — боятся испачкать свои чистые белые ноги.

— И я тоже ни разу не видел, чтобы они вылезали из лодок в воду и шли по дну, — согласился Меравека. — Когда они к нам приплывают, их лодки ужасно нагружены, в них так много разных ящиков и вещей! Можно подумать, что они собираются жить у нас не один месяц. С таким грузом, да еще когда вода стоит низко, лодке никогда не подойти к месту, где причаливают. Вот нашим и приходится перетаскивать их на берег на руках, как маленьких!

Выбравшись на другой берег, они услышали смех и говор других мальчишек. В это время дня, готовясь к возвращению родителей, мальчики обычно собирали кокосы, а девочки кололи дрова и носили домой воду.

Хоири с Меравекой шли и шутили. Они совсем не стеснялись говорить о том, что делают наедине мужчина и женщина. Сами они еще ничего такого не делали, но часто слышали, как об этом говорят старшие, и знали, что происходит между юношей и девушкой где-нибудь на огороде, когда поблизости никого нет. Они прекрасно знали, у кого из двоих тогда бывает выпачкана в земле спина.

Вскоре они вошли в густой подлесок, и каждый пошел к кокосовым пальмам своей семьи. Они торопились, потому что знали: переправляться назад придется там, где речушка падает в широкую реку, а было известно, что, когда вода поднимается, крокодилы доплывают до самого селения.

Ко времени, когда солнце спустилось к верхушкам деревьев, узлы с кокосами у обоих были уже крепко завязаны. Они подвесили их к длинной палке, взяли ее за концы, подняли на плечи и зашагали к берегу — ждать, когда приплывут лодки рыбацкие. На воде белела пена; значит, несколько лодок уже проплыло.

— Слышишь, как поет птица туи? Вода начинает прибывать, — сказал Меравека. — Скоро сюда приплывет много лодок.

И правда, из-за поворота показалась большая лодка, полная женщин и девочек. Их гомон звучал вразнобой с мерными ударами весел по воде. Одно или два лица Хоири и Меравека узнали сразу. Все, кто был в лодке, принадлежали к опероро, роду их отцов, и поэтому ко всем девочкам в ней Хоири и Меравека относились как к сестрам, а к женщинам — как к своим матерям.

Ночью взошла полная луна. Траур по его матери еще не кончился, поэтому дети в селении не кричали, как обычно, а разговаривали тихо. Поужинав, они усаживались на земле между рядами хижин и рассказывали друг другу разные истории. Эта ночь была особенная. Мальчики и девочки должны были держаться отдельно. Матери предупреждали сыновей, а старшие сестры — братьев, что в эту ночь с девочками играть нельзя. Сейчас, говорили они, у всех девушек и женщин месячные. Посмотри на луну, сразу увидишь — вокруг нее бледно-желтое кольцо. Если в такое время девочка заденет хотя бы краем травяной юбки голую мальчишку, тот будет плохо расти.

Уж кому-кому, а ему из-за смерти матери играть и развлекаться сейчас совсем не пришло. Поэтому он сидел около тети Суаза и слушал, как она бормочет:

— Как же мне теперь быть? Почему моя старшая сестра умерла так рано? Я это не из-за детей, но уж очень глупо умирать, когда ты еще не старуха и могла бы жить много лет. Проклятые колдуны, за что они отняли у нее жизнь?

— А кто это «они»? — Он расслышал только последние ее слова.

— Некоторые люди никогда не бывают довольны, всегда им чего-то не хватает, — уклончиво ответила тетя Суаза. — Им обязательно нужно убивать. Не знаю уж, какое удовольствие они получают от того, что отнимают у других жизнь. С виду эти люди приветливы, ведут себя как друзья, но это только притворство.

— Но кто они, эти люди? И откуда известно, что колдуют они, а не другие?

Тетя Суаза поняла, что он не отвяжется, и начала объяснять:

— Есть такие, у нас в селении их хорошо знают, они и собирают то, что нужно для колдовства. Первым делом добывают немножко грязи с тела человека, которого решили умертвить, например с рук или ног. Иногда отрезают кусочек от его одежды. Еще берут свежий чистый имбирь. Они очень следят, чтобы их собственная грязь на имбирь не попала, а то они могут умереть тоже. Все это они отдают какому-нибудь колдуну на берегу моря, в одно из селений тоарипи, или везут в селения дальше по берегу, туда, где живут люди моирипи⁴. А уж этот колдун делает главное.

— А знает он, против кого его колдовство?

Тетя Суаза объяснила: да, может и узнать, если захочет. Если подержать колдовскую смесь в бамбуковом сосуде над очагом, из сосуда выглядывает дух того, кого хотят лишить жизни. А когда человеку становится совсем худо, бамбуковый сосуд начинает кататься по полу. Бывает, колдун пожалует человека, против которого колдует, и выплеснет колдовскую смесь. Но сам человек ни о чем не подозревает. Просто вдруг он начинает хворать, и за что он ни возьмется, ничего у него не получается. Станет ловить рыбу — та выскальзывает у него из рук обратно в воду. Начинают пропадать его вещи, иногда вещи его родственников.

Тетя Суаза все говорила, а ему вспомнился случай. Однажды он с отцом и матерью работал на огороде их семьи, вверх по реке, это было совсем незадолго до смерти матери. В этот день кусок ротанга⁵ в целых полдюйма толщиной, которым их лодка была привязана к кокосовой пальме, вдруг оборвался, лодку унесло течением в мутную реку Тауре, и там она потонула. Доски сиденья не были прикреплены к лодке и должны были бы всплыть, но не всплыли — очень странно! Почему отец не обратил на это внимания? Надо было сразу же что-то сделать. Если бы отец дал тогда матери снадобья из трав, коры и корней-ев, которое защищает от колдовства, быть может, удалось бы колдовство победить.

Пошла уже третья неделя траура, когда Севесе Овоу неожиданно появился в доме сестры своей покойной жены. Хоири показалось, будто пришел совсем другой человек — так отец изменился. Он был одет в черное, лицо его обросло редкой щетиной. На него было жалко смотреть, и было видно, что в последнее время он недоедает. Хоири очень хотелось поговорить с ним, но тетя Суаза сказала, чтобы он оставил отца в покое — тому надо прежде всего поесть.

Ждать было очень трудно, и наконец Хоири не вытерпел и спросил отца:

— Это правда, что маму убили колдовством?

Отец, услышав этот вопрос, удивился и смутился. Сыну в его годы не полагалось этого знать. Он попросил Хоири, чтобы тот рассказал ему все, что об этом знает. Когда Севесе понял, как много тому уже известно и как ему хочется знать все, он, хоть и без особой охоты, согласился рассказать еще кое-что.

— Когда твоя мать умерла, ее тело похоронили. Но ее дух не ушел от нас. Он снова и снова приходит туда, где она ловила рыбу, и на огородах, где она работала. Каждый вечер, когда солнце опустится за верхушки деревьев, он принимает ее прежний, человеческий облик и плачет по нас. В это время мы, живые, можем узнать от умершего, почему тот скончался.

— Так вот почему тебя не было две недели — ты узнавал, отчего она умерла! А по-

⁴ Тоарипи, моирипи — этнические группы на юге Папуа Новой Гвинеи.

⁵ Ротанг — род лиановидных тропических деревьев.

чему теперь каждый раз, как мы садимся есть, одно блюдо с едой ставят отдельно? Это для мамы, да?

— Да,— сказал отец,— это для ее духа.

— Ну, и ты увидел ее?

Затаив дыхание, он ждал ответа.

— Сейчас все расскажу, сынок. Я стоял один у кладбища и смотрел, как заходит солнце. И вдруг мой затылок похолодел. Цикады стрекотали громко-громко, такого громкого стрекотанья я еще никогда не слышал. Приближалась ночь, лучи солнца быстро исчезали, посмотришь — за одним высоким деревом, за другим уже совсем темно. Пробишь разглядеть что-нибудь — все плывет перед глазами, туманится. Деревья, обгоревшие, когда горела трава, тянутся ко мне черными ветками как руками, будто хотят ударить. Ни ветерка, а мне холодно. Потом чувствую: слабеют ноги. В груди заколотилось тяжело — бум, бум. Почудилось, что одно из деревьев рядом ко мне наклоняется. Ноги подкосились, я больше ничего не видел вокруг, и тут я услышал голос твоей матери — я узнал его сразу.

И отец шепотом рассказал ему, отчего умерла мать, и назвал имена колдунов, которые в этом повинны. А потом добавил:

— Держись подальше от этих недобрых людей.

И еще он сказал:

— Ее дух будет с нами до тех пор, пока людей не созовут на угощение, чтобы потом все могли забыть ее. Только тогда она сможет уйти в страну мертвых, и откладывать это больше нельзя. Чем скорей она туда прибудет, тем лучше для нее. А потом, нехорошо так долго держать все селение в трауре. Нужно освободить от него людей, тогда им снова можно будет бить в барабан. Дети снова смогут громко кричать и веселиться по вечерам, мужчины смогут сбрить бороды, а женщины — снять черные травяные юбки и черные браслеты.

И вот большой день настал. От множества очагов, на которых сейчас готовили пищу, дым поднимался такой, что, казалось, в селении пожар. Все бегали, шумели, что-то делали, старались успеть как можно больше. Три воскресенья селение будто спало, а сегодня проснулось.

Резали свиней, и их визг разносился из одного конца селения в другой. Загремели долго молчавшие барабаны. Их грохот, похожий на гром, взлетел высоко над верхушками саговых пальм — и о том, что траур кончается, узнали соседние селения Хеатоаре и Саваивири.

Женщины и девушки надели самые красивые травяные юбки. Только ближайшим родственникам умершей еще нельзя было переодеться в другую одежду.

К вечеру всю приготовленную еду собрали вместе. Весь мел из школы (а его там было совсем немного) дети принесли своим матерям, чтобы тем было чем метить свои горшки.

Дядя Хоири подал знак, и все сели. Высились груды еды, по одной для каждого рода. В руке дядя держал росток кокосовой пальмы и с ним пошел от груды к груде, останавливаясь около каждой и называя род, которому она предназначена.

Когда начало темнеть, от еды уже ничего не оставалось — часть съели тут же на месте, остальное унесли с собой. Теперь о его матери будут говорить только «она была».

Он так любил свою мать! Как грустно, что завтра рано утром она уйдет навсегда и больше никогда к нему не вернется! Когда она минует селения, где ее знали живой, ее тело и дух соединятся снова. Хорошо хоть, что у нее есть все нужное для этого путешествия — отец об этом позаботился. Прежде чем опустить ее в могилу, ей положили в гроб плетеную сумку, полную поджаренных шариков из саго и кокосов, нож, чтобы защищаться, и фонарь. Чем больше он думал об опасностях, которые подстерегают ее в пути, тем больше ему хотелось пойти с нею вместе.

От отца он знал о вероломных лодочниках и о бесчестных хозяевах домов, в которых ей придется останавливаться по дороге: не остережешься — мигом обманут или ограбят тебя. Но если мама благополучно достигнет конца пути, она сможет сбросить с себя темную кожу и станет европейкой, попадет в страну изобилия и когда-нибудь пришлет им подарки.

Проходили дни, а Хоири все думал: какая она, эта страна изобилия, куда ушла его мать? Дошла ли она туда? И если дошла, то не забыла ли послать нужные вещи тем, кого

любила, кого покинула? Или же до того, как вещи достигли тех, кому были посланы, их кто-то перехватил? Но все равно когда-нибудь, он был твердо в этом уверен, они получат от нее подарки.

ГЛАВА ВТОРАЯ

Поднимаясь из моря, солнце уже раскрасило горный хребет Оуэна Стэнли неяркими красками. Отсюда, издалека, не видно было, как дики и суровы горы, и они стояли над селеньями, где еще спали люди, как огромные сторожа.

Жители Мовеаве встали, как обычно, рано. Хоири проснулся даже раньше, чем большинство из них, но выйти наружу не решился. Здесь, в хижине, была непроглядная тьма. Он вглядывался в стены, сделанные из саговой плетенки: не блеснет ли хотя бы искорка света? Но нет, солнце еще не взошло. Теперь, когда он проснулся, бамбуковый подголовник перестал быть набитой капоком подушкой, которой был во сне. Подголовник с фут длиной был светло-коричневый и от постоянного употребления блестел. Проснешься иногда и чувствуешь — нсет шея; но все равно эта старая вещь была какой-то родной. Хоири осторожно положил его в угол — там подголовник лежал днем. После этого он снова лег на спину и подложил под голову руки.

Довольно высоко над ним, на крыше, бегали крысы, и можно было лишний раз попрактиковаться в счете, а ему это было нужно. Не важно, что это те же самые две или три крысы, не важно, что он их уже пересчитывал много раз. Со счетом теперь дело явно шло лучше — он даже заулыбался, довольный. Еще не удастся сосчитать все ниповые⁶ жерди, уж очень их много, но, наверно, учитель этому его научит, и тогда он пересчитает их все — на обоих скатах.

Тут он услышал свисток, за ним другой, и кто-то прокричал во весь голос:

— Мы уже объявляли вчера вечером: это очень важное дело, вам и вашим семьям могут быть от администрации большие неприятности!

Бывало интересно угалывать по голосу, кто из членов совета⁷ кричит. Но сейчас у него от тревоги перехватило дыхание, и он стал слушать, стараясь не пропустить ни слова.

— Все должны оставаться в селении, уходить нельзя никому!

Ба, да это голос члена совета Морафеаз!

— Если все-таки хотите уйти, — продолжал голос, — то идите, но потом будете работать задаром и гнуться до земли, таская дерьмо чиновников администрации в Кереме!

Больше Морафеаз не объясил ничего — ни кто приедет к ним в селение, ни зачем.

Утренний воздух был прохладный и чистый. Когда Хоири вернулся в дом и вошел в кухню, сперва он ничего не увидел, только потом глаза привыкли к темноте. Тетя Суаза сидела, выгнув ноги, около очага. Она раздувала огонь, и ее щеки то надувались, то опадали. Кокосовая скорлупа потрескивала в очаге, и клубами, похожими на крохотные кучевые облака, вверх поднимался дым.

— Как он режет уши, этот свист! — сказала тетя Суаза непонятно кому. — Наверно, полицейскому и членам совета просто нравится дуть в свисток. Дуть в раковину труднее. Отнять бы у них свисток и дать вместо него раковину, как в прежние времена. Уж в нее бы они так часто дуть не стали, а то бы им и не отдышаться. А главное, звук у раковины глубокий, густой, не то что у этого свистка — визжит тонко-тонко.

Ее слова доносились как будто откуда-то издалека. Она показала рукой вниз, под дом, чтобы Хоири принес оттуда дров. Другие женщины в темных, дымных кухнях соседних хижин слушали, что она говорит, и из тепла этих кухонь тоже начали говорить о том, что происходит в селении.

— Что-то не верю, чтобы наш полицейский и члены совета так уж хорошо понимали и говорили по-английски, — сказала Мафу, добродушная вдова, любительница посмеяться и посмеяться.

Некоторые из женщин захихикали, но одна сказала:

— Смеяться над ними легко, а каково было бы тебе на их месте?

⁶ Стволы и листья ниповых пальм папуасы часто используют как строительный материал.

⁷ Имеется в виду созданные австралийцами на Новой Гвинее органы местного самоуправления.

— Подумаешь! Уж если белый человек слушает и кивает, когда они говорят по-английски, то неужели я не могу добиться того же самого? Что здесь трудного — говорить «да, сэр» и «нет, сэр»? А ведь они почти ничего другого и не говорят. Щелкать каблуками, вытягиваться и отдавать честь и я сумею. Мне это даже легче, чем отгонять от чиновников мух или вытирать им пот с лица, как делают некоторые члены совета.

Поднялся хохот.

— Да, они, наверно, часто передают нам совсем не те приказы, которые отдают чиновники! Многие приказы наверняка придумывают сами. Будь я членом совета, я бы уж не лезла из кожи, стараясь услужить начальнику патруля, который не старше моего сына. И все это ради того, чтобы их похлопали по спине или дали им скрутку табака! ⁸ А ведь и полицейский и члены совета могли бы, как другие мужчины, ловить рыбу и охотиться — занятие куда приятней!

Морафеаз тем временем кончил раздавать свои ежеутренние советы и наставления и остановился взять бетель, предложенный ему тетей Суаза.

— Чем свистеть дни и ночи, пока кишки не вылезут, сходил бы он лучше за своим собственным бетелем! — громко, чтобы он услышал, сказала Мафу. — Боится, наверно, как бы чиновник не засунул свой белый палец в его черную задницу, вот и свистит все время.

Ровесники и ровесницы Морафеаз очень его любили, но особенно любили его вдовы вроде Мафу — для них, не будь Морафеаз, жизнь была бы совсем скучной. Мафу просто шутила, обижать Морафеаз ей вовсе не хотелось.

— Ну уж если бы белый человек так со мной поступил, я бы с ним сделал то же самое, — отозвался Морафеаз. — Лучше бы чиновники прямо показывали, так или еще как-нибудь, что они сердятся, тогда бы я мог сделать то же, что и они, а там будь что будет. Но они просто ругают нас по-английски, а мы мучаемся — гадаем, что значат эти слова. Когда очень рассердятся, они часто говорят: «Ты, ублюдок!»

— А я часто слышала, как белые люди, когда приплывают к нам в селение, называют этим словом собак и свиней, — сказала Мафу. — И им же они называют людей. Не очень-то, видно, хорошее это слово, раз оно подходит и для четвероногих тварей.

Последние слова Мафу разобрать было уже трудно — Морафеаз гоготал, брызгаясь красной от бетеля слюной.

— Ты поменьше думай о белом человеке и о его словах! Не переспать ли мне с тобой, а? Вон уже сколько времени ты живешь без мужа, и некому ласкать тебя по ночам! Потому ты столько и говоришь. Со мной тебе не нужно будет просыпаться и чесать себя, пока зуд не пройдет.

— Спасибо тебе, Мила Лаваи ⁹, за то, что ты предлагаешь мне свои услуги, но полуночная змея, пожалуй, и так уж слишком много раз заползала мне между ног — с меня хватит! Может, твоя жена Ивири слишком редко пускает тебя к себе? — И, перестав смеяться, спросила: — Нет, правда, Морафеаз, что за чиновник приплывает сегодня и зачем?

— Я не знаю, — сказал Морафеаз, — и никто не знает — ни остальные члены совета, ни полицейский.

Слушая вдову, Хоири тоже несколько раз не удержался от смеха. Не спеша он начал разжигать для себя перед хижиной большой костер. Огонь дает силы нырнуть в холодную реку. Тетя Суаза часто говорила: «Что это за мальчики? Плещутся у берега, как девочки, а не ныряют! Какие же из них вырастут мужчины?» Разговор между Мафу и Морафеаз позабавил и ее, но чувствовалось, что она рассержена, и было понятно почему: ведь ей надо кормить большую семью.

— Не очень-то меня все это радует, — сказала она. — Чем мы будем кормить сегодня детей, свистками и медалями? Если бы нам сказали, что нельзя будет уходить из селения не вчера вечером, а хоть несколько дней назад, мы бы приготовили еды заранее. А теперь придется просить у родных и соседей — да еще есть ли у них самих? Нет, так сиди голодный.

На самом деле воды он вовсе не боялся. Просто в последние месяцы ему все больше

⁸ Речь идет о скрученном в жгут пучке табачных листьев. Таким табаком австралийская администрация на Новой Гвинее часто расплачивалась с местными жителями за проделанную ими работу.

⁹ М и л а Л а в а и — фольклорный персонаж, мужчина, который выдавал себя за женщину.

мешала учиться в школе и играть язва на правой ноге. Стоило войти в реку, и пильчатые криветки мигом сгрызали корочку — просто удивительно, как быстро они это делают. Вот и сейчас, когда он вышел из воды на берег, язва была красной, как кровь. Дрожа от холода, он подошел к своему костру и увидел, что теперь к нему не подступишься: костер двойным кольцом окружали женщины, молодые и среднего возраста. Почти все они были замужние. Они тоже купались рано утром, но не по той причине, что и он: их к этому обязывает замужество. Ведь незамужним женщинам готовить еду для мужа и детей не надо, хотя по полным грудям видно, что и их навещают ночью мужчины.

Громкую болтовню этих женщин он слышал, еще когда лежал в хижине, а они шли на реку, как раз перед тем, как засвистел в свой свисток Морафеаз. Все они только недавно родили. Теперь тела их обмазаны свежей пахучей глиной, чтобы исчез запах материнства, чтоб охладилось молоко в грудях и стали мягче соски. Дальше от селения глина лучше.

В школе он сел, поджав под себя ноги, на необструганный пальмовый пол. На сердце было тяжело. Да, тетя Суаза хорошая и, наверное, почти такая же заботливая, как родная мать. Но все равно по-настоящему хорошо и покойно ему теперь, только когда рядом отец.

Не все чиновники, приезжавшие в селение, заходили к ним в школу. Но на всякий случай школе лучше быть к этому готовой. Снова и снова до боли в пальцах учителя переписывали на доске слова, чтобы буквы стали совсем похожи на те, что в учебнике. Мальчики постарше следили за тем, чтобы малыши на речке хорошо промыли себе носы; девочки тем временем убрали около школы.

— Долго же плывет чиновник, — сказал главный учитель. — Солнце высоко — наверное, уже часов десять, скоро все дети перепачкаются опять.

— Белые люди всегда так, — сказал Ои, самый старый из учителей. — За двадцать лет, что я работаю учителем в миссионерской школе, не помню случая, чтобы чиновник прибыл в селение до рассвета. Побывайте в каком-нибудь месте, где живут белые люди, тогда сами увидите, сколько они спят. Полицейские, чиновники, заключенные и все остальные начинают работать в восемь утра — только тогда трубит раковина или горн. Обычно белые люди прибывают в селение незадолго до утреннего чая, и потом еще нужно много времени, чтобы их маленькие чайники опустели.

На этот раз к ним прибыл не чиновник, а врач, и в селении поднялась страшная суматоха. Многие, кто боялся его иглы, пробовали убежать, но никому это не удалось: полицейские, «черные собаки», прибывшие вместе с врачом, встали у всех лазеек в заборе вокруг селения. Дети старались спрятать голову под мышку к матерям, и матери уже не шутили, когда грозили им: «Если не перестанешь плакать, доктор уколёт тебя своей иглой». Хозяева свиней тащили их прочь из селения, за ограду, и свиньи визжали.

Подошла очередь Хоири. Из-под парусиновой шляпы, видевшей все, и дождь и солнце, ему плутовски улыбалось розовое лицо врача. Когда врач говорил, второй подбородок у него колыхался. Живот у врача выпячивался вперед, как у беременной женщины. В другой очереди люди по одному подходили к санитару, и тот заставлял каждого глотать маленький желтый шарик, сделанный, как говорили в селении, из мозга мертвых. Женщины уходили, заливаясь слезами, им было очень стыдно — ведь врач видел и трогал то, что принадлежит только их мужьям; а когда они ложились на ящик, где только что лежал на животе и он, Хоири, их зад было видно всем.

— Теперь тебе нельзя будет купаться, — предупредила тетя Суаза. — Пить будешь только горячую воду. И нельзя рыбу есть, а то от лекарства, которое доктор в тебя влил, не будет никакого толку.

— А когда мне можно будет снова все есть и пить и купаться?

— Через семь дней начиная с сегодняшнего.

Теперь нельзя было ходить за кокосами. После школы Хоири просто сажился на берегу реки и с завистью смотрел, как плещутся в ней остальные дети. До чего же долгая эта неделя, прямо как месяц! Ничего: когда язва заживет, он докажет, что ничем не хуже своих сверстников. Тогда он прыгнет в реку с такой высоты, с какой еще не прыгал никто из них, и они увидят, что он такой же ловкий и сильный, как его отец. Ничего, что пока нельзя есть рыбу, зато вон как быстро заживает язва — становится суше с каждым днем. И до чего же трудно удержаться не почесать ее!

— Смотри, будешь чесать — снова станет большая и багровая, — говорила тетя Суаза. — Раз чешется, значит, заживает.

Как-то вечером он сидел ел саго и таро и вдруг услышал: на другом конце деревни кто-то заплакал. Он перестал жевать и прислушался. Плакала женщина. Наверно, кто-нибудь бьет жену. Пусть себе бьет. Сейчас уже смеркается, скоро станет совсем темно; а что, если за домами, там, куда дома отбрасывают свои черные тени, или среди высоких кустов, усыпанных цветами, спрячутся колдуны? По спине побежали мурашки. Да он, наверно, с ума сошел: сидит, свесив ноги, на краю площадки перед входом! Любой колдун может подкрасться под полом хижины и незаметно соскрести у него с ног щепотку грязи!

— Завтра пойду ловить для тебя рыбу, — сказала тетя Суаза. — Сегодня постишься последний день, с завтрашнего дня можешь есть рыбу снова. Очень хорошо, что ты слушался меня, делал все, как я тебе говорила.

Хоири ничего не сказал на это, а только улыбнулся.

— Люди уважают того, у кого сильные руки и крепкая спина, но еще больше уважают они того, кто стоек и у кого живот втянутый. То, что ты перенес, сущие пустяки; вот когда мужчины отнимут у крокодила чье-то изуродованное тело или дотронутся до того, кто умер от укуса змеи, тогда им приходится поститься по-настоящему.

Да, вот это мужчины так мужчины! И ведь правда, каким же стойким для этого надо быть! Прожить целый месяц в темной комнате и только ночью выходить по нужде! Ему бы корнями имбиря ни за что не наестся, а ведь тем мужчинам только их есть и можно. Трудно вообразить себе: захочется почесаться, а нельзя! А ведь понятно, как сильно этого хочется, когда столько времени не разрешают мыться. Пожалуй, даже лучше, что весь свой пост они сидят в хижине и не выходят наружу, а то из-за вони к ним и подойти было бы нельзя.

— И это еще не все, — продолжала тетя Суаза. — Им даже нельзя в это время спать с женами и прикасаться к своим детям. Тех, кто не соблюдал свой пост, очень легко узнать. Взять, например, нашего полицейского — у него за правым ухом шишка величиной с апельсин только потому, что он, когда постился, почесал это место. Или другой односельчанин: знал, что во время поста нельзя есть, что от этого может напасть какая-нибудь хворь, а все же поел краба и вот теперь, когда ходит, волочит правую ногу.

Плач стал громче. В селение опять пришла смерть — умер старик, которому делали укол перед ним. Они со стариком не родственники, но все равно его жалко. Старика звали Ивуриса, когда-то он был женат, но ни сыновей, ни дочерей у него не родилось. Жена у старика умерла. Его иссохшее тело нашли совсем недавно, во второй половине дня — оно висело на дереве недалеко от места, куда он, Хоири, и его двоюродный брат Меравека ходят собирать кокосы.

— Вот видишь, как важно жениться и иметь детей, — сказала тетя Суаза. — Когда ты молод, у тебя много друзей и подруг, но когда кожа сморщится и начинаешь все забывать, только твои дети, те, кого ты родил, вытрут тебе нос и помогут по дому — принесут воды или разожгут очаг. Сам видишь, что случилось со старым Ивурисой. У него не было детей, некому было вскипятить ему воды для питья или для того, чтобы помыться, и некому приготовить поесть — вот он и решил, что хватит ему страдать.

Теперь жизнь Хоири стала совсем другой. Язва, которая так мучила, теперь зажила, осталось только темное пятнышко. Он больше не боялся ходить по траве, а ведь до этого, совсем недавно, едва острые края травинки задевали его язву, из нее сразу начинала идти кровь.

— У меня тело будто совсем новое, — сказал он Меравеке, когда после уроков они опять пошли за кокосами.

— Мне, оттого что язва у тебя прошла, тоже стало веселее, — отозвался его двоюродный брат. — Теперь я спокоен: если что случится или кто-нибудь за нами погонится и я побегу, ты не отстанешь. Давай пойдем скорей, тогда успеем вернуться до того, как солнце опустится за верхушки деревьев. Ведь наши отцы долбят сейчас стволы для лакатои, и к тому времени, как мы придем, им как раз захочется кокосового молока.

Таких больших стволов, как эти два, из которых сейчас мужчины делали лодки для лакатои, еще никогда не прикатывали к их селению.

— Посмотри, Меравека, вон того почти уж и не видно в стволе, только голова и пле-

чи торчат! Ой, да я, кажется, его узнал, это Хаивета Малала, он вместе с моим отцом говорит другим, как делать лакатои.

— Нужно, чтобы обе лодки, из которых сделают лакатои, были большие, тогда будет куда сложить саго и бетель, которые мы повезем в Хануабаду, людям моту, — объяснил двоюродным братьям Севесе. — А когда соберемся плыть назад, уложим туда горшки, которые нам дадут за наши саго и бетель. И еще обе лодки у лакатои должны быть больше, потому что лакатои, когда она плывет, приходится подниматься на гребни огромных волн — вы таких даже и не видели. Некоторые волны вышиной с высокую кокосовую пальму.

Хоири знал: неправды отец не скажет, все это Севесе довелось испытать. Говорить так в селении могли немногие.

— Это опасно, — сказал отец, — но на это идешь, потому что знаешь, какие хорошие вещи можешь добыть: красивую ткань из лавок белых людей, а у людей моту — горшки и другую посуду и надлокотные браслеты из раковин. Но сперва, конечно, надо наладить торговлю. Очень важно, чтобы в селениях на берегу моря, где лакатои останавливаются по пути, у тебя были друзья. Нет друзей — нет пресной воды, нет кокосов, нет свежей зелени, такой, как бананы и папайи.

— Твой отец говорит правду, — сказал Хаивета. — Мы плавали в Хануабаду с ним вместе. Мало в чьей хижине у нас в селении увидишь на полках столько посуды и такой, какая есть у него и у меня. В последний раз, когда мы с твоим отцом туда плавали, ты и мой сын Малала, твой приятель, были совсем маленькие и помнить этого, конечно, не можете.

Сделать лакатои — не какая-нибудь обычная работа. Это ивока. В ивоке заняты мужчины самого сильного поколения, те, кто сейчас в расцвете сил, и им еще помогают женщины и дети. Их с Малалой отцы принадлежали сейчас к этому поколению. У двух огромных бревен сновало и копошилось человек двадцать, не меньше. Работали они чередуясь — один обтесывает, другой бьет в барабан, а потом они сменяются; когда ивока, всегда шумно. И нужно, чтобы мальчики все время подносили кокосы и бетель.

Идти за бетелем не хотелось. Вообще-то идти не очень далеко, не дальше чем до места, где он обычно собирает кокосы. Но уж очень острые колючки торчат из саговых пальм! И еще москиты — их тьма-тьмушца, целые тучи, и они такие кровожадные!

— Ужалит москит, так у меня сразу это место вспухает и появляется шишка. Но если вы с Малалой и другие идете, я, пожалуй, тоже пойду.

— Сам знаешь, как весело бывает, когда идем все вместе! — А потом, наклонившись к уху Хоири, Меравека прошептал: — Туда уже поплыли на двух или трех лодках девушки собирать моллюсков. Вот будет веселье!

Хоири тщательно взвесил все, что сказал двоюродный брат, взвесил каждое слово. В таких делах, предупреждал учитель, надо быть очень осторожным.

Тропинка была узкая, идти пришлось по одному, друг за другом. По сторонам тропинки поднимались высокие, все в колючках саговые пальмы. Каждый, делая шаг, ставил ногу в след того, кто шел впереди. Когда они вошли в рощу арековых пальм, идти стало намного легче.

— Видите следы впереди нас? — показал рукой Меравека, который шел первым. — Значит, мы идем правильно.

Хоири не боялся, но и не испытывал особой радости — только слегка замирало сердце. До этого он, случалось, перешучивался с девушками, но шутки были всегда приличные. Однако до сих пор ему еще ни разу не удавалось подойти совсем близко к девушке, не принадлежащей к его роду, так близко, чтобы почувствовать запах ее тела. Может, как раз теперь для этого будет подходящий случай. Волосы у него в паху растут все гуще, а крайняя плоть стала тугой. Может, лучше ее отрезать? Старый Аравепа однажды видел такое в Порт-Морсби — он там работает, готовит и стирает для белой семьи. Но не очень ли это больно? Нет, лучше не надо, а то потом, наверно, будешь чувствовать себя как-то чудно.

— Вот этот вроде годится, — сказал Сефе и показал на панданус¹⁰ около тропинки. Мальчики часто видели друг друга голыми и о Сефе говорили, что у него самый длинный.

— Осторожно отведи от стебля молодые корни, — продолжал Сефе, — и помочишь туда, откуда они растут, и потом отпусти их, чтобы они вернулись на прежнее место.

Сефе говорил как человек, который все знает.

¹⁰ П а н д а н у с — тропическое растение с воздушными корнями.

— И смотри: когда будешь их отпускать, чтобы они плотно вошли в свои ложбинки! Если нужно, даже привяжи их к стеблю.

Хоири потянул к себе одну из ножек. Она была длиной с небольшую линейку, которую он брал с собой в школу.

— Да, это как раз такой панданус, какой нужно,— подтвердил Малала.— Как растет он, так будет расти и у тебя. Нам просто повезло, что у нас такой друг, как Сефе, правда? Взял и открыл нам свой секрет и ничего за это не просит!

Что-то тут не то — ну так и есть: в уголке рта у Малалы прячется озорная улыбка!

— Об этом панданусе надо как-то позаботиться,— заявил Малала.— Давайте насыплем вокруг него саговых колючек — ведь он растет у самой тропинки, наверняка кто-нибудь захочет подойти и сделать то же самое.

Они зашагали дальше. Все молчали — если бы не шуршанье опавших листьев и не хруст сушняка у них под ногами, никому и в голову бы не пришло, ~~кто~~ по тропинке кто-то идет. Но молчание длилось недолго: вдруг Малала расхохотался, да так заразительно, что захохотали все остальные. На лице у Сефе появилась и тут же исчезла смущенная улыбка. Он подождал, пока смех стихнет, и сказал:

— Просто я всегда думал, что это так. Некоторых бог сделал умными, а других глупыми, вроде Малалы.

— А я сейчас подумал,— давясь от смеха, проговорил Малала,— ведь если никто больше не оттянет ножку у моего пандануса, у меня станет длинный-преддлинный, и это будет для меня плохо. Как мне тогда таскать его? Да и какая женщина потом захочет со мною жить?

Хоири, его ровесники и девушки постарше словно сбросили с плеч тяжелую ношу, и их матери тоже. Ивока подошла к концу, лакатои была готова для дальнего путешествия по морю в места, где живут люди моту. Строили ее почти три месяца. Мужчины приуныли, когда работа кончилась,— ведь кончилась и даровая кормежка.

Лодки соединили вместе, на корме каждой соорудили надстройку, а остальное доделали уже тогда, когда спустили лакатои на воду.

ГЛАВА ТРЕТЬЯ

Под пение и танцы, как того требует обычай, лакатои отчалила. С большого, но крупкого на вид судна непроницаемые, суровые лица смотрели на плачущих родственников на берегу. Путешествие предстояло опасное — кто знает, может быть, их тела станут удобрением в далекой земле или кормом для акул. На берегу собралась большая толпа провожающих. Снова и снова на путешественников обрушивался ливень орехов арековой пальмы. В каждой из лодок судна сидело по пять человек, и они, дружно гребя, вывели лакатои на самую середину вздувшейся Тауре.

Хоири стоял рядом с отцом, глядел на берег и не мог налюбоваться — до чего же красиво! Где-то в толпе его друзья. Ни Меравека, ни Малала не поплыли — им, пока плавают их отцы, нужно заботиться о своих семьях. Все еще можно было разглядеть рослую тетю Суаза, его «младшую маму». Она плакала.

Тауре широко разлилась. Борясь с волнами, «мать лодок» упорно продвигалась туда, где она впервые узнает вкус соли. До наступления темноты оставалось еще часа четыре.

По краям палубы на той и на другой лодке были аккуратно сложены длинные шесты. весла и куски ротанга, а посередине сложили зеленые кокосы и другую провизию; тут же путешественники спали. Саго и бетель, которые везли на продажу, хранились внутри лодок, собственность каждой семьи отдельно, в особом месте.

— Ну а если у человека нет родственников на лакатои, кто тогда будет продавать его саго и бетель?

— За них будем торговать Хаивета и я,— ответил отец,— потому что мы на лакатои главные. За то, что мы это им обещали, они нам дали саго и бетель. Посуду, которую мы выменяем для каждого, мы положим туда же, где сейчас лежат саго и бетель этого человека. Так мы не перепутаем где чье.

Вечером Хоири впервые в жизни увидел, как солнце опускается в море. Где-то за солнцем страна мертвых, там теперь его мать. Может, как раз сейчас дух какого-нибудь

несчастного бредет туда по безлюдному морскому берегу, где свищет ветер. На берегу куда хватает глаз мерцают, как светлячки, огни далеких селений.

— Вот эти огни, самые ближние, — отец показал рукой, — горят в деревне Хамухаму. А вон те, самые большие из них, горят прямо на берегу. Дети из этих прибрежных деревень разжигают там такие костры каждый вечер. На них они жарят крабов и моллюсков, которых находят сами. Часто они играют там до рассвета.

— Как жаль, что у нас в Мовеаве нет белого песка! Этим детям повезло. Их родители хорошо подумали, когда выбирали место для селения. На берегу моря детям хорошо — не нужно так много помогать взрослым и каждый вечер они видят, как солнце опускается в море.

Да, жизнь у этих детей куда веселее, чем у детей Мовеаве. Однако у жителей Мовеаве плодородные земли для огородов в верховьях рек и, самое главное, саго, которое жители морского берега так любят есть вместе со своей рыбой.

— Все тоарипи на морском берегу, — сказал отец, — родом из нашего селения, их предки были из Мовеаве. Они спускались по реке сюда, к устью, чтобы в целебной морской воде омыть свои язвы, а вечером возвращались назад в селение. Но подниматься на веслах вверх по реке каждый день было очень трудно, поэтому кое-кто начал строить на берегу моря хижины и жить в них, пока язвы не залечатся. Но когда язвы залечились, люди все равно решили там остаться. Вскоре туда переселились еще некоторые.

Вечер был тихий, а море почти совсем гладкое. Невдалеке, там, где кончалось устье, прибрежный песок лизали мелкие волны; лакатои привязали в небольшой бухточке в самом устье. Хоири не спалось, и он стал слушать отца: тот рассказывал, как тоарипи нападали в прежние времена на их односельчан, мужчин, женщин и детей, когда те отправлялись вниз по реке ловить рыбу.

— Как-то в такую переделку попали отец твоей матери и его сестра, — говорил отец. — Лафе было примерно столько же лет, сколько сейчас тебе, но его сестра, Меаоа, была девушка на выданье. Они вместе с другими односельчанами ловили рыбу, а враги в это время нашли их лодку и потопили ее. Люди из нашего селения вдруг услышали, как трубят в раковину, и сразу поняли, что случилось. Меаоа с остальными все же убежали по суше, но Лафе отстал. Воинов тоарипи появлялось все больше и больше, и они пытались перерезать все дороги, по каким можно было уйти. Когда Лафе увидел, что односельчане убежали, а их лодка затонула, он ушел в чащу и спрятался в куче сухих листьев ниповой пальмы. Приплыли новые воины и по его маленьким следам пришли туда, где он спрятался. Многие из них стали топтать кучу листьев так сильно, что его вдавили в землю. Потом Лафе услышал, как кто-то сказал: «Зачем тратить время — искать такую мелочь? Будет добыча покрупнее». Они ушли, и вскоре Лафе услышал голос, который говорил: «Лафе, вылезай, не бойся!» Лафе вылез и увидел, что это Хоири, твой тезка, дух-покровитель рода твоей матери. Лафе очень удивился, потому что вид у Хоири был совсем как у человека. До этого не раз бывало: когда кому-нибудь из рода твоей матери грозила опасность, тот, кому она угрожала, звал Хоири на помощь, и Хоири помогал, но увидеть его никому не удавалось. В руках у него были лук и связка стрел, он дал их Лафе, и они пошли вместе в Мовеаве, домой. То здесь, то там они видели изуродованные тела, некоторые были еще живы. Они увидели женщину без головы, она сидела как живая. Лафе бросился было бежать, но Хоири сказал: «Не бойся, не убегай!» Когда затрубили в раковину воины нашего селения, дух-покровитель исчез.

Позднее, когда Хоири заснул, он увидел во сне своего тезку, покровителя рода, увидел войны и битвы. Но едва он собрался выстрелить из лука в воина тоарипи, как проснулся от скрипа весел в ротанговых уключинах. Лучи солнца, пробиваясь сквозь щели в ниповой крыше, резали глаза. Закрываясь от них руками, он окинул взглядом широкий морской простор. Как странно отсюда, с моря, выглядят горы! Он еще никогда не видел, чтобы горы вырастали прямо из воды. Море вокруг было теперь зеленой и страшной. Узнать бы, что за странные существа плавают там, внизу, в зеленых глубинах!

— Вон на тех холмах, — показал рукой один из тех, кто плыл с ними на лакатои, — жители Оиапу охотятся на мелких кенгуру. А вон за теми, подалее, живет народ майва. За ночь мы проплыли довольно-таки много.

— А... почему отсюда не видно хижин и кокосовых пальм?

— Почему? Потому что... Мы улплы очень далеко от берега, и от этого вода между

нами и землей поднялась. Но вскоре, когда с моря задует аоаре-лево, мы снова увидим хижини и кокосовые пальмы.

К закату ласковый ветерок превратился в шквальный ветер, который со свистом врывался сквозь плетеные стены в надстройку. Носами обеих своих лодок лакатои вгрызались в воду, как огромная свинья, которая все никак не наестся, и медленно, но верно двигалась вперед и вперед. Через палубу то и дело перекатывались волны. Сухо было только здесь, в надстройке на корме, за перекладыни которой Хоири сейчас крепко держался. С потолка свисал пучок высохших стеблей травы керевари. В зловещем сумраке внутри надстройки казалось, что это пальцы скелета, такие он видел иногда во сне. На палубе его отец и Хаивета, держась за снасти, оглядывали небо, чтобы узнать, чего им ждать от погоды. Они показывали пальцами то на одну кучу облаков, то на другую. Повернувшись в сторону Хоири, они увидели, что он спит.

— Так я и знал,—сказал Севесе другу.—Был уверен, что он не будет бояться. Он от качки уснул.

— Хороший мальчишка. Жаль, что я не взял с собой Малалу, ведь они друзья. Учились бы вместе плавать по морю. Потом, когда наши ноги не будут уже крепко стоять на палубе и мы будем бояться, что нас смочет, вместо нас поплывут они.

Проснувшись, Хоири увидел, что лакатои стоит у берега, привязанная к воткнутому в дно шесту. В море опускалась последняя четверть солнца. Из дальней дали оно посылало оранжевых змей, и те ползли, извиваясь, к лакатои. Шест, к которому она была привязана, обвивали бесконечными витками морские водоросли. Волны несли грязно-желтые пузыри пены, и пузыри эти липли к черным бокам судна.

— Сейчас прилив,—сказал отец Хоири остальным.—Пока не начнется отлив, этот ветер не стихнет. Наберите дров для костра, да побольше — часть возьмем с собой про запас. Когда поспите, можете пойти поглядеть, какие татуировки на задах у девушек народа делена.

За недели, которые последовали, Хоири привык к тому, как меняется море. Волны больше не пугали даже тогда, когда перекатывались через палубу. Очень интересно было предсказывать погоду, да и остальное было интересно — все, чему учил его теперь отец. Казалось, они будут так плыть всегда.

Но вот наконец они увидели на берегу Поребаду, одно из самых больших селений моту. То, что издаലെка было как нарисованные неяркими красками, но четко очерченные холмы и ровные ряды хижин, на самом деле оказалось гольми камнями и рассыпанными в беспорядке вдоль берега жалкими лачугами, которые, похоже было, вот-вот свалятся в воду. Стояли они на тонких кривых сваях из стволов манговых деревьев, и сваи эти от самого дна до того места, куда поднимается вода во время прилива, были облеплены рачками.

С криками: «Эрема! Эрема!» — жители селения уже выскакивали из своих хижин, как мыши из нор, и с каждым мгновением их становилось все больше. Некоторые даже заспешили вброд по колено в воде навстречу лодке, надеясь, что лучший бетель и лучшее саго достанутся им. Но у Севесе и Хаиветы были в этом селении знакомые перекупщики. Вся торговля должна была идти через них.

— А вот и Ваги, наш друг, с которым мы ведем дела.— И отец показал Хаивете на человека с очень густыми волосами.

Тот плыл к ним на маленькой лодке, отталкиваясь шестом, и махал им рукой. Этот человек поздоровался с Хаиветой и отцом Хоири на языке моту. Потом отец повернулся к Хоири и сказал:

— Ваги заберет все саго и бетель, какие мы хотим продать в этом селении.

— А не много времени это у нас займет? Ведь ты говорил, что до Порт-Морсби и Хануабады плыть еще долго.

— Как только отдадим нашему другу саго и бетель, сразу поплывем дальше.

— А как же посуда?

— Захватим на обратном пути. Мы всегда так делаем. Вот почему я всегда говорю: очень важно, чтобы там, где ты торгуешь, у тебя были друзья. Ваги хорошо знает тех, кому будет продавать наши саго и бетель, и он получит хорошую прибыль.

Да, так торговать очень удобно. Ведь времени у них мало — все зависит от юго-вос-

точного ветра. Плыть обратно им лучше всего тогда, когда юго-восточный ветер только начинает дуть. Потом начнутся штормы и плыть будет опаснее.

Последний переход тянулся дольше, чем они ожидали. Лакатои плыла слишком близко к берегу, поэтому поднимать паруса было нельзя, так что к необыкновенно красивой бухте Фэрфакс Харбор они подошли на веслах, отталкиваясь от дна шестами. Войдя в бухту, они снова подняли парус и пошли напрямик к самой большой из деревень моту. На этом их долгое и утомительное морское путешествие закончилось.

Так вот, значит, какая она, эта огромная деревня! У народа эрема нет ни одного селения, где бы о ней не слышали. В наступавших сумерках хануабадцы торопливо взбирались к ним на лакатои. Всем, как полагается по обычаю, роздали бетель, и гости с хозяевами заговорили, перебивая друг друга. Жены перекупщиков принесли только что приготовленные ямс и рыбу в кокосовом масле. Как хорошо поесть такой еды после долгого путешествия по морю!

Смотреть на жителей Хануабады Хоири было интересно, но еще интересней было смотреть на грузовые и легковые автомобили. Пока еще он их видел только издалека. И, оказывается, лакатои, которую построил отец, вовсе не самое большое судно на свете! Да нет, этого быть не может, это ему мерещится: у берега стоит на причале лодка во много раз больше! Неужели ее, такую огромную, могли сделать люди? Во всяком случае, деревьев, из которых можно выдолбить такую лодку, он никогда не видел.

— Когда мы пойдем к дяде Арававе?

— Скоро, но сперва садись поешь ямса и рыбы, а уж потом мы пойдем, — сказал Хоири отец.

Арававе уже знал, что приплыла лакатои из родных мест. Наконец его хозяева закончили ужин, и он начал торопливо мыть посуду. Ели они всегда понемногу, тем, что они оставляли на тарелках, можно было наесться досыта. Он прибыл сюда год назад и все это время работал только у них.

— Так я и знал, что это вы, — сказал Арававе, пожимая и не отпуская руку Севесе. Слова лились из него настоящим потоком. — И смотри, кого ты привез! Уже совсем большой, впору жениться. Подумай об этом, Севесе.

— Поэтому и приплыли. Хотим достать побольше браслетов из раковин, ведь они понадобятся в день свадьбы. Я решил: возьму-ка его с собой, пусть узнает, каково собирать выкуп за его будущую невесту. Может, тогда постарается выбрать жену получше, чтобы не кривилась, как от боли, когда кто-нибудь из наших родственников зайдет к нам в хижину.

Дядя Арававе приподнял подол своей белой рами, порывлся в карманах шорт под ней и достал пачку печенья.

— На, — сказал он и протянул печенье Хоири, — думаю, тебе понравится. Только из-за вкусной еды белых людей я и не уезжаю из Порт-Морсби.

Арававе пошел впереди, они за ним. Дядя был худой и высокий, шагал широко, поэтому угнаться за ним было очень трудно. К тому же острые камни больно кололи и царапали пятки, и со лба Хоири стали падать капельки пота.

— Почему мы так спешим? — спросил Хоири в надежде, что дядя замедлит шаг.

— Скажу, когда придем ко мне, а сейчас иди и не отставай, — отрезал дядя Арававе.

За все это время им не встретилось на улице ни души, и было видно, что дядя Арававе начинает очень тревожиться. И тут подъехала машина и остановилась около них, в ней открылась дверка и на дорогу прыгнул человек. Догадаться было нетрудно: машина полицейская. У всех полицейских, сидевших в ней, кожа была темная.

— Вы что, не знаете, что уже десятый час?

— Но этот человек и его... — начал было дядя Арававе.

Капрал оборвал его:

— Объяснять будешь в полиции начальнику, а сейчас лезьте в машину, все трое.

В крытом кузове от прохладного ночного воздуха пот быстро высох. Отец и дядя Арававе молчали, лица у них были сумрачные.

— Но почему нельзя ходить после девяти часов?

— Здесь не как у нас в селении, — попытался объяснить Хоири отец. — Это там мы можем ходить когда хотим, а в Порт-Морсби живут белые люди. У них есть законы, которые говорят, когда надо ложиться, а когда вставать.

— До чего же глупо так жить! Получается, что все, у кого темная кожа, должны делать, как им скажут, будто они маленькие дети. Ну а как же сами белые люди? Им закон не запрещает ходить, когда они захотят?

— Да нет же,— немного сердито сказал отец.— Этот закон их не касается, потому что они не ходят, как мы, а ездят в машинах. Но даже если полиция увидит, что они идут пешком, она все равно их не заберет.

Они уже довольно долго сидели в полицейском участке, когда Арававе воскликнул: — Смотрите, вот пришел мой таубада!

Хозяин дяди Арававе пришел, чтобы уладить дело своего слуги. Теперь было уже не страшно. Таубада о чем-то долго говорил с полицейскими, а потом им выпустили. Хоири подумал: какой же хороший человек таубада дяди Арававе!

Те недели, пока они плыли, главной их едой была похлебка из саго, сваренного в соленой воде, и после нее еда, которую не доедали хозяева дяди Арававе, казалась особенно вкусной. Она была жирная, глотать ее было куда легче, чем сухое саго. Вообще-то они иногда и дома едят пищу, в которую положено масло, но у масла, которое кладут в пищу белые люди, вкус не такой, как у кокосового, которое кладет тетя Суаза,— оно жирнее и гуще.

Тут Хоири почему-то вспомнились огромные удавы в лесах вокруг Мовеаве — те, прежде чем проглотить живьем свою жертву, смачивают ее изо рта маслянистым пищеварительным соком.

— Еда белых людей очень бы подошла нашим самым дряхлым, беззубым старикам,— сказал Хоири.— Их детям не нужно было бы разжевывать для них саго. Плохо только, что эта пища быстро переваривается, поэтому нужно, чтобы ее было много-много, а то старики скоро опять захотят есть.

Отец и дядя Арававе рассмеялись, а потом дядя Арававе сказал:

— А что ты думаешь? Хоири прав. Уж я-то это хорошо знаю — ведь я повар, готовлю для них еду. У них каждый день, кроме большого обеда и большого ужина, еще много маленьких. Они называют это чаем, но к чаю я подаю им много всякой другой еды.

— Интересно, пробовал какой-нибудь белый человек грызть сухую палку саго? — спросил Хоири.

— Ну и глупости же ты говоришь! — сказал отец.— Ни кусочка бы не отгрызли. Но даже если бы кто-нибудь из них и сумел отгрызть кусочек, тот острыми краями пропорол бы ему кишки — ведь кишки у них нежные, привыкли к вкусной и мягкой пище. Подожди, пока синабада твоего дяди Арававе увидит тебя и разрешит тебе войти в дом — тогда ты сам увидишь, как живут белые люди.

Что ни день, то открытие: надо же, мужчина, а стирает одежду! А ведь это дело не для мужчин. Другие мужчины из их селения, если бы увидели, что дядя Арававе стирает, стали бы его презирать. Дядина жена никогда бы не допустила, чтобы ее муж этим занимался. Все, а особенно родственницы мужа, ее бы тогда просто со света сжили. К счастью, до дома отсюда далеко, дядю Арававе никто не видит. Но все равно, что это за жизнь? Да, еда и вправду здесь хорошая, хотя большей частью это объедки со стола хозяев. И что из того, что у дяди есть тут крыша над головой? Ведь он живет здесь один, в разлуке со своей женой и детьми. Женщины у него, наверно, есть — вон их сколько, незамужних папуасок с красивыми татуировками, которые начинаются на лице, а кончаются бог знает где. Но дядя скуповат, и никакая татуировка под пушком у женщины не заставит его расстаться с десятью шиллингами, которые он получает за месяц работы.

Дармоедом Хоири быть не хотелось, и он охотно помогал дяде Арававе по дому. Хозяин и хозяйка знали, что они с отцом приехали к дяде ненадолго, и были совсем не против того, чтобы они пожили некоторое время у своего родственника в домике для слуги, где тот спит. Дел у Хоири все равно не было никаких, так почему не помочь дяде, когда тот работает в хозяйском доме? Хозяйка была очень этим довольна и, когда ее муж был на службе, разговаривала с Хоири очень ласково.

Куча грязного белья становилась с каждым днем все больше и больше. Наступила середина недели, день стирки.

— Помоги мне отнести часть грязного белья в нашу прачечную,—сказал дядя Арававе.— Надо все выстирать до обеда, тогда вечером я смогу тебе показать, как гладят.

Постирать надо было очень много. Хоири удивлялся: как быстро и хорошо получается это у дяди!

— Что это такое, дядя Арававе? Немного похоже на шорты, которые ты носишь под рами.

— Ну, это не совсем шорты, — немного смущенно объяснил дядя Арававе. — Это то, что носит под платьем хозяйка, — трусики.

— И... ты должен стирать и это? Ну и ну! Наверно, у нее совсем нет стыда: дает стирать мужчине одежду, которую надевает на такое место! А знаешь, я узнал, как ее зовут. На столе лежало письмо, и на нем было написано: миссис Джонс.

— Да, зовут ее так, а мужа ее зовут мистер Джонс. Но мне называть их так они не разрешают, я зову их только таубада и синабада.

— Я заметил, что они называют тебя Арававе, а их друзья — мальчиком. Какой же ты мальчик? Ведь у тебя уже пятеро детей. А почему ты зовешь хозяев таубадой и синабадой?

— Это слова из языка моту: таубада значит большой мужчина, а синабада — большая женщина. Как-то раз я назвал их мистер Джонс и миссис Джонс, так они чуть было меня не выгнали.

До обеда было еще далеко, можно было вволю нажечься бетеля. Дядя Арававе жевал и осторожно, стараясь, чтобы ни капли не попало на пол, сплевывал в жестянку — ее он выбросит потом. Дядя уже начал получать от жевания удовольствие, когда его вдруг позвала хозяйка.

— Ответь ей, Хоири, — если не ответишь, она придет сюда сама.

— Что, миссис Дж...

— Синабада, — поправил его дядя.

— Что, синабада?

— Лучше пойдешь к ней и узнаешь, что такое ей нужно, — сказал дядя Арававе. — Если спросит, где я, скажи, что в маленьком домике.

Вверх ступенька за ступенькой — и вот он уже в большой комнате, но в ней никого нет. Из ванной слышится шум воды.

— Арававе!

— Это не Арававе, это я, Хоири.

— Пойди возьми в спальне мое полотенце и принеси мне, — приказала миссис Джонс.

Хоири стало как-то неловко. Нужно полотенце найти удалось не сразу.

— Вот ваше полотенце, синабада.

— Открой дверь и дай его мне.

В голове у него все смешалось. Не послушаться нельзя — ведь она добрая, разрешила им с отцом пожить у дяди Арававе. А что, если вернется вдруг ее муж и увидит Хоири и свою жену вместе в ванной? Как это объяснить, и убедит ли мужа его объяснение? Неужели придется провести жизнь в тюрьме? Даже подумать страшно! Медленно-медленно, с замирающим сердцем он отворил дверь в ванную и переступил порог. Были видны белые ступни — занавеска кончалась чуть выше; по лодыжкам еще стекала мыльная вода. Будто какая-то волна взметнулась внутри него. Не глядя он протянул полотенце за занавеску.

Внезапно занавеска отодвинулась, и он увидел перед собой мокрую, белую, как очищенный банан, нагую женщину. Зажмуриться или глядеть во все глаза? То короткое мгновение, пока все это длилось, он не мог огорвать глаз от кружка мокрых черных волос внизу ее живота.

С большим облегчением Хоири вернулся к дяде. Тот по-прежнему жевал свой бетель.

— До чего я рад, что ты здесь, — я хоть могу немного перелохнуть. Не знаю, как другие белые женщины, а эта зовет меня каждую минуту, как ребенок, — подай то, сделай это. Зачем она звала сейчас?

— Ей было нужно только полотенце, но мне пришлось отнести его ей в ванную.

— И ты отнес?

— Отнес и увидел ее голой. С тобой она себя когда-нибудь так вела?

— Да, раз или два. Просто не знаешь как быть. С другими слугами такое случалось тоже. Она, как бы это сказать... в общем, думает, что ты смотреть на нее не будешь.

— Но разве можно так обращаться с мужчинами? Любой посмотрит!

— И все равно — она может делать что хочет, но ты ничего не можешь. Слугам, которые думают как ты, не миновать показывать свое поварское искусство заключенным

в Бомане. В Порт-Морсби лучше не показывать, что ты мужчина. Не важно, как было на самом деле, — тебе судья не поверит никогда.

Хоири ничего не мог понять. У них в Мовеаве начинает всегда мужчина, здесь же, видно, наоборот — начинает женщина. Но потом, если будешь вести себя с ней естественно, попадешь в тюрьму. Нет, невозможно понять белых людей!

Некоторое время они молчали.

— И еще я хотел спросить тебя, дядя Арававе, почему ты так чудно одеваешься — шорты, а сверху рами?

— Так требует закон. Ни одному темнокожему ходить по городу в шортах не разрешается, а слугам особенно. Говорят, что ляжки темнокожих мужчин нравятся белым женщинам, поэтому мы должны закрывать их.

— Ну не глупость ли? А как же тогда ляжки белых женщин? Разве у темнокожих мужчин не твердеет под рами, когда они видят их в тех коротеньких штанах? И белые мужчины, они разве не соблазняют наших женщин?

— Ну, это давно известно. У них есть деньги, есть чем платить нашим женщинам за удовольствие, которое получают. Плохо только, что наших женщин это избаловало, и к ним теперь и не подступишься. Они хотят, чтобы мы им платили столько же, сколько белые мужчины!

— А знаешь, дядя, что я придумал? Раз все деньги у белых людей, пусть белые женщины платят черным мужчинам — ведь те стараются, тратят силы!

И оба весело захохотали.

Испачканные бетелем зубы и до блеска начищенный пол в кухне как-то не вяжутся одно с другим. Когда ты только что жевал бетель, а тебе говорят, что надо почистить зубы и прополоскать рот, то это все равно как если бы ты выпил, а тебе сказали, что надо тут же протрезветь. Паста и зубная щетка очищали зубы от бетеля очень хорошо, но чистить было стыдно — зачем тогда вообще жевать бетель? Не оставить бетель во рту, считать его с зубов — это все равно что выбросить его на помойку.

Торговля на лакатои шла бойко. К концу второй недели их пребывания в Порт-Морсби Севесе и Хаивета распродали уже все саго и весь бетель. Продавали в основном через перекупщика-моту. Хоири тоже был доволен своими сделками — его луки и стрелы шли нарасхват. Иногда ему давали за них рами с красивым рисунком, а иногда рыболовные крючки.

— Ну вот, наконец-то распродали, — сказал отец Хаивете. — Теперь нам с тобой можно запереть купленное и оставить кого-нибудь из наших сторожить лакатои. Хочу походить по городу с Хоири, ему не терпится заглянуть в большие магазины и посмотреть, что там внутри.

— Мне тоже хочется. Честно говоря, я не знаю, как мне раздобыть все, о чем меня просил Малала, — отозвался Хаивета.

В среду, когда у Арававе был выходной, Хоири и Севесе пошли делать покупки. Какие же замечательные вещи увидели они в магазинах! Неужели их и вправду сделали люди? Наверно, не зря говорят дома, в Мовеаве, что все это из страны мертвых. Если бы сверкающие горшки, которые стоят на полках, можно было выменять на саго, они бы, конечно, взяли эти, а не глиняные, которые делают моту. А сколько прекрасных цветов растет, должно быть, там, где делают эту красивую ткань! Взгляд Севесе между тем остановился на огромном скатанном куске парусины — ведь он давно уже мечтает заменить на лакатои парус из циновок настоящим парусом. Хватит ли только у него на этот раз денег?

За прилавком, лениво облокотясь, сидела и пристально смотрела на них белая женщина средних лет, с расплывшимся телом. Так, взглядом ястреба, она смотрела на всех темнокожих покупателей.

— Да, мальчик, слушаю, что тебе нужно? — неприятливо спросила она у Арававе.

Тот смутился, заспешил и стал, поглядывая на отца, подергивать плечами и озабоченно морщить лоб. Жирные пальцы приказчицы начали постукивать по прилавку.

— Ну так что же вам нужно? — спросила она, стукнув пять раз. — У меня нет времени ждать, пока вы там что-нибудь надумаете.

Указательный палец отца Хоири рванулся вдруг к парусине так, словно им выстрелили из лука; только чудом он не попал при этом в глаз Арававе.

— Пять фунтов, — сказала приказчица и протянула ладонь.

Севесе начал отсчитывать деньги, а пальцы приказчицы опять забарабанили по прилавку. Арававе с племянником стали помогать Севесе — лишь бы остановить любой ценой эти короткие, будто обрубленные пальцы!

— Вот, синабада, — сказал дядя Арававе, поворачиваясь к прилавку; в обеих руках у него были зажаты деньги.

Но продавщицы за прилавком уже не было.

— У, безродная женщина, — выругался Арававе. — Заставила нас спешить, будто, кроме нас, на эту парусину у нее много других покупателей! Вошел белый человек, и она бросается к нему, будто его деньги лучше наших! И посмотрите вон на того ороколо — уже сколько времени ее ждет, а она прошла мимо и даже на него не взглянула, как будто его здесь нет!

Вид у Севесе был растерянный: в прошлый раз, когда он был в Порт-Морсби, все происходило точно так же. Теперь он остался стеречь два жестяных сундучка и парусину, а Арававе повел тем временем Хоири в другой магазин. Хоири этим очень был доволен.

— Отведи меня туда, где продают одежду для женщин, — попросил он дядю Арававе. Отцу незачем знать, что он здесь купил: лифчик, женские трусики и юбка останутся их с дядей тайной, больше об этом не должен узнать никто. Для кого все это предназначено, дядя Арававе не спросил — задавать такие вопросы не полагается.

— Это для одной девушки у нас в селении.

И дядя понял, что Хоири ему доверяет.

— До чего же белые люди хитрые, правда, дядя Арававе? Привозят к нам все эти невиданные вещи и сами же изготавливают деньги, на которые их только и можно купить, а нам, чтобы добыть эти деньги, приходится на них работать.

— Да, только этим я здесь, в Порт-Морсби, и занимаюсь. Они даже еще хитрее, чем ты думаешь: платят нам так мало, что почти никаких вещей из тех, что нам нужны, на деньги, заработанные за год, мы купить не можем — для того, чтобы купить их, должны работать несколько лет подряд. Самим стирать или готовить себе еду им не придется никогда.

Перед запертой витриной была натянута проволока, а внутри, за стеклом, стояли разные бутылки — пузатые и длинные, маленькие и большие. Как удобно было бы вон в той или вот в этой брать с собой воду для питья, когда идешь на огород!

— Можем мы купить вон ту, длинную, с широким низом?

— Нет, не можем. Во всех этих бутылках плохая вода, которую белые люди пьют, когда устанут. Помнишь вечер, когда к таубаде и синабаде пришло много гостей? Когда белые люди выпьют этой воды, они начинают говорить, как маленькие дети, и глаза их видят хуже обычного.

— Но почему нам нельзя тоже попить этой воды?

— Почему?.. А потому, что белые люди боятся — вдруг мы станем от нее такими же умными, как они, и будем сами делать все эти вещи, которые ты видишь на полках.

Оказывается, большие суда у причала, если подойти к ним близко, куда огромней, чем они кажутся издали! И сделаны они не из дерева, как думал Хоири, а из железа. Кто, кроме духов, сумел бы сделать так, чтобы тяжелые железные лодки держались на воде и не тонули?

— Вон та, на якоре посередине бухты, называется «Малаита», — сказал дядя Арававе. — Она только что приплыла из Сетере¹¹, очень большого селения в стране белых людей.

— Но почему она не причалит к берегу?

— А эти большие лодки никогда не причаливают и еще сперва дня на два останавливаются за рифом, пока белые люди не поменяют имена, написанные на вещах, которые они сюда везут. На всех вещах, что посылают нам с тобой в подарок наши мертвые предки, они заменяют твое имя и мое именами других людей.

Да, очень хорошо, что ему довелось побывать в Порт-Морсби! Теперь он видит сам: все, о чем говорят у них в селении, правда. Поживешь здесь и начинаешь понимать, почему белые люди ведут себя так странно. Теперь и он будет одним из немногих, кто видел их жизнь собственными глазами.

В последнюю неделю их пребывания в Порт-Морсби хлопот у Арававе оказалось очень

¹¹ Искаженное «Сидней».

много. Он собрал большой чемодан подарков для своей семьи. Когда он теперь пек хлеб для хозяйина, он пек вдвое больше, чем обычно. Он работал столько, сколько не работал еще никогда, ради лишней пачки печенья для путешественников.

И вот наконец как-то под вечер в середине двенадцатой недели пребывания Хоири и Севесе в Порт-Морсби лакатои вышла на веслах из бухты. Среди тех, кто возвращался, были несколько человек, которые последние два года жили в Порт-Морсби. Но Хоири стало грустно, когда он узнал, что кое-кто из тех, с кем они приплыли, остался здесь работать на белых людей.

ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ

Ночью всюю лил дождь, и клочья темных, похожих на растрепанную шерсть облаков висели над селением еще и теперь. Будет снова дождь или нет, сказать было трудно. Посмотришь на деревья, и кажется, что облака совсем низко, над самыми верхушками. Большие черные тучи притягивали к себе меньшие, и скоро не осталось ни одного голубого просвета, будто все, что в селении дышало и двигалось, попало в огромную ловушку. Дым очагов, пробиваясь сквозь мокрое плетение крыш, поднимался, повисал над хижинами и стекал вниз. Листья под тяжестью росы бессильно опустились и словно застыли в ожидании.

Настроение у Хоири по-прежнему было плохое: ведь его первое путешествие на лакатои кончилось большой неприятностью. До сих пор он чувствовал вкус и запах соленой воды. Хорошо хоть, что перевернулись они у Миривасе, в устье реки Лакекаму. Оттуда до Мовеаве только полдня пути. К счастью, вещей пропало не так уж много. Одежда высохла через несколько часов после того, как им удалось перевернуть лакатои снова дном вниз. Посуде соленая вода очень повредить не могла, и как удачно, что отец купил два жестяных сундучка — их собственные покупки уместились там целиком. На дне одного из сундучков лежит сверток, которым особенно дорожит Хоири: в нем лифчик, трусики и цветастая юбка — все это для Миторо. Как хорошо, что эти вещи, даже побывав в соленой воде, все равно остались целыми, такими же гладкими и блестящими и до сих пор пахнут магазином! Скорее бы отдать этот сверток Миторо, чем скорее, тем лучше, а то вдруг кто-нибудь поспешит и сделает это раньше его.

Хотя Миторо не очень устала, спала она эту ночь крепко. Накануне она весь день полола на огороде своей семьи — на том, который возле селения. Немного даже заболела спина, но теперь все прошло. Этот их огород не хуже любого другого из тех, что около селения. Приятно видеть, что таро растет так быстро, а на кочках капусты появляются молодые сочные листья. Жаль, что нельзя оставаться на огороде дольше. Ведь она старшая дочь, и у нее много других забот — делать саго, ловить рыбу. Но хоть работы и много, забросить свой маленький огород она не может. Мать часто говорит: «Людам не важно, какой огород, хороший или плохой, у тебя вверх по реке, — о том, любишь ли ты работать, судят по маленькому огороду у селения».

Подобно матери Миторо выросла крупной и высокой, как мужчина. Она была похожа на крепкое цветущее дерево. Если обхватить ее икру в самом широком месте пальцами обеих рук, пальцы едва сойдутся. Бедра у нее такие же широкие, как у женщин, которые уже родили не одного здорового младенца. На руках у нее ясно видны вены, и каждому понятно, отчего они такие.

Когда надо работать да еще заботиться о пятерых детях моложе тебя, на другое времени остается очень мало. С ровесницами ей весело, но почти все они уже помолвлены или замужем. Похоже, что, только выйдя замуж, избавишься от этой тяжелой и скучной обязанности — заботиться о братьях, сестрах и родителях. Но как хорошо все-таки, что у нее такая мать! Ее мать, Масоаре, как мужчина — укусы москитов ей нипочем и она берется за любое дело, самое трудное. Да, бывает, что она ворчит, но разве может женщина дожить до ее лет и никогда не ворчать? Как-никак лет матери уже столько, что кожа у нее на ладонях морщится и она начинает говорить сама с собой.

Миторо посмотрела на небо: хорошо бы оно осталось таким темным до самого вечера! Неплохо отдохнуть денек среди недели.

— Ой, мама, ты меня напугала! Я и не слышала, как ты подошла.

— Да уж любому видно, что мысли твои где-то далеко, а не здесь. О чем ты задума-

лась? О том, что видела во сне? Или, может, о каком-нибудь юноше? Не приходил ли к тебе кто-нибудь вчера вечером? Почему бы тебе не выйти замуж, вместо того чтобы думать о юношах и о том, что они будут с тобой делать? Мне тогда можно было бы больше не брать в руки топор и весло. Поторопись — я хочу до того, как лягу в землю, поесть пищи, которую принесет твой муж.

Глаза Миторо наполнились слезами: ведь и без того с тех пор, как несколько лет назад отец был смертельно ранен на охоте за дикими свиньями, живется им трудно.

— Ну зачем ты говоришь, мама? Разве я сама этого не хочу?

— Позабудь то, что я тебе сказала, и прости меня. Мы-то ведь в молодости никогда не надевали на груди чашки, которые носят белые женщины, а наши нынешние девушки и молодые женщины надевают. Наденут, посмотрят на свою правую грудь, потом на левую и размечтаются. Похоже, что только мечтать они и умеют, а больше у них не получается ничего.

Слушать эти слова Миторо было очень обидно, но и показывать, что она обиделась на мать, было никак нельзя.

Масоаре сердило, что она теперь уже не та, что прежде. Больше ей не разрубить одним ударом твердую, как железо, кору саговой пальмы. Хорошо хоть, что Миторо уже почти взрослая и начинает учиться тому, что полагается уметь женщине и матери. Она уже хорошо плетет сумки и рыболовные сети, а делать саго или ловить рыбу в прилив и отлив могла бы поучить и многих замужних женщин.

— На, возьми и иди за водой, да побыстрее! — велела Масоаре и раздраженно сунула кувшин в руки растерявшейся дочери.

Со ступенек своей хижины Хоири смотрел, как Миторо выходит из дому. На шее у него висело новенькое полотенце.

— Не пойдешь со мной на реку, Меравека? Миторо как раз отправилась за водой.

— Пойду, пожалуй, а то догадаются, что ты за ней увязался.

От вчерашнего дождя дорога к реке не превратилась в трясины, просто дождь смыл с нее землю, и от этого оголились ракушки и черепки, которых насыпали, когда ее делали. Ноги Миторо приятно охолодила роса. Кувшин удобно стоял на правом плече. Ой, сзади кто-то идет! Идут и разговаривают — видно, их двое.

— Много было таких ливней, как вчера, пока я был в Порт-Морсби?

— Нет, вчерашний был первый. Наверно, матушка Небо заплакала от радости, что ты вернулся.

А теперь фыркают. Да они уже совсем близко, у нее за спиной! Надо пропустить их вперед.

— Эй, дочь Оалаза! Ночью в субботу, в полнолуние, я буду ждать тебя! Тебя ответит ко мне моя сестра Ивири. Меравека и Хухура будут там тоже.

— Да?.. А как же другие твои подружки? Что с ними тебе скучно?

— Послушай, ты же хорошо знаешь, никаких подружек в нашем селении у меня нет. В общем, реши до субботнего вечера.

Ну и наглец же! Ничего похожего с ней еще никогда не случалось.

Это был один из тех редких дней, когда вода в реке спадает совсем низко. Глинистые берега оголились во всем своем бесстыдном уродстве. Те, кто купался утром, уже повывакивали из воды посуду и другие предметы домашнего обихода, в разное время упавшие туда с лодок. Но на дне по-прежнему оставались скользкие, уже совсем без листьев стволы кокосовых пальм и других деревьев. Многие владельцы лодок встревожились: лодки нависли теперь над краем берега и казалось, что вот-вот они сорвутся вниз и разобьются.

В облаках сверкнула ярко-желтая искорка. Над рекой пронесся легкий ветерок, и ожило все — люди, звери и растения. Миторо стояла в холодной воде, дошедшей ей до пупка. Юбка из саговых волокон всплыла, и сквозь прозрачную воду были хорошо видны ее светло-коричневые ляжки и ягодицы. Когда она не смотрела в сторону Хоири, он приподнимался с корточек, чтобы разглядеть ее получше. Кожа у нее покрылась пупырышками — значит, вода холодная.

Миторо ушла, а Хоири с двоюродным братом остались на берегу посмотреть, как оживает река. Там, где обычно стоят лодки их близких и дальних родственников, сейчас много лодок, и из всех нужно вычерпать воду. Вдвоем они быстро управились примерно с дюжиной.

— Слушай, Меравека, мне обидно: Миторо говорила со мной так, будто мои слова дерьмо.

— Ты это что, всерьез? Да разве можно обращать внимание на то, что говорит женщина? Могу поспорить: она теперь только и будет думать что о субботе и от волнения у нее все будет валиться из рук.

— Как ты думаешь, какая получится из нее жена?

— Смотря чего ты от жены ждешь. Если говорить о работе, Миторо как раз то, что нужно. Все знают, она работать любит. Но неужели ты хочешь сразу жениться?

— Да нет же! Я просто думаю: не из тех ли она девушек, кто ложится с каждым юношей, какого встретит?

— Я не верю, что она такая. Она скромная. А потом, будь она такая, она бы уже давно забеременела. Но раз ты так думаешь, то тем более не следует жениться на девушке, пока ты не пересподишь с ней, и не один раз.

Конечно, поступать так нехорошо, грех, но все-таки хочется точно знать, действительно ли девушка та, на ком ты думаешь жениться. Ну а раз другого способа узнать, встречается ли Миторо с кем-нибудь еще, нет, то к чему вспоминать о христианском учении?

В Мовеаве есть много девушек, с которыми большинство юношей знакомо очень близко. Детей у них почему-то нет, но бедра и живот становятся у этих девушек очень гладкими — в двойных складках живота любой из них, наверно, по нескольку фунтов жира. Правда, среди них есть и невезучие вроде Лалафары: у нее трое детей, а замужем она не была. Когда она забеременела в третий раз, устроили суд, и один из членов совета стал допрашивать бедную девушку. «Те два раза ты не захотела говорить,— сказал он,— но уж на этот раз, конечно, скажешь нам, кто отец ребенка?» Лалафара стояла и рисовала что-то на жирной глине большим пальцем ноги. «Я не видела, кто он»,— сказала она тихо. «С тобой спит только один мужчина?» — спросил кто-то из членов совета. «Не знаю, в темноте не видно. Я спрашиваю, как их зовут, а они не отвечают». Мужчины захохотали, многие женщины стали кричать, обзывать ее плохими словами. Но есть неженатые мужчины, которые были бы счастливы на ней жениться, их не отпугнули бы даже ее трое детей.

В следующие два дня гор на северо-западе не стало видно, их закрыли огромные тучи. К концу недели река вышла из берегов. От своих хижин до места на берегу, где были причалены их лодки, людям приходилось брести по колено в воде. Старейшины рода не спускали с реки глаз — следили за тем, как поднимается вода. С полок достали копья, вычистили их и заострили на них зазубрины. Старики чинили охотничьи сети, принадлежащие роду.

— Теперь самое время показать, что ты уже мужчина,— сказал Севесе.

Они уже приплыли на нескольких лодках в охотничьи угодья рода опероро. Хоири и Меравека взобрались на деревья по сторонам узкой полосы сухой земли. Налево и направо были болота, бежать от охотников дикие свиньи могли только по этой узкой полоске, но теперь ее перегородила сеть. Сверху им было видно, как осторожно, стараясь не шуметь, через высокую траву кунаи пробираются мужчины постарше. Раздались крики:

— Вот он где, проклятый, сын радуги! Мое копьё уже у него в боку, он ранен, остерегайся!

Послышалось злобное хрюканье, оно приближалось.

— Вот она, коли! — крикнул Меравека.

Из травы между деревьями выскочило что-то большое и темное. Из боков свиньи уже торчало четыре копья; было видно, что ее силы иссякают. Почти одновременно Хоири и Меравека вонзили в нее свои копья и прокричали боевой клич рода. Свинья завизжала и, задевая торчащими из нее копьями о стволы деревьев, кинулась прямо в сеть.

Охота удалась на славу. Загнали шесть свиней, из них три погибли, захлебнувшись в воде. Кишки, легкие, печень и почки достались, как полагается по обычаю, старикам, головы — старейшинам рода.

Каждый жарил мясо для себя сам.

— Как, у тебя еще не изжарилось? — спросил Хоири отец, увидев, что тот снова кладет мясо на горячие угли.

— Еще не готово, в нем кровь.

— Так будь же мужчиной, попробуй его на вкус! — сердито сказал отец.

Вернувшись в селение, охотники дали женщинам только нижние челюсти убитых сви-

ней — это была доля женщин, и мужчины вовсе не считали, что поступают плохо. Но женщины все равно сохранили для мужчин их долю в рыбе, которую, в этот день поймали.

Хоири очень хотелось принести часть мяса домой и отдать Миторо, но делать этого было нельзя: вдруг она воспримет это как признак слабости? После того разговора она его избегала. Видно, Миторо еще не решила, пойти ей на свидание с ним или нет.

— Мама, — сказала Миторо, когда младшие легли спать, — можно мне пойти погулять с подругами?

— Ну ладно, только не уходи слишком далеко, а главное, держись подальше от юношей. Я не лягу, пока ты не вернешься домой.

Взявшись за руки, девушки пошли по улицам. Потом они сели и начали рассказывать друг другу разные истории. Ивири села рядом с Миторо, она ущипнула ее за ляжку, потом шепнула ей что-то на ухо, и Миторо кивнула. Не дослушав до конца историю о том, как появились летающие лисицы, Ивири встала, не выпуская руки Миторо из своей.

— Простите, подруги, нам надо отойти по нужде, — сказала она. — Мы еще придем.

Миновав последнюю хижину, они перелезли через ограду, и тут Миторо стало как-то не по себе. Там и сям в лунном свете на землю ложились темные тени от кустов и деревьев. Ивири обернулась и посмотрела, не идет ли кто за ними, а потом тихо сказала:

— Мой брат вон там, под теми бананами.

Ивири сунула в руки Миторо небольшой сверток, который держала под мышкой. Та неохотно его взяла.

— Я буду ждать тебя в тех кустах, — сказала Ивири и пошла прочь.

Медленно, неуверенно ступая, Миторо двинулась к рошице банановых деревьев.

Хоири схватил ее за руки и втащил в тень. Какая холодная у нее кожа! Прямо как у змеи, только чешуи нет. У Хоири онемел язык, будто он глотнул яду: в горле пересохло. Он стал считать пальцы у нее на руках, потом ногти, потом суставы — неужели их у нее столько же, сколько и у него? Она вскрикнула, и рука ее повисла.

— Что с тобой? Я сделал тебе больно?

— Нет, просто у меня в пальце всю неделю сидела колючка саго, я вытащила ее только сегодня вечером, а ты сейчас его согнул.

Голос ее звучал спокойно и ясно. Казалось, она обращается не к нему, а к бананам — смотрела она на них. Он взял ее за локоть и резко повернул к себе. Его руки ласково спустились по гладкой спине к пояснице и притянули Миторо ближе. От ее крепких молодых грудей шло тепло. Оттянуть резинку юбки оказалось совсем нетрудно, и вот уже его руки на ее ягодицах — словно два горшка, гладкие и круглые и так приятно наполняют его ладони!

Над их головами пронеслась летучая мышь-плодоедка. Где-то в лесу захрюкали свиньи, недалеко кашлянула Ивири; ну почему Миторо так долго упирается?

— Оставь меня, — сказала она. — Я тебе ничего не обещала.

Она смотрела не в глаза ему, а скорее на его губы. Лицо у нее было хмурое.

Обхватив одной рукой ее плечи, а другой бедра, Хоири приподнял ее и положил на спину. Его ноги раздвинули ее колени, а руки подняли юбку к ней на грудь. Со вздохом облегчения он проник в нее. Пальцы ее рук за спиной у него напряглись. Он не слышал теперь ничего, кроме собственного дыхания. Потом наступил покой. Казалось, что грудь Миторо — самое мягкое место, на каком он лежал в своей жизни. Хотелось лежать так всегда, но тут снова кашлянула Ивири. Он перекатился на траву.

— Поторопись, пожалуйста, а то твоя мать пойдет искать тебя. — И он вытер ей спину.

Он прыгнул в реку. Испражнений людей и животных вокруг плавало столько же, сколько всегда, но сегодня казалось почему-то, что от воды исходит не зловоние, а аромат. И еще казалось, будто он, как змея, сбросил с себя прежнюю кожу. От тела его разбегались волны, и от этих волн качались все лодки вокруг.

— Ты что — дурак? — закричал с порога своей хижины какой-то старик. — Не слышал, что крокодилы, когда вода стоит высоко, утаскивают свиней?

— Спасибо, что предупредил, я быстро!

— Не благодари, — отрезал старик. — Купайся, купайся: грязи, которая тебе так нравится, от этого станет в воде еще больше. Чем ты вознаградишь тех, кто холодными ночами будет разыскивать твои останки и крокодила, который тебя утащил?

Ну, слушать такое — это уж чересчур! Надо скорее вылезать.

Оказывается, все это время Меравека его искал. Они встретились у хижины тети Суаза и вместе поднялись по ступенькам.

— Где ты был? — спросил Меравека. — Я думал, ты спишь, и вдруг вижу: идешь весь мокрый. Тебе что, жарко было?

И Меравека потрогал его руку выше локтя.

— Да нет, я присел по большой нужде на корме лодки и свалился в воду. Представляешь себе, какой у меня был вид?

Они расхохотались.

Очаги почти во всех хижинах уже погасли. Девушек и юношей на улицах оставалось все меньше. Хоири надел красивые белые шорты, привезенные из Порт-Морсби, а перед этим припудрил себя между ног «Детской присыпкой Джонсона». Теперь от него шел ее запах, и девушки, когда он проходил мимо, втягивали носом воздух.

— Я не верю, что ты упал с лодки, — сказал Меравека.

— Я и не ожидал, что ты поверишь, но надо же было сказать что-нибудь при тете.

— Конечно. Ну, как все прошло?

— Хорошо, как еще могло пройти? Отправилась спать мокрая внутри.

Они похлопали друг друга по плечу и свернули на другую улицу, чтобы пройти мимо хижины Миторо: может, удастся узнать что-нибудь.

Миторо сидела на верхней ступеньке лестницы, а ее мать плела сеть и говорила:

— Девушки, которые слишком любят гулять при луне, замуж не выходят, а уж если и выйдут, то только потому, что в животе у них ребенок. Зачем торопиться отдать себя поскорее мужчине? Ведь впереди у тебя для этого целая жизнь. Он пообещает на тебе жениться, ты ему поверишь, а он сделает свое дело и убежит от тебя прочь, и вместе с ним убежит его обещание. Тогда, чтобы избавиться от ребенка, приходится взбираться на арековые и кокосовые пальмы или делать еще что-нибудь такое же опасное; и после этого еще идете, разодевшись, в воскресенье в церковь слушать слово божье. Как змея когда-то соблазнила Еву съесть запретный плод, так теперь мужчина соблазняет девушку проглотить его плод!

Хоири нарочно погромче прочистил горло, а потом еще и кашлянул.

— Тебе что-нибудь в горло попало? — громко, так, чтобы услышала мать Миторо, спросил Меравека.

— Не иначе как плод.

— Кто это смеется над моими словами? — сердито закричала на них Масаоре. — Почему вы шляетесь без дела по улицам, а не идете к своим родителям, чтобы выслушать их добрые советы? Идите веселитесь перед домами своих родителей, ваши матери не помогают мне подметать около моего дома!

Она плеснула на юношей водой, и они разбежались.

В трусиках Миторо чувствовала себя как-то необычно. Они плотно облегали ее, и это успокаивало. Теперь не страшно было ложиться спать, не то что прежде, когда на ней была только юбка. Духи, которые бродят по ночам и подсматривают за женщинами, когда те спят, больше не смогут ее тревожить.

В следующую неделю Хоири видел Миторо куда реже, чем ему хотелось бы. Почти все время он был с отцом на кладбище их рода на другом берегу реки, а чтобы туда добраться, надо было, переправившись через реку, не меньше часа идти потом через лес кокосовых, арековых и саговых пальм.

Недалеко от могилы матери отец построил хижину в два яруса — такие Хоири видел в Порт-Морсби.

На кладбище было спокойно и тихо, совсем не так, как в их многолюдном селении, где плачут дети и все время ссорятся мужья с женами. Хоири выпалывал траву на могиле матери и помогал отцу ставить на диких свиней ловушки. Иногда, густо обмазав себя с головы до пят клейкой глиной, он совершал набеги на гнезда шершней — их личинки, если завернуть в саго и поджарить на горячих углях, необыкновенно вкусны. Когда делать было нечего, он сидел на верхнем ярусе хижины, который отец отдал в полное его владение, и слушал, как звенят от ветра колокольчики — он сам сделал их из жестяной банки.

Перед глазами Хоири расстилалось большое поле, поросшее пушистой белой болотной травой; там жили бесчисленные москиты и огромные безобразные жабы.

— Да, чуть было не забыл, сынок: сегодня вечером у нас в селении собирается совет. Уже темнеет, так что я лучше пойду один. Я вернусь в полночь.

За отца можно не тревожиться: все повороты тропинки он знает как свои пять пальцев, знает каждый пенёк, каждое лежащее поперек тропинки дерево, каждый ствол, переброшенный через речку.

Вокруг разлился мрак ночи, застрекотали цикады. То квакают, то умолкают лягушки. Однообразно гудят москиты. Надо посмотреть, сколько керосина в жестяной лампе. Оказывается, еще много, до прихода отца должно хватить. Фитиль, сделанный из узкой полоски шерстяного одеяла, стал неровным, надо его подрезать.

Внизу отец оставил тлеть в очаге несколько кусочков кокоса: москитов отпугивает их жирный дым. Стенки у второго яруса такие низкие, что, даже когда лежишь, тебе видно, что делается снаружи. Где-то далеко, в северной части неба, как маяк вспыхивает и гаснет молния. В ее тусклом свете на миг становятся видны очертания усыпанного цветами могучего дерева совсем рядом с хижиной. Много похоронных церемоний совершено было в его тени, и отец говорит, что на самом деле это не дерево, а дом — в нем живут их предки.

Хоири проснулся среди ночи: его разбудили голоса, раздававшиеся внизу. Он приподнял голову, прислушался.

— Пока его нет, мы должны следить, чтобы с его сыном не случилось ничего плохого, — говорил кто-то. — Ведь это они каждый день смотрят за тем, чтобы на наших могилах было чисто, это они не дают траве кунаи своими твердыми корнями протыкать наши кости.

Хоири так и подбросило — он сел на кровати. Как хорошо, что отец, когда делал кровать, вложил в работу все свое мастерство, и она совсем не скрипит! Комнату наполнял странный голубой свет; на стене были ясно видны тени от узелков москитной сетки. Что там, внизу? Он посмотрел сквозь щели пола и увидел, что керосиновая лампа внизу по-прежнему горит. Но там никого не было, и голоса тут же смолкли, а голубой свет потух. Хоири приподнял сетку, и прохладный ночной воздух мягко прильнул к его телу. Но когда он вдохнул, он почувствовал затхлый запах — так пахнет в комнате, в которой много лет уже никто не живет. Откуда этот запах? От летучих мышей-плодоедок? Или, может, это летающие лисицы совсем рядом производят сейчас на свет потомство? Вдалеке, где-то на этом бесконечном болоте, из которого то там, то здесь поднимается саговая пальма, закричал дикий петух, возвещающий приход нового дня. На востоке по краю неба будто протянулся тонкий слой белой извести.

Отца все не было. Наверно, что-то случилось в селении, а то бы он уже пришел. Хоири обошел и проверил ловушки. С той, что для диких свиней, ему не справиться — она такая тяжелая, что в одиночку поставить ее не может даже отец. На ловушку для сумчатых крыс идет только одно бревно футов в семь длиной, да и добыча в них попадает чаще, но сегодняшнее утро удачи не принесло — все ловушки были пустые.

Севесе уже ждал его.

— Здравствуй, сынок, я вернулся!

Хоири огорченно покачал головой: пусто, ничего нет.

— А я и не думал, что много попадет, — сказал отец. — Всего несколько дней прошло, как мы жгли лес, расчищали место для нового огорода, и с неделю, пока пахнет горелым, дикие свиньи к нам и близко не подойдут. Но все равно: как там, цела в ловушке для свиней наша приманка, эта гроздь бананов?

— Перезрели, летучие мыши-плодоедки уж объедают их понемногу. Да все равно эти бананы слишком мягкие — когда свиньи будут откусывать, ловушка может и не захлопнуться.

— Ты-то хоть не подходил близко? Знаешь историю об охотнике, который устал и проголодался после трудного дня? Он проходил мимо ловушки для диких свиней и увидел в ней спелые бананы. Охотник не утерпел, полез за ними, а потом пробархтался в раздавленных бананах целую ночь.

Оттого, что на кладбище было одиноко, бывать в селении стало для Хоири приятней.

Он не упускал случая переспать с Мигоро, но искусно увиливал от ответа, когда она начинала спрашивать его о времени их свадьбы. В селении никто ничего не знал — какая же молодец Ивири, до сих пор не проболталась!

Пока Хоири не было в селении, там произошли бурные события. Колдун, который отправил в могилу его мать, начал колдовать против другой женщины. Однажды вечером ее братья подстерегли его, и он едва от них спасся в доме полицейского. Дело рассмотрел начальник патруля в Миривасе, и колдуна освободили, потому что никаких улик против него суду представлено не было. Начальник патруля сказал: колдовства не существует, все это чушь и суеверие. Зато братьев обвинили в том, что они угрожали холодным оружием, и приговорили к двум неделям принудительного труда.

— Лучше всего для этой подлой крысы было бы, если бы братья ее загнали его в землю, — сказал Хоири отцу.

— Согласен, но не забывай: в селении, кроме него, есть много других, мы о них даже и не знаем. А потом, белые люди в колдовство не верят. Кто убьет колдуна, сынок, для нас, может быть, и герой, но для белых начальников он преступник, и его посадят в тюрьму и заставят перетаскивать дерьмо чиновников администрации.

За разговорами они не заметили, как дошли до хижины тети Суаза. Хоири быстро поел и вместе с Меравейкой пошел прогуляться по селению. Тетя Суаза закричала им вслед, чтобы они держались подальше от девушек.

Севесе сел есть, только когда все дети уже поели. Он поднял с блюда крышку и увидел на нем великолепного краба.

— А вы с Джорджем разве не будете его есть? — сказал он сестре покойной жены.

— Нет, это тебе, ешь его один.

Севесе принялся есть, и ко времени, когда он закончил, дети уже легли спать.

— А ты знаешь, что твой сынок настоящий крокодил? — с деланным безразличием бросила Суаза. — Уже утащил добычу и съел ее так, что и следов не осталось.

— Правда? И откуда же утащил? — спросил, кивая, Севесе.

— Да с соседней улицы! Похоже, что теперь у тебя появилась сноха, и неплохая к тому же.

— Так, значит, этого краба...

— Ну да, потому мы с Джорджем его и не ели. Принесла сама, посылать не захотела ни с кем.

— Но все равно, — немного раздраженно сказал Севесе, — вы растили Хоири вместе со мной и должны были бы отвесть первой пищи, которую принесла его жена.

— И я ведь тоже ничего не знала, — сказала Суаза. — Но тут кое-кто из женщин заметил, что у Миторо вдруг появилась страсть к незрелым манго.

Да, решил Севесе, нужно не откладывая обсудить все это с матерью Миторо.

— Когда я узнала, что месячных у нее нет, — сказала Мэсоаре, — я стала было ее ругать, но брабью разве делу поможешь? Ведь все равно теперь в утробе у нее ребенок.

Да, подумал Севесе, уладить все нужно быстро. Будет скандал, если диакон Лондонского миссионерского общества этого не сделает. Но вообще-то тревожиться ему не стоит. Никто не сможет сказать, что он не приготовился к женитьбе сына. Искать дом для себя и молодой жены Хоири не придется: с тех пор как умерла его жена, в их большой хижине никто не живет. Хоири хорошо делает лодки, люди уже плавают на нескольких, которые он один, без посторонней помощи сделал из скользких бревен; и так же хорошо он делает весла. Огородов у них достаточно, некоторые засажены давно, только успевай собирать урожай, и расчищена земля под новые. Полки в хижине ломаются от посуды, которую Севесе собирал все эти годы, чтобы гостям в день свадьбы Хоири было из чего есть.

Севесе послал Миторо и ее матери самую большую и лучшую гроздь бананов, тех, которые называются наихохо, — это означало, что он согласен на брак сына с Миторо. Так все узнали: Миторо и Хоири помолвлены. Миторо можно было больше не стыдиться своей беременности. Теперь она должна была делать любую работу, какую только дадут ей родные будущего мужа, а Хоири тоже как бы становился собственностью Мэсоаре и должен был делать любую работу для нее. Ей, вдове, помощь Хоири нужна была во многих делах —

и в простых вроде сбора кокосов, и в таких, на которые уходит по несколько месяцев тяжелого труда, вроде постройки забора вокруг ее огородов. Но в такой большой работе Хоири помогут его родственники.

В воскресенье перед венчанием католический священник рассказал Хоири и Миторо, в чем заключается церемония.

— Нужны будут шафер и подружка, — объяснил он.

— А что они должны делать, отец?

— Да просто стоять у вас за спиной — они будут свидетелями вашего бракосочетания.

— Они женятся вслед за нами?

— Да нет же, это вовсе не обязательно. И хорошо бы вам раздобыть два кольца.

Церковь была полна людей, собравшихся на воскресную мессу. Пришло много молодых — посмотреть на церемонию. Сестры из миссии сшили для Миторо простое подвенечное платье. Хоири надел по случаю свадьбы белую рубашку и лучшие шорты.

Церемония тянулась долго, и на лбу у Хоири начали выступать крупные капли пота. На все вопросы, которые ему задавал святой отец, он отвечал «да», хотя многих не понимал. К концу венчания он начал чувствовать себя как человек, которого посадили в тюрьму, и стал жалеть, что согласился жениться в церкви: все на него смотрят и будут смотреть еще долго. И когда священник сказал, что ему придется теперь спать, просыпаться, есть и работать только с этой женщиной, с ней одной, Хоири почувствовал себя несчастным. Да разве это возможно — не смотреть на других женщин? Ведь они кругом, куда ни повернешь, не смотреть на них просто-напросто невозможно!

Для свадебного пира зарезали несколько свиней. Из соседних деревень стекались родственники. Масоаре ходила с высоко поднятой головой: ведь в селении только и говорят что о бракосочетании Миторо и Хоири в церкви. Ей повезло, ее дочь не осталась одна с ребенком на руках — у ребенка будет отец, который станет о нем заботиться.

В хижине у Миторо собралось много народу. Одни принесли рыболовные сети, другие посуду. Часть этих вещей сложили в особую плетеную сумку и поставили эту сумку Миторо на голову, а на сумку положили тесло и другие орудия, которыми делают саго. Так, с сумкой на голове, Миторо пошла по улице к дому Хоири, а за нею следом шли все девушки ее семьи; Масоаре громко причитала, заглушить ее голос не мог даже шум толпы. Наконец процессия подошла к дому жениха, и Масоаре сказала Хоири, что отдает ему свою дочь. Все вещи, которые Миторо несла на голове, были символами жизни, которая ее ждет.

ГЛАВА ПЯТАЯ

По лицу и движениям Хоири было видно, как он устал. Белки глаз у него стали желтовато-коричневыми. Он то и дело гер веки, чтобы не дать им закрыться. Ноги перестали его слушаться и несли туда, куда им хотелось. С трудом он вскарабкался по лестнице и сел на верхнюю ступеньку. Яркий солнечный свет помогал не заснуть. Сегодня был один из тех редких случаев, когда Хоири видел, как солнце зашло на западе и взошло на востоке, и ни на миг между заходом и восходом не сомкнул глаз. Рука потянулась ко рту, но прикрыть его так и не успела — Хоири зевнул. Он посмотрел на свои руки: они были грязные от пота, выступавшего и сохшего на них в эту ночь. Однако еще никогда в жизни не чувствовал он такой гордости, как в это утро, ибо за эту томительную ночь он стал отцом маленького сына.

В хижине было тихо, казалось, что она всеми покинута, как негустой лес днем, когда звери прячутся в темной чаще. Пол хижины и земля под ней были усыпаны скорлупой орехов арековой пальмы; вокруг дотлевающих головешек большого костра, у которого ночью грелись повитухи, лежали теперь, свернувшись, собаки.

Тетя Суаза была одной из лучших повитух в Мовеаве. Наверно, всем детям их сородичей помогли родиться на свет ее опытные руки. Около Миторо она была с начала родов до самого их конца, а утром пришла раньше всех и принесла горшок горячих бананов и капусты с моллюсками: для женщины, которая только что родила, нет еды лучше этой.

— Вот, сынок, это придаст тебе бодрости, — сказала тетя Суаза, поднимаясь по лестнице.

От ее голоса на душе у Хоири сразу стало радостно и легко.

— Поешь-ка этого тоже, а потом окунься в Тауре и хорошенько выспись. А сейчас

ни о чем не думай, худшее позади. Ты не один на свете — сам вчера видел, сколько народу пришло, и все твои родственники, одна кровь. Узнали, что тебе трудно, и пришли помочь, и не на какой-нибудь час, а на всю ночь, до самого утра. Но это еще не все твои родные — те, кто ночью спал, придут помогать сегодня.

К середине дня в доме уже снова было полно людей, они нанесли много бетеля, саго, бананов и другой зелени. Бетель предназначался также и для гостей. Женщины по одной входили на цыпочках в комнату, где лежала Миторо, и украдкой смотрели на новорожденного.

Сейчас, пока молодые хозяева отдыхали, всем распоряжались Масаоре и Суаза. Особенных дел у них не было, и они вели разговоры с другими женщинами. Точти у всех было уже по трое или четверо детей. Говорили больше о родах и о других женских делах и заботах.

— Не знаю, чем вы перерезаете пуповину, а я часто режу острым краем раковины, — сказала Суаза. — Кое-кто берет для этого у мужа старое лезвие от бритвы, но я заметила, что ребенок тогда растет плаксивый, не дает матери отойти от него ни на шаг.

— Ты права, — сказала одна из женщин. — Малю того, когда такие дети подрастают, они все равно ведут себя как маленькие, жалуются по каждому пустячному поводу.

— Терпеть не могу матерей, которые боятся ласкать и утешать ребенка, стоит ему только захныкать. Я не так — сразу из своих дурь выбиваю, и уж в другой раз, когда я дам поесть, а им покажется малю, они, прежде чем начать дуться, хорошенько подумают.

Хоири проснулся уже в вечеру. Тетя Суаза храпела на циновке недалеко от двери. Пол вокруг нее был усыпан мусором, который оставили после себя женщины. По пути к реке Хоири остановился и стал смотреть: цепочка носильщиков, в большинстве своем из деревень тоарипи, несла чемоданы, раскладушки, фонари, канистры с керосином и множество всяких других вещей. Около них шли, вскинув винтовки на левое плечо, несколько полицейских. Начальник патруля шел впереди, но его окружали дети, и за ними его было почти не видно.

Хоири ничуть не удивился. Еще вчера один из членов совета и полицейский предупредили всех, что сегодня в селение прибудет патруль, и все его ждали. Не останавливаясь патруль прошел через селение к дому для белых людей, и члены совета, взяв корзины, пошли по хижинам собирать спелые бананы и другие плоды для начальника патруля и его полицейских — кто сколько даст. Еще утром дом, где останавливаются белые люди, починили, поставили новые маленькие домики и наносили воды и дров.

Вечером к Хоири пришел дядя Арававе, недавно вернувшийся из Порт-Морсби. В руке у него был сверток. Интересно, что в нем? Дядя еще ничего ему не подарил.

— Как мальчик? — спросил дядя Арававе.

— Сейчас мать его кормит. Что это ты принес?

— На, посмотри сам.

Хоири разорвал бумагу.

— Ой, какие красивые полотенца — это, и это, и это! Маленькие, как раз для моего сына.

— Для него я их и привез, но только это вовсе не полотенца. Наверно, ты, когда года два назад был в Порт-Морсби, их не видел, белые люди называют их подгузниками.

— Но что ими делают? А, знаю — ими вытирают ребенка, если он испачкается.

— На-ка посмотри, — сказал дядя Арававе и показал ему кусок газеты, где был нарисован ребенок в подгузнике.

— Ага, теперь понятно. До чего же умно придумали белые люди: когда ребенок в нем, он не перепачкает все вокруг.

Немного позже пришел Севесе. Во всем доме топился сейчас только один очаг, в комнате, которую занимала Миторо с новорожденным. Дров было припасено вдоволь, должно было хватить на всю ночь. Пришла тетя Суаза — принесла большое блюдо, полное еды, для мужчин и маленький горшочек с едой для Миторо. Масаоре тоже принесла дочери поесть. Мужчины ели в сумраке и говорили о прибывшем в селение патруле. Недалеко от младенца, еще не получившего имени, стояла небольшая лампа-«молния», и все, на что падал ее свет, становилось красноватым. У головы младенца лежали трепник и две бусины из четок.

Когда отец и дядя Арававе ушли, Хоири лег на спину, подложил руки под голову. Тетя Суаза взяла пустые блюдо и горшочек и ушла с ними к себе домой к своей семье.

Масоаре ела и говорила дочери:

— Теперь, когда у тебя есть такой хорошенький маленький мальчик, не требуй от мужа слишком многого. Я уже говорила тебе много раз, как будет стыдно его семье и твоей, если дети станут рождаться у вас один за другим и будут почти одинакового роста. Да ты, наверно, это видела — у нас в селении такое бывает. Что так получается, всегда больше виновата жена: стоит мужу вернуться домой поздно, как она начинает бранить его, корить за то, что он ходит на свидания с какой-нибудь молоденькой девушкой. Ну и что же тогда делает он? Конечно, остается дома вечер за вечером и вскоре уже места себе не находит. Чтобы не видеть снов, от которых он просыпается мокрым, он начинает снова спать с женой, хотя ребенок еще совсем маленький. И вот они оглянуться не успели, а жена уже опять беременная. Теперь понимаешь? Не подпускай больше его к себе, пусть живет как хочет и сам находит себе развлечения. Многие девушки будут рады принять и удовлетворить его.

Миторо ела и думала о том, что говорит мать. Многоженством у них в селении никого не удивишь, она сама знает с полдюжины таких семей.

Миторо посмотрела на младенца, потом на свою мать — та уже замолчала и шарила теперь в своей сумке, выуживая оттуда орехи арековой пальмы, известь и листья бетеля. Да что уж там говорить, мать, конечно, права.

— Но, мама, а что, если другая девушка забеременеет от моего мужа? Уж очень мне не хочется, чтобы у нас в доме появилась еще одна женщина — ведь мне тогда придется делить мужа с нею. Вообще-то, может, и неплохо было бы проверить, по-настоящему любит меня муж или нет, но что, если от него появится другой ребенок в животе у другой женщины?

— В нынешние времена, дочка, тревожиться об этом не стоит. Когда я была молодой девушкой, наказать мужа, который делает такое, было некому. Родители и братья девушки просто говорили: «Ни для кого другого она из-за него теперь не годится, так пусть он на ней женится». Другое дело замужняя женщина. Как сейчас помню день, когда около места, где отец потом выстроил нашу хижину, забили до смерти дубинами Сиаривиту. Еще бы им не справится — трое на одного! Но теперь женатого, от которого забеременела девушка, тащат в суд, и белые люди сажают его на два или три месяца в тюрьму, а когда он оттуда выйдет, ему приказывают давать незамужней матери еду, чтобы той было чем кормить ребенка, и этим все кончается. Ее родители и братья не смеют теперь заставлять мужчину на ней жениться. Теперь и женатого мужчину и неженатого за прелюбодейние одинаково сажают в тюрьму, и смерть им не угрожает.

Хоири, человек, тело и дух которого сейчас пребывали в безмятежном покое, выспаться за ночь не успел. Не будь он такой тяжелый, теща перенесла бы его на постель, но это ей было не под силу, и она просто набросила на него одеяло, а уходя из хижины, закрыла пошлотнее входную дверь.

Миторо уже пришла с утреннего купанья, куда она ходила вместе с другими молодыми матерями, и теперь жарила пойманную ею рыбу. Хоири все спал, но вот снова заскрипела дверь, и он проснулся.

— Ты все еще спишь? Вставай поскорее и умывайся, — сказал, удивленно глядя на него Меравека. — Мы с тобой, наверно, будем в строю последними. Начальник патруля вот-вот появится.

Все больше и больше людей становилось в строй, и шеренг от этого становилось тоже все больше. Хоири и Меравека стояли в восьмом ряду. В хижинах оставались только дети, старики, калеки и женщины.

Все смотрели не отрывая глаз на начальника патруля, который шел вдоль шеренги; следом за ним шли клерк, полицейский из патруля, местный полицейский и члены совета.

— Вот этот парень, по-моему, неплохой, с виду сильный, из него получится хороший носильщик, — сказал начальник и показал тростью на сына местного полицейского.

— Смогри, — сказал Хоири, — наш полицейский что-то говорит начальнику патруля, и тот кивает головой — видишь?

Клерк глянул в свою книгу, но ничего в ней не написал. Потом поднял глаза снова: начальник патруля уже показывал тростью на следующего в ряду. Сын полицейского, Совэро, как и Хоири, только что стал отцом.

Солнце заползло уже высоко на небо, а начальник патруля все еще выбирал носильщиков.

— Его не надо,— сказал местный полицейский, когда начальник патруля показал на человека в черной рами и черной фуфайке.

— Почему же это, интересно, он не может быть носильщиком? — недовольно спросил начальник.

— Вы знаете наши обычаи, таубада,— только что умер один из его близких родственников, а поминок еще не было.

— Ничего я не хочу знать! Похороните человека, а потом неделями оплакиваете. Умер — значит, все, пользы от него больше не будет. Я знаю одно: мое дело следить за тем, чтобы работа администрации шла гладко. Неужели не понимаете? Все это для того, чтобы развить вашу страну и чтобы вы стали цивилизованными людьми, стали жить лучше. Запиши его, клерк.

Севесе не отрывал от него взгляда — смотрел, как он приближается к Хоири.

— Вот это парены! Молодой, мускулистый — такой один понесет целый сундук — сказал начальник патруля и показал на него тростью.

Севесе вышел из шеренги и подошел к белому человеку.

— Это мой сын, таубада. Я пойду вместо него. Запишите мое имя.

— Но он-то чем плох? Я ничего такого не вижу. Слушай, старик,— сказал начальник патруля, чудом не выколов глаз Севесе своею тростью,— ты уже поработал, теперь его очередь.

И он махнул рукой клерку, чтобы тот записал Хоири.

Рядом, слева, стоял Меравека, теперь он выпятил грудь и вытянулся, как хорошо вымуштрованный полицейский.

— А вот такие боевые парни мне нравятся,— сказал начальник патруля.— Да вы с ним похожи! Тогда понятно, откуда такое рвение. Запиши его.

Кончилось все, когда солнце стояло уже высоко над головой. Как хорошо, что Меравеку берут тоже! Если у кого-нибудь и есть человеческие чувства, то это у народа Хоири, а уж никак не у светлоглазого племени, к которому принадлежит начальник патруля. Хорошо хоть, что не взяли отца,— видно, бог услышал его молитвы.

— Лучше бы тебе было не родиться на свет,— горько сказал Хоири отец.— Будь проклята эта администрация! И зачем только Тамате¹² принес к нам в селение слово божье? Ведь это следом за ним пришли патрули с их начальниками и начали приказывать нам: делай то, не делай этого! Тамате и другие миссионеры понимали людей и уважали их чувства — если бы чиновники были такие же, не было бы так плохо, как теперь. Хоири, сынок, теперь ты сам видишь, как прав был я, когда все время тебе говорил: не бросай учебу. Будь ты учителем или клерком, тебя бы в носильщики не взяли. Это только начало — ко времени, когда ты станешь таким же старым, как я, от круглой жерди на каждом из твоих плеч появится по глубокой вмятине, а твои бедра развихляются оттого, что ты, когда идешь с грузом, будешь прилаживаться к раскачиванию чемоданов патруля.

Миторо впервые вынесла ребенка наружу, на площадку. Болезненное выражение лица, которое появилось у нее после родов, теперь исчезло. Все вокруг в полуденном зное было сухое и пыльное, а она казалась прохладной и влажной.

— А какое, кстати, у ребенка будет имя? — спросила она, обращаясь непонятно к кому. И, повернувшись к Хоири, сказала: — Дай сыну имя до того, как уйдешь, так будет лучше.

Он посмотрел на отца, потом на жену. Миторо скривилась, как будто хотела сказать: «Меня не спрашивай». Ведь прекрасно знает: первенцу всегда дают имя кого-нибудь из семьи мужа. Отец отвернулся, будто ему все равно.

— Да вот его тезка,— сказал Хоири и посмотрел на отца.

— Я пока звала его Пятницей — ведь в этот день он родился.

Остаток дня ушел у Хоири на то, чтобы приготовить побольше нужного жене и сыну. Просто удивительно, сколько разных дел можно сделать, когда время тебя подгоняет! Мера-

¹² Так тоарипи произносят фамилию преподобного Джеймса Чалмерса, пионера-проповедника из Лондонского миссионерского общества, убитого на острове Гоарибари в 1901 году.

века между тем бегал по селению — собирал саго и кокосы на дорогу. Столько, сколько он набрал, должно было хватить им недели на две; все это дали родственники. Те из родных, мимо чьих огородов проходил путь патруля, говорили им, что они могут рвать там любые плоды и овощи. Когда Хоири этим вечером ложился в постель, он уже знал о жизни носильщика очень много. В дни, когда отец был еще мальчиком, юноши доказывали свое мужество по-другому, но теперь доказать его можно и став носильщиком, и уж он, Хоири, постарается не ударить лицом в грязь.

Рано утром, когда запели птицы, жены, сестры и дочери были уже на ногах. Многие, чтобы мужчинам не нужно было готовить себе еду хотя бы в первые дни пути, наготовили для них саговых палок про запас — это кроме сырого саго, которое мужчины с собой возьмут. Миторо тоже приготовила Хоири столько саго, сколько могла.

В путь отправлялось шесть больших лодок. На пяти из них кучи груза были в человеческий рост, на шестой, чтобы укрыть начальника патруля от солнца, поставили парусиновый навес. За погрузкой наблюдали шестеро полицейских, по одному у каждой лодки. Командовал полицейскими один из них, сержант Лату, родом из деревни вниз по реке; остальные пятеро были из других мест, все из разных.

Миторо стояла с младенцем на площадке и смотрела, как, делая над собой огромные усилия, спускается по ступенькам ее муж. В горле у Миторо защекотало, а глаза заволокло слезами. Руки и ноги у Хоири двигались теперь так, будто он потерял над ними власть. Обернуться назад у него не хватало духу. Это было первое настоящее испытание его мужества. Внизу его ждали Севесе и Меравека. Когда Хоири спустился, отец взял у него лук со стрелами и весло. Хоири собрал все силы, чтобы удержать слезы, готовые политься из глаз. Перед тем как втроем они зашагали прочь от дома, он заставил себя посмотреть в последний раз на жену и сына и увидел, как Миторо, уже спиной к нему, исчезает вместе с ребенком в темноте хижины.

— Сержант Лату наш дальний родственник, — сказал юношам Севесе. — Не удивляйтесь, что при начальнике патруля он будет говорить с вами сурово, — когда тот не смотрит, он всегда будет к вам добр.

Они едва успели — уже решалось, кому на какой лодке плыть. Клерк выкликал, а сержант показывал на какую-нибудь из лодок.

— Берите свои весла и лезьте вон в ту, где навес, — приказал Хоири и Меравеке сержант Лату.

Когда людей в лодке набиралось достаточно, сержант приказывал ей отплывать. Каждый раз, когда это происходило и любимые исчезали из виду, часть толпы на берегу, состоявшей главным образом из детей и женщин, отделялась от нее и отправлялась назад в селение. Ко времени, когда на берег пришел вместе со своим слугой начальник патруля, остальные лодки проплыли уже добрых полмили. Двое пожилых носильщиков перенесли начальника в лодку, сержант Лату приказал отчаливать, и они поплыли вверх по течению. Лодка была не такая, как остальные, — большая, но легкая, и когда гребцы все в лад тянули к себе весла, она врзалась в воду как нож.

Мистер Смит начал работать в округе недавно. Едва ли он был старше Хоири, но на много выше ростом, и волосы у него были светлые. Больше всего по цвету и очертаниям лицо его напоминало хрощую спелую папайю; щеки были красные то ли от солнца, то от рома, который он любил пить. Служил он в Кереме, административном центре округа, и уже побывал (правда, не один, а вместе с другим, более опытным чиновником) в нескольких небольших патрульных обходах. Этот был его первый самостоятельный обход — во всяком случае, решать все теперь он должен был сам. На лодке он сразу снял сапоги, уселся поудобней в шезлонге и раскрыл газету. Сержант и слуга тоже укрылись в тени его навеса. Время от времени мистер Смит хлопал мух и бурчал:

— Чертовы мухи, так ко мне и липнут! Садись бы лучше на этих вонючих канаков!

Сержант Лату сел спиной к начальнику на один из чемоданов, оторвал кусок от газеты, уже прочитанной мистером Смитом, и сделал себе самокрутку длиною в четыре дюйма. Покури, он отдал ее гребцам, и те сразу повеселели. Но на всех одной самокрутки было мало.

— Простите меня, таубада, моего табака на всех курящих не хватит, — сказал сержант Лату, повернувшись к белому человеку. — Может, дадите им еще немножко?

— Но-но, сержант, они от этого станут много болтать, а грести будут плохо. Я хочу проплыть до темноты как можно дальше. Да и не заработали они еще себе табаку.

— Так точно, гаубада.

Хэра, который был много старше остальных гребцов, затянулся несколько раз и передал самокрутку следующему.

— Белый человек ошибается, — сказал он. — Дай он нам табаку, нам бы стало хорошо, глаза бы у нас не слипались и мы бы начали грести быстрее. А вообще-то что мы ему, навесные моторы, что ли? Мы тоже люди, нас родили матери. Не надрывайтесь, братья, нам еще целый день грести.

Время от времени, чтобы поутихла боль в руках и плечах, гребцы менялись местами: те, кто сидел на левой стороне лодки, переходили на правую, а те, кто сидел на правой, переходили на левую. Почти все время гребли молча, слышно было только, как всплескивает вода. Качанье лодки убаюкало мистера Смита, и он уснул. Как обидно: он себе похрапывает, а они под палящим солнцем обливаются потом!

Хоири и Меравека, когда их посадили грести в лодке начальника патруля, подумали, что им повезло: груза в ней было куда меньше, чем в любой из остальных лодок. Ни тот, ни другой еще не знали, что именно их лодка задаст скорость, с которой придется плыть остальным.

Течение в Тауре было сейчас слабое, и гребцы молили бога, чтобы таким оно и оставалось. В спину дул, немного прибавляя им скорости, крепкий юго-восточный ветерок. На всех пяти грузовых лодках гребцы, чтобы заполучить помощь ветра, поставили и закрепили торчком по одному или по два кокосовых листа вместо паруса.

— Смотрите, друзья, впереди кокосовая пальма! — сказал Хэра. — Давайте остановимся и срежем для нашей лодки несколько листьев — те лодки уплыли уже вон как далеко вперед. Если не привяжем листьев, отстанем совсем.

Меравека сидел на носу и к берегу, на котором росла пальма, оказался ближе других. Лодка остановилась, он, схватив походный нож, встал и приготовился прыгнуть на берег. Толчок — лодка остановилась! Мистер Смит проснулся и подскочил как ужаленный, едва не свалив свой шезлонг за борт.

— Почему мы остановились? — закричал он рассерженно, тараща на гребцов заспанными глазами.

— Они хотят срезать кокосовых листьев, таубада, с листьями лодка пойдет быстрее, — объяснил сержант.

— Ну и чушь! Прямо как дети! Хоть бы раз повели себя как взрослые, просто для разнообразия! Поймите же: пока этот парень вскарабкается на чергову пальму, срежет эту дрянь и вы ее присобачите, пройдет добрых полчаса! Но этого мало: а что если ветер вдруг переменится или стихнет совсем? Драгоценное время идет к черту, мое время, время администрации, время, в которое я бы должен потеть как черт, чтобы просветить хоть немного вашу черную братию там, в дремучем лесу! Вам и так повезло, что вы гребете на лодке, где мало груза. А ну поплыли, и не смей останавливаться, пока я не прикажу!

Мистер Смит козырьком приложил руку ко лбу и оглядел реку и оба берега. Корма последней из лодок впереди них скрылась за поворотом реки.

— Ну вот! — заревел он. — Теперь, обезьяны, гребите изо всех сил, догоняйте остальных!

И потом, сев снова, велел слуге подать обед.

— Ну, взялись, друзья! Не падайте духом! — громко сказал Хэра.

Лодка ринулась вперед, как огромный морской змей, преследующий добычу. Теперь она двигалась не плавно, а рывками.

— Так-то вот, сынки! — закричал Хэра. — Он человек такой же, как мы с вами, и он сидит и ест, а мы в это время гребем, и в животе у нас пусто. Кто сказал, что так должно быть?

Белый человек тщательно обглодал все куриные косточки до единой, а потом начал, напевая, облизывать пальцы. Плюх, плюх — кость за костью летели и исчезали в серой непрозрачной воде, и круги, разбегавшиеся от них, мигом оставались где-то позади, за кормой. Каждый раз как мистер Смит вытаскивал изо рта облизанный палец, слышался звук, похожий на тот, что издает цикада.

- Почему налил так мало чая, неполную чашку?
- Загляните в нее, таубада. там много, я налил полную.
- Загляни ты, идиот, горе-повар! Стоишь ты тех денег, что я плачу тебе? Ой едва пи!
- А, вижу, таубада.
- Ну и что же ты видишь своими черными глазами?
- Лодка качается — то поднимется, то опустится, вот чай и льется через край, — объяснил слуга.

Ладони Хоири были все в красных и желтых пятнах. Пот под мышками стал как мыльная пена. Он то и дело окунал руку в воду и совал мокрую ладонь под мышку, чтобы там перестало жечь. Раз-два, раз-два: движения его стали механическими, и казалось, что он будет повторять их вечно и уже никогда не остановится. Таким его видели другие, но тот Хоири, который их зрению был недоступен, поднимался сейчас по лестнице своей хижины. Кажется, Пятница плачет! Он зашепел. «Миторо, Миторо!» — позвал он, но никто ему не ответил. В руках у него связка рыбы, часть рыбы сушеная. Это не важно — женщина, которая голько что родила, станет есть все, что похоже на рыбу видом или запахом. Поднявшись по лестнице, он разжал руку, связка упала на пол, и он пошел на цыпочках в комнату жены. Глиняного кувшина для воды на месте нет. Надо спешить, так громко Пятница не плакал еще никогда! Прыжок — и он уже в комнате около сына, подхватывает его и топчет огонь, который ползет по краю старого ворсистого одеяла. Надо осмотреть ребенка, не случилось ли с ним что-нибудь. Он прижал маленького Севесе к груди. «Господи, какой горячий! — прошептал Хоири. — Опоздай я чуть-чуть, и он бы уже сгорел. Я ей покажу, как бросать ребенка одного, пусть даже она идет за водой!»

Тут вода окатила его спину. Он вскрикнул от неожиданности и передернул плечами.

— Это я плеснул, — сказал человек, сидевший за ним, — а то ты стал грести не в лад. Что с тобой, братец? Может, ты голодный? Или на тебя напал сон? Это я понять могу. Я тоже знал, что не увижусь с женой много недель, и начал трудиться еще вечером, когда только стали летать летучие мыши-плюдоедки, а закончил, когда в последний раз пропел дикий петух.

— То-то у тебя губы мокрые, — сказал с усмешкой Хоири. — Тебе повезло — ты смог сделать что хотел до того, как с женой расстался, а моя жена, как ты знаешь, только что родила. Наверняка тебе меня жаль.

— Да с чего это мне тебя жалеть? Сотни одиноких девушек только и мечтают о том, чтобы им смочили нутро. Неужели ты из тех, кто, женившись, после темноты и носа не высунет на улицу — боится, как бы девушки не отрезали у него свиные кишки?

Сам Хоири затевать этот разговор не стал бы, но теперь, когда об этом заговорил другой, почему бы не ответить?

— Нет, просто мне в теперешних девушках кое-что не нравится. Они как рыбы, которые бросаются на наживку. А когда заглотнут ее, снять их с крючка очень трудно. Или нет, они скорее как пиявки: если присосутся, то уж сосут сколько могут и животы у них под конец вздуваются. Сам знаешь, в какую беду попадешь, если позволишь им к тебе присосаться.

На корме Хэра прочистил горло и сказал:

— Эти двое парней умнее нас всех, раз завели такой разговор — для усталых и грустных это самое лучшее лекарство.

Солнце уже не так пекло, и люди становились разговорчивее. Весла глубже врезались в воду, и гребцы тянули их на себя усердней. Тассат дул намного слабее, теперь это был легкий ветерок. Гребля больше не была тяжелой работой, теперь она доставляла удовольствие. Над головами гребцов перелетали с берега на берег птицы и усаживались на облюбованные ими деревья.

— Нажимайте, нажимайте, ребятки! — подбадривал товарищей Хэра. — До места, где будут хижины, уже совсем недалеко. Нужно успеть до темноты. Я в таких походах бывал не раз, и уж я знаю, какими становятся белые люди, когда приходится делать что-то в темноте. Будет очень плохо, если он на нас разозлится. Сказать вам правду? Он подгоняет нас: «Скорей, скорей!» — вовсе не потому, что хочет больше успеть, а потому, что хочет поскорей вернуться в Кукипи — опиваться гам снова холодным пивом.

Наконец они воткнули в дно шесты и крепко привязали к ним лодку. Мистер Смит сказал:

— Первым прыгну на берег я.

— Не надо, таубада, не прыгайте первым,— стал уговаривать его сержант Лату.— Пусть носильщики срежут сначала траву и приготовят для вас место, а то вас может ужалить змея, да и просто ноги исколите — ведь у вас кожа нежная.

— Не надо обо мне беспокоиться, сержант, я уже не мальчик, могу позаботиться о себе сам. Это мое дело — заботиться о вас, а вовсе не ваше — обо мне. Да и вообще мне надо размяться — целый день просидел в шезлонге!

С белым человеком, который знает, что для него лучше, не очень-то поспоришь. Гребцы уже поднялись со своих мест и теперь стояли, расправляя затекшие руки и ноги и разглядывая пустые огородные хижинки на берегу. Они прекрасно знали: хозяева огородов, чтобы не дать в свое отсутствие жить в огородных хижинах чужим, применяют колдовство. Жаль, что нельзя попросить у хозяев разрешения, придется из-за этого спать под открытым небом.

Все смотрели, как прыгнет мистер Смит. К его ужасу, берег оказался круче, чем он думал, а земля мягкой и влажной. Видно, прыгать с лодки ему до этого никогда не приходилось, и он оттолкнулся с такой силой, что тот из воткнутых в дно шестов, к которому была привязана корма, из дна вырвало и лодку понесло на середину реки, все дальше и дальше от берега. Судорожно цепляясь за траву руками, он попытался удержаться и не соскользнуть с крутого склона в воду, но напрасно. Как раз тут лодка вернулась к берегу на прежнее место и сильно ударила его в затылок. Хэра, другие гребцы, сержант — все как были одетые попрыгали за борт и вытащили мистера Смита на безопасное место.

Остальные, не теряя времени, расчистили на берегу площадку и разожгли там большой костер. Когда мистер Смит пришел в себя, горячая вода и чай для него были уже готовы и рядом с сухой одеждой и полотенцем в руках стоял его слуга. Хэра посмотрел на начальника патруля, на разорванный сверху донизу перед его рубашки и отвернулся. Сержант Лату глядел мистеру Смигу в лицо и что-то ему говорил. От его форменной одежды из толстой ткани шел пар, будто его только что вытащили из кипящей воды.

— Ну вот, хоть вытащили, — сказал Хэра, будто думая вслух. — Как бы этот наш обход не кончился плохо. Что, если бы этот острый кусок бамбука пропорол ему не только рубашку, но и живот? Очень бы не хотелось мне увидеть, как его белые кишки вываливаются наружу. В другой лодке есть санитар, но они еще не приплыли, да и все равно санитар бы живота не зашил. Умри этот белый человек, нас всех обвинят в убийстве, и остаток жизни мы проведем в тюрьме. Белые люди думают, что знают все на свете, а когда приключится что-нибудь вроде этого, виноваты всегда бываем мы — вот что хуже всего.

Хоири и Меравеке сержант Лату приказал построить для чиновника душ и уборную. Другие навели чистоту в хижине, где он должен был спать, а потом ушли — приговорить постель мистеру Смигу должен был слуга. Никаких дел, в общем, больше не было, и гребцы, обступив мистера Смита, стали смотреть, как он, разговаривая все время сам с собой, пьет чай.

— Ну что стали, бездельники? Вылупили свои голодные черные глазки, будто я прибыл с того света! Из-за вашей глупости и неповоротливости, голько из-за них все это со мной случилось. — И, громко отхлебнув из чашки, он уставился невидящим взглядом на желто-красное небо на западе. — И какой черт понес меня в эту забытую богом страну? — бубнил он. — Ведь мог, как другие, наслаждаться жизнью среди цивилизованных людей: захочешь — прогуляешься по Кингс-кроссу¹⁸, захочешь — зайдешь в культурную пивную, хлебнешь ледяного «тутса» или «четырех иксов». Да, конечно, есть работа, и кто-то должен ее делать — тут ничего не скажешь. Но, черт возьми, до чего же я буду рад, когда все это кончится!

Остальные лодки приплыли, когда уже начало темнеть; люди с них сразу стали говорить к ночлегу. Вскоре они уже знали, почему у тех, кто приплыл раньше, такие испуганные лица, а начальник патруля такой сердитый и мрачный.

За свою жизнь сержант Лату побывал во многих патрульных обходах. Он знал, с какими трудностями в них сталкиваешься, и знал, как надо обращаться с тем или другим

¹⁸ Кингс-кросс — квартал увеселительных заведений в Сиднее.

начальником патруля. Он знал, и *очень* хорошо: по имени и по виду белый человек во главе патруля тот же самый, кого он видел во вращающемся кресле за столом, когда тот назначает местным жителям тюремные сроки. Но на самом деле только кажется, что это тот же самый человек. Внутри он теперь совсем другой. Сержант Лату считал, что его долг — сделать все для того, чтобы такая перемена скорее произошла. В то же время он понимал: когда перемена наконец происходит, заслуга в этом принадлежит не только ему, но также лесу, москитам, пиявкам, змеям и разлуке белого человека со своими соплеменниками — благодаря этому всему белый человек и меняется. Он знал: у всех начальников патрулей, с которыми он ходил в обходы, есть как бы два лица. Пока начальник остается у себя в окружном управлении, вид у него очень гордый, самоуверенный, одежда — накрахмаленная и наглаженная, и кажется, что она не прилегает к его телу вплотную, будто сделана не из ткани, а из тонкой проволоки. Когда чиновник при исполнении служебных обязанностей, чувство собственного достоинства так из него и прет... Но в патрульных обходах сержанту Лату приходилось быть посредником между носильщиками и начальником патруля, и в этом, сказать правду, он и видел свою главную роль. И когда начальник патруля попадался неопытный, его, сержанта Лату, посредническая роль становилась особенно очевидной. Он знал по опыту: чем раньше он покажет, как понимает свои обязанности, тем лучше будет для всего патруля.

Не дожидаясь распоряжения начальника, сержант выдал каждой лодке по котлу емкостью в галлон. После этого он начал выдавать рис.

— Сколько риса ты кладешь в каждый котел? — спросил мистер Смит, глядя сверху, из хижины, где он только что приступил к ужину.

— Я кладу в каждый котел по десять чашек.

— Нет, сержант, при такой щедрости у нас на последние два дня не останется ни крупинки. Я подсчитал: на лодку надо давать по пять чашек в день. Из такого расчета я и набирал носильщиков.

— Сэр, для двенадцати человек пяти чашек мало. Они гребли с самого утра, а сейчас уже ночь, и они устали и хотят есть. Им надо наесться досыта, тогда они смогут завтра грести хорошо.

— Но что они будут есть в последние два дня, ты, олух? — заорал на сержанта, понемногу начиная терять герпение, мистер Смит. — Неужели твоя старая глупая башка совсем не соображает?

— Последние дни пусть не беспокоят вас, сэр. — Сержант говорил так же ровно и вежливо, как до этого. — Они трудными для людей не будут. Плыть будем вниз по течению, а это намного легче; да и те, кто работает на огородах у реки, может, дадут чего-нибудь — овощей, свинины, казуарьего мяса.

— Ой, ладно, дай им по десять, только отстань! — выкрикнул, впадая в отчаянье, белый человек. — Но если потом еды не хватит, голодать будешь в первую очередь ты.

Довольный своей первой большой победой, сержант возобновил выдачу риса. Хорошо, что так получилось, это хорошее предзнаменование.

Гребцы были благодарны сержанту за то, что он сумел отстоять их права. Пока, в начале пути, они, правда, не слишком тревожились о пище: ведь у них, кроме скудных порций риса, еще были саго и кокосы из дому. Теперь людям хотелось запить саго сладким чаем. Им его дали в одногаллонном котле, так что пришлось всего по полчашки на человека.

В каждый из котлов повара опорожнили по две консервные банки паштета, и от этого рис в котлах стал красноватым. Едок, подходя к котлу, протягивал поварам банановый лист, и на середину листа клали его порцию.

Почти весь этот вечер Хоири был какой-то оцепенелый. Он сам не мог понять отчего — от голода или от усталости. Чай ему и Меравеке понравился, а рис оказался безвкусный, но съели они его весь: выбирать было не из чего.

Носильщики ночевать в хижинах не стали — они улеглись вокруг гаснущих костров, на которых перед этим готовили пищу. На углях, отгоняя москитов, тлели кусочки сухого ядра кокосов.

— Сержант!

— Да, сэр.

— Скажи им, что я ложусь спать. Да, я знаю, спрашивать с них трудно, ведь они

всего-навсего канакки, но все равно: чтоб уши от их хохота и криков у меня не лопались! Если они и вправду устали, пусть ложатся спать тоже — наберутся побольше сил к утру. Чуть свет отправимся дальше.

— Так точно, сэр,— ответил сержант, отдавая честь начальнику.

А потом, став вольно, сержант Лагу повернулся к гребцам и сказал:

— Вы все слышали, что он говорил. Он не первый белый человек в наших краях, и все вы знаете, как они спят. Я, когда оказываюсь вместе с белыми людьми в лесу и мы располагаемся на ночлег, всегда стараюсь лечь от них подальше, потому что ложиться близко опасно: какой-нибудь питон услышит их храп и приползет. Знаете, почему белый человек храпит? Это спит его речь — он спит, и она спит тоже. Разговаривайте, не бойтесь. Что он такого делал весь день, чтобы еще при нем не разговаривать?

Между соседями начали завязываться разговоры. Больше говорили мужчины постарше и те, кто уже бывал в патрульных обходах.

— Что-то мне не нравится, как тот черный какаду пролетел около полудня над нашей лодкой,— сказал Хэра.— У кого-то скоро возьмут сердце и легкие — надеюсь только, что не у кого-нибудь из нас. По тому, как какаду летел, видно, что беда случится или с нами, или с кем-нибудь из наших родных.

Все замолчали, даже те, кто сидел далеко.

— Меня это вовсе не удивляет,— сказал кто-то из сидевших позади.— Последние недели я замечал: старый Авава, толстый коротышка из Раэпы, разглядывал наше селение так, как будто впервые его видел.

— Тот, с коростой по всему телу?

— Он, говорят, самый злой колдун среди тати. Однажды пять лет назад он пришел к нам в селение, потом вдруг исчез, а потом... ну, вы все помните, что случилось через неделю после этого.

Да, случай этот хорошо помнили все: дочь Харису, Мауту, одну из самых хорошеньких девушек селения, крокодил схватил на таком месте, где глубина воды была всего лишь три фута! Обычный крокодил никогда не посмел бы напасть на человека на такой мелкой воде. Хорошо еще, отец и брат Мауты оказались рядом и убили тварь топорами и копьями. Когда через несколько дней после этого в керемской больнице умер от каких-то странных ран юноша-тати, все поняли: это был ученик и помощник старого Ававы. Вот как бывает!

— И старик пришел теперь отомстить? — спросил, не удержавшись, Хоири.

— Ты прав, юноша, именно для этого. Хотел бы я знать, кому придется плохо на этот раз. Но почему, интересно, наши односельчане дают такому удачу, как Авава, ночлег и пищу? Вот этого я никак не возьму в толк. Раньше ли, позже ли, все равно он станет крокодилом и утащит какую-нибудь из наших женщин.

— И все это он делает один?

— Конечно, нет! Есть еще и другие, вместе с ними он все и делает. Мы их не видим, но они следят за каждым шагом того, кого хотят погубить. Теперь известно: чтобы попасть в этих невидимых людей, нужно бросать копье крокодилу в хвост.

Над верхушками деревьев поднималась бледная луна; постепенно все разговоры смолкли. Только часовой неслышными шагами прохаживался вокруг. Черная полицейская форма как нельзя лучше подходила к его теперешнему занятию, в ней он казался как бы ожившей частью ночи. Если бы он не кашлял иногда или не прочищал горло, нельзя было бы даже догадаться о том, что он здесь, а если бы ты и заметил огонек, тлеющий на конце его невероятно длинной самокрутки, то мог бы подумать, что видишь одноглазую кошку. Рта его в темноте видно не было — только иногда, когда полицейский затягивался сильнее и дольше, газета вспыхивала на мгновение и появлялось лицо без шеи и туловища, человеческое, но слишком красное для человека с коричневой кожей, так что становилось даже не по себе.

Тело Хоири устало, но мысли все никак не давали ему отжаться отдыху по-настоящему. Да, живет на свете он еще не очень долго, но ведь какие-то способы скорее засыпать уже знает. Может, зарыться лицом в землю? Или вспоминать хорошее? Но не так уж много хорошего он видел за свою жизнь. Сделать как-то, чтобы ночь стала короче? Это не под силу ни одному человеку. Эх, сесть бы в лодку да уплыть домой! Что же, сделать так можно, но тогда из невидимой тюрьмы он попадет в тюрьму настоящую. И все равно — жить в тюрьме, может быть, даже лучше, чем выносить эту пытку. Но что скажут люди?

Не важно, что подумает Миторо,— важно, что он не сможет тогда смотреть в глаза Меравеке. Ведь тот по доброй воле вызвался идти носильщиком, только для того, чтобы он, Хоири, не остался один. Да что там говорить, все селение его осудит. Скажут, что он мужчина только с виду, а по своим поступкам он женщина. Ну уж нет, с корзиной на плече он ходить не собирается!

Запахи перегной и дыма исчезли, зато повеяло сыростью и теплом деревенской заводи. Легкий ветерок доносил до него гул деревни. У ручья около речки намыливала себя между ног хорошенькая девушка. Он сбросил рами и подошел к ней. Как удивительно, ему совсем не стыдно! Да и она, судя по всему, вовсе не намерена от него бежать. «Ну и изголодался же ты, наверно»,— без обиняков сказала она. «А как может быть иначе? Ведь моя жена только что родила». — «Иди сюда, сейчас я тебя тоже намылю. Так тебя, наверно, еще не мылил никто?» — «Когда ты до меня дотрагиваешься, у меня мурашки пробегают по коже». — «Как, тебе не нравится?» — «Нет, наоборот, мне от этого очень хорошо». — «Можешь не благодарить, просто мне хочется тебе помочь». Ее руки скользили по нему не останавливаясь. Ой, да он расстел! «Ну давай же, разговаривать мы будем потом». Он потянул ее к себе. Она с готовностью повиновалась его рукам. Вот он уже скользит внутри нее, выталкивая наружу мыльную пену,— но тут кто-то с силой дернул его за ноги.

— Проснись, брат!— закричал над ним Меравека.— Это надо же, проспать дольше всех. Наверно, был дома?

С глубоким вздохом Хоири приподнялся и сел, хмурясь от утреннего солнца. Ночь оказалась слишком короткой — довести дело до конца он так и не успел.

— Ты поступил со мной хуже некуда — становилось все приятней, и как раз тут ты меня и разбудил.

— Скажи спасибо, а то вот стыд бы был — проснуться с промокшей рами! Я рад, что так получилось, рад за тебя. Ну ладно, хоть видно, что отдохнул ты по-настоящему. А знаешь, как сделать, чтобы гой, кого ты видишь во сне, было так же приятно! Очень просто: переверни подушку, когда проснешься, и ей приснится, что ты ее соблазнил.

В последовавшие несколько дней Хоири начал свыкаться с жизнью носильщиков. Теперь и он шутил и смеялся, как остальные.

Дерево лодок за это время пропиталось водой, и от этого они теперь плыли медленнее. С каждой новой милей течение, уже и без того стремительное, словно набиралось сил. Будто все вокруг решило: надо во что бы то ни стало остановить их, не дать им нарушить мир и тишину этого леса.

Здесь, в верховьях Тауре, какаду и рогоклювы не обращали на людей никакого внимания. У них не было причин бояться людей, они не знали ни оглушительного грохота, ни смертоносных шариков, которые вылетают из железных луков белого человека,— не то что их братья, живущие около устья той же Тауре. И только иногда, потревоженный в полуденном сне, вскакивал и бросался в спасительную сень чащи кабан или казуар.

Величественные горы Мируа впереди теперь открывали им свои настоящие очертания и цвета. Фиолетовый цвет исчез, уступил место белизне известняковых скал; некоторые скалы были почти отвесные. Не только Хоири, но и многие другие в патруле были здесь впервые, и теперь они молча, изумленно глядели на причудливые скалы и гадали: что за диковинные существа живут там, внутри, в темных пещерах?

До чего же прекрасен, оказывается, лес, куда не ступала еще нога человека! Многим хотелось вернуться сюда потом и по-настоящему узнать красоты и тайны этих мест.

Но рука об руку с красотой шла и опасность. Снова и снова путь им преграждали водовороты, некоторые больше чем в десять футов шириной. Только умение и ловкость тех двоих, что сидели на корме каждой лодки, не давали водоворотам затянуть путешественников. Рев водопадов, сперва далекий, постепенно приближался и становился все страшнее. Новички не знали, что шумит, и все время об этом думали. Но вот лодка скользнула за поворот берега.

— Так вот, значит, отчего этот шум! — пробормотал Хоири.

Меравека, услышав эти слова, встревоженно на него посмотрел.

— Только ни на что не показывай,— прошептал он.

Хоири кивнул.

— Не буду. Я знаю, что в этих местах такой закон.

Перед ними с порогов низвергалась вода, неистовая, как любой горный поток, которому не терпится влиться поскорее в более широкую реку. Это и был знаменитый водопад, о котором Хоири столько слышал. Это здесь в давно прошедшие времена внезапно поднялась из земли стена и загородила воде путь, высушив русло реки отсюда до самого устья. Жителям Мовеаве, Хеатоаре, Сававири и Топалы пришлось тогда, собирая рыбу, застрявшую в котловинах, поработать так, как они не работали никогда в жизни. И только потом поняли они самое страшное: брать воду для питья больше неоткуда.

— Как ты думаешь, то, что об этом рассказывают, правда? Думаешь, и на самом деле так было?

Меравека глядел на него с отчаяньем: ну как можно этому не верить?

— Какие еще доказательства тебе нужны? Погляди только на скалы справа и слева, вон они какие громадные. Разве это не остатки огромной стены, которая когда-то перегородила реку? Наш народ не знал, что ему делать. Но когда о том, что вода стала пленницей, узнали птицы, они все собрались и стали думать, как освободить воду и спасти людей. Сам орел, какаду, рогоклюв и все другие большие птицы одна за другой ударялись в стену, но никаких следов на ней от этого не оставалось — только кровь. Настала очередь зимородка. Большие птицы стали над ним смеяться, но он с быстротой молнии бросился на стену. пробил ее насквозь и вылетел с этой стороны, а за ним тонкой струйкой потекла вода — никто глазам своим не поверил! Он так и стал летать то вверх по реке, то вниз, то вверх, то вниз: уж очень он был рад, ведь он сделал то, что всем остальным оказалось не под силу. И до сих пор можно видеть, как маленький зимородок носится по реке вверх-вниз — проверяет, не спала ли вода.

По ту сторону порогов еще никто никогда не бывал. Никто бы не посмел туда отправиться, даже если бы можно было перетащить туда лодки. Хоири думал: как хорошо, что не надо больше грести! Хвала господу за то, что он создал эти пороги. Хотя краем глаза увидеть бы сверкающие склоны гор, огромных крокодилов, которые не едят людей и понимают все, что им скажут, змей таких толстых, как будто их кормят три раза в день. Говорят, из спокойных вод за порогами поднимается множество островов и на островах этих цветут прекрасные цветы. Все это очень похоже на сад Эдема, о котором рассказывали на уроках слова божьего. Может, это часть того прекрасного сада, которую отдали им, темнокожим? Да, очень может быть, что все, что он слышал прежде о тех местах, просто суеверие или как там еще миссионеры называют такое; только он не станет доказывать, что предки говорили неправду, а то еще придется ходить до конца жизни с мошонкой в футбольный мяч величиной!

В какое-нибудь другое время их жизни им, носильщикам, было бы странно, если бы они воспринимали все одинаково, но сейчас был один из редких случаев, когда всеми ими владело одинаковое чувство. Никто их не подгонял — они сами все до единого, гребя, отдавали сейчас последние силы, лишь бы поскорее вывести лодку из середины течения во внешний круг водоворота, где вода течет в том же направлении, куда они плыли. Под нависающими скалами эхом отдался единый громкий вздох облегчения.

На восточном берегу реки среди зелени резко выделялись белые стволы деревьев. Они выстроились вдоль берега как длинный ряд змей, ставших на хвосты, чтобы обсушить животы на солнце.

— Сержант!

— Да, сэр, — сказал Лату, вытягиваясь и щелкая каблукками.

— У гребцов ушло слишком много времени на то, чтобы сюда добраться. Надо наверстать упущенное. Распорядись, чтобы, до того как лягут спать, они все выгрузили и связали в узлы по одному на каждую пару носильщиков. Завтра чуть свет нам уже надо быть в дороге.

— Сэр, люди устали грести, им бы вообще было нужно передохнуть денек. Солнце вот-вот пойдет, сейчас им время готовить пищу, есть и ложиться спать.

— Не учи меня! Кто начальник патруля, я или ты? Еще хоть слово — и уж я позабочусь, чтобы тебя разжаловали!

Лату отдал честь, повернулся и пошел к носильщикам — те расчистили место на берегу и уже переносили туда из лодок груз. Так грубо с ним разговаривали не впервые. Лату дорожил тремя нашивками на рукавах своей формы: на то, чтобы получить каждую из них, у не-

го уходило по пять с лишним лет. Одну нашивку отделяли от другой годы поведения, основанного на жизненном опыте и здравом смысле. Незрелому уму всегда более свойственно обращать к угрозам, чем это свойственно уму искушенному.

После мокрого дерева дождок прыгающее пламя костров особенно радовало, оно согревало не только кожу, но и сердце. Люди жались к кострам, садясь спиной к огню. От усталости и голода у них не ворочались языки, поэтому разговаривали они мало. При мысли, что одна часть пути пройдена и теперь начнется другая, куда более трудная, неопытные зарывались лицом в колени. Глаза избегали смотреть на груды тюков, которые будут завтра качаться на шестах, раздавливая тебе плечо. Стоило сержанту показаться в отвесных кос'ра, как со всех сторон на него устремлялись вопросительные взгляды.

Наверно, уже больше года миновало с тех пор, как сержант Лату проходил по этому же самому месту, но тогда был другой начальник патруля и другие носильщики. И настроение у него было тоже тогда другое. Казалось, что от бремени, тяготящего его душу, тяжелеют и его ноги. Ему нужно было время, чтобы решить, сказать людям о приказе мистера Смита или же не говорить пока ничего.

Старый сержант медленно прогуливался, опустив голову и сцепив за спиной руки, и, куда бы он ни повернул, его повсюду провожали взгляды темных усталых глаз. От возмущения он то и дело сплевывал — это помогало развеять тучи, ступившиеся внутри него. В животе у сержанта было пусто. «Съем весь рис, какой дадут, до последнего зернышка, — думал он, — пусть даже в нем будет полно долгоносиков».

Птица хэра-хэра прокричала свою весть дважды у него над головой и этим прервала мысли сержанта Лату.

— Все валится на нас разом — и сумасбродные выходки мистера Смита, и дурные вести, которые нам несет хэра-хэра, какие именно, мы еще пока не знаем, — сказал сержант, опускаясь на землю. — Нет, не нравится мне то, что происходит.

— Меня это тревожит тоже, — отозвался Хэра. — Если я не ошибаюсь, этот вестник кричит над нашим привалом уже две ночи подряд. Сегодня он кричал совсем рано, когда еще не наступила вьчь. Как ты думаешь, что это может значить?

— Человек, который несет нам весть, наверно, вот-вот нас нагонит. Эти птицы намного не опережают никогда.

— Что белый начальник думает делать завтра?

Все, кто слышал, как Хэра задал этот вопрос, наострили уши: их это тревожило больше, чем сержанта и Хэру, которые об этом говорили.

— До чего же мне тошно, друг, — сказал сержант; он сидел, уткнувшись подбородком в сложенные на коленях руки. — Никогда не видел, чтобы кто-нибудь так спешил закончить поскорее патрульный обход, как этот не знающий отца мальчишка, — ведь правда, Хэра? Вольшинство других начальников, с которыми мы ходили, стараются затянуть обход подольше — чем больше дней он продлится, тем больше надбавки они получают. Ведь все равно под тяжестью груза гнемся мы, а белый человек знай себе вышагивает впереди с тростью.

— Может, этот парень из богатой семьи? А вообще-то похоже, что все белые богатые. Каждый день они тратят много денег, но меньше у них от этого как будто не становится.

В своем желании узнать, откуда белым людям так легко удается доставать столько денег, Хэра был вовсе не одинок. Каждому известно: любой белый человек, который приплывает работать к ним, в страну темнокожих, знает, где спрятаны все деньги на свете, но рассказать об этом темнокожим боится. Больше всего белых людей пугает мысль о том, что темнокожие тогда станут им во всем равными. Но будь у белых людей хоть немножко стыда, они бы честно признали: богатство, которым они так кичатся, на самом деле им вовсе не принадлежит — они его себе присвоили. Вообще-то разобраться во всем этом очень нелегко: если у белых людей есть доступ к этому украденному богатству, зачем они сюда приехали? Ведь некоторые из них говорят, что это гнусное место и работать здесь плохо.

Хоири и Меравека не понимали, почему мистер Смит торопится. Но не все ли им равно почему? Они тоже, как и он, хотят, чтобы обход закончился скорее, лишь бы только это не повредило их здоровью: не хочется, когда закончится обход, на много месяцев оказаться прикованным к постели. Но нужно послушать все же, что говорят старшие.

— Наверно, этот белый парень тоскует по женщине — быть может, женщине одного с ним цвета кожи, но только здесь это большая редкость. Зато наши девушки восполняют

недостаток с лихвой. Они даже предлагают себя им бесплатно — считают, что лечь с белым человеком большая честь. Да и то сказать, белых людей в наших краях не так уж и много, а девушкам хочется, чтобы о них побольше говорили.

Хоири устал, но ложиться спать ему не хотелось — ведь могли бы подумать, что он слабый. Да и разговор повернул от бесплодных рассуждений к более интересной теме. Кто-то упомянул Порт-Морсби. Ну уж такому искушению он противиться не мог. Словно невыносимый зуд охватил Хоири — так захотелось ему вступить в разговор тоже. Но кого он удивит тем, что там побывал? И Хэра и сержант знают о городе больше.

От горячего риса в желудке всем стало веселее. Зачем думать о том, что будет завтра? Все образуется. Сейчас самое важное, чтобы ночной разговор не закончился грустно. От того, с каким настроением ты завершишь сегодняшний день, зависит и завтрашний: когда, засыпая, испытываешь чувство довольства и братства, это всегда помогает начать следующий день хорошо.

Говорили все больше Хэра и сержант Лату — о лучшем молодые не могли и мечтать. Старый сержант рассказывал о жизни полицейского, а Хэра — как работал на доках.

— Я бы не стал винить во всем наших женщин, — заговорил опять Хэра. — Уж какими-какими, а глупыми их никак не назовешь. Не меньше виноваты белые люди, ведь это от них мы узнали, что такое табак и деньги. Они ловко придумали: едва им что-нибудь понадобится, сразу начинают дразнить нас табаком и деньгами — и уж мы готовы для них на все.

— Ты совершенно прав, — согласился сержант. — Когда я работал в Порт-Морсби в полицейском участке, многие наши женщины, у которых только что родились дети-полукровки, приходили и просили полицию найти белых отцов их детей. Что мы могли для них сделать? Обещали, что найдем этих проходимцев, а пока, говорили, ждите. Ну и, конечно, на том дело и кончалось. Ведь разыскать тех мужчин надежды не было никакой.

— Ну нет, не думаю, чтобы найти их было так уж трудно, — возразил Хэра. — Не так уж много их бродит по стране. Другое дело, что жалко тратить на это силы и деньги. Большого вреда от них нет — не больше, чем от остального, что принесли к нам белые люди. Но послушайте-ка, что я вам скажу. — И тут Хэра повернулся к молодым. — Если кому-нибудь из вас доведется работать в Порт-Морсби и белая женщина начнет к вам ластиться, смотрите не обращайтесь на это никакого внимания. Я, когда был там, своими глазами видел, как нескольких парней чуть было не повесили, но им повезло — обошлось несколькими годами тюрьмы. А кроме того, им запретили, когда они отбудут срок, появляться снова в Порт-Морсби.

Едва он договорил эти слова, как сквозь туман донесся стук одной лодки о другую, а потом послышались чьи-то неясные голоса. Все глаза обратились к Хэре и сержанту Лату. В одно мгновение сержант был уже на ногах; в одной руке он сжимал винтовку, в другой — электрический фонарь.

— Может, это кукукуку отрезают нам единственный путь к отступлению — хотят напасть на нас, — торопливо проговорил он и взмахнул рукой: всех будить.

Сержант повернулся, собираясь направиться к палатке начальника патруля, и нос к носу столкнулся с часовым.

— Все хорошо, начальник, — с трудом переводя дыхание, сказал тот.

— Что хорошо? Что это не враги, ясно и так. Ну, а если бы были враги? Не много же ты оставил нам времени, чтобы спрятаться. Один бы только и уцелел, если бы маленькие воины с гор не положили и твою голову коптиться на полке над очагом.

Часовой стоял, вытянувшись, и не мигая глядел на темную фигуру сержанта — ждал, когда можно будет объяснить, почему прибытие лодки, полной людей, застало его врасплох. Наконец он дождался такой возможности, но полицейская выучка сковала ему язык.

— Ну ладно, кто они такие? — спросил сержант, и часовой понял по его голосу, что теперь можно успокоиться и забыть о том, что только что между ними произошло.

В воздухе, как ядовитые пары, плавало ощущение опасности, и спящие, чтобы в нем не задохнуться, приподнимались и садились. Головы поворачивались к ногам, одна за другой вступавшим в свет фонаря. Еще через несколько мгновений, уже в свете костра Хэры, откуда языки пламени рвались в какое-то место, известное только облакам, стали видны и лица. Ни у тех, кто сидел, ни у тех, кто пришел, не было чувства, что именно они должны первыми нарушить тягостное молчание, от которого одних бросало в жар, а других в холод.

Желтые отблески костра играли теперь и в глазах пожилого человека, который первым

вошел в лагерь. Медленно-медленно, как будто никаких других дел у него больше не было, он стал оглядывать лица одно за другим. Казалось, прошла целая вечность, прежде чем глаза его осановились на Хоири.

— Аравап! Дядя! Что случилось?

От голоса Хоири Аравап словно очнулся и теперь двинулся вперед.

С каждым шагом, приближавшим дядю к племяннику, рост его как будто уменьшался на фут. Ноги его подкашивались, а потом совсем отказали, и его вес обрушился на Хоири мешком копры. Они обнялись и заплакали.

ГЛАВА ШЕСТАЯ

Джон Смит стоял в пижаме. Глядя на его лицо, можно было подумать, что в Джона Смита недавно влили изрядную толику свежей крови. Правую его щеку пересекала извилистая грязно-коричневая линия — во сне он пустил слюну. Линия начиналась от уголка рта и исчезала где-то около уха. Голова его моталась, как будто на нее положили что-то тяжелое. На брови, придавая им неестественную в его возрасте густоту, нависали пряди блестящих светлых волос. Сквозь полуоткрытые веки белый человек сперва обозрел стоящего перед ним навзятжку сержанта, потом перевел взгляд на полупустую бутылку рома и радужную тень, которая от нее падала. Он удовлетворенно кивнул, убедившись в том, что угроза рома в бутылке не изменился.

— Разве я не говорил тебе — мой сон можно нарушать только в случае самой крайней необходимости? А? Разве не говорил? — пробормотал мистер Смит, выставляя вперед ногу каждый раз, как внезапное качание головы нарушало его равновесие.

Язык у него заплетался. Сержант словно прирос к земле, а мистер Смит дышал ему зловонным перегаром прямо в лицо.

— Ну так какого же дьявола? Выкладывай, раз такая спешка, — ведь все равно я поднялся.

— Дурные вести, сэр, — сразу ответил Лату, понимая, что возможность сказать может больше не представиться. — Крокодил съел в деревне женщину. Она жена вон того человека. — И он показал большим пальцем в сторону Хоири.

— Это ты все выдумал. Просто ты хочешь сорвать обход. Да, да, точно, так оно и есть. И до чего хитро придумано! Выбрал самый подходящий момент, когда я пьян. Я не ошибся, когда подумал: ты хитрая бестия.

И мистер Смит насмешливо расхохотался.

— Нет, сэр, я ничего не выдумал, это все правда. Вот эти люди из его селения, это они принесли дурную весть.

— Ну а если и правда, то что из этого? Мне-то какое дело?

— Я прошу вас, сэр, отпустить Хоири и Меравеку домой, в селение, они будут искать там крокодила.

— Отпустить двоих, только и всего? А больше ты ничего не хочешь? Ну рассмешил! Да это в голове не вмещается: несколько месяцев планирования и подготовки — и все зря! Подумаешь, крокодил съел одну женщину! Одним ртом будет меньше! Работа администрации должна идти без помех. Для администрации вы малые дети, а значит, и для меня тоже. Мое дело следить, чтобы вы не просили того, чего вам не нужно, и не создавали из ерунды проблем. Пусть хоть земля перевернется — интересы администрации важнее! Не приставай ко мне больше.

Лату увидел, как белые пятки человека, которого он пытался убедить, исчезают за светлой москитной сеткой. Он повернулся, чтобы уйти. Последняя фраза мистера Смита все звучала у него в ушах. Разговор оказался пустой гратой времени. Никакого определенного ответа на свою просьбу отпустить Хоири и его двоюродного брата он так и не получил. Стало ясно, что решать придется самому — и да поможет ему бог, когда настанет время отвечать за это перед начальством. Встанет ли хоть один из них, прежних начальников патрулей, посмотрит ли как мужчина в глаза самому главному, вступится ли за своего сержанта? О том, что происходит в комнате суда, он кое-что знал. Как ему поступить? Сомнения не оставляли его. Дело очень серьезное, решить его нужно срочно, и не так уж важно, кто решение примет. Ясно одно: он понимает, как серьезно положение, а Смит нет.

— Друзья, вы сами все видели и слышали,—обратился к носильщикам сержант.—Этот начальник патруля мало того что молодой — он еще и неопытный. Он, как в коконе, в своих мыслях белого человека. Человек с таким цветом глаз по-настоящему не видит, как мы живем,—ведь мы снаружи кокона, а он внутри. Если вы знаете хоть немного, каковы белые люди, вы можете понять, почему он сейчас так себя вел. К своим родным они не испытывают тех чувств, что испытываем мы. Я видел, как они ведут себя у могил своих жен, мужей, отцов или братьев: из глаз их не упадет ни слезинки. Быть может, от того, как они живут, их сердца каменеют — становятся тяжелыми и шершавыми и ничего не чувствуют.

— Послушай, что я скажу тебе, друг,—заговорил Хэра.—Большинство людей в нашем патруле согласилось пойти только потому, что знали: сержантом у нас будешь ты. Мы все слышали о том, как ты управляешься с упрямыми и недобрыми начальниками патрулей. Мы знаем, что ты умеешь защитить людей от прихотей и заносчивости белого человека. Но мы, мы сами тебя на этот раз подвели. Ты не смог на нас опереться, как опирались на свой народ предводители, когда одна деревня воевала с другой. Правда, нынешняя война совсем не такая, как те,—здесь все оружие только у одной стороны, а у другой ничего нет. Но мало этого: такое оружие, как у них, нельзя сделать сразу, когда тебе этого захочется. Добыть его можно, только если ты будешь ходить в школу и выучишь их английский язык. Язык и школа — вот их оружие, и нечего удивляться, что они не раздают его направо и налево. Но если бы и раздавали, брат то, что они дают, было бы опасно. Многие из нас слышали, как кончили некоторые наши братья, те, кто раньше времени стал таким же умным, как белые люди.

Называть имена этих несчастных Хэре не было никакой необходимости — их знали все. Упоминать их, рассказывая о случаях, которые привели к их смерти, было нехорошо: ведь виноваты в том, что с ними случилось, в большой мере были они сами.

От тихого рокота человеческих голосов, от падающих с деревьев росинок и доносящегося издалека рева водопадов предутренняя тьма казалась живой. В это время одни птицы отходили ко сну, другие же, наоборот, только начинали просыпаться. При свете факелов Хоири и Меравека собрали свои пожитки и пошли к приплывшим односельчанам — тех было несколько. Ни один, кроме дяди Аравипе, не был родственником Хоири или Меравеки, но когда приходит беда вроде той, которая теперь случилась, становится видно, каков тот или другой человек на самом деле.

Хотя лодка и выглядела хрупкой, от веса еще двоих она бы намного глубже в воду не погрузилась. Хоири и Меравека еще не сели. У того и у другого в левой руке была свернутая постель, совсем легкая. Веревки, благодаря которым меньшая лодка стояла возле больших, были уже отвязаны, но весла еще удерживали ее на месте. На какое-то время и те, кто остался, и те, кто должен был сейчас отплыть, замолчали.

— Сержант Лагу, старший брат, ты очень добр ко мне и Меравеке, раз отпускаешь нас,—заговорил наконец Хоири дрожащим голосом.—Большое спасибо тебе, особенно от меня. Но каково тебе придется теперь? Ведь если ты не будешь работать, ты не сможешь кормить семью. У тебя нет огорода, не то что у большинства твоих ровесников. Что, если из-за нас ты потеряешь свою работу?

— Сынки, посмотрите на мои зубы — видите? Одни стерлись почти до самых десен, а другие и вовсе выпали. Это оттого, что я много лет подряд ел рис с мясом и рыбой из консервных банок и пил большими чашками сладкий чай. Мне нравится курить, я выкуриваю по две скрутки табака в неделю, и от этого зубы у меня теперь черные. Прослужил я уже пятнадцать лет, и что я имею от этой своей работы? Старую сломанную швейную машину, такую же беззубую, как я сам. Дробовик, чтобы другие видели, сколько я прослужил, только стрелять из него мне почти не приходится. Чиновники администрации твердят, что без меня все в окружном управлении пойдет кувырком — это потому, что сами они не хотят ни за что отвечать, а только думают, как бы им повеселее провести время с пятницы по воскресенье. Нет уж, с меня довольно, пусть выгоняют, если хотят, мне все равно. Смогу хоть, пока еще есть силы держать топор, начать растить для своих детей кокосы, саго и бетель. Как живут на пенсию, я видел, так что ее дожидаться едва ли стоит.

И старый сержант, наклонившись, толкнул лодку, где сидели Хоири и его друзья, вперед, в стремительное течение Тауре.

Хоири захлестнуло чувство благодарности к сержанту Лату. Одно дело, если бы сержант был ему близким родственником или хотя бы односельчанином, но ведь Лату из

других мест, из небольшой деревушки в низовьях Тауре. Может, когда-нибудь представится случай отплатить сержанту за доброту, а если не самому сержанту, то кому-нибудь из его родственников.

Мысли сменяли одна другую, что-то увидится смутно, потом исчезнет, иногда так быстро, что не успеешь и разглядеть. Казалось, что где-то в затылке падают одна за другой капли теплой воды. Тряхнуть головой, еще и еще раз — может, хоть так от них избавишься? Но капли становились все тяжелее, падали все ближе и ближе ко лбу и наконец полились потоком из глаз.

Небольшая лодка несла свой безмолвный груз мимо торчащих из воды коряг и стволов мертвых деревьев. Если бы кто-нибудь посмотрел на нее с берега, он сказал бы, что эти неясные темные фигуры сидят прямо на воде и что они все одинаковые.

— Эй вы, там, на носу! — нарушил наконец молчание Арававе. — Не закрывайте глаз, не спите — если врежемся в ствол, нам конец. — Арававе откашлялся, зачерпнул ладонью воды и попил. — Судя по деревьям на берегу, плывем мы довольно быстро. Плыть еще быстрее опасно — если мы все разом наляжем на весла, наверняка потонем.

Весла в руках не было только у Хоири. Раз или два, видя, что лодка плывет не так быстро, как ему бы хотелось, он предлагал грести тоже, но дядя Арававе ласково говорил, что ему делать этого не надо. Вообще же Хоири почти все время сидел сгорбившись, спрятав лицо в ладони. Слезы все текли и текли, стекали с одной руки на другую.

— Покуришь? — спросил кто-то у него за спиной.

Хоири приподнял голову, покачал ею и показал рукой, чтобы длиннющую самокрутку передали тому, кто сидел позади него.

— Да ведь холодно же, — снова настойчиво заговорил тот же голос. — Затянись хоть разок, согреешь легкие.

Согреться Хоири не хотелось, да он, сказать правду, и сам не знал, чего сейчас хочет его тело.

— Я знаю, сынок, каково тебе, — ровно и как-то невыразительно заговорил Арававе. — Ты возвращаешься домой, но домой можно возвращаться по-разному. Юношей ты вернулся из Порт-Морсби, где вы с отцом меня навестили, и это возвращение было для тебя радостным — ты возвращался с подарками для тех, кого любил. Потом ты женился, но тебе так и не довелось узнать, что значит возвратиться к своей семье. Эх, не я должен был бы сейчас везти тебя... — Наступило долгое молчание. — Но выбора не было, ведь твоему отцу пришлось остаться, чтобы возглавить поиски.

И Арававе стал рассказывать племяннику о событиях, которые предшествовали несчастью. Когда чувства, которые испытывал Арававе, становились слишком сильными и он не мог больше говорить, его рассказ подхватывали и продолжали за него другие.

Люди в селении объясняли исчезновение Миторо по-разному. Женщины, вместе с которыми она ловила рыбу в тот страшный день, рассказывали о том, что произошло, каждая по-своему. Одна говорила, что они стояли локоть к локтю на мелком месте, где вода была немного выше колена. Их верши стояли рядом, вплотную одна к другой, между ними и водой поглубже. Миторо и еще нескольких оставили у вершей, а другие женщины пошли выгонять рыбу из камыша около берегов, где она часто прячется. Обрыскав камыши и убедившись, что рыбы там больше нет, женщины в надежде на хороший улов поспешили назад к своим вершам. Но напрасно: в вершах оказалось всего несколько мелких рыбок. Они уже садились в лодку, думая попытать счастья в каком-нибудь другом месте, когда кто-то из них заметил, что нет Миторо. Женщины тут же вернулись в селение и подняли тревогу.

— Это случилось два дня назад, и когда мы отплывали, все мужчины уже искали ее, — добавил Арававе, сумевший наконец справиться со своим волнением. — Мы узнаем больше, когда приплывем.

Многим из подруг Миторо не раз доводилось слышать о том, что бывает, когда чело- века утащит крокодил, а некоторые даже видели кое-что собственными глазами. Сперва крокодил приподнимает жертву над водой — показать ее товарищам жертвы, оцепеневшим от ужаса. Жертва к этому времени уже мертвая, но еще не изуродована. Потом крокодил ныряет, и друзья жертвы больше уже никогда не увидят ее целой, с руками, ногами и головой. Обычно чудовище утаскивает добычу в избранное им место где-нибудь поглубже,

где течение не очень сильное. Иногда он пожирает ее один, но иногда зарывает в ил и отправляется звать друзей, чтобы угостить их тоже.

Хоири хотелось узнать о гибели жены как можно больше, но расспросить не хватало духу. Однако это было и не нужно: попутчики рассказывали все новые и новые подробности и из них постепенно складывалась картина того, что произошло.

— Кто-нибудь из женщин говорил, что видел, как крокодил поднял ее над водой? — спросил Меравека.

— Нет, и тут-то и начинается непонятное в этой страшной истории. Точно мы не знаем — может, крокодил сделал так, но женщинам было слишком страшно и они не стали смотреть.

Тем, кто плыл в лодке, места эти казались безрадостными, и им чудилось, что на каждом брошенном людьми огороде поселился теперь какой-то злой дух. А ведь в другое время эти же самые люди не пожалели бы кожи своих ладоней и ягодич только ради того, чтобы лишний раз полюбоваться красотой этих мест и подышать бодрящим запахом этих деревьев. Это было убежище, сюда спасались, когда уже невыносимо становилось чувствовать себя ребенком, которому белый человек указывает, что и как надо делать.

— Люди не всякую смерть считают плохой, — снова заговорил Арававе, которому очень хотелось подбодрить племянника. — Смерть от болезни хорошая, и не только она, но и любая смерть на твердой суше, потому что твои близкие, которые тебя любят, смогут в последний раз посмотреть на твои лицо и тело долго и пристально. Смотреть на тебя они будут особенными глазами, а не теми обычными, которыми смотрели на тебя каждый день, когда ты был жив. Мы не белые люди, у нас нет фотоаппаратов, чтобы сохранять лица наших родных, поэтому в последний раз твои родные будут смотреть на тебя так, чтобы твое лицо осталось в их памяти навсегда. Такой же смертью ты умираешь, если упал с кокосовой пальмы или если тебя ужалила змея. Но умереть так, как умерла твоя добрая жена, — это самое грустное, что может случиться с человеком.

Только теперь Хоири понял, что его чувства к Миторо куда глубже, чем те, что связывают обычно жену и мужа. Заглянув в себя, он увидел по-настоящему, как она ему дорога. Но что толку от всего этого теперь? Ее ищут уже почти три дня — увидеть ее живой нет больше никакой надежды. Но если все же бог смилостивится и Миторо найдут живой, он будет делать для нее все, на что у него только хватит сил. Никогда больше он не оставит ее одну, пусть даже его в тюрьму за это посадят — все равно не будет стыдно. Но к чему жить теперь? Тело Миторо уже разорвано на куски, и чудовище, крокодил, их переваривает.

Он вскочил, чтобы прыгнуть за борт, но не успел: сильные руки схватили и удержали его.

— Мы знаем, что ты сейчас чувствуешь, — сказал кто-то. — Тебе кажется: если другой крокодил утащит тебя, для тебя это будет самое лучшее. Но твоя жизнь еще не может кончиться — кто же будет тогда заботиться о маленьком Севесе? Кто научит его, как сделать маленький лук и стрелы, когда будут играть со своими луками и стрелами его сверстники?

Хоири не понимал, кто все это ему говорит, — казалось, будто говорят разом все в лодке. Ничего постыдного в том, что он только что хотел сделать, не было. Чего-нибудь вроде этого от него ждали — его поступок доказывал, что он искренен в своем горе. Отдельно мужчина и женщина стоят каждый как бы на одной ноге, а брачный союз дает каждому из двоих ногу, которой у того нет. И уж если ты испытал, что значит ходить на двух ногах, жить, стоя на одной, тебе просто не захочется.

У большинства хижин висели между свай полоски, нарезанные из листьев ниповой пальмы. За два дня они утратили свой кремово-белый цвет и закручивались теперь в разные стороны. Люди говорили друг другу, что полоски помогли: дух погибшей, как и рассчитывали, подумал, что полоски — это змеи, и зайти под дом побоялся. Дух не тыкал в них ничем сквозь щели в полу, не брызгал водой, от которой стынет мозг. Наверно, Миторо жалеет односельчан, не то что человек, которого крокодил утащил год назад. А еще хуже было, когда крокодил утащил жителя соседнего селения: в Мовеаве тогда не знали покоя с сумерек до рассвета, особенно в первую ночь после несчастья. Тогда не помогли и полоски из листьев ниповой пальмы, дух умершего тыкал в людей пальцем снизу, сквозь щели

пола, и люди ему говорили: «Ты, вонючие кишки, мы не твои односельчане! Когда ты был живой, ты набивал себе брохо всякой всячиной. и твои кишки от этого становились все вонючей и вонючей, а сейчас крокодил, сожрав тебя, веселится, разбрасывает их в разные стороны и отравляет нам воду».

На кусты и пальмы по берегам реки уже наступали, проглатывая их, темные тени. Лодкам, отплывшим на розыски, находить дорогу в поблескивающей воде было не очень трудно. Плыли они все три в один ряд. Хоири был в средней. Одну лодку от другой отделило по нескольку ярдов воды. Все три лодки были большие, каждая легко могла вместить десяток людей.

Как и на остальных, на Хоири была сихи¹⁴, сейчас туго натянута: с левой стороны за нее был засунут и плотно прижимался к его бедру топор.

Дна в лодке не было видно под острыми копьями и стрелами. У многих из них наконечники были стальные, у других из черной пальмы, и на некоторых было по шесть острых зубьев. К самому длинному шесту, какой удалось найти, крепко привязали, удлинив его этим еще больше, стальную палку с острым трезубцем на конце.

Все молчали. Глаза обегали реку и оба берега — не шевельнется ли что-нибудь. Уши прислушивались, не затрубят ли на какой-нибудь из лодок в раковину.

— Он ее еще не съел,— низким и полным тревоги голосом сказал Севесе.

— Да, от воды нет никакого запаха. И на том, что вода выбросила на берег, не видно никаких жирных пятен. Надо искать поближе к устью, и не только в самой реке, но и в притоках.

Небо было чистое, и звезды лучились неярким светом — помогали как могли людям, плывущим по реке далеко внизу.

Лодка, в которой плыл Хоири, наконец остановилась под уходящими ввысь кокосовыми пальмами; тьма здесь была почти непроглядной. Вода опять поднялась высоко, поэтому Хоири смог прыгнуть с носа прямо на землю, влажную, но твердую. Его спутники увидели, как он растворился во мраке, и лодка бесшумно отплыла. Хоири начал нащупывать копьём стволы кокосовых пальм, выбрал пальму потолще и стал спиной к ней, а лицом к реке. Постепенно глаза его привыкли к темноте, стали видеть лучше. Следуя взглядом за рябью, Хоири смог разглядеть смутные очертания лодки, которая становилась все меньше и меньше, пока наконец не исчезла в ночи совсем.

Он плотно прижимался спиной к кольцам пальмового ствола. Пальцы не спеша двигались от одного чешуйчатого кольца к другому, и через руку в тело вливались уверенность и покой. Дерево было товарищем, высоким, крепким, с шершавой кожей. Не важно, что они не могут разговаривать. В левой руке у него лук и стрелы. Одна стрела упирается в тетиву, ее он может выпустить в одно мгновение. Копье стоит рядом справа, его стальной наконечник возвышается над головой.

Как хорошо было бы, думал Хоири, если бы и все остальное люди делали сообща, слаженно, как две ноги одного человека! Одна нога не хвастает тем, что держит на себе тело человека дольше чем другая; а если случится, что одна искалечена, другая безропотно принимает на себя и ее работу тоже.

Кокосовые листья над головой зашуршали, и что-то, едва не задев кончик его носа, пронеслось вниз и глухо ударилось о землю прямо у его ступней. Земля брызнула во все стороны, обсыпав обе его лодыжки. Что это с ним? Кажется, дух покинул его тело и оно застыло в оцепенении!

Над головой забили чьи-то крылья, и он опомнился. Пальцы, судорожно сжимавшие холодный металл на бедре, ослабли. Стало стыдно: так испугаться какой-то вонючей твари с кулак величиной! Эта летающая лисица выронила гладкий молодой кокос. Упал он, правда, что-то уж очень близко. Едва ли такое могло произойти случайно. Не целилась ли она в него? Похоже на колдовство.

Нет, в том, что у летающей лисицы упал кокос, нет ничего плохого; правда, кокос чуть было не оглушил его, но в то же время не дал ему задремать.

За рекой созвездие из четырех звезд, которое люди называют Оамалала, поднимается над темными очертаниями леса все выше и выше. А вот и отражение этих звезд в воде.

¹⁴ С и х и — набедренная повязка, сплетенная из волокон мягкой коры, пропущенная между ног и опоясывающая торец.

Но оно не совсем как настоящая Оамалала: четыре луча сливаются в один длинный луч, который почти доходит до его ног — так высоко стоит вода в реке; выше, чем сейчас, она не поднимается.

Пока сон не пытается больше завладеть его веками. Где-то на этом же берегу на воду внимательно смотрит и его двоюродный брат Меравека. Говорят, как раз здесь, на этой полосе берега, помощники колдунов, приплывая верхом на крокодилах, встречаются со своими хозяевами и отдают им добытое.

Хоири опять вспомнился кокос: это надо же, чтобы упал так близко, ведь чуть не убил! Кто-то спас его, не иначе. Внезапно словно кровь прихлынула горячей волной: как же это он позабыл о своем тезке, духе — покровителе рода? Про него говорил отец, когда рассказывал о чудесном спасении его, Хоири, деда, — они еще плыли тогда с отцом на лакатои в Порт-Морсби. Ну теперь не так страшно, раз у него есть защитник. Можно не прижиться больше так крепко к стволу пальмы.

Пальцы правой руки снова поползли по чешуйчатой коре, по тем ее местам, где они еще не были. Они нащупали надрез: видно, кто-то вырезал на бедной пальме свое имя. А ведь как больно бывает дереву, когда в его живое тело входит топор или нож! Дальше, дальше — да ведь это же буква V!

А это что такое? Плывет с запада на восток, против течения. Передняя часть похожа на шар, и от нее бегут мелкие волны — ну конечно, это крокодил! В одном глазу крокодила отражается мягкое сияние Оамалалы, только здесь эти звезды светят уже не холодным голубым светом, а красновато-коричневым — так светятся угли, когда потухнет пламя.

Что-то густое и вязкое, вроде того, из чего плетет свою паутину паук, начало затягивать Хоири горло. Колени ослабли на миг, потом затряслись. Только бы остановить эту тряску! Ведь он сам говорил, что любил Миторо, и вот теперь наконец он сможет за нее отомстить. Его палец снова обвел букву, вырезанную в стволе. Все тело напряглось. Он свистнул не пронзительно, но довольно громко и стал ждать.

Крокодил повернул к берегу и поплыл прямо к месту, где стоял Хоири. Да, этот крокодил не простой. Свистят! Оттуда, где крокодил, — наверно, в ответ. Нет, свистеть опять он не станет: как бы себя не выдать.

Крокодил между тем плыл прямо к нему. Хоири стоял в каком-нибудь футе от воды. Выплыв на мелкое место, крокодил стал на лапы. Еще несколько мгновений назад казалось, что длиной он не больше ярда, а сейчас стало видно, что он как большая лодка. Чудовище медленно двинулось дальше к берегу, потом остановилось.

Только бы крокодил не услышал его дыхания! Сихи больше не облежала плотно бедер — рука уже выхватила топор и сжимала топорнице так крепко, что, будь оно внутри полое, наверняка бы сломалось. Хорошо бы, пока он будет рубить топором, еще кто-нибудь бросил бы в крокодила копьё!

Кокосовая пальма, которая до этого служила ему надежной опорой, теперь защищала его от страшной твари. С хвоста крокодила кто-то слез, иначе откуда бы это шлепанье ног по воде? Голова крокодила на суше, разглядеть, не слезает ли кто-нибудь и с нее, нельзя. Шлепанье ног по воде все ближе и ближе. Он прислонил копьё к стволу так, чтобы удобно было схватить.

Шаги уже совсем близко! Изо всей силы Хоири обрушил на невидимое существо свой топор. За воплем, который раздался, он почти не услышал своего военного клича. Высвободить топор удалось не сразу, лезвие слишком глубоко вошло в то невидимое, и когда он поднял топор, чтобы ударить еще раз, невидимый уже исчез в ночи. Прочь от хвоста: одним его ударом крокодил может переломать все кости! Хоири метнул копьё, оно вонзилось крокодилу глубоко в спину. Вслед за копьём толстую крокодилию кожу одна за другой пробили несколько его стрел.

На другом берегу затрубила раковина, громко и долго. В прохладном ночном воздухе ее звук разносился далеко кругом. На других лодках затрубили тоже, передавая дальше весть о том, что крокодил наконец попался. Отовсюду — сверху, снизу и из притоков — лодки поплыли к месту, где был Хоири. Волны, расходившиеся от них, избегали на берега и будили крабов, лягушек и москитов. Качанье камыша у берегов погнало из укромных уголков рыбу, прятавшуюся там последние два-три дня. пока шли поиски. Многие рыбы, когда рядом оказывалась лодка, уносились, сердито сверкнув, ко дну, в глубокие места реки.

— Сын Хоири Севесе Овоу,— кричал Хоири снова и снова, едва набрав полную грудь воздуха,— знай, как сильна рука твоего отца!

Ко времени, когда приплыла его лодка, у Хоири уже почти не оставалось сил, но растратил их он не в бою с крокодилом, а скорее в танце победы после боя. И теперь силы ему придавала только радость оттого, что он видит, как его враг корчится в агонии. Не зная, как дать выход переполнявшему его восторгу, он выпустил в воздух все стрелы, кроме двух.

Но крокодил, судя по всему, Хоири даже не замечал. Похоже было, что криков торжества он не слышит — во всяком случае, хвост, который сейчас будто подметал землю, двигаться быстрее от этих криков не стал. Для крокодила, по-видимому, не существовало сейчас ничего, кроме длинного копы Хоири, которое пронзило его насквозь между ребер с правой стороны примерно на полпути между передней и задней лапами. Когда крокодил, пытаясь уменьшить боль, приподнимался на лапы, становилось видно торчащее из живота острие. То и дело крокодил принимался вертеться на месте, иногда в одну сторону, иногда в другую; вертелся он удивительно быстро. Казалось, что у него кружится голова и он не знает, куда идти — потерял направление. На миг он замер, повернувшись головой к кокосовой пальме, за которой стоял Хоири. Чтобы не вдохнуть его обжигающего дыхания, такого ничтожного от застрявших в зубах гниющих остатков растений, Хоири плотно прижался ртом и носом к стволу: вдохнуть слишком много этого дыхания было бы опасно для жизни.

Небо приоткрылось, и наконец-то в первый раз со дня, когда произошло несчастье, свет его был полон сочувствия и радости, что поиски оказались успешными. Но животворные лучи не только подбодрили людей, они также помогли крокодилу опомниться и подумать о том, что ему делать дальше. Он пополз назад к реке, стальным острием прорезая в земле узкую борозду. Каждый раз, как острие цеплялось за какой-нибудь корень, крокодил от боли мычал, как корова. Но слишком поздно обратился он в бегство. Он только и успел что сунуть голову в воду, но тут крокодилу пришлось остановиться: острые топоры уже рубили ему основание хвоста. Напрасно могучие лапы вцеплялись в глину — его все равно вытащили назад. Вскоре и лапы отказались ему служить. Он открыл было пасть — ему мигом вставили между верхней и нижней челюстями крепкую, заостренную с обоих концов распорку.

Право прикончить крокодила принадлежало Хоири. Севесе протянул сыну топор, не слишком большой и не слишком маленький. Первый удар — посыпались искры, и на голове у крокодила появилась вмятина. После второго удара топор застрял глубоко в черепе.

Сквозь ноздри крокодила проделали кусок ротанга в дюйм толщиной, такой длинный, что за него могли ухватиться десять человек. На землю в трех футах один от другого положили катки, и тащить тело крокодила, теперь уже безжизненное, стало намного легче.

— Сынок, ты еще молодой,— сказал Севесе.— Не подходи к нему больше. В желудке у него заперто зловоние всего, что он сожрал за свою жизнь. Зловоние это необыкновенно сильное, и если ты его вдохнешь в себя, то не пройдет и трех месяцев, как твои колени ослабнут. После этого ты до конца жизни сможешь ходить, только опираясь на две палки. Бывает, те, кто нанюхался крокодилийей вони, становятся такими слабыми, что каждый раз, как им нужно сходить по большой нужде или по малой, родным приходится их нести на себе. Я уже старый — не страшно, если такое случится со мной, но у тебя еще много лет впереди.

Это была работа для людей, волосы у которых уже седые. Умелыми движениями они отрубили ребра от позвонков и, откинув их в сторону, вскрыли брюшную полость. Там было два ряда сумок: в одних переваривается только что съеденное, другие служат чем-то вроде кладовой для того, что не переварилось.

— Давайте сперва посмотрим, что в желудке,— сказал один из стариков.— Всего три дня как она пропала — должна бы еще быть там.

За эти дела берутся только люди, очень выносливые к запахам. Против зловония, а также духов, которые, возможно, еще живут в желудке у мертвого крокодила, применяют имбирь и морскую водоросль керавари.

— Брр... Тьфу, — с отвращением плюнул Севесе.— Столько сил потратили, разрезали это дерьмо, а ее там нет.

Старик, стоявший с ним рядом, кивнул, и другие согласились тоже: все оказалось так,

как они и ожидали. Но уж раз они взялись за это, то заглянули и в сетку — так всегда делают. Нельзя оставлять человеческий череп гнить в утробе крокодила, он должен быть похоронен в земле.

На ощупь сетка как шелк, и она белая-белая, даже отливает синевой. Все, что меньше больших костей рук или ног, проваливается сквозь треугольные ячейки и вместе с остальными отбросами выходит наружу. В сетке крокодила оказалось два человеческих черепа и несколько больших костей. Севесе опрыскал их изо рта имбирной смесью и сказал:

— Мы не знаем, кто вы,— наш народ и я искали останки жены моего сына, а нашли вас. Мы поступим с вами хорошо, похороним, как полагается хоронить людей. Взамен мы не просим у вас ничего, только не делайте зла нашим близким. Хорошо бы, если б вы помогли нам узнать, кто вы и откуда.

Череп и кости ярко блестели, будто их долго шлифовали и чистили. Их осторожно сложили в корзину из пальмовых листьев. А то, что оставалось от крокодила, сожгли в костре, который развели специально для этого.

Все лодки были украшены от кормы до носа, но не цветами, а полосками, нарезанными из мягких молодых побегов саговой пальмы. Такие же полоски были привязаны у каждого к его оружию. Тела у мужчин были вымазаны черной сажой из костра, в котором сожгли крокодила. Трубным звуком раковин оповещая всех о том, что начинается палаиса¹⁵, лодки плыли домой, в селение. На каждой, размахивая оружием, танцевали и пели по три-четыре человека.

До селения звук раковин донесся задолго до того, как показались лодки. Матери знали, что он значит, и громкими криками начали созывать детей, а собрав их, со всех ног бежали вместе с ними прятаться. Матери, не успевшие разыскать своих детей или разыскавшие их слишком поздно, залезали под перевернутые лодки; другие, зажимая детям рты, укрылись с ними в высокой траве. Палаиса тем временем становилась все более и более буйной: приплывшие пробивали у лодок донья, ломали площадки перед дверьми хижин, выбивали ступеньки из лестниц, и ступеньки падали на землю грудями щепок. Некоторым женщинам повезло — они успели втащить лестницы в хижины прежде, чем их настигла палаиса. Женщин и детей, которые не успели спрятаться, немилосердно избивали. Только когда похоронили черепа, закончился этот неистовый танец победы.

Хоири пошел в дом для мужчин; Севесе был уже там. Все, кто охотился на крокодила, должны были пожить некоторое время отдельно от своих жен и детей. Тем, кто вонзил в крокодила копье или даже только дотронулся до него мертвого, полагалось недели две жить отдельно. Те же, кто вскрывал крокодила и дотрагивался до содержимого его желудка, должны были жить в доме для мужчин дольше.

— В этом горшке кое-что еще осталось,— сказал Севесе,— так попей-ка, сынок. Цвет как у чая, но на самом деле это не чай, а сок одной травы, которая убивает все плохие запахи. Если не выпьешь ее, за тобой могут начать ходить злые духи.

Опять и опять Севесе повторял сыну:

— Нужно, чтобы ты понял и запомнил все, чему я тебя учу, от этого будет зависеть очень многое. Посмотри, вон мне уже сколько лет, а руки и ноги у меня такие же сильные, как прежде, и спина совсем не горбится. Если и ты хочешь остаться таким в моем возрасте, нужно, чтобы ты был силен духом.

К концу третьей недели пост кончился у всех мужчин. В память о погибшей жене Хоири его семья зарезала шесть свиней. Жены и дети тех, кто, рискуя жизнью, искал ночью, в темноте крокодила, пришли вместе с ними и все съели.

— Ну, сынок,— сказал Хоири отец,— не знаю, где мы возьмем свиней для односельчан, если такая беда приключится у нас в семье еще раз. Если же мы не дадим им свиней или дадим, но мало, мы будем терять и терять наших близких одного за другим.

Хоири не знал, что на это сказать, и заговорил о другом:

— Отец, был какой-нибудь толк оттого, что ты лег спать не поужинав?¹⁶

— Когда?

¹⁵ П а л а и с а — ритуал, совершаемый мужчинами после того, как они убьют крокодила.

¹⁶ По представлениям папуасов, это помогает узнать во сне то, что другими способами выяснить не удается.

— В ту ночь, когда мы принесли домой черепа.

— Ах, тогда? Да, конечно. Ты просто не поверишь: оказалось, что один череп — женщины из Таналы, а другой — мужчины из Кукипи. Оба погибли больше пяти лет назад. Ты заметил, что нескольких зубов у крокодила не было? Этот крокодил был очень старый, черепа в сетке у него только для отвода глаз. Им как раз такой крокодил лучше всего и подходит.

— Но почему им была нужна моя жена, а не какая-нибудь другая женщина? — спросил Хоири с тоской.

— Они мстили за двух колдунов, которых мой брат убил несколько лет назад. Ему повезло: он пришел домой, как раз когда они собирались утащить его жену.

Хоири заскрипел зубами. Как хорошо было бы, если бы оказалось, что своим топором он убил одного из этих колдунов!

Через несколько недель после этого Севесе однажды остановил сына и сказал:

— Похоже, что ты не слишком хорошо работал тем топором.

— Когда, отец? У меня только один — им я рубил крокодила.

— Да, сынок, про это я и говорю. Кое-кто из наших односельчан только что вернулся из Керемы, так они видели там человека с очень большой раной в плече, и санитар сказал, что он выздоравливает.

Хоири тяжело вздохнул.

— Так, значит, колдун еще живой и Миторо сейчас в его руках! Ублюдок — не иначе как мать зачала его от собаки! — сжимая кулаки, пробормотал он.

Перевел с английского РОСТИСЛАВ РЫБКИН.

(Окончание следует)



ПУБЛИЦИСТИКА

ПРАВА ЧЕЛОВЕКА: СУТЬ СПОРА, СУТЬ ПРОБЛЕМЫ

*Новая Конституция СССР. Современный мир.
Социалистический гуманизм и развитие личности.
Правда и ложь о правах человека — тема беседы
за «круглым столом» «Нового мира»*

Заседание участников «круглого стола» открыл главный редактор журнала «Новый мир» С. С. Наровчатов.

С. С. Наровчатов

Дорогие товарищи! Мы собрались здесь, в редакции «Нового мира», в достаточно представительном, как мне кажется, составе. В заседании за «круглым столом» участвуют члены редколлегии нашего журнала — М. Б. Козьмин, М. Д. Львов, Е. М. Винокуров, В. А. Косолапов, В. М. Литвинов, Г. И. Резниченко, А. Е. Рекемчук, Д. В. Тевекелян, а также журналисты-международники — Г. А. Боровик, Ф. М. Бурлацкий, В. С. Зорин, В. Б. Ломейко; ученые, общественные деятели — член-корреспондент АН СССР В. С. Емельянов, правоведы С. Л. Зивс, М. А. Крутоголов и Б. С. Никифоров, философ Э. А. Орлова, историк Н. Н. Яковлев, искусствовед А. И. Рожин; писатели — А. А. Ананьев и Г. И. Геродник.

Думается, что такой состав участников «круглого стола» даст возможность для всестороннего, компетентного, а — главное — глубоко заинтересованного, пристрастного в лучшем смысле этого слова разговора на заявленную нами тему.

Мы наметили для обсуждения целый ряд принципиальных вопросов, все они связаны между собой. Но, разумеется, каждый из участников разговора волен будет выбрать свой собственный ракурс, заострить внимание на тех аспектах, которыми он — в силу своих профессиональных и личностных интересов — занят наиболее активно.

Открывая заседание, я хочу подчеркнуть цель нашей беседы: показать те явления в нашей жизни, которые утверждают подлинный демократизм и гуманизм советского государственного и общественного строя; раскрыть, как идет дальнейшее расширение прав и свобод советских людей; мы также хотели бы рассмотреть цели и характер пропагандистской кампании, якобы направленной на защиту прав человека в социалистических странах, — кампании, которую в последние годы с особым старанием развертывают в Соединенных Штатах Америки и других странах Запада.

Я думаю, что наша беседа с точки зрения техники ее ведения будет носить характер свободного обмена мнениями. Если кто-нибудь захочет взять трибуну на длительное время — пожалуйста. Мне кажется, чем свободнее мы будем общаться и обмениваться мнениями — тем лучше.

Г. А. Боровик,

специальный корреспондент Правления АПН

Я не хочу делать какое-то вступление, но как журналист-международник, долго живший в Америке, писавший о ней, я хочу отметить несообразность той нынешней ситуации, что Соединенные Штаты Америки — страна, которая вошла в историю чудо-

вищными преступлениями против прав как отдельных людей, так и прав народов, эта страна сейчас по различным политическим, пропагандистским мотивам пытается встать в позу защитника прав человека в СССР и других социалистических странах и поучать не кого-нибудь, а страну, которая первая в мире совершила социалистическую революцию, впервые проложила путь к социалистическому обществу, в котором наиболее полно выражаются и соблюдаются права отдельной личности и всего общества.

Однако в принципе, мне кажется, этот сугубо пропагандистский трюк себя не оправдывает.

Думаю, что так называемая «защита прав человека», развернутая в США, — это бумеранг, который обернется против самих хозяев, против нынешней администрации.

О том, на каких международных фактах основаны разговоры о правах человека, которые ведутся сейчас на международных форумах, обещал нам рассказать Владимир Ломейко, которому я передаю слово.

В. Б. Ломейко,
политический обозреватель АПН

Я хотел бы коротко рассказать вот о чем. Действительно, буквально каждый день приходится сталкиваться с разными ипостасями развернутой на Западе кампании по «правам человека», кампании, вступающей в кричащее противоречие с повседневной жизнью капиталистических стран. С другой стороны — на последних встречах с западными журналистами и дипломатами, в том числе и в Хельсинки, приходилось слышать от некоторых из них и такой вопрос, обращенный к нам: почему социалистические страны столь остро отреагировали на кампанию по «правам человека»? Ведь у вас есть солидный тыл, говорили они, вам есть что сказать, у вас есть широкие возможности для наступления вперед в том смысле, что у вас эти права и свободы осуществлены так, как нам это и не снилось. Так почему, мол, вы так остро реагировали на эту кампанию, особенно после Хельсинки?..

Журналистам, дипломатам, бизнесменам, хорошо относящимся к нам, иногда невдомек, что острота реакции с нашей стороны вызвана прежде всего тем, чтобы не дать западной реакции уж совсем увести в сторону мировое общественное мнение.

Вопрос о правах и свободах — это неизменный вопрос человечества, и он занимает умы всех народов.

У советских людей есть все основания гордиться достигнутым в этой области, ибо за исторически короткий срок в шестьдесят лет они прошли огромный участок пути к намеченной цели — полной свободе и полному равенству людей. Советские люди приняли сознательное участие в социалистическом преобразовании окружающего мира, ибо они убеждались — и доказывали — на собственном примере, что это движение не только провозглашает, но и гарантирует их права и свободы.

М. Б. Козьмин,
первый заместитель главного редактора «Нового мира»

Вопрос о гарантиях тех или иных прав — это стержень той проблемы, которую мы сейчас обсуждаем, проблемы прав человека.

Как возвышенно, как вдохновенно звучали слова из американской Декларации независимости: «Жизнь, свобода, стремление к счастью» — или из Декларации прав человека и гражданина: «Люди рождаются и остаются свободными и равными в правах». Они были наполнены подлинно революционным содержанием в период штурма феодально-абсолютистского режима. Но наиболее пронизательные умы вскоре увидели разительный контраст между тем, что провозглашали буржуазные революции, и тем, что несли они народу. «Не дорого ценю я громкие права, от коих не одна кружится голова... — писал Пушкин и, перечислив эти права, заключал: — Все это, видите ль, слова, слова, слова».

Высокие слова о свободе, равенстве и братстве, о неотъемлемых правах человека перестали быть лишь словами только в новом обществе, рожденном Октябрем, в социалистическом обществе, которое уничтожило частную собственность на средства производства и раз и навсегда покончило с эксплуатацией человека человеком, создав тем самым социально-экономическую базу для утверждения прав человека и свободного развития человеческой личности.

Вот об этом нам и следует сегодня говорить, показывая, как развивается сейчас подлинная демократия, советская демократия, успехи которой закреплены в статьях нашей новой Конституции. И еще о том, что же представляет собой сегодня буржуазная демократия, идеологи которой стараются прикрыть ее формальный характер пышными словами о правах человека и лицемерными тирадами о нарушении этих прав и свобод в странах социализма.

В. В. Ломейко

Степень свободы человека определяется прежде всего ее материальной гарантией. Иными словами, чтобы ответить на вопрос, насколько свободен человек, надо знать, каковы его реальные возможности пользоваться материальными и духовными благами. В международном Пакте об экономических, социальных и культурных правах, который был принят в 1966 году Организацией Объединенных Наций, сказано: «Идеал свободной человеческой личности, свободной от страха и нужды, может быть осуществлен, если будут созданы такие условия».

Советский Союз ратифицировал этот Пакт, так же как и Пакт о гражданских и политических правах, не только потому, что в нашей Конституции провозглашены эти права и свободы человека, но и потому, что они у нас материально гарантированы. Не всем известно, что далеко не все западные страны ратифицировали международный Пакт об экономических, социальных и культурных правах. Часть капиталистических стран официально признали, что они не могут обеспечить выполнение обязательств, вытекающих из Пакта.

Главным фундаментом свободы личности в Советском Союзе является свобода от эксплуатации, возможность работать на себя — это право на труд, без которого повисают в воздухе все прочие права и свободы. Все люди являются совладельцами всех средств производства — в этом основа реального равноправия граждан. Социалистическая демократия доказала свою гуманность прежде всего тем, что обеспечила полную занятость всего населения. С 1930 года в Советском Союзе покончено с безработицей.

Сейчас у нас делается все, чтобы труд стал для человека не только источником существования, но и сферой проявления свободы личности, давая возможность раскрыться способностям, талантам, принося человеку глубокое моральное удовлетворение.

Именно вопрос о труде, о праве на труд, о занятости населения — один из главных вопросов демократии и свободы, одна из главных сторон качества жизни человека. Вряд ли можно говорить о подлинной свободе и о высоком качестве жизни в обществе, если для многих его членов под угрозой оказывается сама возможность получить работу. И вопрос не только в материальной стороне дела, хотя она сама по себе является немаловажной. Но даже при относительно сносном пособии **по безработице** — на что предпочитает делать упор буржуазная пресса высокоразвитых стран Запада — человек, лишившийся работы, переживает глубокое нервное потрясение. Недаром психологи отмечают такое явление во многих западноевропейских странах: оказавшись без работы, люди первое время скрывают это обстоятельство от окружающих.

Если учесть, что, по данным американских специалистов, один год без работы равносителен для человека потере пяти лет жизни, то можно представить себе, сколько потерянных лет приходится на каждую страну, если количество безработных в 1974 — 1978 годах на Западе колебалось от 15 до 20 миллионов человек.

За последнее десятилетие уровень безработицы в развитых странах с рыночной экономикой доходил до 9 процентов, а процент частично безработных был в несколько раз выше. Особые трудности в получении работы и выборе свободного места работы выпадают на долю рабочих-иммигрантов. В западноевропейских странах для того, чтобы получить право поменять работу и место жительства, по данным ООН, требуется прожить в стране от 2 до 13 лет. К иностранным рабочим, как правило, не относится принцип равной оплаты за равный труд.

Г. И. Резниченко,*заведующий отделом публицистики и науки «Нового мира»*

Хотелось бы заметить, что американское правительство искусно скрывает от стороннего глаза беды и нужды, бесправное существование рабочих-иммигрантов. Иностранным журналистам, дипломатам редко удается из-за запрета властей наблюдать их жизнь, труд, особенно в сельской местности. В одну из поездок мы оказались вне поля зрения сопровождавшего нас представителя госдепа. Это было в штате Аризона. Мы сделали остановку и по чистой случайности оказались у цитрусовых плантаций. а потом проследовали на ферму, принадлежащую брату сенатора Барри Голдуотера. Фермер был весьма любезен, потчевал нас разными напитками из цитрусовых плодов, хвалился экономикой, доходами, то и дело бросая неодобрительные взгляды на рабочего-мексиканца, когда мы заводили с ним разговор... Даже из отрывистой беседы с «чикано» вырисовывалась страшная картина. Мексиканским рабочим, привезенным на эту ферму, приходится работать от восхода до захода солнца. За тяжелейший труд они могут рассчитывать максимум на 40—60 долларов в неделю. Почти половину этой суммы они выплачивают за продукты, которые продаются на ферме, а треть уходит на различные вычеты. Всю зиму иностранцы жили под открытым небом, ночуя на самодельных кроватях, сооруженных из ящиков, готовили пищу на кострах. Полное отсутствие санитарных условий, рассказывал мексиканец, скученность делают их жертвами инфекционных заболеваний. На эту ферму иностранцев, как скот, доставили на грузовиках с другой фермы соседнего штата Юта, поскольку там надобность в рабочих руках отпала. Если и здесь они окажутся лишними, говорил «чикано», тогда их под конвоем надсмотрщиков, которые постоянно следят за ними, передадут агентам службы иммиграции для высылки из страны...

Проблема нелегальных иммигрантов в Соединенных Штатах отнюдь не новая. Она имеет глубокие корни. По совету итальянца, рабочего-иммигранта Пауло Пикирилли, я познакомился с книгой А. Хоффмана «Ненужные американцы». Есть в ней такие слова: «Более 400 тысяч нелегально проникших в США мексиканцев и их детей, родившихся в Америке, были репатрированы в период 1930-х годов. Эта так называемая могущественная нация, похваляющаяся «высокими моральными принципами», ищет рабочих за пределами своих границ, а затем, поглотив плоды их труда, может хладнокровно отказаться от них, заставляя их чувствовать себя скорее ненужной вещью, нежели людьми».

Американские иммиграционные законы, конечно, жестко формулируют правила допуска иностранцев в США. Но из-за «недосмотра» властей, коррупции, процветающей среди агентов иммиграционной службы, особенно на американо-мексиканской границе, в США широко импортируется дешевая рабочая сила. Газета «Питтсбург пресс» писала: «За взятки иммиграционным властям частная американская авиационная компания в Мексике регулярно занималась нелегальной переброской рабочих в Соединенные Штаты, зарабатывая на этом большие барыши». Кроме того, на южных границах США «работают специальные проводники, которые доставляют большие группы людей за соответствующую плату».

Не знаю — можно ли придумать более жестокое, гнусное издевательство над людьми? Ведь некоторые из них, не подозревая махинаций, едут в США с содействия иммиграционных властей, а затем оказываются вдруг в положении лишних людей, лишенных элементарных человеческих свобод. Не имея никаких прав на защиту в судах и профсоюзах, они влачат жизнь в обстановке страха, социальной несправедливости и экономической эксплуатации, переживают нередко личную трагедию. Чьи права следует защищать, так это, конечно, рабочих-иммигрантов.

В. Б. Ломейко

Практика многих капиталистических стран показывает, что положения Пакта о праве каждого на справедливые и благоприятные условия труда не выполняются. В Швеции, например, женщина независимо от образования получает около 60 процентов заработка мужчины, в Дании — около 75. В США в ряде штатов нет даже правового равенства: закон 1963 года о равной оплате применяется только в 35 штатах.

В социалистическом же обществе, как мы знаем, обеспечено равноправие между

мужчиной и женщиной во всех областях политической, социально-экономической и культурной жизни. Это касается и равной оплаты за равный труд.

Если далее следовать по статьям международного Пакта об экономических, социальных и культурных правах человека, принятом ООН, то мы увидим, что там ставится вопрос об обеспечении лишь бесплатного начального образования. В большинстве капиталистических стран введено только шестилетнее бесплатное образование. Но и эти законы соблюдаются не во всех странах.

А ведь право на образование — одно из важнейших условий для развития личности. Материальные гарантии права на образование в СССР в том, что наше государство берет на себя все расходы по постройке, оборудованию и содержанию учебных заведений, обеспечению преподавательского состава; строит общежития для учащихся, платит стипендию подавляющему числу студентов и т. д. Поэтому у нас и учится каждый третий человек.

Подлинная демократия предполагает создание условий, которые бы обеспечивали всем членам общества достижимый уровень физического и психического здоровья. Это право зафиксировано в статье 12-й Пакта. Социалистическое общество предоставляет своим гражданам бесплатное медицинское обслуживание, чего, как известно, не существует во многих странах даже и с более высоким жизненным уровнем.

Демократия и свобода личности немислимы без обеспечения социально-экономических прав, которые в своей совокупности и составляют главную свободу человека, свободу жить. Это не только наша точка зрения. Японский философ Янагида Кэндзюро пишет: «Как бы широко ни были представлены свобода слова, свобода совести и тому подобные свободы, но если при этом не будет обеспечена свобода жить, то эти свободы окажутся крайне неустойчивыми и недолговечными. А в нашем современном обществе (то есть капиталистическом) именно эта свобода — свобода жить — как раз не гарантируется».

На Западе много охотников поговорить о свободе личности, акцентируя внимание только на свободе слова и некоторых других политических свободах, вовсе умалчивая о жизненно важных социально-экономических правах, без которых политические права и свободы во многом утрачивают свой смысл.

С. Л. Зивс,
профессор, доктор юридических наук

Продолжая ваше выступление, Владимир Борисович, я хотел бы подчеркнуть: наша принципиальная позиция состоит в том, что мы воспринимаем два Пакта в блоке. Мы отдаем приоритет социально-политическим правам в нашей структуре, но всегда исходим из единства социальных, политических и экономических прав.

Я всячески хочу поддержать идею глобального и крупнопланового подхода к этой проблеме. Проблема действенного обеспечения социальных и экономических прав, гражданских прав и политических свобод во всей своей многогранности порождена именно нашим государством. И именно оно превратило ее в социальную реальность, в одно из выражений и проявлений общенародной социалистической демократии.

В. С. Емельянов,
член-корреспондент АН СССР

Действительно, противостояние двух социальных систем — капитализма и социализма — со всеми вытекающими из этого последствиями существует уже более шестидесяти лет. На протяжении этих десятилетий можно было видеть, как сложна динамика отношений между людьми, принадлежащими к разным социальным мирам; она неоднозначна, подвержена различным влияниям. Я, например, начал зарубежные поездки в 1930 году — был на практике, затем руководил практикой, — и вот сопоставляя то, что было тогда, и то, что сейчас происходит в Европе, я вижу, как изменился психологический климат. Я хочу сказать о тех гражданах, которые не преследуют никаких специальных идеологических целей. Так вот на мой взгляд, подозрительность на Западе приняла сейчас уже патологическую форму; нужно прилагать немало усилий, чтобы преодолеть барьер подозрительности, если люди по-настоящему хотят установить действительно нормальные человеческие взаимоотношения. Я, например, стараюсь где только возможно ломать эту стену, этот барьер, возникающий в результате

упорной, разнузданной антисоветской кампании в печати, по радио, телевидению. Тот, кто сталкивается с этим барьером, хорошо знает, как это трудно.

Вот вам пример. Я дал слово человеку, о котором пойдет речь, не называть его фамилию. Это лауреат Нобелевской премии, крупнейший ученый США. У меня с ним сложились хорошие отношения. Он был у нас, я был у него. Знал этого человека, когда он был начальником лаборатории. Мы встретились с ним, занимая административные посты — он и я.

В Вене происходит конференция, французы устраивают прием. Мы оба идем на этот прием и почти одновременно подходим к французскому посольству. Он меня берет под руку, идем по лестнице. Наверху фотограф хотел сфотографировать нас. Он изменился в лице и стал махать руками: нет, нет.

— Почему нет?

— Мы на людях должны делать друг другу зверские лица.

— С какой стати?

— А вам не попадет за дружеские отношения со мной, когда вы вернетесь в Советский Союз?

— Нет, мне попадет, если я буду хамить вам. Мы действительно хотим установить хорошие отношения.

— А я должен быть осторожен.

Я написал об этом случае в «Новом времени» и номер на английском языке послал ему с надписью: «На добрую память о встрече во французском посольстве». Так он меня три года пилит — зачем я опубликовал это. Только много лет спустя, когда он ушел с этого административного поста, он смог в какой-то степени овладеть правами человека — в какой-то степени, повторяю.

Мне кажется, заострение вопроса «о правах человека» теснейшим образом связано с желанием определенных кругов Запада, прежде всего близких к военно-промышленным комплексам, помешать разоружению и снижению напряженности. Им приходится все чаще об этом задумываться в связи с нашими успехами, в том числе в связи с мирным использованием современных научных достижений: ведь факты нашей действительности, становясь известными всему миру, агитируют за социализм, за сотрудничество с нами.

На протяжении десятилетий все средства информации убеждали жителей капиталистических стран в том, что Россия в своем развитии на века отстала от Запада. И вот в апреле 1961 года сенсация: в космическое пространство вошел человек! И этим человеком является русский — Юрий Гагарин! Я в это время находился в Вене, где происходила международная конференция по мирному использованию атомной энергии. Все улицы города были загромождены народом. Люди прикладывали руки ко лбу и смотрели в небо. Человек в космосе! В залах конференции все разговоры вращаются вокруг этого эпохального события.

Ко мне подошел взволнованный человек, редактор голландской газеты, и спросил:

— Скажите, чем вы как ученый объясняете, что Советский Союз, не будучи самой индустриально развитой страной, первым построил атомную электростанцию, первым создал надводный мирный корабль — ледокол «Ленин», движимый атомной энергией, и вот теперь первым запустил в мировое пространство космический корабль с человеком на борту? Что произошло в вашей стране?

Я стал объяснять. И, естественно, начал с того, что произошло в 1917 году: появилось государство нового типа, гуманистическое по своей природе, раскрепостившее творческие возможности народа...

В те годы вопросы «о правах человека» еще так не вычленяли. Это возникло позже — когда стало развиваться сотрудничество и крепнуть связи, культурные, научные, экономические, торговые, и тысячи людей получили возможность видеть, оценивать и сопоставлять. Созданное длительной пропагандой представление о социализме как о каком-то пугале рассеивалось. Слишком очевидны и реальны были успехи социалистических стран. В то же время капиталистический мир все в большей степени охватывался кризисными явлениями — инфляция, безработица, рост цен на самое необходимое. Вместе с тем снижались пенсии престарелым, сокращалось количество учителей в школах...

И вот были брошены все средства буржуазной пропаганды на то, чтобы отвлечь внимание общественности от анализа причин внутренних бед и несчастий стран капитала и сосредоточить его на «правах человека», стараясь изобразить дело так, что эти права будто бы неизменно нарушаются в социалистическом обществе. Генрих Авицзеревич Боровик уже сказал здесь, что эта пропагандистская кампания — бумеранг. Авторы этой кампании, видимо, забыли о законе бумеранга, который их же больно ударил. Даже газета «Вашингтон пост» недавно написала, что если президент Картер серьезно говорит об освобождении политических заключенных, если он действительно обеспокоен проблемами прав человека, то ему не нужно обращаться к Африке, Латинской Америке или к Советскому Союзу. Пусть он обратит свое внимание на Северную Каролину и невероятное дело «уилмингтонской десятки».

Принятие новой советской Конституции было достойным ответом всем западным «блуждающим» свободам и правам человека. В новой Конституции правам человека уделено значительное место.

Советский строй обеспечивает блестящие возможности для молодого поколения, спокойную жизнь для стариков. Все это ведет к тому, что наши люди от мала до велика наполнены оптимизмом, в то время как в капиталистических странах царят уныние и тревога. В конце прошлого года на конференции в Вене я встретил своего старого знакомого, американского профессора. На мой вопрос: «Как поживаете?» — он мрачно ответил: «Мы люди без будущего». И пояснил: «Мы имели кое-что в прошлом, но у нас больше ничего нет! Самое главное — у нас нет новых идей. Мы еще много можем производить, но мы не знаем, что нужно производить и для кого»...

М. А. Крутоголов,

профессор, доктор юридических наук

Мне кажется очень верным желание определить временные рамки постановки этой проблемы — о правах человека, — ибо мы живем сегодня и пытаемся все связать с событиями, в эпицентре которых находимся.

Американский империализм хитроумен, он меняет тактику, меняет вехи и знамена. А цель у него прежняя — борьба с коммунизмом. Но разработки во многом изменились, изменились методы и способы этой борьбы. Примитивный антикоммунизм заменяет кампания «в защиту прав человека». Она выигрышна тем, с их точки зрения, что выглядит очень благородно: какое сердце интеллигента не вздрогнет, когда речь идет о защите прав человека! И это привлекает значительно больше людей на Западе, чем слово «антикоммунизм». И в этом есть большая опасность.

Мы должны определить стратегическую цель этой кампании, установить те или иные ее этапы, но все время видеть ее долговременную цель...

В. С. Зорин,

профессор, политический обозреватель Центрального телевидения и радио

Я согласен с профессором Крутоголовым в том, что мы имеем дело не с кратковременной пропагандистской кампанией, а с крупномасштабной акцией, продуманной, тщательно организованной и направляемой из единого центра. В орбиту этой кампании оказались вовлеченными — одни вольно, другие, быть может, не вполне сознавая всех далеко идущих последствий, — как многие политические и государственные деятели Запада, так и все средства буржуазной пропаганды, а также ряд научных и идеологических центров крупнейших капиталистических государств. Уже одно это свидетельствует о том, что организаторы кампании руководствуются не какими-то временными, быстро преходящими соображениями, а ставят перед собой далеко идущие цели.

Это делалось и раньше. Антикоммунизм — ровесник коммунизма. Он появился на свет одновременно с появлением идеологии научного коммунизма. Рождение первого в мире социалистического государства привело к тому, что антикоммунизм был введен до уровня государственной идеологии буржуазии. Однако это не остановило победного шествия идей социализма и коммунизма — сегодня руководители мировой буржуазии сталкиваются с тем, что под знамена коммунистов становятся миллионы и миллионы людей.

В этих условиях идеологи и политики буржуазии, во всяком случае те, кто ока-

зывается способным реально смотреть на вещи, если не публично, то хотя бы в своем узком кругу не могут не признавать фактического провала тех методов, которыми антикоммунизм пользовался до последнего времени. Наиболее трезво мыслящие из представителей буржуазии все чаще задумываются о необходимости вместо политики оголтелого антикоммунизма, обнаружившего свою несостоятельность, искать пути сотрудничества с социалистическими странами. Другие, не желая примириться с тем, что им не по праву, видя в то же время банкротство своих привычных методов, задумываются о новых, более утонченных способах борьбы с идеями научного социализма.

В этих условиях показателна та переоценка, которая осуществляется в последнее время некоторыми идеологами и политиками Вашингтона. Они пришли к выводу, что одной из причин многих неудач американской внешней политики является отсутствие «положительной», с их точки зрения, идеологической платформы. Сейчас в Вашингтоне модно критиковать внешнеполитическую деятельность разрекламированной в прошлые годы звезды буржуазной дипломатии, как называли Генри Киссинджера. Помимо всего прочего, его упрекают в том, что он был закоренелым прагматиком, недооценивал значения идеологии во внешней политике, пытаясь решать лишь чисто дипломатические задачи. Пользующийся большим влиянием в сегодняшнем Вашингтоне профессор Бжезинский в феврале 1978 года высказался так: «Первая наша задача состоит в том, чтобы наполнить американскую внешнюю политику определенным нравственным содержанием. Здесь несомненное значение имеет проблема прав человека». Примечательно, что таким образом помощник президента США признает, что до сих пор американская внешняя политика «нравственного содержания» не имела и сейчас это самое содержание следует срочно изыскивать.

Идея «защиты прав человека», которая кажется очень удачной ее авторам, должна, с одной стороны, привлечь симпатии общественности — ну кто же станет возражать против защиты прав человека! — а с другой, дать в руки американской внешней политике подобие инициативы.

При всей видимой «наступательности» новой идеологической стратегии Вашингтона, она, по сути дела, является не наступлением, а обороной. Обороной от растущего негодования широких масс западных стран по поводу все более обнаруживающей себя гнилости и несостоятельности западной демократии, сталкивающейся с неразрешимыми проблемами. Я процитирую два высказывания видных в стане буржуазии людей, которые вполне откровенно объясняют, откуда взялась нынешняя кампания непрошенных «защитников прав человека». Одно из этих высказываний принадлежит виднейшему предпринимателю капиталистического мира, президенту итальянского автомобильного концерна «Фиат» Джованни Аньели. Побывав не так давно в Соединенных Штатах Америки, он выступил перед членами американской ассоциации внешней политики с заявлением о том, что внутренний кризис, переживаемый ведущими странами, и прежде всего массовая безработица и инфляция грозят нарушением политической стабильности в этих странах. Вскоре после него побывавший в Америке премьер-министр Англии Джеймс Каллагэн весьма откровенно заявил в беседе с американскими журналистами, что экономические неурядицы, переживаемые капиталистическими государствами, если они не будут разрешены, могут подорвать политическую стабильность западных стран и в конце концов привести к изменениям в их политической системе.

Жизнь показывает, что буржуазные правительства не в состоянии решить проблем, по поводу которых бьют тревогу капиталистический магнат Аньели и политический лидер самой опытной английской буржуазии. В этих условиях и потребовалось нечто такое, что могло бы, с одной стороны, отвлечь внимание масс от фальши буржуазной демократии, а с другой, ослабить притягательную силу идей социализма, которые в нынешних условиях привлекают все большее внимание трудящихся Запада.

Уотергейтский скандал; агрессивная колониальная война во Вьетнаме; поддержка американским империализмом самых кровавых режимов в мире типа клики Пиночета, фашистского диктатора Самосы, реакционного режима Южной Кореи; скандальные разоблачения вопиющих нарушений даже буржуазной законности со стороны ЦРУ и ФБР; факты коррупции и повального взяточничества в высших сферах Вашингтона — все это вновь убеждает трудящихся США и других капиталистических

стран в том, что разговоры о свободе в условиях диктатуры монополий не более нежели жалкий фиговый листок. В. И. Ленин в своей знаменитой статье «Партийная организация и партийная литература» по этому поводу высказался с исчерпывающей полнотой: «...господа буржуазные индивидуалисты, мы должны сказать вам, что ваши речи об абсолютной свободе одно лицемерие. В обществе, основанном на власти денег, в обществе, где нищенствуют массы трудящихся и тунеядствуют горстки богатей, не может быть «свободы» реальной и действительной». Страх перед будущим, стремление сбить с толку собственные народы, отвлечь их от идей социализма, обеспечивающих людям не призрачные, а реальные свободы, — вот, на мой взгляд, та почва, на которой родилась новейшая политико-идеологическая кампания Запада.

М. Д. Львов,

писатель, заместитель главного редактора «Нового мира»

Валентин Сергеевич, а насколько ясно, на ваш взгляд, проявила себя с первых шагов лицемерная сущность кампании «в защиту прав человека»?

В. С. Зорин

Лозунг, который фактически лег в основу этой кампании, был изобретен не кем иным, как одним из наиболее реакционных политиков современного Запада — боннским реваншистом Штраусом. «Свобода или социализм», — провозгласил этот мракобес и гонитель всяческих свобод.

Во время недавнего пребывания за океаном мне довелось слышать самодовольные оценки тех, кто задумал и освещает эту кампанию. «Это блестящая идея, — сказал мне один из руководителей американского телевидения, — она ставит вас, коммунистов, в положение обороняющихся». Глубокое заблуждение! Забыв мудрое правило, рекомендуемое в доме повешенного не говорить о веревке, они вновь и вновь заставляют задумываться о принципах и морали буржуазного общества, а ведь оно лишает десятки миллионов людей права на труд, отказывает в месте в жизни молодому поколению, бросает в тюрьмы лучших представителей общества, подлинных борцов за права и свободы человека.

О беспринципности авторов кампании «в защиту прав человека» свидетельствует хотя бы то, что она осуществляется, так сказать, на «выборочной основе». Распространяя клевету и небывлицы о нарушениях прав человека в социалистических странах, вашингтонские руководители пришли на помощь такому «поборнику» прав человека, как генерал Мобуту, в тот момент, когда его режим зашатался под напором общественного негодования народных масс Заира.

Когда я спросил американского теледееателя, восторгавшегося «блестящей идеей» вашингтонской кампании «в защиту прав человека», считает ли он генерала Мобуту, южнокорейского диктатора Пак Чжон Хи или кровавого палача Пиночета, пользующихся благосклонностью Вашингтона, воплощением демократии, защитниками прав человека, ответа я не получил.

Мои американские собеседники ушли от ответа и на вопрос о том, почему высокопоставленных вашингтонских визитеров, которые зачастили последнее время в Пекин, нисколько не смущают факты массовых репрессий в Китае, то, что там уже давно практически не существует не только какой-либо защиты прав человека, но и элементарной законности. Такие вопросы, которые я задавал многим вашингтонским деятелям, были для них явно неудобны, и они тут же переводили разговор на другую тему.

С. С. Наровчатов

Проблемы нарушения прав человека в самих Соединенных Штатах приковывают внимание общественности всего мира, вызывают ожесточенную борьбу; настолько все кипит вокруг нас, что иногда не знаешь, с кем придется схватиться врукопашную по этим вопросам в следующий час. Недавно, например, я выступал в «Литературной газете» в защиту Джона Харриса. Судьба этого борца за свободу взволновала всех, кому дороги идеи подлинного гуманизма.

Я вспоминаю, как на заре моей памяти, когда мне было восемь лет, казнили Сакко и Ванцетти. Тогда все прогрессивные газеты мира полны были гневными протестами

против готовящейся казни; на улицы выходили тысячи демонстрантов. Я видел их около нашего московского дома. Волна возмущения прокатилась по всем странам. И все-таки рабочих казнили. А сейчас, хотя прошло пятьдесят с лишним лет, снова повторяется подобная история—опять электрический стул.. на этот раз он грозит Джону Харрису. Не вмешаться в это нельзя. Боюсь, что американских империалистов нам не отучить от таких попыток, но надо всякий раз преграждать путь злодеям.

Ф. М. Бурлацкий.

профессор, доктор философских наук

Сейчас остро и точно говорили об империалистической кампании «в защиту прав человека» с точки зрения внутренних процессов, которые происходят в США и в капиталистическом мире в целом.

Я рассматриваю эту кампанию под углом зрения политики США и других западных держав в отношении Советского Союза и других социалистических стран, хотя, наверно, и внутренние и внешние политические аспекты тесно связаны между собой.

Первый вопрос, который здесь обсуждался, — это вопрос о причинах кампании. В этой связи, мне думается, следует разграничить два явления. Одно — проблема прав человека по существу, а другое — империалистическая кампания по правам человека.

Проблема прав человека существует с тех пор, как существует освободительное движение, и можно констатировать — кампания не имеет ничего общего с действительной борьбой народов за свои права.

Вероятно, точны те выступавшие, кто говорил о внутривнутриполитических расчетах Картера, об интегрировании различных течений в странах Западной Европы на почве защиты капитализма и основ буржуазной демократии. Но мне думается, что основная причина этой кампании все же связана с внешней политикой США в отношении Советского Союза и других социалистических стран.

Видимо, эта кампания развернута как попытка давления на Советский Союз, как попытка, опираясь на идеологический рычаг, дать иное направление разрядке международной напряженности. Американская администрация, как и весь капиталистический Запад, чрезвычайно обеспокоена тем, как бы разрядка не работала на социалистический мир, на развивающиеся страны, на освободительное движение. У всех на памяти события во Вьетнаме, в Анголе, в Португалии, в Греции, а также и политический прогресс в Западной Европе. Все это безусловно беспокоит империализм.

Надо сказать, что кампания по «правам человека» проводится весьма профессионально, с колоссальным размахом, организовано, синхронно, масштабно. Это симптом того, с чем мы будем сталкиваться в идеологической борьбе и в будущем. Колоссальная пропагандистская машина США и других капиталистических стран показала зубы, свою способность вести психологическую войну. Кампания произвела впечатление на определенные круги общественного мнения в США и в Западной Европе. Причина прежде всего в ее масштабах и ее организованности. Но дело не только в этом. Есть и другая сторона, которая заключается в том, что империалисты ловко пытаются оседлать действительно важную проблему — проблему прав человека, которая остро поставлена XX веком. Итак — почему эта кампания на некоторых этапах оказывалась эффективной? Потому что в мировом общественном мнении очень остро стоит проблема прав человека. Интересно, что именно в последние десятилетия она встала как проблема прав личности. А в предыдущие десятилетия — особенно в начале века — она с большой силой стояла как проблема прав народов, масс. Проблема перешла в новую плоскость, ибо это отвечает интересам общественности, настроениям прогрессивных кругов во всем мире, в том числе и коммунистической общественности. Следовательно, нам надо разграничить империалистическую пропагандистскую кампанию и проблему прав человека по существу. Со стороны американской администрации и в целом со стороны руководящих сил западного мира — это паразитирование на общественном мнении и одновременно попытка дать свой ответ на колоссальное давление, которое идет со всех сторон по этому вопросу. Начиная с 1917 года мы решили проблему социального и национального равенства, и это не могло не оказать влияния в мире. У американцев был после второй мировой войны принят

закон о занятости, что не приходило в голову правящим силам в США в предыдущие десятилетия.

Итак, на что я хочу обратить ваше внимание — это разграничение кампании, паразитирующей на правах человека, и проблемы прав человека как таковой.

В. М. Литвинов,

заведующий отделом критики и библиографии «Нового мира»

Федор Михайлович, а насколько разработанной вам представляется теоретическая сторона этой, по вашему выражению, проблемы прав человека как таковой? Тем более что в связи с небывалым развитием в наше время международных связей, переплетением судеб народов, эта проблема, пожалуй, все больше становится уже не только проблемой прав народов, не только прав личности, но и проблемой прав человечества в целом... Здесь нас, вероятно, ждут новые принципиальные вопросы.

Ф. М. Бурлацкий

Что такое права человека, каков объем прав человека в современном мире, какими средствами защищаются права человека — об этом спорят и будут спорить представители различных социальных систем, разных культур, разных политических позиций. И если мы сконцентрируем внимание только на разоблачении причин империалистической кампании по «правам человека» (это важно и нужно), мы не решим задачу перспективной борьбы против этой пропагандистской линии и задачу усиления эффективности нашего идейного влияния в несоциалистическом мире.

В этой связи есть ряд проблем, которые нуждаются в серьезном и глубоком анализе и разработке. Первая проблема — концепция прав человека. В мире существуют разные концепции, существует богатый практический опыт борьбы за осуществление прав человека.

Одна концепция — буржуазно-либеральная, элитарная, которая хлопочет об осуществлении прав человека, принадлежащего к меньшинству.

Другая концепция прав человека — демократическая, социалистическая — защищает права представителей большинства, трудящихся масс. Она ставит на первое место социальные, экономические, культурные права человека, которые являются необходимой предпосылкой всех других прав.

Надо серьезно разработать вопрос об этих двух концепциях и этих двух опытах, которые сложились в мире — в странах социализма и в странах капитализма.

Вторая крупная проблема — проблема соотношения национального законодательства и международных документов, сопоставление законов разных стран, в том числе социалистических, с Заключительным актом Совещания в Хельсинки, с Декларацией о правах человека 1948 года, с Пактами о правах человека 1966 года.

Это важная проблема. Специалисты знают, что уже при утверждении актов 1948 и 1966 годов столкнулись два подхода. Мы настаивали на социальных, экономических, культурных правах. Представители стран Запада настаивали только на политических правах, поскольку буржуазные страны не могут гарантировать соблюдение социально-экономических и культурных прав — права на труд, национальное и социальное равенство и т. д.

Сейчас Картер обещал ратифицировать Пакты о правах 1966 года, но я сомневаюсь, чтобы американский конгресс их ратифицировал, особенно Пакт о социально-экономических правах.

В каком соотношении находится Заключительный акт Совещания в Хельсинки и национальное законодательство?

Формулируя принципиальную позицию в вопросе о правах человека, участники Совещания уделили большое внимание гражданским, политическим, социальным и экономическим правам. «Государства-участники, — говорится в Заключительном акте, — будут уважать права человека и основные свободы, включая свободу мысли, совести, религии и убеждений, для всех, без различия расы, пола, языка и религии. Они будут поощрять и развивать эффективное осуществление гражданских, политических, экономических, социальных, культурных и других прав и свобод, которые все вытекают из достоинства, присущего человеческой личности, и являются существенными для ее свободного и полного развития».

Включение в объем охраняемых государством экономических и социальных прав человека является крупной победой стран социализма. Буржуазные конституции ограничиваются декларацией политических и гражданских прав. Они не включают в объем прав социальные права, относя это к сфере отношений между работодателем и людьми труда. И только под воздействием социалистических стран социально-экономические права получили признание, вначале в документах ООН, а затем и в Заключительном акте.

Какие проблемы встают в связи с Заключительным актом для каждой из стран — участниц Совещания в Хельсинки? Это принципиальный вопрос, который заслуживает серьезного научного анализа и конструктивного обмена мнениями между государствами, подписавшими Заключительный акт. Речь идет о правильном истолковании соответствующих разделов этих документов по вопросу о правах человека и о тех обязательствах, которые вытекают из него для каждого государства.

Основная цель Совещания — и на этом сошлись все участники — заключалась в укреплении безопасности и сотрудничества в Европе, отношений между государствами с различным социальным строем. Иными словами, эта цель касалась международных отношений. Участники Совещания не ставили перед собой цели, связанные с изменением структуры социальных институтов, правовых норм ни в одной из стран Запада или Востока. Каждому понятно, что если бы участники Совещания ставили перед собой подобную цель, Совещание никогда не пришло бы к успешному результату, поскольку в нем приняли участие представители стран с различными, а во многих случаях и с противоположными социальными структурами, с различными системами социальных, культурных и политических ценностей.

Естественно поэтому, что толкование любого из разделов Заключительного акта — о безопасности, невмешательстве во внутренние дела, уважении прав человека — должно быть соотнесено с основными целями Совещания. Любое действие, направленное против разрядки международной напряженности, представляющей собой главную цель и пафос Совещания в Хельсинки, противоречит и целям и всему духу и букве Заключительного акта. С этой точки зрения вся кампания «в защиту прав человека», как она ведется последнее время на Западе, находится в глубоком противоречии с основными целями, которые ставили перед собой все тридцать пять участников Совещания в Хельсинки.

Каково соотношение национальных законов и международного права в интересующей нас области? Декларируя в Заключительном акте уважение к правам человека, участники Совещания имели в виду сформулировать некоторые общечеловеческие принципы, к которым должны стремиться все государства. Они не ставили и не могли ставить перед собой задачу унифицировать правовые нормы и в особенности реальный статус личности во всех странах Запада и Востока.

Дух хельсинкского Совещания нашел свое отражение в новой Конституции СССР. Но вообще государства, подписавшие Заключительный акт, не сочли необходимым внести какие-либо коррективы в свои конституции или какие бы то ни было законы. Они исходят из предпосылки, что национальное законодательство уже зафиксировало эти права в соответствии с социально-политическим устройством и национальными традициями государств.

Можно ли вообще помыслить какую-либо унификацию национального законодательства, и в особенности реального статуса личности в условиях современного, глубоко дифференцированного мира? Можно ли представить себе конвергенцию в этой области при сохранении коренной противоположности двух социальных систем? Достаточно поставить перед собой этот вопрос, чтобы недвусмысленно ответить: нет. Пока в мире существуют две системы — социализм и капитализм; пока сохраняется огромное неравенство национальных богатств между высокоразвитыми и развивающимися державами, пока есть эти различия — реальный статус личности (благополучие человека, право на гарантированный и хорошо оплачиваемый труд, на отдых, на образование и т. д.) будет различен. Точно так же, пока сохраняется ожесточенная классовая борьба в рамках тех или иных обществ, борьба за изменение социальных систем, сохраняется различие между стабильными и нестабильными социально-политическими системами в мире, по-разному будет выглядеть осуществление политических прав —

народного суверенитета, избирательной системы, системы наказаний за государственные преступления и т. д.

Проблема соотношения национального законодательства и международного права имеет важное значение. Совершенно очевидно, что национальные законодательства не могут быть унифицированы. Они дифференцированы в зависимости от социальных систем, от исторических и социальных традиций.

За последние десятилетия, например, в Китае политические, социальные, экономические «эксперименты» руководства довели страну до того, что сейчас для китайца иметь горстку риса, тапочки и чтобы не хватало на улице и не вели на закланье — это уже значит иметь какие-то права...

Американские руководители поставили вопрос «о правах человека» в тесной связи со своей внешней политикой. Они сделали это условием «увязывания». Представьте себе только, если бы мы строили переговоры с капиталистическими странами на — истинных притом — фактах нарушения у них прав человека, таких фактов предостаточно; если бы мы говорили, например, — ликвидируйте безработицу и мы пойдем на заключение договора о стратегических вооружениях; или англичанам бы говорили — ликвидируйте ирландскую проблему и тогда поговорим... Принцип разрядки предполагает, что подобные вопросы выносятся за скобки. Система существует. И тогда встает вопрос о пределах взаимного вмешательства.

Имеется большая дифференциация и в рамках каждой из социальных систем. Простое сопоставление конституции США, принятой двести лет назад, с конституциями многих европейских государств, например Франции, Италии, Финляндии, показывает большие различия, в особенности в области социально-экономических прав человека. Конституция США не знает ни права на труд, ни права на отдых, ни права на социальное обеспечение, в то время как законодательства Швеции, Франции, Италии, а также ряда других западноевропейских государств предусматривают сравнительно широкие — по буржуазным меркам — права в области экономики, культуры и в других сферах социальной жизни.

Что касается государств с различным социальным строем, то они исходят из совершенно различного, а иногда и противоположного понимания прав человека и принципов демократии. Если же сравнить высокоразвитые капиталистические страны и развивающиеся страны, то между ними стоит целая историческая эпоха в отношении реального объема прав и свобод человека. Экономическая и социальная отсталость развивающихся стран — наследие колониализма и феодализма, — отсутствие демократических традиций власти являются гигантским препятствием даже для прогрессивных режимов в этих странах в осуществлении прав и свобод личности.

Несмотря на все это, фиксация прав человека в международно-правовых документах, в том числе и в Заключительном акте, имеет большой прогрессивный смысл. В них определяются идеалы, принципы и модели, к осуществлению которых стремятся народы во всех странах мира. Это платформа для борьбы за свои права рабочих, крестьян, интеллигенции в странах капитала, в развивающихся государствах. Для социалистических стран — это выражение реальной деятельности государства по всемерному удовлетворению постоянно растущих потребностей личности.

Говоря иначе, международно-правовая фиксация прав и свобод человека не ставит себе целью ни унифицировать международное законодательство, ни тем более стать базой для взаимного вмешательства и взаимных обвинений различных государств, по-разному осуществляющих права человека на разных уровнях своего социально-политического развития. Эти положения не имеют и не могут иметь характера закона, действующего в рамках каждого государства.

Значение этих положений в том, что они представляют собой моральную силу, призванную содействовать расширению прав человека в различных странах в соответствии с их собственными законами, традициями, социальным строем. Именно об этом говорит следующий вывод раздела об уважении прав человека: «Государства-участники признают всеобщее значение прав человека и основных свобод, уважение которых является существенным фактором мира, справедливости и благополучия, необходимых для обеспечения развития дружественных отношений и сотрудничества между ними, как и между всеми государствами».

Важной и сложной проблемой является проблема истолкования вмешательства во внутренние дела других стран. В последние десятилетия стало традицией радиовещание, нацеленное на другие страны. Печать социалистических и капиталистических стран активно выступает, исходя из интересов защиты идеалов и принципов, присущих каждой из систем, оказывает поддержку носителям идеологий, выражающих соответственно социалистические или капиталистические устремления.

Эта деятельность имеет тенденцию к расширению, к использованию все новых форм и технических возможностей.

Возникает вопрос о формах и методах информационной деятельности, направленной на другие страны, которые не носили бы характер вмешательства в жизнь этих стран, покушения на суверенитет законно избранной власти, на существующую социально-политическую систему. Принципиальная постановка этого вопроса состоит в недопустимости «психологической войны», которая является орудием и средством выражения «холодной войны» и несовместима с разрядкой и мирным сосуществованием государств с различным социальным строем. С этой точки зрения особенно недопустимы направленные против разрядки и мирного сосуществования формы и методы империалистической кампании по «правам человека».

А. Е. Рекемчук,

писатель, член редколлегии «Нового мира»

Вы обозначили четко две формы трактовки прав человека. Это буржуазно-либеральная и социалистически-демократическая — так это можно назвать?.. Не следует ли обозначить третью форму трактовки прав человека, а именно — отсутствие прав человека, свойственное тотальному фашистскому режиму, существующему на планете и имеющему историю.

Посылая на все права своего народа и на политические права других народов, гитлеровские принципы имеют продолжение в Чили и ряде других стран. Поэтому не следует ли обозначить третью форму проблемы прав человека, имеющую отношение непосредственно к фашистскому тотальному строю?

Ф. М. Бурлацкий

Я согласен с вами, форма такая существует.

Что касается либерально-буржуазных прав человека — это буржуазная концепция, которая делает акцент на свободу мнений и агитирует за свое мнение. А фашизм — это полное подчинение государству, его целям, это идеология поглощения и подавления прав человека. Обе эти формы имеют корни, которые уходят в древний мир.

Н. Н. Яковлев,

доктор исторических наук

Застрельщики кампании «в защиту прав человека», по всей видимости, не обладают систематическими познаниями, прежде всего в области их отечественной истории, как и в истории всеобщей. В противном случае они могли бы сообразить, что затеянное ими дело неизбежно обернется против них самих.

То, что именуется «проблемой прав человека», является производным от данной общественно-экономической структуры, социального строя того или иного общества. Мы можем без труда проиллюстрировать это на недавних примерах. В 1976 году прошло двухсотлетие американской революции, в 1977 году было отпраздновано шестидесятилетие Великого Октября. В связи с этими датами, естественно, высказывались истории.

Что касается американской революции, то мы, советские историки, напомнили о происходившем в США в 1775—1776 годах под углом зрения преемственности и традиций в том государстве. Эта страна была создана Собственниками, там правят Собственники в интересах Собственников. Краеугольный камень американской государственности — частная собственность, и первейшим «правом человека» в США является право частной собственности, возможность эксплуатировать чужой труд, приумножая свое богатство. В сущности, это и есть азбука американской «демократии», альфа и омега строя, существующего в Соединенных Штатах.

В соответствии с американской политической традицией каждый и всякий покушающийся, пусть словом, на господство денежного мешка — еретик, или, если угодно, по современной заокеанской терминологии — диссидент. Он и почитается выступающим против «прав человека» в понимании американского буржуа, стремящегося навязать свою концепцию всему миру.

Универсален ее характер, однако, лишь в представлении торжествующего в американских границах Собственника. Против строя, опирающегося на эксплуатацию человека человеком, выступали не только лучшие умы человечества, но и рабочий класс с оружием в руках. На переломном моменте российской истории в 1917 году, после Февральской революции, у нас иные американские деятели пытались увлечь воображение русских перспективами пути, по которому шли с конца XVIII века США. Профессор С. Харпер, тогда, вероятно, крупнейший американский эксперт по русским делам, впоследствии описал эпизод, относящийся к лету 1917 года. Он выступил перед группой революционных солдат.

«Я нашел,— писал Харпер,— иллюстрированное приложение к одной из ведущих петроградских газет, посвященное Америке... На первой странице был портрет Джорджа Вашингтона... Я начал с указания на то, что Вашингтон был отцом американской революции. Я был положительно приведен в замешательство, когда один из солдат бросил: „Богатый господин!“ »

Беседы, как и следовало ожидать, не получились. Россия поднималась на революцию за осуществление главного из прав человека — свободы от эксплуатации.

Наш народ совершил Великую Октябрьскую социалистическую революцию именно в интересах осуществления во всем объеме прав человека. Рассмотрение под этим углом зрения Великого Октября в России и последовавшей гражданской войны вне всякого сомнения в нынешней обстановке острой идеологической борьбы очень плодотворно.

Имея в виду эту аудиторию, я написал книгу «Революция защищается», которая увидела свет в Милане в 1977 году. Там к книге было предпослано обширное предисловие, из которого видно, что итальянские коллеги-историки верно поняли замысел работы. В предисловии говорилось: «С порога, чтобы избежать недоразумений, оговоримся. Книга Яковлева не «объективистская» и не написана «как бы со стороны». Напротив, речь идет о преднамеренно полемической, воинствующей книге, которая задумана как ответ на бешеную кампанию средств массовой коммуникации и работающих в унисон с ней «историков», развязанную недавно против Советского Союза под предлогом защиты так называемых «прав человека»...»

Такое взаимопонимание неизбежно, ибо в нашем сложном, быстро меняющемся мире борьба против эксплуатации человека человеком, против засилья денежного мешка столь же злободневна на Западе, как в год 1917-й, год, открывший новую эру в истории человечества, когда наша партия подняла народы России на революцию и привела к победе именно под лозунгами обеспечения прав человека.

С. Л. Зивс

Думаю, что на некоторые аспекты кампании, о которой мы ведем речь, следует обратить особое внимание. Прежде всего на то, что кампания эта попала на Западе на довольно благодатную в социально-психологическом отношении почву.

Я неоднократно задавал себе вопрос: почему среди деятелей буржуазной культуры встречаются такие, которые включаются в кампанию «защиты прав человека в социалистических странах»? Назовем хотя бы Д. Пристли. Я полагаю, что такие люди, представляющие буржуазно-либеральные круги, крайне озабочены системой нарушения прав человека в тех странах, в которых они живут. И не обладая достаточными знаниями о реальном социализме, о действительном положении личности при социализме, они дают себя легковерно втянуть в эту кампанию, ставят свои подписи под различными манифестами, подлинными авторами которых являются матерые специалисты «психологической войны».

Особое внимание следует обратить также на то, что вся эта кампания не могла бы просуществовать ни единого дня без своего важнейшего компонента — дезинформации. Дезинформация является органическим, постоянно присутствующим ей элементом.

Нередко дезинформация носит весьма примитивный характер. Иногда упрощенные схемы варьируются с довольно рафинированной фальсификацией.

Обратимся хотя бы к тем материалам, которые были выпущены на орбиту информации в дни проведения в ноябре—декабре прошлого года в Венеции скандального «биеннале несогласия». Разве не чистойшей акцией дезинформации, рассчитанной на элементарную неосведомленность публики, являются попытки организаторов биеннале преподнести в качестве виднейших представителей современной русской поэзии Иосифа Бродского и недавно умершего Александра Галича? Надо, наверное, рассчитывать на абсолютную неосведомленность публики, если осмеливаешься (наподобие итальянского критика Сандро Скабелло) назвать этих двух отщепенцев «идолами советской молодежи». А попытки изобразить как зеркало современной русской литературы «Континент» — этот орган эмигрантов-пасквильянтов, издаваемый на деньги небезызвестного короля желтой прессы Акселя Шпрингера!..

Разве не напоминают бредовые галлюцинации многократно воспроизводимые печатью Запада показания профессионального «эксперта» по вопросам нарушения свободы совести в СССР Анатолия Левитина? Родителей, «осмелившихся» крестить детей, изгоняют, мол, с работы, затем ссылают, а младенцев передают в приют. И на полном серьезе подобный бред печатается на страницах, например, газеты «Темпо» (30 ноября 1977 года).

И в этой связи я думаю еще об одном явлении. Кампания «о нарушении прав человека в странах Востока» стала новой объединительной платформой для разношерстного антисоветского сброда. Люди, которые раньше на Западе выступали с воинственно махровых антикоммунистических позиций, сейчас рядятся в тогу защитников прав человека в СССР. Среди них и отвергнутый верующими в западных областях Украины униатский кардинал Слипый (нашедший убежище на задворках Ватикана), и обитающие в Мюнхене недобитые бандеровцы, и издатель опусов Андрея Сахарова Е. Янкевич. Все они избрали модную ныне роль — поборников прав человека в СССР.

К этому хору свой голос охотно присоединяют и наши доморожденные «диссиденты». Эта кучка людей, игнорирующих общественное мнение по вопросам права и морали, законности и демократии, готовых с легкостью переступить через черту дозволенного нашим обществом, претендует на лавры «правоборников».

Но здесь мы сталкиваемся с поистине парадоксальным явлением. Советская политическая система развивается в плане дальнейшего расширения всего комплекса прав гражданина, дальнейшего развития системы их материальных и правовых гарантий. Этот закономерный процесс нашел свое блистательное отражение в новой Конституции СССР. Таково магистральное направление решения проблемы прав человека в реальной действительности социалистического общества. Помогают ли те, которых органы буржуазной информации рекламируют как истинных правоборников, в решении конкретных вопросов дальнейшего укрепления социалистической законности? Нет, никак нет, понятно, что нет. Из тупиков истории, куда их загнали самовлюбленность и претензия на популярность (хотя бы заморскую), они не видят и не знают действительности. Постоянная забота Советского государства о дальнейшем укреплении правового статуса советского гражданина их не интересует и не волнует. Так же как правдивая информация об этом не интересует и организаторов кампании о мнимом нарушении прав человека в СССР. Нет, подобная информация им не нужна. Она для них попросту опасна...

Во время венецианского биеннале в итальянской печати был опубликован снимок: кардинал Слипый благословляет маленького бамбино Матвея, и указано, что это внук Андрея Сахарова. Не важно, что это внук не Андрея Сахарова, а его теперешней жены — это деталь. Фамилия этого маленького мальчика Янкевич. И вот этот самый кардинал Слипый, руки которого обгажены кровью жертв львовского гетто, благословляет маленького Матвея Янкевича, а родители его ради политической сенсации представляют мальчика под благословение.

Можно привести аналогичные примеры, когда участие в этой кампании дает возможность оживить свою деятельность людям, общественные позиции которых уже давно отвергнуты.

А. И. Рожин,

редактор отдела зарубежного искусства журнала «Искусство»

Действительно, выдвинув пресловутый тезис о так называемой культурной диссидентности в социалистических странах, наши идеологические противники пошли даже на то, чтобы поставить под сомнение репутацию традиционного венецианского биеннале. Более того, когда некоторые трезво мыслящие представители деловых кругов Италии выразили недоумение по поводу затеи организаторов биеннале и отказали в содействии ее проведению, кое-кто поспешил во всеуслышание заявить о неких «препятствиях, чинимых диссидентскому биеннале из-за боязни репрессий со стороны Москвы». Это нелепое мнение было высказано небезызвестным Рипа Димиано в беседе с автором статьи, опубликованной 16 октября 1977 года на страницах газеты «Темпо», Кларой Фальконе. Вот ведь в какой форме можно, оказывается, творить мифы о коммунистической угрозе. Кто же испугался «репрессий со стороны Москвы»? По утверждению Димиано — и промышленник Паоло Маринотти, и президент «Оливетти» профессор Бруно Висентин, не пожелавший уступить во временное пользование устроителей биеннале помещение «Фондациона Чини» на острове Сан-Джорджо, и ректор Венецианского университета Филичано Бенвенути, не представивший для нужд биеннале залов дворца Фоскари, и даже всемирно известный музыкальный дом «Рикорди». Да, комментарии, как говорится, излишни.

На все лады разглагольствуя о нарушении прав человека в социалистическом обществе, западные ревнители свободы не скупятся на краски. В своем рвении они заходят настолько далеко, что, сами того не замечая, попирают элементарные права даже тех, кого выдают за жертвы якобы чинимого в социалистических странах беззакония. В связи с этим хочется напомнить западным «защитникам прав» человека о протесте, заявленном группой художников из СССР (более сорока человек) по поводу использования их произведений и имен в такой неблагоприятной, а точнее провокационной политической акции, как венецианское биеннале 1977 года. Эта пропагандистская кампания была на руку лишь противникам разрядки и мира.

Не случайно вся эта шумиха «о правах человека» была инспирирована именно в период подготовки и проведения Белградской встречи по безопасности и сотрудничеству в Европе, в те дни, когда все прогрессивное человечество отмечало 60-ю годовщину Великой Октябрьской социалистической революции, когда в Советской стране проходило всенародное обсуждение новой Конституции СССР.

Следует особо отметить и то обстоятельство, что буржуазные идеологи используют подобные акции еще и для всякого рода попыток ревизии марксизма. В этой связи достаточно привести тезисирование новоявленного «специалиста» по «генезису диссидентства» Витторио Страды, который утверждает: «Диссидентство самим своим существованием и своей функцией нетрадиционной оппозиции, а как интеллектуальный стимул провоцирует создание новой культурной модели, в которой марксизм, оставая свои гегемонные эксперациожелания (тенденции), будет частью универсального неделимого плюрализма, где никакое течение мысли не сможет стать доминантой и диктовать свои положения, но все они будут вырабатывать, искать что-то общее». Пусть господин Страда не обольщается!

Новомодные теории о «культурной диссидентности в странах социализма» постоянно сопровождаются наукообразными рассуждениями «о правах человека и свободе творчества в Советском Союзе». Среди радетелей свобод на поприще художественного творчества заметной фигурой является энергичный американский советолог Джон Боулт, немало времени посвятивший изысканиям по вопросам развития изобразительного искусства в нашей стране. Его неутомимому перу принадлежит целый ряд статей, в которых автор весьма своеобразно излагает свою точку зрения на «официальное» искусство в СССР. Заметим, что произвольное деление советских художников на «официальных» и «неофициальных» не только Боулт, но и многие другие «теоретики» считают само собою разумеющимся. Однако противопоставлением одних другим дело у них отнюдь не ограничивается. В «научный» обиход западных специалистов в последнее время прочно вошел и термин «альтернатива». Достаточно активно использует его и Боулт, стремясь навязать тезис об альтернативе внутри «официального» советского искусства, выдвигая идею о «лирической» альтернативе. по его мнению, якобы проти-

востоящей «строгому реализму». Любопытно признание американского советолога, высказанное по поводу так называемых советских авангардистов: «За редким исключением, работы этих художников,— пишет в статье «Советское искусство 70-х годов» Боулт,— как и большинства их коллег из стран Восточной Европы, не производят впечатления чего-то нового или сильного; и хотя их стремление к более мистической, личной интерпретации является само по себе идеологическим и социальным протестом, оно слишком часто остается причудливой смесью вульгарного эротизма и религиозной ностальгии... не является чем-то новым для западного рынка, насыщенного подобным искусством...» Это откровенное высказывание довольно красноречиво показывает, какие цели преследуют названные «борцы за права человека, свободу творчества», поднимающие шумиху вокруг ими же созданной «проблемы культурной диссидентии» в странах Восточной Европы. Попытки выдать желаемое за действительное обречены на провал. Международный авторитет социалистических стран непоколебим. Не случайно и по поводу биеннале в Венеции реально мыслящие журналисты писали, что его устроители «хотят одеть короля, которого не существует».

В. С. Зорин

Очень важную мысль подчеркнул Самуил Лазаревич Зивс, когда говорил, что кампания, которая ведется на Западе, может родиться только на почве очень слабого знания широкой общественностью действительности нашей страны — причем малого знания как широкими кругами, так и интеллигенцией. Широкие круги находятся под воздействием крупного, хорошо организованного аппарата пропаганды и пребывают в полном неведении о нашей стране.

Я, выступая по радио, предложил руководителям американской пропаганды парировать десять человек на улицах Москвы и на улицах Нью-Йорка по любым вопросам, касающимся знания американцами советской культуры и советскими людьми — американской. Трижды я повторил по радио это предложение, но американская пропаганда сделала вид, что не слышала. И это понятно, так как и широкие массы и, к сожалению, интеллигенция, которая претендует на то, что она самостоятельна в суждениях, находятся в плену буржуазной пропаганды. Если говорить об интеллигентах, которые присоединяются к любой кампании «в защиту...», то они просто не располагают фактами. Даже буржуазная элита на Западе находится под влиянием мифов буржуазной пропаганды, и на этой почве могут рождаться такие кампании.

Ф. М. Бурлацкий

Недавно в беседе со мной советолог из США профессор Хафт сам говорил с возмущением в адрес американской печати: средний американец знает в лучшем случае два-три имени советских политических и государственных деятелей, но он знает не менее десяти—пятнадцати имен «диссидентов». Вот результат буржуазной пропаганды.

Г. А. Боровик

Я спросил как-то Боба Кайзера (бывший корреспондент газеты «Вашингтон пост» в Москве.— *Ред.*), как часто он дает корреспонденции в американские газеты. Он ответил, что это зависит от Сахарова.

Б. С. Никифоров,

доктор юридических наук

Волею обстоятельств в проблеме прав человека за последнее время на передний план выдвинулась ее политическая сторона. Между тем у нее есть и важная юридическая сторона, анализ которой может пролить полезный свет на ее суть.

Начать с того, что инициатор этой кампании, американский президент, не захотел взять на себя труд определить, что он имеет в виду, говоря о «правах человека». Это дало ему возможность пользоваться методом перечня, произвольно komponуя его. Интересно, что при этом во всех своих выступлениях на эту тему он избегает включать в этот перечень экономические права, во всяком случае такое важнейшее из них, как право на труд. Почему?

Что же такое права человека? Едва ли речь здесь может идти о пресловутых «естественных правах», выработанных просветительской философией XVII—XVIII веков и получивших отражение в американской Декларации независимости (но, кстати говоря, не закрепленных в конституции США). Концепцию «естественных прав» никто давно уже не принимает всерьез, а если к ней и относиться серьезно, то самыми естественными правами придется признать такие — право быть сытым, здоровым, иметь крышу над головой и т. п., — которые американская конституция не гарантирует и не может гарантировать гражданам США. Декларация независимости упоминает среди «естественных прав» такие, как жизнь, свобода и стремление к счастью. Что означают эти слова? Под правом на жизнь одни понимают защиту жизни от преступных на нее посягательств, другие — отказ государства от смертной казни, третьи — обеспечение государством гражданам «достойного существования». Ни одного из этих прав в Америке не существует. Безоговорочно сформулированное право на свободу нарушается каждый раз, когда человека помещают в тюрьму. Что же касается «стремления к счастью», то, с одной стороны, неизвестно, что это такое, а с другой — все дело в том, чем и как это «стремление» социально обеспечено.

Согласно более реалистической «нормативной» теории права человека предоставляются ему законом и определяются им. Но здесь снова возникает ряд вопросов. Само понятие права предполагает некие границы, так как иначе речь будет идти не о праве, а о произволе. Следовательно, суть проблемы не в том, например, ограничена или не ограничена в данном государстве свобода слова, а в том, чем и как она ограничена. Мы в нашей Конституции не делаем из этого секрета, а американцы делают вид, что это не так. Но это их дело, тем более что их «секрет» раскрывается довольно просто. Рядом со свободой слова, хотя и не столь явно, у них существует доктрина «близкой и наличной опасности», которая может возникнуть в результате использования этой свободы.

Социальный центр тяжести проблемы прав человека лежит в степени их реальности, в том, в какой мере закрепленное в законе право является в жизни возможностью, поддающейся превращению в действительность. А это, в свою очередь, зависит от социально-экономической ситуации в данный исторический момент, которая определяет, какие, кому и в каком объеме общество в своих так или иначе понимаемых интересах предоставляет указанные права. Поэтому мы можем, а США не могут предоставить своим гражданам права на труд, жилище, охрану здоровья, а право на свободу слова или печати в нашей Конституции определено так, чтобы использование этого права во зло нашему обществу было исключено. Американцы исключают возможность этого для своего общества другими способами, о которых немало писали.

Тут говорили о том, что призывы к защите прав человека могут найти отклик в сердцах интеллигентных людей. Нужно сказать, что американские юристы, однако, относятся довольно сдержанно к этой кампании.

М. Б. Козьмин

Рассмотрение причин возникновения и развертывания так называемой кампании в защиту прав человека заняло немалое место в сегодняшнем обсуждении. Здесь говорилось — и справедливо говорилось — о стремлении идеологов американского империализма наполнить свою внешнюю политику нравственным содержанием, о попытках сорвать наметившуюся разрядку и отвлечь общественное мнение от вопиющих нарушений человеческих прав в капиталистическом мире. Я бы хотел обратить внимание на то, что возрастающий авторитет Советского Союза и всего социалистического лагеря делает все более непопулярной политику прямого антисоветизма и антикоммунизма. И вот антисоветчики и антикоммунисты рядятся в одежду защитников гуманизма и демократии, радостей за человеческие права. Они пытаются снова — и который уже раз — сыграть на том, что осуществление прав и свобод неотделимо у нас от определенных обязанностей. И, скажем, такое право, как право на свободу слова и собраний, предполагает, что оно не будет употреблено во вред нашему обществу или даже всему человечеству. Поэтому свобода слова не может у нас использоваться как свобода пропаганды войны, проповеди национальной розни и расового превосходства, как свобода клеветать на социалистический строй и попыток подорвать его. Но, говорят нам, «за-

щитники свобод» не выступают против **вашего строя**, они хотят только улучшить его, демократизировать. Как же можно поверить этой болтовне, когда один из таких «защитников» заявляет прямо: «Я против советской власти», другой говорит, что он с детства мечтал о «вооруженной революции против советской власти», а третий проповедует «крестовый поход против Советского Союза». Вот истинное лицо этих «защитников». Какие же права они защищают? Право на насилие, на войну, на разжигание ненависти и недоверия между народами. Не приходится и говорить, что такая «защита» человеческих свобод и прав неприемлема не только с точки зрения нашей Конституции и нашего законодательства, но и с точки зрения таких международных документов, как принятая ООН Всеобщая декларация прав человека.

В. Б. Ломейко

Дискуссия о правах человека, развернувшаяся в мире, нападки со стороны буржуазных деятелей на страны социалистического содружества отражают усилившуюся идеологическую борьбу двух мировых систем. Это, в конечном счете, дискуссия о том, чье общество в наибольшей мере отражает интересы отдельной личности. Именно на этой теме — «государство и личность» — мне хотелось бы остановиться более подробно, тем более что в дискуссии о правах человека наши оппоненты обвиняют социализм в подавлении отдельной личности, в пренебрежении к ее правам и свободам.

Мы убеждены, что наше социалистическое общество гуманнее, человечнее, чем капиталистическое, ибо социализм стремится создать истинно человеческие условия жизни и подлинно человеческие взаимоотношения.

Человек есть мера всех ценностей, а свобода есть неперемное условие для самовыражения и самоутверждения его как личности.

Когда противники социализма говорят о подавлении личности коллективом, они используют стереотипы буржуазной пропаганды и общества, в котором процветает индивидуализм и где государство, как правило, противостоит своим гражданам. Для буржуазного государства идеал гражданина — послушный обыватель, не вмешивающийся в политику наверху. В начале XX века германский специалист по административному праву В. Еллинек писал: «Государство с давних пор с подозрением следит за известными формами человеческой деятельности. Вполне безопасным ему кажется только тот человек, который мирно и одиноко пребывает в своих четырех стенах».

Совершенно противоположный подход у социалистического государства к своим гражданам. Оно сильно именно социальной активностью своих граждан, поэтому социалистическая демократия заинтересована в сознательном творческом участии все большего числа людей в государственном управлении.

Опыт социалистической действительности свидетельствует, что коллектив не только не подавляет личность, но, напротив, именно в коллективистской среде индивидуум наиболее полно раскрывает свои способности. Это объясняется тем, что справедливый характер производственных отношений, когда никто не присваивает себе результаты чужого труда, меняет и общественное сознание.

Проблема взаимоотношения личного и общественного многие века стоит перед человечеством. В новой Конституции СССР этот принцип выражен так: «Свободное развитие каждого есть условие свободного развития всех».

Было бы преждевременно говорить, что мы уже полностью решили эту задачу, но мы находимся на этом пути. Уже сейчас в результате шестидесятилетнего развития советского общества достигнута гораздо более высокая степень взаимного учета интересов личности и коллектива, чем это было раньше. И нигде это не проявляется столь заметно, как в отношении к труду, который перестал быть для человека только источником существования или обогащения, а стал главным смыслом его жизни. Когда к человеку, который в своей деятельности раскрывает свои способности и утверждает себя как личность, приходит признание окружающих, он реально ощущает единство личных и общественных интересов.

В этой связи хочется напомнить, что свидетельством дальнейшего развития демократии являются вошедшие в свод новой Конституции СССР такие права, как право вносить предложения в государственные и общественные организации, критиковать недостатки в работе.

В. С. Зорин

Я хочу сказать еще об одной проблеме, о которой надо говорить в полный голос. Советский Союз — многонациональное государство, и это достаточно сложная проблема, которая решена в нашей стране, исходя из принципов социализма и коммунизма.

Что же происходит в США в этом плане?

Там остро стоит не только негритянская проблема, но и проблема мексиканского населения, пуэрто-риканского, индейского. Это та проблема, которую американское правительство, поднимаящее флаги «за права человека», решить неспособно.

Мы говорим о сионистском лобби; это действительно так. Но существует много фактов, свидетельствующих о глубоких корнях антисемитизма в американском обществе. Это особенно заметно в элите.

Знаменосцы защиты прав человека оказываются сегодня неспособными решить национальную проблему в Америке. И это очень серьезный вопрос. Когда мы говорим об этом, Картер отвечает: да, у нас есть отдельные недостатки, мы над этим работаем. У нас же есть все основания для того, чтобы сказать: к настоящему решению проблемы национального меньшинства в США не приступили.

Более того, власть имущих в США делает все для того, чтобы подавить борьбу за национальное равенство и гражданские права. Одним из примеров этому является знаменитое дело «уилмингтонской десятки». Суть его достаточно хорошо известна. Но я хочу обратить внимание на одну очевидную несообразность, показывающую несостоятельность позиции Вашингтона как конкретно в этом деле, так и вообще в ходе кампании в связи с «правами человека».

Когда некоторое время назад президента Картера спросили, почему он не отвечает на неоднократные обращения лично к нему одного из членов «уилмингтонской десятки», священника Бена Чейвиса, и не предпринимает ничего для того, чтобы восстановить попорченную справедливость, президент США заявил, что у него нет полномочий вмешиваться в юрисдикцию суда штата Северная Каролина, вынесшего приговор по этому делу. Выходит, что вашингтонские руководители полагают, что у них есть право вмешиваться в юрисдикцию советских судов, привлекающих к ответственности нарушителей законов нашей страны, но нет права пресечь беззаконие и расправу над негритянскими борцами в своей собственной стране. Что и говорить, странная логика.

Впрочем, дело здесь не в логике — о ней не может быть и речи, — а в стремлении Вашингтона шумной кампанией по поводу «прав человека» в других странах отвлечь внимание от вопиющего попрания этих прав в своей собственной стране, в том числе и в связи с национальным неравноправием и расовой дискриминацией, возведенными на уровень государственной политики.

Г. И. Резниченко

Валентин Сергеевич коснулся проблемы национальных меньшинств в США, проблемы, к решению которой там действительно не приступали, а, наоборот, по-моему, с каждым годом ее усугубляли, всячески попирая права коренных граждан — негров, индейцев, рабочих-иммигрантов из Мексики, Пуэрто-Рико и других латиноамериканских стран. Одна лишь проблема прав индейцев, которых американский журналист Т. Уикер назвал последними американцами, настолько глубока, что если бы администрация Картера всерьез занялась ею — абсолютно немыслимое дело! — то трудно даже представить, сколько лет или десятилетий понадобилось бы, чтобы изменить ситуацию.

В свое время мне довелось вплотную познакомиться с жизнью индейцев, если жизнью можно назвать жалкое существование многострадального индейского населения. Сначала хочу привести высказывание национального директора «Движения американских индейцев» В. Белликурта. Во время трагических событий в Вундед-Ни он говорил:

«Политика американских властей направлена на то, чтобы лишить индейцев культурных, религиозных и политических свобод, фактически ее цель, как и триста лет назад, — искоренение индейского населения». И это, в общем, далеко не голые слова. По всей территории страны разбросано 268 индейских резерваций (из них 115 основ-

ных), где живут сейчас около 500 тысяч индейцев. Еще 300 тысяч краснокожих американцев проживают в городских гетто. Уровень безработицы среди индейцев превышает общенациональный в 9 раз и составляет среди трудоспособного населения более 60 процентов. пособия по безработице чрезвычайно малы. Подачек БДИ¹ совершенно недостаточно для того, чтобы прокормить семью из трех-четырех человек. Постоянное недоедание приводит к физическому истощению людей, особенно детей и подростков. Средний доход семьи, живущей в резервации, в четыре раза меньше общенационального и гораздо ниже официального «порога бедности».

Подавляющее большинство, а точнее 90 процентов, всех домов в резервациях не отвечает стандартам нормального жилья. Около ста тысяч семей обитают в полуразрушенных зданиях, многие живут в бараках, лачугах и даже в брошенных старых автомобилях. Есть немало резерваций, поселений, где отсутствуют электричество, водопровод, отопление и системы канализации. В обследованных двадцати двух резервациях питьевая колодезная вода содержит бактерии, вызывающие опасные заболевания.

Лидеры «Движения американских индейцев» неоднократно обращались к правительству с просьбой снизить пенсионный возраст для индейцев хотя бы до 55 лет, но неизменно получали отказ. И обращались они не ради того, чтобы получить какие-то привилегии для «краснокожих», совсем нет. Для индейцев гораздо острее, чем для любой другой этнической группы Соединенных Штатов, стоит проблема социального обеспечения, в том числе по старости. Известно, что пенсионный возраст в США составляет 65 лет для мужчин и 62 года для женщин. А вся беда в том, что индейцы просто не доживают до этого возраста — средняя продолжительность их жизни всего 44 года. Слишком высока и детская смертность у индейцев. Уровень ее составляет 32 смерти на тысячу рождений, в то время как средняя смертность по всей планете — 20.

Если коснуться, к примеру, здравоохранения, то и здесь на самой поверхности видны вопиющие образцы беззакония и ущемления человеческих прав. По данным Комитета по проверке больниц, действующего в рамках министерства здравоохранения, образования и социального обеспечения, только 24 из 50 индейских больниц (далеко не каждая резервация имеет, кстати, больницу или хотя бы медпункт) удовлетворяют со многими оговорками принятым стандартам. Во всех больницах работает малоквалифицированный или совсем неквалифицированный персонал, оборудование больниц устаревшее, оно установлено лет 30—40 назад. Две трети больниц почти разваливаются от старости и нуждаются в полной перестройке. 40 лечебных заведений не отвечают нормам противопожарной безопасности и в случае пожара могут стать подлинными ловушками для пациентов. Чтобы улучшить положение дел, нужны деньги. Но на протяжении десятков лет конгресс США не только отказывает в новых субсидиях, но и урезает программу на медицинское обслуживание индейцев и их образование.

Постоянный характер приняла нехватка в индейских больницах врачей и медсестер. По данным «Движения американских индейцев», в индейских больницах не хватает 4200 человек медицинского персонала. В родильных отделениях очень плохо обстоит дело с местами для рожениц, в результате 43 процента из них рожают дома, в своих лачугах, без всякой врачебной помощи, в антисанитарных условиях.

Кишечные инфекционные заболевания, говорил мне доктор Рабу, бывший глава службы здравоохранения коренного населения, встречаются в резервациях в 8 раз чаще, чем в целом по стране, в 5 раз чаще индейцы болеют туберкулезом, в 3 раза

¹ Созданное впервые в 1824 году Бюро по делам индейцев (БДИ) подвергается ныне особо резкой критике со стороны нынешних руководителей американских индейцев, в частности Денниса Бэнкса, Вернона Белликурта и Хэнна Армстронга, возглавляющих организацию «Движение американских индейцев» (занесенную властями в список «подрывных»). По их мнению, БДИ, которым сейчас ведают министерство внутренних дел США, насильственно прогнило, не подчиняется контролю индейцев и фактически занимается лишь тем, что способствует урезанию индейских территорий, помогает крупным корпорациям эксплуатировать их природные ресурсы. В БДИ ныне работают более пятнадцати тысяч белых чиновников, а индейцы составляют ничтожный процент. При этом они занимают в Бюро самые низкооплачиваемые и незначительные посты — дворников, швейцаров, сторожей. — *Ред.*

чаще — воспалением легких. Здоровье сегодняшнего индейца в десятки раз хуже здоровья среднего американца.

Да, подобные сравнения часто приходится слышать в США. Люди сравнивают, кто сколько получает, кто и как живет, чем питается, что одевает, кто и где учится. И ни одно еще сравнение не было в пользу индейцев.

Е. М. Винокуров,

писатель, заведующий отделом поэзии «Нового мира»

А что известно вам о других нарушениях прав издревле коренных жителей США?

Г. И. Резниченко

Расистская политика американских властей по отношению к индейцам привела к тому, что коренные жители Америки оказались в самом бедственном положении даже по сравнению с другими национальными меньшинствами. Отчаяние и гнев заставили индейцев отправиться в поход из Сан-Франциско в Вашингтон, чтобы высказать протест администрации Картера. Полгода продолжался марш нескольких тысяч краснокожих граждан США, стартовавших в феврале с берегов Тихого океана. Участники его прошли длинный и трудный путь, преодолев почти пять тысяч километров. Несмотря на разные провокации агентов ФБР, их попытки спровоцировать беспорядки, дискредитировать поход в глазах американцев, индейцы выдержали все изскоки провокаторов и многое сделали для того, чтобы избежать инцидентов и кровопролития.

Почти неделю улицы столицы США напоминали подчас индейский лагерь. Под бой тамтамов, в национальных одеяниях «краснокожие» провели шествия к Белому дому, конгрессу, Федеральному бюро расследований, высказывая гневные слова протеста против многолетней политики попрания их человеческих и гражданских прав.

Совершая марш протеста, участники его, как и многие честные американцы, надеялись на позитивную реакцию правительства США, ждали конкретных решений по многим проблемам. Но... унесли они из Вашингтона одни лишь обещания и заверения, каких было немало и раньше.

То, что гражданские и политические права индейцев ущемлены до крайности, известно многим. Мне попало как-то в руки одно любопытное письмо. Оно начинается так: «Господин Белл, представьте себе, что больше одного миллиона американцев находятся в тюрьмах. Именно это произошло бы, если бы белые осуждались так же часто, как индейцы...» Это письмо, адресованное министру юстиции США Т. Беллу, датировано 15 февраля 1977 года. Его подписали президент организации «Объединенные коренные американцы» А. Брайтмен и один из лидеров «Движения американских индейцев», Д. Бэнкс. В обоснование своего заявления в правительственное учреждение они привели любопытную статистику из нескольких штатов. В Монтане, например, численность коренных жителей составляет 3,7 процента от общего населения. Но в тюрьмах этого штата 34 процента всех заключенных — индейцы. В Миннесоте это соотношение составляет 0,4 процента и 13 процентов, в Южной Дакоте — 7 и 32, в Северной Дакоте — 0,05 и 18 процентов. А Брайтмен и Д. Бэнкс, исходя из этой красноречивой статистики, пришли к убедительному заключению, что власти фактически проводят в отношении индейцев политику массовых преследований и террора. Они потребовали от правительственного министра срочного учреждения специального юридического комитета по пересмотру дел большинства заключенных. Ответ на это послание, кажется, так и не был получен...

Ряд крупных индейских организаций, возглавивших движение протеста против преследований и угнетения властей, образовался около десяти—пятнадцати лет назад. Власти, почувствовавшие в них реальную угрозу своим планам и намерениям, начали предпринимать усилия для изоляции, дискредитации и физической расправы над их руководителями. ЦРУ, в частности, осуществляет программу под кодовым названием «Хаос», направленную на то, чтобы сорвать борьбу индейцев за свои права путем ликвидации лидеров движения. Так называемая программа «Коинтелпро» служит тем же целям и задачам, но осуществляется по линии ФБР, хотя министерство юстиции и утверждает, будто она прекратила свои действия.

Объединившись в травле борцов за права коренных жителей с ультраправыми организациями страны, карательные органы Соединенных Штатов не брезгают никакими

средствами для того, чтобы запугать и дискредитировать лидеров движения. Их арестовывают без всякого повода, отпускают, а через несколько дней бросают за решетку по сфабрикованному обвинению или, например, за мелкое нарушение правил уличного движения. В них стреляют снайперы. Пять лет назад, как известно, пуля убийцы оборвала жизнь одного из лидеров «Движения американских индейцев», П. Биссонета. Он был инициатором и руководителем выступления индейцев племени сиу в Вундед-Ни. Октябрьским утром неподалеку от городка Пайн-Ридж его остановили полицейские и выпустили в него пулю из пистолета. Как сообщала потом американская пресса, причинной убийства явилась «попытка к бегству»...

М. А. Крутоголов

Права человека — это юридический вопрос. Но проблема прав человека — это проблема не юридическая, а политическая, что неизмеримо шире юридической стороны. И кроме того, это проблема эмоциональная и моральная. Кстати, мы обсуждаем этот вопрос в писательском журнале, и то, что наша интеллигенция этим интересуется, показывает, что проблема прав человека во всем мире очень актуальна. И, кстати, связывая ее с проблемой гуманизма, можно найти юридическую сторону гуманизма.

Мы, однако, в нашем разговоре не коснулись еще того, что у нас в СССР нет, строго говоря, проблемы прав человека. Мы всегда говорим «статус личности», понимая, что он состоит из прав и обязанностей, что неотделимо. Вторая сторона — обязанности. Обязанности... Стоит ли этим гордиться?

Стоит. Только надо знать эти обязанности. Приведу один маленький пример. Мне недавно пришлось выступать в реакционной среде в Греции. Речь шла о новой Конституции СССР. Один адвокат, видный деятель, говорит: «Профессор, вы забыли сказать, что у вас обязанности увеличились». Я сказал — да, увеличились: обязанности охранять памятники культуры... А в Греции это очень важный вопрос, и мне аплодировали.

Далее я привел пример об интернациональном долге советского гражданина. Какой же это долг? Крепить дружбу народов. Конечно, «обязанность» звучит иногда жестко, а «права» — всегда желательно. Но если говорить о внутреннем содержании вещей, то можно показать: в социалистических странах личность выглядит богаче. Стоит говорить о положении личности, дополнять права обязанностями, но показывая при этом смысл и значение. Необходимо раскрывать содержание обязанностей не боясь этого слова, которое поначалу настораживает аудиторию на Западе.

Э. А. Орлова,

кандидат философских наук

Мне хотелось бы обратить ваше внимание на то, что проблему прав человека следует рассмотреть и в культурно-философском аспекте.

Современные историки и теоретики культуры утверждают, что никогда на протяжении истории своего существования люди не находились в столь сложных социально-культурных условиях, в каких они оказались сегодня. Люди стремятся разобраться в этой сложности, отделить важнейшее от второстепенного, понять, что можно и нужно делать, чтобы жить в новых условиях.

Не случайно в Хельсинки так много говорилось о многостороннем диалоге. Именно диалог — та фундаментальная форма отношений человека с миром, которая позволяет и задавать вопросы другому, и воспринимать его вопросы, и получать ответы на свои вопросы, и отвечать самому. Существует такой афоризм: каждый человек чем-то похож на всех, чем-то на некоторых и чем-то ни на кого не похож. Очень долгое время оценка культуры носила европоцентристский характер. И поэтому представители любой иной культуры рассматривались с точки зрения того, насколько они близки к европейской культуре. В настоящее время в многостороннем культурном диалоге существенное значение приобретают не только черты культурного и личностного сходства между носителями различных культур, но и их различие, специфические особенности их мировидения. Иными словами, если еще сравнительно недавно основное внимание уделялось тому, чем человек похож на всех, то теперь стало важным, чем он похож на некоторых и чем ни на кого не похож.

Совершенно очевидно, что грубое политическое и экономическое давление, стрем-

ление представителей одного типа культуры насильственно подчинить иные типы культур своим стандартам — эти средства чреваты серьезными, если не катастрофическими последствиями для всего человечества. Поэтому речь идет не просто о признании самоценности различных культур, но о том, как будут сосуществовать их представители в современном мире.

Здесь говорилось об обязанностях человека, это аспект чрезвычайно важный. Когда силою объективных условий люди оказываются в ситуации необходимости тесного экономического, политического, идеологического и т. п. взаимодействия, вопрос об их обязанностях по отношению друг к другу приобретает столь же существенное значение, сколь и вопрос о правах. Это относится и к уровню межгосударственных, межкультурных отношений и к отношениям между людьми внутри каждой культуры.

Обращаясь к нашей собственной культуре, я хотела бы остановиться на двух вопросах. Во-первых, как в свете соотношения прав и обязанностей следует представлять всестороннее развитие личности.

Жизнь в обществе налагает на человека обязанность так строить свое саморазвитие, чтобы проявления его сил и способностей не мешали саморазвитию других людей. Поэтому право на свободное развитие всех сил и способностей личности неотделимо от обязанностей перед окружающими людьми, от ответственности перед ними. И это, безусловно, налагает ограничения на свободу действия и поведения личности.

И второе. Мир сложен, и рассказывать о нем нужно сложно. Но ясно. Просветительская деятельность — объяснение людям того, в каком мире они живут сегодня, что они могут и имеют право хотеть и делать, — вероятно, должна быть такой, чтобы не упрощала этот мир.

У людей есть потребность, чтобы им рассказывали о них не упрощая, чтобы им показали, что они разные, что в них существует неповторимость.

На этом уровне понятие прав и обязанностей скорее звучало бы в терминах «свобода» и «ответственность». Не забывать о нашей ответственности: мы свободны в своих исследовательских возможностях, но ответственны перед теми людьми, к которым мы все наши знания обращаем. Повторяю, сегодня мы переосмысливаем фундаментальные для современной культуры вопросы: каковы права и обязанности человека в окружающем его мире? соответствуют ли существующие структуры отношений между людьми нынешнему состоянию культуры и общества? каковы должны быть взаимоотношения между прошлым и настоящим, Западом и Востоком, капиталистическим и социалистическим миром?

Проблема окружающей среды, как известно, — одна из важнейших в настоящее время. Но ведь мы сами друг для друга среда. Поэтому прежде всего, наверное, решая эти вопросы, важно помнить наши обязанности и друг перед другом.

Ф. М. Бурлацкий

Я хочу поддержать формулу, прозвучавшую в выступлениях Михаила Анатольевича и Эльны Александровны. Нашей стране не присуща «проблема прав человека»; у нас есть другой вопрос, который ставит наше государство, наша партия, — постоянное развитие личности и все более широкое удовлетворение экономических, социальных и других потребностей, а также — развитие социалистической демократии. Здесь мы имеем огромные преимущества, демонстрируем действительно социалистический подход в осуществлении прав личности — подход, основанный на постоянном развитии, на динамизме.

Г. И. Геродяк

Я свое выступление построю на собственных наблюдениях в той республике, в которой постоянно живу. Речь пойдет о советской Эстонии.

Кстати, непрощенные защитники прав советских людей по отношению к северо-западному региону нашей страны проявляют особо «трогательное внимание». Они обольщаются иллюзорными надеждами, будто советская Прибалтика — наиболее податливое место, куда следует вгонять клин между народами Советского Союза.

Некоторые круги старой интеллигенции опасались когда-то, что небольшой эстонский народ, войдя в близкое общение с многомиллионными народами Советского Сою-

за, быстро ассимилируется, утрачивает свое национальное лицо, свою национальную культуру.

В досоветские времена повседневный быт людей в Эстонии в значительной мере регламентировался церковью. В течение столетий многие народные обычаи и традиции тесно переплелись с традициями, навязанными церковью. Для многих прихожан пастор был беспрекословным авторитетом и властителем дум. Так вот среди верующих — и не только верующих, а вообще среди приверженцев старины — находились такие, которые беспокоились за судьбу традиций, унаследованных от предков. Они опасались, как бы новые, советские традиции не вторглись бесцеремонно в привычный, освященный временем уклад жизни патриархальной Эстонии.

Вполне понятно, что враждебная нам западная пропаганда обращалась к этим группам граждан молодой Советской республики, старалась наносить удары по наиболее чувствительным, «болевым» точкам.

С тех пор прошло три десятилетия.

Никакой ассимиляции эстонской национальной культуры не произошло. Наоборот, за годы советской власти она буквально расцвела. При помощи русского языка эстонская литература, искусство стали достоянием многих народов Советского Союза и вышли на международную арену. Вот свежий пример: по решению ЮНЕСКО мировая прогрессивная общественность в 1977 году отмечала столетие со дня рождения классика эстонской литературы Антона Таммсааре.

В новой конституции советской Эстонии записано, что государство заботится о приумножении и охране духовных ценностей для нравственного и эстетического совершенствования людей, для повышения их культурного уровня. В этих же статьях говорится о правах граждан республики на пользование достижениями культуры и о мерах, гарантирующих возможность пользоваться этим правом.

Никто невольно не вторгнулся в область народных традиций. Сам эстонский народ отсеял все отжившее свой век, безнадежно устаревшее, из наследия прошлого оставил все лучшее, жизнедеятельное, созвучное сегодняшнему дню.

Из новых, советских обычаев, обрядов и праздников было позаимствовано то, что отвечает национальным особенностям эстонской культуры. В итоге получилась стройная система безрелигиозных бытовых обрядов. Причем эта новь принята не только молодежью, но и старшими поколениями.

В создании новых, советских традиций, в успешном внедрении их в быт в общенародном масштабе Эстония настолько преуспела, что ее опыт широко заимствуют другие советские республики и страны народной демократии.

Остановимся еще на таком явлении. В последнее время многие граждане советской Эстонии побывали за рубежом, особенно в Скандинавских странах. И в качестве экскурсантов, туристов, и в индивидуальном порядке — в гостях у своих родных. Так что те, у кого еще сохранялись какие-то иллюзии о легкой, сладкой и привольной жизни в «буржуазном рае», имели возможность увидеть этот «парадиз» своими глазами, подышать его воздухом, пощупать его собственными руками.

Возьмем конкретный случай. Колхозница-пенсионерка — условно назовем ее Альвиной Яановной — два месяца гостит у своей дочери Эльзы, которая в конце войны еще совсем молодой девушкой эмигрировала в Швецию. Эльза вышла замуж за шведа, владельца небольшого магазина. Семья дочери нужды не испытывает. Дети уже взрослые, устроены в жизни.

Вернулась Альвина Яановна домой... Родственники, знакомые, соседи расспрашивают ее: ну как там?

«А вот как! — отвечает старушка. — Еле-еле выдержала два месяца. Удрала бы раньше, да не хотела обидеть дочь и ее семью. Как будто все хорошо... Кормили меня досыта. Жила я в отдельной комнате. Зять и внуки обходительные. Работать меня не заставляли. Возили в разные места на своей машине... И все-таки жить там и нудно и противно!»

И Альвина Яановна обстоятельно перечислила, что ей не понравилось во время гостевания у дочери.

Все только тем и заняты, что копят, копят, подсчитывают каждую крону. Копят

на «черный день». Копят на обзаведение «собственным делом». У кого уже есть это «дело», как у Эльзы и ее мужа, копят на расширение его.

Все боятся будущего. Эльза и ее муж — возможных подножек со стороны конкурентов, их сын и дочь — увольнения и безработицы.

И еще: очень боятся заболеть. Для нас болезнь тоже не радость. Но там этот страх особенный: расходов на лечение боится больше, чем самой болезни.

В итоге получается, что зарубежным радетелям «прав человека» в Эстонии с каждым годом и десятилетием все труднее и труднее находить внимательных слушателей. Клинтон, нацеленный на советскую Прибалтику, никак не входит в слишком твердую породу; сверху он расплющивается, острие его — крошится. Поэтому им постоянно приходится обновлять приемы, изощряться.

Г. А. Боровик

Федор Михайлович Бурлацкий правильно заметил, что есть кампания «в защиту прав человека», а есть реальные права. Если мы начнем сравнивать положение людей, их социальную ориентацию, то увидим: у нас и у них это разные вещи, разная «техника», разная «механика». Например, в редакции газеты «Нью-Йорк таймс» очень удивились, когда я спросил, бывают ли у них летучки. Какой сотрудник будет оценивать вышедший номер? На это есть редактор, а ты приходишь, сделал свое дело, получил зарплату — и уходи. У нас же это не только право, но и обязанность.

Когда разговариваешь с американцами и рассказываешь, как советский человек получает квартиру, возникает лингвистическая трудность: «Как «получил»? Наверное, купил или арендовал». «Да нет — получил». И сам уже начинаешь заново оценивать этот факт — что значит получить квартиру, а не купить.

Эта кампания о «правах человека» может существовать действительно только при дезинформации и неинформированности. И та и другая огромны. Вся антисоветская пропаганда, которая ведется, — в Америке она поставлена широко и искусно, сильно поддерживается эмоционально при помощи стереотипов, создаваемых «художественными» фильмами, «художественной» литературой (антисоветскими, антикоммунистическими), — вся эта пропаганда держится на дезинформации. Те, кто имел возможность регулярно смотреть американское телевидение, могут сказать, что нет недели, даже дня без антисоветского фильма, антисоветской передачи. Смотрит же эти передачи — каждый день, постоянно 5—6 миллионов человек — так называемый массовый зритель. И только этим можно объяснить тот факт, что проведенный в 1967 году опрос показал: 9 процентов студентов колледжей и университетов США думают, что во время второй мировой войны американцы воевали против немцев и против нас. Эмоциональный стереотип не позволил американцам думать, что мы были вместе...

А. А. Ананьев, писатель, главный редактор журнала «Октябрь»

Тема «круглого стола», предложенная нам, мне кажется, сегодня очень важна и актуальна. Новая Конституция СССР, социалистический гуманизм и развитие личности, правда и ложь о правах человека — все это не может не трогать нас, писателей; ведь речь, в конечном счете, идет о человеке, о его настоящем и будущем, речь идет о человеестве. Все эти вопросы постоянно находятся в центре внимания и зарубежной общественности. Надо сказать, что те, кто смотрит на положение вещей в мире реалистично и здраво — а таких людей, в общем-то, большинство (тут я мог бы при необходимости сослаться и на свой личный опыт — встречи с писателями, деятелями литературы и искусства во время моего пребывания в Канаде, Италии и других странах), — они в основном, главным разделяют нашу точку зрения, относятся к позиции Советского Союза с пониманием и одобрением. Ибо это позиция мира и прогресса. И тем не менее защитники империализма, который в самой сути своей противоречит основным свободам личности, избрали вопросы демократии и прав главной мишенью своих нападок, а желтая западная пресса не преминула тотчас же, пытаясь ввести в заблуждение мировое общественное мнение, развернуть оголтелую клеветническую кампанию, всем нам во многом папоминающую, казалось бы, уже казавшие в Лету времена «холодной войны».

На передний план выдвигается «проблема прав человека», якобы существующая в социалистических странах. И особенно стараются преуспеть в этом, как уже многими говорилось здесь, определенные круги США; «права человека» выдвинуты в ряд определяющих факторов внешней политики Картера; именно вокруг этого вопроса развернулась идеологическая борьба, которой американское правительство придает ныне очень большое значение.

Еще Маркс говорил о том, что на бумаге легко можно провозгласить конституцию — право каждого гражданина на образование, на труд и прежде всего на известный минимум средств существования. Но остается еще самое сложное — непосредственная задача превратить эти либеральные идеи в материальные и разумные социальные институты.

Сегодня правительство США усиленно рекламирует «гуманное», «оборонительное» оружие — нейтронную бомбу, что, по сути дела, есть не что иное, как прямое посягательство на самое священное право человека — право на жизнь, а буржуазная пропаганда меж тем поднимает шумиху вокруг мнимых «нарушений прав человека» в СССР и в других социалистических странах, стремясь посеять недоверие и неприязнь к миру социализма.

В отличие от капиталистических государств у нас в стране — и сама история и все три советские конституции лучшее тому свидетельство — права и свободы граждан лишь тогда закрепляются законодательно, когда уже созданы те самые материальные и разумные социальные институты, которые гарантируют реальную ценность прав для каждого гражданина. В этих гарантиях, неуклонно расширяющихся со времен Великой Октябрьской социалистической революции, заключается сила и жизненность широких прав и свобод трудового народа.

Советским людям предоставлены поистине великие права, и в нашей стране, где вся государственная власть принадлежит трудящимся, реальность их осуществления несомненна. Пример тому — наша социалистическая действительность.

Недавно совместно с коллегами Министерства сельского хозяйства РСФСР и Министерства сельского строительства РСФСР мы проводили редколлегию «Октября». Обсуждался вопрос о создании литературного поста «Октября» — «В российском Нечерноземье». Много было интересных выступлений, но нам особенно запомнилась речь дважды Героя Социалистического Труда Акима Васильевича Горшкова, вот уже пятьдесят лет возглавляющего владимирский колхоз «Большевик». Колхоз начинался в 1928 году. На первом колхозном сходе решались два вопроса: кого избрать в правление и где взять участок земли под колхоз. Землю дало государство. Поначалу соорудили двухъярусный шалаш для жилья: вверху на нарах спали женщины и дети, внизу — мужчины. Хозяйствовать учились по книге Чернышевского «Что делать?», неграмотность ликвидировали путем и «материальной заинтересованности» — грамотным платили по рублю за каждого обученного. Советская власть только зарождалась, не было машин, механизмов... Но было у людей право на счастливую жизнь, право строить эту жизнь, учиться, работать... И они пользовались этими правами, равно как и все советские люди.

Вот что в действительности означает наше советское право: ныне этот колхоз-гигант имеет миллионные доходы; 80 процентов колхозников окончили вузы, техникумы, средние школы, технические училища; у каждой семьи коттедж с приусадебным участком. Живут люди счастливо, зажиточно, уверенные в завтрашнем дне. Это все к вопросу о правах имеет самое, на мой взгляд, непосредственное отношение. Вот почему я вспоминаю это выступление, когда заходит речь о правах человека. Содержание наших прав определяется мерой нашего труда, высотой достигнутого в нашей социалистической экономике. Очень точно и емко сказал об этом Леонид Ильич Брежнев: «Нужно, чтобы каждый советский человек ясно сознавал, что главная гарантия его прав в конечном счете — это мощь и процветание Родины. А для этого каждый гражданин должен чувствовать свою ответственность перед обществом, добросовестно выполнять свой долг перед государством, перед народом».

С. С. Нарвчатов

Я хочу поблагодарить всех участников «круглого стола» и подвести краткий итог сегодняшнего разговора. Разумеется, тему никак нельзя считать исчерпанной: здесь, за «круглым столом», говорилось, что развитие социалистической демократии, статус личности советского человека — это те вопросы, которым мы и должны и хотим уделять самое пристальное, серьезное, творческое внимание.

Во время сегодняшнего обсуждения говорилось о принципиальных достижениях Советского государства — о гарантированных всей государственной политикой правах гражданина СССР, что нашло отражение и в новой Конституции.

Было сказано о перспективах, которые открывает социалистическое общество для гармоничного развития личности — в том числе таких присущих ей социальных черт, как наполненные глубоким смыслом права и обязанности.

Много верных слов было сказано о том, что стоит за буржуазной пропагандистской кампанией «в защиту прав человека», — состоялся интересный обмен мнениями по поводу стратегической и тактической природы этой кампании, говорилось о лицемерности буржуазных прав, о духовном давлении капитализма на личность.

Во время нашей беседы, как вы видели, велась стенограмма. Мы намерены опубликовать ее в одном из очередных номеров. Думаем, что это обсуждение за «круглым столом» поможет нашим читателям глубже, всесторонне подойти к осмыслению вопросов, которые были заявлены как тема нашего заседания. Как главный редактор журнала могу сказать, что те явления, проблемы жизни современного мира, на которых вы заостряли наше внимание сегодня, мы постараемся освещать и в дальнейших публикациях «Нового мира».

Когда основной материал «круглого стола» был уже сверстан, свои записки об одной непредусмотренной встрече на Аляске предложил редакции Юрий Рытхэу.

Юрий Рытхэу,
писатель

Телефонный звонок был долгим и нетерпеливым. Звонили из Анкориджа. Женский голос уведомил меня, что послезавтра в Анкоридже собирается конференция учителей Аляски, работающих в основном в сельских эскимосских и индейских школах, и организаторы встречи просят меня выступить с лекцией.

— На какую тему? — спросил я.

— О правах человека, конечно, — ответила женщина. — Сейчас все интересуются этим...

— Но у вас по этой проблеме есть куда более сведущие специалисты, — ответил я.

— Вы имеете в виду нашего президента? — засмеялась женщина. — Наши учителя, — убеждала она меня, — знают о вашем приезде из газет, по радио и телевидению и хотели бы встретиться с вами и именно от вас услышать об осуществлении прав человека в вашей стране... Так сказать, от представителя национального меньшинства.

Женщина еще продолжала уговаривать меня, сообщая, что уже заказан номер в гостинице «Вествард-Хилтон» с видом на залив Кука, оплаченный билет лежит в аэропорту Нома...

Честно говоря, предложение было весьма заманчиво: встретиться с учителями, большинство из которых являются представителями народа Аляски, поговорить с ними, узнать об их нуждах и проблемах... Но, с другой стороны, я вовсе не собирался вступать в дискуссии о правах человека в том понимании этого вопроса, которое имелось у главы принимающей меня страны.

— Хорошо, — ответил я после некоторого раздумья. — А если я несколько изменю тему? Буду говорить не вообще о правах человека, а, скажем, конкретно о правах человека на свой родной язык?

Моя невидимая собеседница немного помолчала, потом сказала:

— Ну что же, это звучит интересно.

Самолет из Номы в Анкоридж полетел сначала совсем в другую сторону, за Полярный круг, в город Коцебу, и уже оттуда на юг.

В Анкоридже по сравнению с Номой было тепло, блестели лужи, искрился подтаявший снег, ослепительно сверкали красивые горные хребты, обрамляющие бухту Кука.

Высотное здание гостиницы «Вествард-Хилтон», как мне сказали, принадлежит Эскимосской ассоциации. В просторном, хорошо обставленном холле зачем-то стояла огромная металлическая клетка и на плюшевом диване спал подвыпивший эскимос.

Из окон моего номера действительно открывался прекрасный вид. Несколько лет назад город Анкоридж был почти весь разрушен небывалой силы землетрясением. Сейчас об этом страшном стихийном бедствии напоминают неожиданные пустыри среди новых домов и какая-то незавершенность в облике города.

Вечером накануне открытия конференции у меня не было времени даже включить телевизор. О чем я буду говорить? Чего ждут от меня учителя, приехавшие из самых отдаленных селений Аляски, — индейцы, эскимосы, белые?

...Зал был переполнен. Еще за завтраком меня предупредили, что на лекцию пришли не только участники конференции.

Удивительно: чем ближе было время моего выступления, тем я становился спокойнее и уже это почему-то начало меня тревожить.

Вице-губернатор штата Аляска Лоуэлл Томас объявил об открытии конференции. Быстро были обсуждены, если пользоваться нашей терминологией, какие-то «оргвопросы», и вдруг я услышал, что слово предоставляется «гостю из Сибири».

Я поднялся на трибуну и увидел устремленные на меня сотни любопытных глаз.

— Права человека, — сказал я, — так же необъятны и велики, как необъятен и велик сам человек. Они касаются всех аспектов человеческого существования. Они переплетаются между собой, как корни старых могучих деревьев, и даже бывает так, что права одних людей задевают и ущемляют права других. Мир, на мой взгляд, и есть подлинное уважение прав человека. К сожалению, во многом история человечества богата примерами попыток утвердить права меньшинства за счет прав большинства. Я прекрасно осознаю, как трудно, сложна и многогранна проблема прав человека в современном мире... Поэтому позвольте мне коснуться в моей лекции только одного аспекта — прав людей на свой родной язык, права на собственный, дарованный природой, историей, судьбой способ выражения своих мыслей, чувств, взглядов на жизнь, своего понимания красоты... Я провел слишком мало времени в вашей стране, чтобы судить о том, как осуществляется это право у вас. И вообще об этой проблеме трудно судить со стороны. Но каждый поступает в меру своих сил и возможностей. Вот почему я буду говорить о том, как в нашей стране это право, которое я как литератор считаю одним из величайших прав человека, было не только провозглашено в первых ленинских декретах Советского государства, но и осуществлено на деле...

Я поведал слушателям, как еще в 20-х годах на Чукотку в отдаленные села и стойбища приехали русские учителя. Не в погоне за экзотикой, не затем, чтобы сколотить состояние, а потом вернуться в теплые края, купить домик и спокойно зажить, иногда вспоминая молодые годы на суровом Севере, а с высокой и вместе с тем простой, благородной целью — научить грамоте людей, которые даже не имели в своих языках понятий «книга», «читать», «писать». Изучить местные языки, изыскать возможности для создания письменностей на этих языках, которые в большинстве своем еще даже не имели научного грамматического описания. Я называл этих людей — Иннокентия Вдовина, Петра Скорика, Георгия Меновщикова, Екатерину Рубцову.

У молодой Советской республики, только что выстоявшей в кровопролитной гражданской войне, едва начинавшей оправляться от иностранной интервенции, приступавшей к восстановлению почти полностью разрушенного хозяйства, естественно, больших денег не было. И все же из скудного республиканского бюджета были выделены средства, чтобы открыть невиданный в истории просвещения Институт народов Севера в Ленинграде. Это произошло в 1926 году, накануне десятой годовщины Великой Октябрьской социалистической революции. В этом институте посланцы из всех далеких районов советского Севера жили на полном государственном обеспечении, не заботясь

не только о плате за обучение, но и о питании, одежде, расходах на транспорт и другие нужды.

Это было реальное осуществление прав человека на свой родной язык, а через него на свое человеческое достоинство, которое невозможно без свободного развития национального самосознания.

— Я прошу прощения за то, что несколько отклоняюсь от темы, которую я сам ограничил. Но должен сказать, что как раз в это время было начато спасение народов Севера, обреченных царским строем на вымирание, спасение, означающее предоставление бесплатного медицинского обслуживания, возрождение хозяйства и экономики народов Чукотки... В начале тридцатых годов вышли первые книги на эскимосском и чукотском языках. Обычно, в нормальных исторических условиях письменность создается столетиями. Культурная история буквенного письма иной раз насчитывает даже тысячелетия, а тут письменности более чем для двадцати народностей были созданы за считанные годы! Я видел на острове Святого Лаврентия в школьных библиотеках вашей страны книги, изданные на эскимосском языке в нашей стране и используемые здесь как учебники. Сегодня учебные и другие книги для своих национальных школ пишут сами чукчи и эскимосы, получившие образование в университетах и институтах нашей страны. Ваши эскимосские учителя тоже знают эти имена: Людмила Аймана, Вера Аналыквасак. Они получили образование в Ленинграде. Они знают и русский язык и любят его как свой второй родной язык. Но в наших школах не было такого, чтобы маленького чукчу или эскимоса наказывали за то, что он говорит на родном языке. Наоборот: первые навыки письма и чтения они получали именно на родном языке, ибо наша советская мораль считает, что человек должен познавать мир своими глазами, собственным путем, дарованным ему судьбой и природой.

Я рассказывал своим слушателям, как сам пошел в школу в моем родном Уэлене и мой первый учитель — чукча Татро — положил передо мной две книги: одну на русском, другую на чукотском языке. И в этом не было противоречия, ибо все это означало реальное осуществление права человека на познание окружающего мира в его реальном, не искаженном виде.

Я всматривался в зал и видел и чувствовал, как люди жадно ловят каждое мое слово.

В четвертом ряду слева сидела Дженни Алова, учительница, чья драматическая история может служить яркой иллюстрацией неблагоприятия в стране, где толки о правах человека подняты на высоту международной политики. Дженни мечтала о том, что ее родной язык будет письменным и будет изучаться в школе, потому что с детства держала в руках букварь своего родного языка, составленный русской советской учительницей Екатериной Семеновной Рубцовой для ее советских соплеменников. Но именно Дженни наказывали учителя из Бюро по делам индейцев за разговоры в стенах школы на родном языке, ставили в угол, оставляли без завтрака. И все же она окончила среднюю школу, добилась разрешения учить своих земляков грамоте на родном языке. Да, она учила их по советскому букварю, но ведь у нее другого не было! Чиновники в Бюро по делам индейцев, в чьих руках находится контроль за просвещением аборигенов Аляски, придрались к тому, что у Дженни не было диплома об окончании университета, а следовательно, и права преподавания. Тогда Дженни поступила в Гарвардский университет. Вся родня помогала ей, и она с блеском окончила это в известной степени престижное учебное заведение и получила диплом... Вот уже несколько лет Дженни Алова занята в Номе канцелярской работой. В ее родном селении Гамбелле учительствуют люди, не знающие ни языка, ни истории народа... А для Дженни нет вакансий... Во всяком случае, так ей объясняют чиновники Бюро по делам индейцев, когда Дженни обращается с предложением своих услуг преподавателя.

...Я говорил и о своих товарищах, писателях-северянах: нанайце Григории Ходжере, манси Юване Шесталове, нивхе Владимире Санги, юкагире Семене Курилове и многих других, чьи книги издаются миллионными тиражами. Как оживилась аудитория, когда я сказал, что эскимосская поэтесса Зоя Ненлюмкина выпускает новую книгу на эскимосском языке!

Однако я не стал напоминать аудитории о горьких ~~советованиях~~ ~~эскимосских~~

писателей с острова Святого Лаврентия Роджера Агилука и Грейс Силвука о трудностях, с которыми они встречаются при издании своих произведений, о циничных заявлениях издателей о «нерентабельности» эскимосской литературы. Я лишь сказал еще раз о том, что развитие культуры народов Севера нашей страны, в число которых входят и эскимосы Чукотки, никогда не меряется с точки зрения чистогана. Доходы дают другие отрасли хозяйства, богатые недра чукотской земли. Книги нужны, чтобы еще прекраснее сделать жизнь, чтобы полнее удовлетворять культурные запросы людей Севера.

Я перечислил имена людей, которые получили высшее образование в университетах и институтах в Москве, Ленинграде, Хабаровске, Владивостоке, Магадане. Это дети эскимосских охотников и оленеводов из Уэлена, Наукана, Нуняма, Чаплина и Сиреников. Напомнив, что в нашей стране живет чуть больше тысячи эскимосов, посоветовал вычислить соотношение образованных людей с университетскими дипломами на тысячу человек населения...

Закончив речь, я удивился долгим и громким аплодисментам.

— Нет, не уходите!— крикнули из зала, когда я собрался сойти с трибуны.— У нас есть вопросы!

Эта непредусмотренная часть моего выступления заняла приблизительно столько же времени, сколько я говорил. Вопросы были самые разнообразные. Большинство о том, как готовятся преподавательские кадры для национальных школ советского Севера.

Когда я сошел в зал, Дженни поднялась со своего места, крепко пожала мне руку и взволнованно сказала:

— Когда мы слушали, мы гордились вами!

Гостеприимные устроители конференции пригласили меня на обед на крышу здания гостиницы, откуда открывался прекрасный вид: залив Кука и окрестные горы, покрытые снегом. Один из высокопоставленных чиновников отдела народного образования штата Аляска осторожно спросил:

— Вы собираетесь писать о своих впечатлениях о поездке на Аляску?

— Обязательно!— ответил я.

— Мы уверены, что вы напишете правдиво обо всем, что видели.

— Надеюсь,— улыбнулся я в ответ.

— А будут проверять, перед тем как напечатать, написанное вами?

— В каком смысле?— не понял я.

— Я имею в виду, что вас могут попросить написать только плохое о нашей стране,— пояснил мой собеседник.

— Напрасно вы так думаете,— заверил я его.— Я буду писать лишь о том, что видел и что сам слышал. Заранее скажу— мне очень понравилась Аляска, ее люди. Их нельзя не любить и не уважать за их гордость, за понимание истинных ценностей человеческой культуры. Вы много сделали, многого достигли, ну хотя бы того, чем вы законно гордитесь: построили нефтепровод через весь штат Аляска! Вы многое делаете для охраны природы, сбережения редкого и богатого мира животных на Аляске...

Мой собеседник согласно кивал. На прощание сказал:

— Я думаю, что мы можем плодотворно сотрудничать в области просвещения и образования народов Севера... Как-никак у вас почти полувековой опыт в этом, а мы только начинаем...

Конференция еще продолжала работу, но я торопился уехать из Анкориджа: меня ждали на острове Малый Диомид, в крохотном эскимосском селении Иналик, самом ближайшем от нашей страны американском населенном пункте.



ДНЕВНИКИ. ВОСПОМИНАНИЯ

ЭРНСТ ГЕНРИ



ПЕРВЫЕ ШАГИ

1

Рассказывать о своей жизни у каждого из старшего поколения в наше время есть что, и в воспоминаниях нетрудно утонуть. Я ограничусь здесь только несколькими годами, особенно глубоко врезавшимися в память,— первыми в моей политической и профессиональной жизни.

Я начал ее в революционном молодежном движении за рубежом. Хотя с тех пор прошло более полувека и за этот срок в мире произошли гигантские события, я все еще не могу забыть о том времени и о тех, с кем шел рядом.

Это были удивительные юноши и девушки, и пережить им пришлось много: история их не щадила. Большинство их погибло в бурях, пронесшихся над Европой во второй трети века. Время испытывало мое поколение так часто и так круто, что, оглядываясь назад, вся жизнь моих современников кажется мне какой-то вулканической, жестокой и вместе с тем захватывающей своей романтикой эпопеей.

...1920 год. Мне 16 лет. Берлин, где я нахожусь (сначала с отцом, интернированным в Германии в качестве гражданского военнопленного, потом по командировке ЦК российско-го комсомола), в то время политически самый интересный город в Западной Европе. Разбитая в первой мировой войне Германия все еще не может вновь стать на ноги. Стоит вопрос о власти. Рабочие столицы волнуются. Господствующая в стране контрреволюционная военщина, заключившая союз с правыми социал-демократами, сумела организовать убийство Карла Либкнехта и Розы Люксембург, обезглавив тем самым только что основанную коммунистическую партию, но удушить революционное движение оказалась не в силах. У партии еще не так много сторонников, но почти каждый из них боевой человек. Такими людьми, а не только числом, и сильны революционные организации. Я понял это и потом. Рядом со взрослыми коммунистами действуют их сыновья и дочери — комсомольцы.

Еще в ноябре 1919 года на тайном съезде в Берлине, на котором присутствуют делегаты из 13 стран, представляющие 219 тысяч комсомольцев, основывается КИМ — Коммунистический интернационал молодежи. Участвует делегат РКСМ, нелегально пробравшийся в Берлин. Несколько месяцев спустя по указанию Исполкома КИМа я, знающий языки, становлюсь одним из международных курьеров организации. С этого дня и начинается моя настоящая жизнь, мой «университет». Другого у меня не было.

Первый враг, с которым сразу же пришлось столкнуться комсомольцам, была полиция.

Это был все тот же противник, с которым любое передовое движение имело дело на протяжении всей новейшей истории; непримиримый, упорный, умелый враг. Помню, как в борьбе с полицией мы учились революционной конспирации. Осваивали мы эту науку с великой страстью. Ничего не было интереснее.

Мы учились, как запоминать явки, менять ночевки, менять свой внешний вид, по возможности даже походку, как быть математически точными при встречах. Опаздывать более чем на одну-две минуты уже считалось серьезным проступком; я и сейчас не могу привыкнуть к чьим-либо опозданиям.

Каждый из нас должен был знать, как держаться на допросах, как уметь молчать (что не так просто, как кажется). Даже — как с видом простого, веселого парнишки сидеть

в пивной и, болтая о последней спортивной сенсации или нашумевшем фильме с красавицей Мией Май, незаметно сказать кому-то о нужном. Были десятки других «предметов».

Это была старая, традиционная практика революционной конспирации, передававшаяся из поколения в поколение. Впоследствии, при фашизме, пришлось основательно ее обновить: у гестапо была своя техника. До этого же многое было почерпнуто нами из систематизированного опыта старых большевиков.

Так первые комсомольцы на Западе знакомились с жизнью в подполье. Освоенное не забывалось. Особенно меня поражали своей деловитостью и бесстрашием девушки. До сих пор помню одну из них, по фамилии Кетцлер, которая накануне моей первой нелегальной поездки за рубеж вшила мне в подкладку брюк написанный на маленьком кусочке шелка мандат от Исполкома КИМа. Когда я потом прочел о жизни Софи Перовской, я понял, что такие девушки рождаются в каждом поколении и что мир лучше благодаря им.

Менять квартиру приходилось в месяц не раз, иногда через каждые несколько дней. Я жил то у рабочих в берлинском квартале Нёйкельн на Германштрассе, то у товарищей где-то около улицы Штралауэрштрассе, то у буржуазных родственников в западном районе города Шарлоттенбург. Одно время проживал на самой фешенебельной берлинской улице Курфюрстендамм. Одеваться приходилось соответственно жилью — то попроще, то получше.

Мой паспорт делал меня на четыре года старше, чем было на самом деле. Это для того, чтобы в случае ареста и осуждения не попасть в тюрьму для несовершеннолетних, где их «воспитывали». В общем, я старался походить на «среднего» берлинского мальчика. По-немецки говорил совершенно свободно, хотя специфическим берлинским диалектом не владел. И все-таки впоследствии нескольких арестов не избежал.

Какая трудная, рискованная и все же радостная была эта жизнь! Самых юных из нас — меня в том числе — она особенно увлекала. Но в то же время это была важная школа для будущей, более сложной жизни. Один месяц в ней стоил нескольких лет книжной учебы.

Революционная романтика диктовалась самими условиями работы. Берлинская политическая полиция, во главе которой стояли правый социал-демократ Вейс и старый кайзеровский чиновник «коммунистенфрессер» (пожиратель коммунистов) Хеннинг (я все еще помню его по допросам, ему нравилось «экзаменовать» меня по теории марксизма), охотилась за активными комсомольцами не менее ретиво, чем за взрослыми коммунистами. Ей было известно, что именно комсомольцы, нередко мальчишки типа парижского Гавроша из романа Гюго сплошь и рядом выполняли для партии довольно важные поручения, требовавшие быстроты, изворотливости и некоторой доли сметливой хитрости. Угнаться за такими было непросто. Бывало так, что простой мальчик, на вид смешной шалунишка, оказывался ловчее посевшего в своем деле шпика.

Но временами доходило и до откровенных споров с полицейскими чиновниками. Вспоминается, как в тюрьме Плетцензее такой спор вел со мной высокомерный тюремный врач в присутствии целой группы студентов, вызванных явно для одной цели: проследить, как он посрамит коммунистического мальчишку, и поучиться на этом. Я внимательно прослушал его «физиологическое» разоблачение марксизма и затем сказал: «Вы слово в слово повторяете нелепые высказывания псевдоученого Ломброзо, но не называете его. Не хотите ли измерить бугры на моем черепе?» Студенты захохотали, а врач-тюремщик ошалел. «Прием» был тут же окончен. Я вышел, но за дверью все еще слышался хохот. После этого от меня в тюрьме Плетцензее перестали требовать, чтобы я клеил конверты, чего я все равно и раньше не делал.

Очень многие из моих сверстников, только что окончивших школу или даже еще учившихся, были без колебания готовы отдать за коммунизм жизнь, сесть на годы в тюрьму, уйти от семьи. Книги Ленина перечитывались одна за другой. Мировая революция казалась нам делом завтрашнего дня, и всем было невтерпех. Нам было все равно, что случится с нами самими, лишь бы началось!

Это было самое главное, важнее личной жизни, профессии, родных. Я знаю, что ребята с таким характером есть и сегодня и что они будут всегда.

В ходе моей кратковременной работы для КИМа мне довелось встречаться с комсомольцами разных национальностей. Почти у всех у них было что-то удивительно общее. Виднелось ли это в их глазах? Вероятно, это мне теперь так кажется. Разные лица, разный

язык, разные привычки и повадки. Но все та же горячая преданность и вера в дело, та же твердая решимость постоять за него, что бы ни произошло.

Мало того. КИМ был неповторимой школой для юношей и девушек, стремившихся стать профессиональными революционерами, но также и для тех, кто хотел разобраться в международных делах.

Живя в чужой стране, можно было как следует изучить ее политику, ее буржуазию, ее народ. Я никогда не забуду того, чему научился в те годы, как никогда не забуду тех, кто учился со мной. Кажется, ни одного из них нет в живых.

Память как дымом затянута тем, что последовало. Дым временами был густой и сернистый, не все шло как хотелось, сам я уже не тот что был. И все-таки те годы не отдам никому.

Для большинства людей, вышедших из этой школы, вне борьбы за коммунизм уже не было жизни. Многие из них впоследствии становились ведущими деятелями коммунистических партий, верными Ленину трибунами рабочего движения, учеными, военными работниками, писателями, публицистами. Они выдерживали экзамен на силу и талант. Я думаю, когда-нибудь об этой старой гвардии КИМа будет написана хорошая и, главное, правдивая книга.

Особенно тесные отношения установились тогда между советскими и германскими комсомольцами. Товарищи приезжали друг к другу, участвовали в общей работе и — что было наиболее важно — учились друг у друга. Некоторые подолгу жили у зарубежных друзей, присматриваясь к движению, накапливая опыт. Одним из них был, например, видный советский комсомолец Рафаэль Хитаров, член Закавказского крайкома РКСМ, который с ноября 1921 года на протяжении почти пяти лет работал на видных постах в германском комсомоле. Действовало не только стихийное единство юного революционного духа — комсомольцев разных стран обычно скрепляла и какая-то быстро возникавшая человеческая близость.

Старшие товарищи охотно делились с молодыми своими знаниями и опытом и никогда не смотрели на них сверху вниз. Они понимали, как важна для партии помощь молодежи. Как уже сказано, юнцам-«гаврошам» нередко удавалось то, что было не так просто для людей постарше. Немецкие товарищи, в частности, не забывали, что Карл Либкнехт был в свое время президентом Социалистического интернационала молодежи (в те годы он сказал: «Кому принадлежит молодежь, тому принадлежит будущее») и что Роза Люксембург вступила в движение в возрасте шестнадцати лет.

Комсомольцы на Западе знали и то, какую важную роль в зарождении революционного и марксистского движения в России в свое время сыграли студенты. Передавали слова Ленина, назвавшего в 1905 году радикальное студенчество «авангардом всех демократических сил»¹. Правда, студентов в рядах германского комсомола в те годы было сравнительно мало, подавляющее большинство составляли дети рабочих. Вспоминаю трех членов ЦК германской компартии, которые в то время своими советами помогли, в частности, мне: Эдвина Хернле, Эрнста Мейера и Якоба Вальхера (его я вновь встретил незадолго перед его смертью в Берлине в 70-х годах).

Жить было трудно, но скучать действительно некогда. Казалось, что не успеваю дышать. Каждое «завтра» предвещало что-то новое. Можно ли жить лучше?

2

Аресты и судебные приговоры нас не отпугивали. Хотелось себя проявить и ошутить революционное дело с самой тернистой стороны. Выдержишь ли? Временами закрадывался страх, что не сумею.

Но до внедрения в технику полицейского розыска современных электронных и химических методов было еще далеко, жандармская работа проводилась, как правило, старым, «ручным» способом. Угрозы и издевательства были, конечно, в ходу, действовал карцер, но пытки — по крайней мере, в либерально-буржуазных странах Европы — применялись тогда сравнительно редко.

Разницу между условиями в этих странах и в странах так называемого санитарного

¹ В. И. Ленин. Полное собрание сочинений, т. 11, стр. 351.

кордона вдоль границ Советской республики я испытал на себе тогда же, в 1920 году, при первой нелегальной поездке за рубеж. В панской Польше, белой Литве, хортистской Венгрии, Балканских государствах комсомольцев вешали или расстреливали. Так, например, погиб мой литовский приятель Грэфенбергиус, с которым я проезжал на подводах из Каунаса в Вильнюс. С обычной буржуазной полицией революционная молодежь справлялась без особого труда. Но уже скоро в Германию и некоторые другие страны Европы пришел фашизм, и все тогда и здесь стало по-другому.

Поздней весной 1920 года я в качестве курьера КИМА отправился из Берлина в Москву. Теперь это занимает два летных часа. Тогда это было довольно сложное путешествие. Советская республика была отрезана от Западной Европы плотной стеной антисоветских государств, и ехать приходилось в сугубо конспиративных условиях.

Ни прямых железнодорожных сообщений, ни авиалиний между Берлином и Москвой не было. Морской путь из Штеттина в Петроград, также еще подпольный (одним из его организаторов был немецкий коммунист Ротцигель), был налажен позднее. Ехать надо было то по железной дороге, то на лошадях спрятанным в повозке. Особенно рискованно было пробиваться по территории, оккупированной войсками польского диктатора Пилсудского. Здесь повсюду действовали посты и агентуры «дефенсивы», белопольской охраны, специализировавшейся на охоте за коммунистами. Советская республика находилась тогда с панской Польшей в состоянии войны.

Я благополучно пробрался через границу между Германией и буржуазной Литвой, потом на подводах через «незримую» литовско-польскую границу. Несколько дней пробыл в Вильнюсе, куда у меня тоже была явка, и оттуда — опять на лошадях — двинулся дальше на восток. Схватили меня в оккупированном белополяками белорусском городе Слуцке, оттуда перевезли в Бобруйск, находившийся тогда на самой линии советско-белопольского фронта. Я помню имя и фамилию крестьянина, сидевшего со мной в камере в Слуцке, его звали Василий Бахта. Кажется, он партизанил. Мы с ним очень сдружились, хотя он был, по крайней мере, втрое старше меня. По ночам он покрывал меня своим тулупом.

Вернувшись в конце года в Германию — тоже нелегально, но уже другим путем, через Балтийское море, спрятавшись в трюме зашедшего в Петроград немецкого корабля, — я рассказал своим берлинским друзьям, как меня схватили и как мне удалось спастись. Они попросили меня написать об этом — разумеется, в пределах допустимого. Я написал как мог, и эта статья — первая мною написанная — была напечатана в органе германского комсомола «Юнге гарде» («Молодая гвардия») под моей тогдашней кличкой Леонид. Передовая статья в том же номере, подписанная буквой «Л», также принадлежала моему перу.

Сегодня, конечно, я нашел бы для этого рассказа другие слова. Все было намного любопытнее и сложнее, чем можно было прочесть. Но, думаю, здесь все же лучше оставить так, как было написано шестнадцатилетним мальчишкой.

Хочу подчеркнуть, что в том, что со мной произошло, не было по тем временам ничего необычного. Я был лишь одним из многих комсомольцев, советских или зарубежных, которые так вступали в политическую жизнь. Повсюду, где коммунисты и комсомольцы работали тогда нелегально, арест и бегство из-под ареста были в порядке вещей. То, о чем могли рассказать советские комсомольцы, работавшие в годы гражданской войны в тылу белогвардейцев, было намного необычнее и страшнее.

Я был одним из тех, кому повезло: выбрался из беды целым, хотя в том, что попал в нее, был, несомненно, больше всего виноват сам. Несмотря на предостережения старших товарищей, я носил слишком длинные волосы и тем, вероятно, навлек на себя подозрения жандармов, считавших это тогда приметой революционера. Об этом я в своей статье не написал. В Берлин я вернулся уже коротко остриженным и с тех пор никогда длинных волос не носил.

В памяти встают дом где-то в восточной части Берлина, где ютилась тогда редакция «Юнге гарде», лица первых комсомольских журналистов в Германии, фигуры шпиков, шнырявших вокруг.

Ниже следует моя статья в том виде, в котором она тогда была напечатана. Я ничего в ней не изменил. Сорок восемь лет спустя, 22 ноября 1969 года, она была перепечатана в московском журнале «Вокруг света», и я привожу ее по сделанному в редакции переводу.

«— Вот он, собака!

Голос был так резок и груб, что я чуть не оглох.

— Ну что, птенчик, попался?! Пошли!

Затем последовал удар прикладом. Два здоровенных польских жандарма схватили меня за руки и поволокли. Их штыки сверкали на солнце, и от этого я чувствовал себя еще хуже. Все это было так неожиданно. Я был арестован прямо на улице. Самое главное, я понимал, что влип действительно крепко. Я не знал, что мне делать.

Жандармы привели меня к серому зданию, втолкнули в него и потащили вверх по лестнице в кабинет. Посреди комнаты стоял стол, за которым сидели пять жандармских офицеров и весело беседовали между собой. На подоконнике я увидел большой портфель и бутылку с вином.

Начался допрос, сопровождаемый побоями. Из него я понял, что меня обвиняют в страшном преступлении — принадлежности к коммунистической партии. Я знал, что быть коммунистом в белой Польше — это значит находиться вне закона. Я отрицал все обвинения. Тогда жандармы увели меня в соседнюю комнату и снова стали выколачивать из меня признание. Я отвечал, что ничего не знаю, ничего не сделал и являюсь жертвой досадной ошибки. Побои белополякам не помогли. Я подписал протокол, и жандармы проводили меня по лестнице вниз. Только не на свободу, а в городскую тюрьму.

Четырехугольное серое помещение, в нем вместо окна маленькая дыра, вместо постели доски. Это была моя новая квартира. Настроение у меня было скверное, и будущее казалось довольно неуютным. Белополяки — худшие из реакционеров и обычно выносят коммунисту только один приговор — расстрел. Единственным спасением могло быть бегство, и я крепко с ~~ним~~ призадумался.

Меня арестовали в маленьком белорусском городке с населением не более двадцати тысяч человек. Здесь же размещались сотни польских жандармов, терроризировавших всю округу. В этом районе недавно вспыхнуло крестьянское восстание. Белополяки подавили его и залили район кровью. Они зверствовали, и теперь тюрьма была забита повстанцами. Первые две недели я сидел в одиночке, затем в мою камеру бросили еще двух арестованных белорусов. Они знали, какая судьба их ждет, и сидели молча, полные ненависти и гнева. Каждое утро приходили белополяки и уводили их на допрос. Их били железными прутьями по пяткам и спине, потом перевязывали, чтобы на следующее утро подвергнуть новым пяткам.

Я сидел здесь три недели, затем меня перевели в соседний город, побольше, где находился окружной суд. Польско-советская линия фронта проходила от него в нескольких километрах. Меня везли в телеге крепко связанным. Попытка к бегству была исключена. В новой тюрьме меня посадили вместе с осужденными спекулянтами.

За несколько дней до военно-полевого суда мне удалось через одного выпущенного на свободу товарища связаться с подпольной партийной организацией в городе. Товарищи подкупили часовых, и мне удалось бежать. С помощью крестьянина-большевика я пешком пошел из города в деревню, находившуюся от него в семи километрах, но совсем рядом с линией фронта. Фронт проходил по реке, за ней была советская земля. Крестьянин спрятал меня в стог сена, дал хлеба и сказал, что придет, когда можно будет перейти фронт.

Это было тяжелое испытание. Почти три дня я пролежал в стогу. Где-то не так далеко от меня находилась польская батарея, и польские связные скакали все время мимо моего убежища. Я вздрагивал каждый раз, когда раздавались залпы орудий или вблизи слышалось ржание лошадей. Было сыро, и кожа на лице скоро воспалилась.

Приближалось третье утро, когда где-то позади раздался свист. Это был сигнал! Я вылез из стога и пополз в сторону реки. Добравшись до кустов на берегу, я увидел моего крестьянина и еще несколько почти неразличимых фигур. Они тихо переговаривались между собой, у каждого за плечами был груз. Я спросил, что они несут, и по их сердитым лицам понял, что мой вопрос был неуместным. Крестьянин шепнул мне, что это контрабандисты, переправляющие сахарин, что мне надо помалкивать.

Было еще очень темно, впереди не видно ни зги. Две тени исчезли в темноте. Через некоторое время послышался всплеск. Я с трудом различил лодку, подошедшую к берегу. Лодка отвезла нас на противоположный берег. Еще по дороге крестьянин сказал мне, что почти каждую неделю контрабандисты переходят линию фронта. Каждый раз ради денег они рисковали жизнью.

Через пять минут мы были на другом берегу. Мне захотелось крикнуть на весь мир: — Да здравствует борьба! Да здравствует революция!»

Такова была первая написанная мною статья. Пусть она дышит юношеской наивностью. Я «визирую» ее и сейчас.

Хочу добавить еще несколько подробностей о той поездке, о которых ничего не говорилось в статье.

Когда на пути я на несколько дней остановился в Каунасе, там в тюрьме в это время сидел Фридрих Платген — известный швейцарский коммунист, член президиума Первого конгресса Коминтерна, человек, который в апреле 1917 года помог Ленину выбраться из Швейцарии в Россию, а в январе 1918 года, при первом покушении на Ленина в Петрограде, прикрыл его своим телом от пуль. Весной 1920 года самолет, на котором он летел из Москвы в Швейцарию, был вынужден совершить посадку возле Каунаса, и Фридриха засадили в тюрьму. Летевшая вместе с ним его жена Е. З. Розовская была оставлена на воле и проживала в гостинице, но под наблюдением. Установить с ней связь товарищам из местной подпольной организации партии было не просто. Я, никому не известный мальчик, который через несколько дней должен был вообще исчезнуть из города, оказался именно тем, кто был нужен.

Секретарь подпольного комитета (впоследствии он утонул в Немане) попросил меня забежать в гостиницу и как-нибудь передать ей письмо. Я был восхищен и легко справился с поручением. Возвращаясь к себе, я всячески старался замести следы. Видимо, мне опять помогло то, что я выглядел не юношей, а из тех мальчишек, кто бегают по дворам. Весь этот эпизод был мною забыт, и только несколько лет назад при встрече с писателем А. Дунаевским, автором биографии Платгена, я вспомнил о нем. Вспомнила и Розовская, уже старушка, когда Дунаевский стал ее расспрашивать. Письмо от каунасских подпольщиков, сообщила она, передал ей «какой-то подросток, свободно говоривший по-немецки». Оказалось, что выполнять такие маленькие поручения в тогдашнем Каунасе было не труднее, чем в Берлине. Но в Каунасе подпольщиков расстреливали.

Другой маленький эпизод вспоминается мне почему-то гораздо яснее. Это было несколько недель спустя в занятом белополяками городе Бобруйске, в ночь, когда местные подпольщики помогли мне выбраться из тюрьмы, помещавшейся в каком-то бывшем кинематографе. Ждавший меня на улочке молодой парень сразу взял меня под руку и привел в какую-то лачугу. Оказалось, что это нечто вроде парикмахерской, а сам он — ее «владелец». Со страданием в голосе он тут же пожаловался мне, что его не принимают в партию, хотя и исползуют для нелегальных поручений. Почему? Потому что он — «собственник предприятия». Оглянувшись, я увидел, что в лачуге висит зеркало, а под ним полка с бритвой, гребенкой и несколькими кусками мыла, тут же находилось полотенце. Это и было все «предприятие». Помогая мне уйти из гурьмы, этот паренек рисковал жизнью. Таких было много.

Как я узнал, уже будучи в Москве, члена подпольного комитета, к которому я еще до ареста в Слуцке имел явку (еще помню пароль — «Магистрат»), молодую рыжеволосую женщину с горящими глазами, белополяки вскоре же раскрыли и вместе с другими товарищами убили. Произошло это чуть ли не накануне вступления в город Красной Армии, но подробностей я не узнал.

...Март 1921 года. Снова Берлин, куда я вернулся из Москвы. В городе неспокойно. Дела германской буржуазии идут плохо. Ее политики все еще не могут свести концы с концами, сговориться с французами, справиться с революционным рабочим движением. Уже начинается инфляция. Через два с лишним года один доллар будет стоить на берлинской бирже вместо 4,2 марки, как до войны, три-четыре миллиона марок и вся германская экономика, как стали тогда говорить, «сойдет с ума». Но и теперь цены уже скачут из месяца в месяц, взрывая бюджет рабочих семей. Капиталисты спекулируют на инфляции, рурский магнат Гуго Стиннес становится финансовым императором Германии. Правые социал-демократические министры продолжают покорно выполнять указания военщины и капитала. Контрреволюция вооружена с головы до ног, рейхсвер командует государством, фашисты переходят к индивидуальному террору. В Мюнхене на собраниях черносотенцев выступает с истерическими речами какой-то проходимец по имени Гитлер, требуя похода на «красный Берлин». Рабочие столицы Бобруйск, Могилы.

Встревоженные нарастанием сил контрреволюции, немецкие коммунисты намереваются перейти к активным революционным действиям, не дожидаясь окончательной экономической катастрофы в стране и решающего обострения политической обстановки. Хотя большинство рабочих еще не готово к схватке с реакцией, некоторые руководители выдвигают левосектантскую «теорию наступления», согласно которой революционный авангард должен браться в бой в любой обстановке, во что бы то ни стало. Многим из нас, молодым, эта теория нравится: не терпится строить баррикады. В марте сотни комсомольцев уже вступают в отряды Макса Гельца, сражающиеся с войсками в Средней Германии. Юноши и девушки в районе Мансфельда поддерживают восставших рабочих заводов Лейна либо с оружием в руках, либо выполняя функции курьеров, медсестер и т. д. Берлинские комсомольцы также рвутся в бой.

Завтра партия и комсомол заплатят за преждевременное «наступление» поражением, которое отбросит движение на годы назад. Сотням наших молодых товарищей, избежавших ареста и суда, придется укрываться в подполье и скитаться по стране. Революционному рабочему движению в Германии, потерявшему своих лучших руководителей — Либкнехта и Люксембург — через два месяца после свержения кайзера, предстоит пройти длинный путь подготовки и тяжелых испытаний, прежде чем выковать опытное, боеспособное ядро. Но в эти мартовские дни комсомольцы столицы с нетерпением ждут сигнала к активным действиям. Об этом должна идти речь на экстренном совещании берлинского комитета комсомола, на который (на правах «гостя») приглашен и я. Намечается генеральная забастовка, некоторые уже ждут, чтобы и в Берлине для отпора реакции вышли на улицу революционные батальоны, созданные по образцу отрядов Макса Гельца.

Выхожу на улицу. Блестит весеннее берлинское солнце. Слежки у дома как будто нет. Я все же знаю, что если делом занимаются шпики из «I-A» — политического отдела берлинского полицейспрезидиума, — то обнаружить их не так просто. Филеры д-ра Вейса знают свое ремесло.

Не оглядываясь назад, не смотря по сторонам, шагаю по улице. На голове обычная для берлинских мальчишек попроще синяя спортивная шапочка с козырьком. Подхожу к улочке где-то в районе Яновитцбрюке. Почти на каждом углу — маленькие пивные. Вхожу в одну из них с вывеской «Патценхофер». Киваю стоящему у стойки дежурному (хозяин пивной — наш) и прохожу в заднюю комнатку. Идет заседание берлинского комитета с участием представителей «Югендцентрале» (ЦК комсомола).

За двумя столиками человек десять. Перед каждым, как полагается, кружка пива. Если кому-нибудь удастся проскочить в комнатку мимо дежурного стража у двери, он едва ли заметит что-нибудь подозрительное. Сидят парнишки, пьют и беседуют о том же, о чем говорят многие из их сверстников в эти дни: о недавней гонке мотоциклистов, о мировом чемпионе бокса Демпси, о сенсационной кинокартине «Властительница мира». На столе не разложено никаких бумажек.

Сажусь и слушаю. Рядом со мной — член ЦК германского комсомола Гюнтер Хопфе. Он почти совершенно слепой, и мне непонятно, как может он играть такую активную роль в движении, участвовать в редактировании «Юнге гарде», произносить речи на митингах. Выступая, он обычно подчеркивает теоретическую сторону вопроса. Тут же широкоплечий, кровь с молоком Фриц Хейльман и вюртембергский товарищ Ойген Шенхаар. Он говорит на таком сочном швабском наречии, что я его почти не понимаю. Двенадцать лет спустя мне рассказывают, что он попал в руки гестапо и что эсэсовцы в их застенке в Колумбия-Хауз сажали его на раскаленную печь. Теперь он с горячностью говорит на своем диалекте, требуя, чтобы берлинская рабочая молодежь без промедления приступила к действиям.

Загорается спор, как лучше мобилизовать молодежь на берлинских заводах. Я слушаю, гляжу на сидящих рядом со мной немецких товарищей и чувствую, что, хотя я знаю их так недолго, это близкие люди. Они, как и «старики», не похожи на москвичей ни лицом, ни одеждой, ни повадками, ни даже тем, как они выступают и спорят. У многих из них, например, непривычная для меня в то время склонность к теоретическим обобщениям даже тогда, когда разговор касается чисто практических, конкретных мер завтрашнего дня. У них другой стиль работы, иной ход дискуссии, иные навыки и традиции. То же я уже наблюдаю и на собраниях германской компартии. Но при всем том это свои. Я знаю, что мы идем одной дорогой. Как и они, я еще не сознаю, какой длинной и опасной она ока-

жется, сколько на ней будет рытвин и засад. Не важно: если бы мы и сознавали, все равно пошли бы по ней. Годы спустя я в таких случаях ссылаюсь на «исторический оптимизм».

История обычно действительно движется медленнее, чем хочется ее авангарду. Но иногда она действует гораздо скорее и неожиданнее, чем думают в трудные времена.

Часа через три совещание кончается. Принято решение сделать все, чтобы мобилизовать молодежь на помощь партии. Выходя с короткими перерывами один за другим, товарищи расходятся в разные стороны. Одни спешат в свои районы и на заводы, другие — в редакцию «Юнге гарде», чтобы помочь в выпуске и распространении номера с боевыми призывами.

Я выхожу вслед за ними. По улицам патрулируют «шупо» — полицейские социал-демократического министра внутренних дел Зеверинга. Выходящая в полдень газета «Б. Ц. ам Миттаг» сообщает под крикливыми заголовками о битвах между войсками и отрядами Гельца в районе Мансфельда. Комсомольцы — на передовых позициях.

Но враг пока еще сильнее. Мартовское выступление терпит неудачу. Политического опыта у меня нет, но одно я все-таки уже чувствую. Школа, которую начинают проходить наши немецкие братья, будет намного сложнее и труднее, чем представляют ее себе многие из моих нетерпеливых сверстников в Москве.

3

Несколько слов о том, как в те годы я учился делу публициста.

После опубликования в феврале 1921 года моей первой статьи я почувствовал, что хочется писать еще и еще. Рука сама тянулась к бумаге, темы роились в голове одна за другой, не писать было почти невозможно. Буржуазную Европу трясло, и новое рождалось каждый день.

Хотя я по-прежнему находился на нелегальном положении и несколько раз арестовывался (побывал в тюрьмах Полицейпрезидиум, Моабит, Плетцензее), я все же ухитрился писать — в то время большей частью для центрального органа германской компартии «Роте фане» и ее теоретического органа «Ди интернационале», основанного еще Розой Люксембург и Францем Мерингом. Редактором этого журнала был неизменно веселый товарищ Герхарт, впоследствии глава радиовещания ГДР.

В 1921 году я работал в отделе печати ЦК КПП, затем в редакции «Роте фане», в следующем году был корреспондентом «Роте фане» в советской России; посетил Москву, Харьков (где встретился с товарищем Мануильским), Баку (встреча с товарищем Орахелашвили), Тбилиси (беседы с товарищем Окуджавой). Из Батуми отправился в Турцию, где присутствовал на подпольном съезде недавно основанной турецкой компартии.

В 1923 году в Берлине были опубликованы две мои небольшие книжки: «Ангора» (так тогда называли на Западе столицу Турции Анкару) и «Почему ведется рурская война — 10 процентов или нация». Вторая книжка вскрывала закулисную сторону вспыхнувшего тогда из-за оккупации Рурской области франко-германского конфликта и сразу же разошлась в трех изданиях. Это уже было нечто вроде марксистской публицистики.

Вслед затем в августе 1923 года, накануне моего очередного ареста, последовала статья в «Ди интернационале» под заголовком «Стратегия в Лозанне» — о происходившей в июле в Лозанне международной конференции по ближневосточному вопросу. Просматривая ее сегодня, я нахожу, что анализ был в основном правильный, хотя чего-то в ней, разумеется, не хватало. С этого времени меня особенно привлекала мировая политика, и с благословения одного из руководящих товарищей в Коминтерне я стал, как это теперь называется, международником.

Вскоре у меня накопился большой архив с данными о монополистах и буржуазных политиках почти всех стран мира — сотни папок, расставленных на стеллажах по всем стенам моей комнаты. Обычно мне было достаточно услышать название монополии или имя политика, чтобы вскоре же разобраться в сути закулисной стороны вопроса. В конце 20-х годов архив этот помог мне, например, написать для «Ди интернационале» две большие статьи о влиянии и политике двух крупнейших центров финансового капитала в Германии — Немецкого банка и Дармштадтского банка (в то время второго по значению банка в рейхе, позднее слившегося с Дрезденским банком и ставшего финансовой твердыней эсэсовского руководства).

Тогда же для издательства Коминтерна я стал писать и к 1933 году почти кончил большую книгу «Динамика нового германского империализма», в которой уже предвосхищались мысли моей позднейшей, вышедшей в начале 1934 года в Лондоне и Нью-Йорке книги «Гитлер над Европой?».

В феврале 1933 года рукопись этой книги, как и весь мой архив, была захвачена на моей берлинской квартире нацистами. Собранный мною после этого новый архив погиб частью в Брюсселе в 1937 году, частью в Париже в 1940 году, частью затерялся в Лондоне. Архив, которым я располагаю теперь, хотя в нем вновь сотни папок, не идет ни в какое сравнение с прежним. Собирая эти архивы, я понял, как важно для публициста-международника не только изучать теорию и следить за событиями дня, но и искать, копать, обнаруживать. К тому же такая работа нередко увлекает, как детективный роман. Правда, для нее необходимо знать несколько языков.

В те же годы я научился у немцев ценить аккуратность и точность в журналистской работе. Наряду с талантливостью и широким международным кругозором я по сей день считаю это особенно важными профессиональными качествами. Расхлябанность и неорганизованность убивают журналиста, даже если у него есть способности.

Менее мне подходила склонность некоторых немецких товарищей — в отличие от более практически мыслящих и говорящих англичан — к излишне абстрактному мышлению, а у некоторых и к догматизму. О том же я позднее с глубоким удовлетворением прочел у Энгельса в его критических статьях, направленных против ортодоксальных немецких социалистов в США в конце прошлого века. Зато как классический пример настоящей немецкой революционной публицистики после Маркса и Энгельса я несколько раз перечитывал знаменитую статью Карла Либкнехта в «Роте фане» «Несмотря ни на что!», написанную после неудачного выступления берлинских рабочих в январе 1919 года и напечатанную в самый день его убийства. Это был мощный боевой журнализм, не имеющий ничего общего с крикливостью и трескотней; журнализм, который подымает дух у людей даже после серьезного поражения.

Позднее я с таким же восхищением прочел письма Розы Люксембург из тюрьмы ее друзьям на волю в годы первой мировой войны. Писать так сильно и в то же время так поэтично умеют немногие.

Помню, как положение в Германии в 1923 году осложнялось буквально из недели в неделю. Это чувствовали все—и друзья и враги. Полученная утром зарплата рабочего «испарялась» к вечеру. Буржуазные политики метались из стороны в сторону, не зная, что делать. В Мюнхене грохотал Гитлер. Решалась судьба страны на несколько десятилетий вперед.

Летом 1923 года я направил в ЦК КПГ, где тогда преобладали правые элементы во главе с Г. Брандлером и А. Тальгеймером, письмо, в котором обосновывал свою уверенность, что в стране возникла острая революционная ситуация и что если партия ее быстро не использует, то для германского капитализма начнется пора стабилизации; он перехватит инициативу у коммунистов. Письмо это попало в руки врагов, было ими опубликовано в печати и, хотя было написано несколько теоретическим языком, послужило поводом для моего очередного ареста.

Разногласия в германском коммунистическом движении были тогда весьма серьезны. Вспоминаю, как на настойчивый вопрос одного из товарищей, какое направление я поддерживаю, я в шутку ответил: «Принадлежу к левому крылу правого центра».

Еще раньше я стал особенно интересоваться зарождавшимся в Германии фашизмом. Чем больше я думал о нем, тем яснее становилась для меня сугубая историческая важность темы. В конце 1922 года я написал статью об угрозе перехода к фашистам немецкой мелкой буржуазии и части рабочих. 15 февраля 1923 года она была опубликована в «Ди интернационале» под заголовком «Средние слои, фашизм, национал-большевизм и партия» и подписана моей партийной кличкой Леонид². Писал я за год до нацистского «пивного путча» в ноябре 1923 года и через год после того, как Гитлер был избран фюрером своей партии.

Недавно в архиве Института марксизма-ленинизма в Москве я разыскал номер «Ди интернационале» с этой статьей. Перечитаю ее теперь, пятьдесят пять лет спустя, я вижу,

² Мною в статье написана вся часть, касающаяся фашизма и средних слоев. Абзацы, в которых говорится о вторжении в Германию иностранного капитала и экономического кризисе, были написаны другим автором, занимавшимся такими вопросами.

что был тогда действительно убежден—дело идет к генеральному наступлению фашизма в Германии. Вот что говорилось в статье:

«...Фашизм в Германии нельзя недооценивать. Не только потому, что в настоящее время он принимает все большие размеры, что фашистские митинги обычно собирают толпы людей, что помимо фашистского ядра, состоящего из прекрасно вооруженных отрядов штурмовиков, есть еще сотни тысяч симпатизирующих фашизму; не только потому, что фашистам помогают круги крупного капитала, как, например, Крупп, Союз баварских промышленников, генеральный директор Феглер и т. д. Если бы фашисты опирались только на крупный капитал, то они не одержали бы победу в Италии. Особенно важно при оценке фашистского движения для нас то, что это движение помимо широкой и важной для соотношения сил массы средних слоев внедряется также в ряды рабочих...

Как с целью отпора фашистской угрозе, так и для наступательного продвижения с целью изменения сил в нашу пользу путем привлечения... средних слоев в наши ряды, мы должны расширить поле нашей партийной деятельности и прежде всего нашей пропаганды и агитации, нацелив их на средние слои... так, чтобы с помощью часто созываемых митингов, литературы и плакатов мы влияли на эти слои прямо...

Такое сближение с немецкими средними слоями может для начала устранить нарастающую сегодня угрозу со стороны фашистско-националистического движения. До сих пор мы еще немногому положительному научились из факта победы фашистов в Италии... Каждый, кто бывает в Средней Германии (я жил тогда вслед за высылкой из Берлина в Дрездене.— Э. Г.), кто наблюдает за настроениями людей на рынках, на улицах, в поездах, знает, что это опасное движение очень сильно и день за днем расширяется, не останавливаясь даже перед рабочим классом... Пришло время, чтобы партия реагировала на него не только путем заметок в печати, запросов в рейхстаге, призывов к борьбе, но и путем позитивных действий. Это ведет к необходимости обновить форму и содержание нашей пропаганды»³.

Это было мое первое высказывание о фашизме. В то время фашизм был еще чем-то новым в Германии. Старшие его не знали. Далеко не все в их рядах сразу поняли потенциальные масштабы коричневой угрозы; это касалось не только немцев. Опасались больше социал-демократов. Было немало таких, кто даже во второй половине 20-х годов рассматривал нацизм как некую кратковременную эпидемию, чумную вспышку, с которой германский рабочий класс завтра же справится. Мысль, что бесноватый мюнхенский черносотенец захватит Германию, а затем и половину Европы, что весь мир уже очень скоро будет ввергнут в небывалую катастрофу, казалась нелепой фантазией. Люди были просто не в состоянии представить себе, что история в просвещенном XX веке может совершить такой дьявольский поворот.

Но история решила по-своему. Штурмовики в коричневых рубашках уже начинали шагать с вызывающим видом по улицам германских городов. Сначала сотни, потом тысячи... И самое страшное было то, что в огромном большинстве это были молодые люди. Их подталкивали, и они шли — с криком и песнями — прямо к пропасти. Этого тоже нельзя забыть.

Оказалось, что в течение нескольких лет — к концу 20-х и началу 30-х годов — вынырнувшему с задворок проходимцу Гитлеру удалось привлечь в лагерь фашизма почти всю мелкобуржуазную молодежь Германии и даже некоторую часть рабочей молодежи — особенно из числа тех, кто был выброшен на улицу страшной безработицей, охватывавшей в 1933 году миллионы человек. Почти внезапно нацистами была сформирована целая армия — банды для расправы с рабочим движением внутри страны и одновременно ядро будущего вермахта для нападения на остальной мир.

Сегодня, десятки лет спустя, оглядываясь назад, нельзя не признать, что правильное понимание угрозы фашизма во всем ее объеме пришло тогда в кругах международного рабочего движения слишком поздно. Антифашизм как мощная, объединенная, бесстрашно действующая сила опоздал на несколько решающих лет; может быть, даже всего на один год. Нет смысла подслащивать горькую правду о прошлом. Первыми жертвами просчета оказались сам германский рабочий класс и молодежь страны. Миллионы молодых заплатили за все своей жизнью.

³ «Ди интернационале», 15 февраля 1923 года, стр. 115—119.

У меня, как, несомненно, и у многих других живых свидетелей тех событий, и сейчас сжимаются кулаки, когда думаю о том, что пришлось тогда увидеть. Произошла настоящая историческая трагедия. Победу фашизма в Германии можно было предотвратить: она не была неизбежной. Требовались своевременно обеспеченное единство действий рабочего движения и смелая, решительная политика с его стороны. До этого в 20-х и 30-х годах дело не дошло. Инициатива в борьбе за души и силы многих миллионов немцев была перехвачена фашистами.

Ошибочно считать, что все дело было в безработице, быстро покончить с которой путем милитаризации страны обещал Гитлер. Очень важную и тогда недооцененную роль сыграла и развернутая гитлеровцами бешеная, неистовая националистическая пропаганда. Ее вели на всех углах и перекрестках, доводя слушателей буквально до буйства. Национализм слепил глаза миллионам обывателей и незрелых молодых, действовал на них как возбуждающий наркотик, а антифашисты того времени не всегда находили нужные доводы и правильный тон в обращении с обманутыми людьми.

Чисто теоретические, абстрактные, пусть и несомненно правильные аргументы до большинства разгоряченной аудитории не доходили. Требовалось не одно лишь научное оружие, а и психологическое умение. Это была не академическая дискуссия, а схватка за сердца людей. Гитлер, Геббельс, Геринг, югендфюрер фон Ширах владели искусством играть на эмоциях толпы. Как подтвердилось впоследствии, политическая и психологическая неподготовленность антифашистов стоила им очень дорого. Борьба с фашистами оказалась несравненно труднее и сложнее, чем с прежними буржуазными противниками или с правыми социал-демократами.

Но главным был все-таки просчет во времени, запоздание с усилиями по организации объединенного антифашистского контрнаступления. Руководимые своими правыми лидерами социал-демократы категорически отказывались идти навстречу коммунистам. В июле 1939 года, за полгода до прихода Гитлера к власти, они не пошевелили и пальцем, когда готовившийся кговору с нацистами канцлер фон Папен простым распоряжением сместил социал-демократическое правительство в Пруссии, располагавшее крупными полицейскими силами.

Мешала и порочная теория «социал-фашизма», впоследствии отвергнутая Коминтерном. Мне несколько раз доводилось наблюдать ссоры между социал-демократами и коммунистами в пивных или вблизи заводов. Помню, как тяжело это воспринималось. Гитлер стоял у ворот.

Было и другое. Некоторые очень хорошие, верные делу люди прямо начинали с самоуверенной недооценки сил и возможностей фашизма. Тем, кто им возражал, говорили: «У страха глаза велики». Еще в 1933 году многими считалось, что Гитлер продержится около года.

Через одиннадцать лет после статьи в «Ди интернационале», в самом начале 1934 года, я, находясь уже в Лондоне⁴, опубликовал книгу «Гитлер над Европой?», изданную в разных странах. Два года спустя последовала книга «Гитлер над Россией?» (изданная в СССР в 1936 году под заголовком «Гитлер против СССР»), в которой на основе политического и военно-стратегического анализа доказывалась неизбежность поражения Гитлера в предстоящей войне с Советским Союзом. После выхода в СССР в 1935 году первой из этих книг она вызвала следующее замечание редакции, напечатанное в предисловии:

«Верить в дьявольскую реальность фашистской фантастики, как это делает Генри, значит из-за деревьев не видеть леса, значит потерять перспективу всего развития и тем самым не замечать борющихся с фашизмом мощных революционных сил германского и международного пролетариата.

Это писалось за четыре года перед началом второй мировой войны, за шесть лет перед нападением Гитлера на Советский Союз.

В следующем году положительная рецензия на мою новую книгу «Гитлер против СССР» в журнале «Книга и пролетарская революция» заканчивалась такими словами по поводу моих утверждений, что предстоит вторжение вермахта в СССР: «Он (автор. — Э. Г.) ошибается в этом допущении. Красная Армия, весь советский народ не пустят врага в пределы своей родины, а будут его бить на той территории, откуда он пришел.

Я вспоминаю обо всем этом не для того, чтобы возобновлять старые, давно решенные

⁴ В книге правого западногерманского историка Д. Айгнера «Борьба за Англию» (Мюнхен, 1969) указывается, что я в то время был корреспондентом ТАСС. Это неверно.

спору, а чтобы отметить, как иногда некоторые отнюдь не глупые люди, мышление которых целиком устремлено к конкретным вопросам сегодняшнего дня, упускают из виду большую историческую перспективу. В антифашистском движении перед войной бывали такие случаи.

Современная молодежь не должна пренебрегать опытом прошлого, думать, что то, что было и прошло, ее уже мало касается. Входить в будущее, не зная о прошлом, нельзя: можно остаться в прихожей. Это было доказано бесчисленное количество раз.

Нельзя забывать о старом фашизме. Нельзя забывать о гестапо и лагерях смерти. Нельзя забывать о второй мировой войне и о том, чем, по плану фашистов, она должна была кончиться. Мир, отброшенный на столетия назад. Поголовное физическое истребление целых народов. Превращение независимых стран в колонии рабов и полурабов. Удушение духовной культуры, всемирное царство страха. Это не была «фантазия» сумасшедших, а конкретный, детально разработанный, готовый к выполнению план.

Нынешняя молодежь знает об этом плане только по книгам, школьным урокам, отдельным рассказам старших. Некоторым из ее числа все это, возможно, кажется чем-то нереальным и малопонятным. Лекции, которые они слушают на такие темы, нередко звучат для них сухо и схематично, слишком далеко от их собственной действительности. И все-таки надо, чтобы они знали и помнили. Незадолго перед тем, как они начали жить, земной шар действительно был на краю бездны, и только армия советского народа спасла мир в решающие дни...

Но когда я писал те первые антифашистские книги, горизонт будущего был еще закрыт густыми облаками. Писать их было не очень просто не только по политическим причинам. Меня в те годы высылали то из Англии, то из Бельгии, то из Франции; товарищи предупреждали, что за мной, как и за другими антифашистами, вероятно, охотится гестапо (впоследствии оказалось, что я был в числе занесенных в так называемый черный список гестапо для Англии — список лиц, подлежащих немедленному аресту после вторжения вермахта на британский остров). Жить опять приходилось на меняющихся все время квартирах. Но все это относится уже к другому периоду моей жизни.

Так я стал публицистом-международником. Оглядываясь назад, я вижу: чтобы им стать, требовалось немало — и комсомольский дух 20-х годов, и жизнь в разных странах, и тюрьмы, и споры, и — самое главное — пламенная динамика нашей эпохи.

Исключать из этого списка нельзя ничего. Добавить к нему можно было бы еще очень много.



ИЗ ЛИТЕРАТУРНОГО НАСЛЕДИЯ

МИХАИЛ ЛУКОНИН



БЫТЬ С ВЕКОМ НАРАВНЕ

Размышления о современной поэзии

У него политика — поэзия, а поэзия — политика, у него жизнь — поэзия, а поэзия — жизнь.

В. Белинский.

Ему сегодня было бы шестьдесят...

Лауреат Государственных премий, участник войны с белофиннами и Великой Отечественной, один из руководителей Союза писателей СССР, выдающийся советский поэт Михаил Кузьмич Луконин (1918—1976) неоднократно выступал и в критическом жанре. В личном архиве писателя остались заметки о современной советской поэзии, написанные примерно за год до безвременной кончины.

Михаилу Луконину, человеку горячего поэтического и публицистического темперамента, менее всего была свойственна «академическая уравновешенность» в суждениях — многие из его конкретных оценок несут на себе явственную печать авторских, глубоко личных пристрастий.

Учитывая, что три года, отделяющие нас от времени написания заметок, определенно внесли свои изменения в нарисованную здесь картину, нельзя не подивиться широте обобщений, характерной для автора пристальности взгляда на существенные стороны литературного процесса, не отметить столь же характерного пафоса утверждения, всемерной поддержки наиболее плодотворных поисков наших поэтов, пафоса непримиримости к любой профанации высокой роли стиха.

Публикацией работы «Быть с веком наравне» журнал отмечает знаменательную дату — шестидесятилетие со дня рождения Михаила Луконина.

Коммунистическая партия всегда проявляла глубокую заботу об идейном и художественном росте нашей литературы, отстаивала чистоту марксистско-ленинских принципов эстетики. Партия определяет генеральные пути советского искусства.

В. И. Ленин в самые сложные годы революционного движения, в самую напряженную пору для молодой республики Советов не упускал из виду художественную литературу, боролся за нее, обдумывал ее пути. Его учение о партийности художественного творчества и вся последующая принципиальная линия в этих вопросах дает нам в руки надежный компас, позволяющий держать верный курс как в области эстетической теории, так и в художественной практике.

Невиданный размах работы партии и народа определяет гражданственный тонус нашей поэзии.

Разберемся, что сделали советские поэты за последние годы для жизни, насколько мы современны для своих современников, как осуществляются заветы замечательных зачинателей советской поэзии, как мы выполняем свой высокий долг поэтов советского народа.

Мы — счастливые поэты. Во всем мире удивляются интересу читателей к поэзии в нашей стране, тиражам наших книг, многочисленным вечерам поэзии, особому, почетному положению поэта в нашем обществе. Удивительное и лестное положение это объясняется тем, что для нашей поэзии источником является советская действительность, ибо у поэзии один путь —

из жизни в жизнь, от людей к людям. Авторитетность поэзии есть результат небывалой еще в истории эмоциональной и идейной общности советских людей, единства целей Коммунистической партии и народа.

Поэзия — одно из проявлений жизни, ее крылья. Можно не любить отдельных поэтов, отдельные стихи, но нельзя не любить или не понимать поэзию, без нее невозможно существовать, она — свойство жизни, душа живого. Поэзия — в советском человеке, в его вдохновенном груди, в нашей коммунистической цели.

На какой же высоте должна быть советская поэзия, чтобы соответствовать уровню самой советской действительности и быть впереди читателей в видении и в чувствовании этой жизни!

«Время — вещь необычайно длинная», — заметил Маяковский. Однако в нашем восприятии оно все-таки делится на некие обозримые отрезки. Прошло почти три десятилетия с того дня, когда мы, фронтовое поколение, шумной ватагой ввалились в здание ЦК комсомола на Первое Всесоюзное совещание молодых писателей. Теперь мы, чтобы не сказать старые, скажем — старшие поэты.

Имена наших друзей, не пришедших с войны, — Кульчицкого, Когана, Лебедева, Отрады, Майорова — на мраморной доске у входа в Дом литераторов, хотя тогда они еще только мечтали стать членами Союза писателей.

Они остаются в поэзии. Как остаются в поэзии имена Недогонова и Гудзенко, которых потом «догнала» война.

Ну а что мы, живущие — Сергей Наровчатов, Сергей Орлов, Максим Танк, Михаил Дудин, Марк Соболев, Мустай Карим, Марк Максимов, Борис Слуцкий, Кайсын Кулиев, Давид Самойлов, Яков Хелемский, Константин Ваншенкин, Евгений Долматовский, Василий Федоров, Давид Кугультинов, Евгений Винокуров и еще другие поэты, прошедшие испытание войной?

Я не оговорился, назвав Василия Федорова. В чем разница между нами? Он вынес не меньше испытаний, делая самолеты на лютых сквозняках голодного тыла.

Мы — дети гражданской войны и первых пятилеток. Главным чувством наших поэтических начинаний было сожаление о том, что мы опоздали к революции — не были в боях Первой Конной. Нас захватила и покорила тогда поэзия старших — Маяковского, Тихонова, Тычины, Сельвинского, Суркова, Купалы, Луговского. Она воспитывала нас, еще не знавших, что мы не опоздали, как не опаздывает вообще никогда никакое поколение.

Критика и литературоведение вот уже четверть века держат нас в одной обойме «поэтов войны», не слишком вникая в различия между нами.

Из огня да в полымя, что называется. В истории русской советской литературы мы в одних скобках, в статьях к годовщинам Советской Армии и Флота, брошюрах общества «Знание» — опять в скобках. Как палкой по забору, по именам, и — готово!

Удобно, правда?

Такое впечатление, что мы шли добровольно на войну для удобства критики. Хочется сказать — раскройте же скобки, мы поэты по одному, а не все сразу.

Память о войне, память о павших товарищах — это не просто память, это бдение памяти, это постоянное испытание своего слова и себя ответственностью и перед своим поколением и перед временем. В этом глубоко личная гражданственность поэта.

О многом я передумал, когда читал в прошлом году новую книгу стихотворений Сергея Орлова «Верность».

В стихах Сергея Орлова можно найти ответ на то, чем же интересны для молодежи поэты, прошедшие испытания фронтовой поры, в чем нравственные принципы и уроки поэзии этого времени.

Обостренное чувство родины и чистота души, полная слитность личных устремлений с интересами народа, глубина переживаний — вот что передает новым поколениям поколение отцов.

От фронтовой атаки к полету в космос — непрерывная эстафета от поколения к поколению, эстафета преданности и любви, — такова излюбленная мысль Сергея Орлова.

Романтики двадцатого столетья,
 Не на бортах крылатых каравелл,
 Не на коне с клинком, где гром и ветер,
 А в нашем дне за этот день в ответе,
 Завиден и прекрасен ваш удел.

Во имя правды, не страшась обиды,
 Не думая о славе и чинах,
 Вы от Тавриды и до Антарктиды
 Повсюду на нетопренных путях.

Жизненная основа книги — встреча с родной Вологодчиной, поездка в героический Вьетнам. Застенчивость, но и уверенная твердость в интонации, серьезность чувства — среди отличительных свойств этих стихов.

Мы говорим, задумываясь редко,
 Что время беспощадное течет.
 Как на войне, — с кем бы пошел в разведку?—
 А думать надо: кто с тобой пойдет?

Чем эта поэзия задевает за сердце? Прежде всего — наполненностью своего эмоционального пульса, пафосом нераздельности прошлого, настоящего и будущего.

Ощущение слитности своей судьбы с судьбой народа, с историей пронизывает и творчество другого поэта, сформировавшегося в годы войны, — Василия Федорова.

Василий Федоров вошел в нашу литературу как-то неожиданно, вошел уже в зрелом возрасте, сразу заявив о себе как о поэте строгого, выверенного богатым жизненным опытом мастерства.

Главенствующими темами всего его творчества являются тема осознания человеком своего места в мире, тема утверждения нравственной красоты. Лучшие строки его поэм пронизаны, я бы сказал, своеобразным гражданственным историзмом, продиктовавшим знаменитые строки:

За красоту времен грядущих
 Мы заплатили красотой.

Сейчас поэта больше привлекают малые поэтические формы. Может быть, это идет от прежнего эпического перенапряжения? Трудно поверить, что поэт такого большого жизненного запаса исчерпал весь сюжетно-эпический материал. Но и лирика не зона отдыха. Здесь тоже действуют токи высочайшего поэтического напряжения. Вот почему настораживает в некоторых стихах его о любви какая-то рассудочная охлажденность. Это не столько стихи о любви, сколько воспоминания о ней. Не рано ли поэту записываться в лирические мемуаристы?.. Но это частные замечания. Нас по-прежнему продолжают волновать те трудные вопросы, которые ставит перед нами поэт.

Пусть ошибусь,
 Пусть огорчат, расстроят,
 Пусть снова заблужусь
 В сердцах людских.
 И все-таки уверен — люди стоят,
 Чтоб жизнью,
 Счастьем я платил за них.

Именно это чувство неоплаченного долга перед людьми, готовность идти на личные жертвы ради них, любовь к простому человеку, к земле определяют общий настрой лирики Василия Федорова.

Не так давно мы познакомились с его большой и очень серьезной поэмой «Седьмое небо», поэмой философской и вместе с тем ясного общественного звучания.

«Седьмое небо», где история дружбы двух молодых рабочих пареньков является своеобразным психологическим прологом, — новое подтверждение высокого композиционного мастерства поэта, умения все сюжетные, все монологические линии, даже лирические отступления подчинять единой обобщающей поэтической мысли.

Мне нравятся в поэзии Василия Федорова его поэтическая и гражданственная определенность, богатая народная основа его поэтики, постоянная тяга к современным проблемам, бойцовский характер его полемических стихов.

Поэзии Василия Федорова одинаково вняты «и мировое потрясение, и горе одного двора».

По своей лексической основе, по своим поэтическим корням, вниманию к простым людям, по своей плотной и конкретной лексике Василий Федоров подлинно русский националь-

ный поэт. Его поэзию отличает ясная, выверенная образность, столь непохожая, допустим, на образность Ивана Лысцова, у которого можно найти такое:

По-за лугом-некосяю, гам где лес-насека
Нёсыми-орехи бережет,
Запала́я, гиблая. прочь от человека,
Говорят, дороженьна ведет.

На каком это языке написано? Поди разберись. Это псевдорусское, псевдонародное.

Лирика Василия Федорова несет в себе родовые черты советской поэзии, прошедшей школу лирики Есенина, Твардовского, Смелякова.

Одно из самых ярких явлений современной поэзии — Кайсын Кулиев.

Творимая на балкарском языке его поэзия за последние десятилетия завоевала любовь широкого круга читателей страны и сейчас волнует нас глубиной, напряженностью содержания, мыслями о жизни.

Стих Кулиева немногословен. Его поэзия выражает всегда что-то очень важное и существенное в нас, она обаятельна и молода, у нее мудрая и добрая улыбка. С ней чувствуешь себя, как с другом, она основательна и надежна.

Творчество Кайсына Кулиева обширно. Обширно не по количеству строк, а по тематическому, проблемному диапазону. Оно охватывает обширное пространство и глубинные пласты нашей жизни. У поэзии Кайсына есть удивительное и редкое свойство — она доходит до любого человека: от академика до школьника, от рабочего у станка и до космонавта.

Если говорить о влиянии национальной поэзии на русскую, то несомненно, что Кайсын Кулиев оказывает влияние на русских поэтов жизненностью и оптимизмом, цельностью и художественной убедительностью.

Я уже не говорю о том, что сам Кайсын похож на свою поэзию, и это еще раз наводит на мысль о том, как важна в творчестве личность поэта.

Очень заметной и значительной была все эти годы работа Константина Ваншенкина, поэта большой внутренней силы, строгости и определенности.

Один из самых значительных среди работающих сейчас мастеров, Константин Ваншенкин обладает завидным иммунитетом против всего мельтешащего в поэзии, он как бы заколдован от моды, от шумихи, от страстей тщеславия.

Его стихи, написанные за последнее время, волнуют причастностью поэта к сегодняшнему дню страны.

Ждет глубокого исследовательского осмысления его книга «Характер», изданная «Советским писателем».

Я сказал несколько слов о больших и разных поэтах, работающих с нами. Но как много родственного, общего в их творчестве! Роднит их активное отношение к жизни, строгая проверка впечатлений бегущего дня памятью сердца.

Это же роднит с ними и поэтов, пришедших позднее — в середине 50-х, таких, как Ахмадулина, Цыбин, Соколов, Рождественский и другие. Роднит видение мира. Хочется подчеркнуть, что между поколениями поэтов нет никакого разрыва, хотя на этот счет домыслов было немало.

Вспоминаю, с каким интересом и с какой радостью встречали мы поэтов новой волны, богатую талантами плеяду середины 50-х.

Владимир Цыбин, возвращенный семиреchenской землей; тонкая и взволнованная, сразу же — с уверенным мастерством восемнадцатилетняя Белла Ахмадулина; Владимир Фирсов с синевой своих рек. Роберт Рождественский появился как сатирический поэт, но потом расширил свой диапазон, обратившись к масштабным темам своего поколения, сохранив и сатирическое начало — сильную сторону своей публицистики. Евгения Евтушенко я узнал из газеты «Советский спорт». Захотелось встретиться с поэтом. Вскоре он принес истинное, уже «евтушенковское» стихотворение «Мать Маяковского», которое мы и опубликовали в журнале «Октябрь».

Удивляла невероятная способность к импровизации, точность и вещность, острота зрения. Все это радовало очень.

Потом стал слышен Андрей Вознесенский. Познакомился я с ним позже, он уже был поэтом.

Римма Казакова приехала на смоленский семинар с Дальнего Востока, привезла стихи о геологах и романтиках далекого края, увлекла нас этими стихами.

Сидел за первой партой, как староста моего семинара в Литературном институте, одаренный Владимир Соколов.

Сейчас это самое активное, срединное звено нашей поэзии, мастера, но тогда приходили они с ощущением «опоздавших», так знакомым моему поколению.

Не просто складывался. Труден был путь этих талантов к самим себе, одни сразу же почувствовали вкус славы, другие находились как бы в тени. Это наложило свой отпечаток на тех и на других.

Нелегко было быть молодым поэтом в конце 50-х: как скрестились критические прожектора на трех-четыре именах, так и стояли долгое время, не спуская лучей, не отводя их ни на кого другого.

Магнетизм моды заворожил тогда не только молодых критиков и читателей, но и почтенных ученых мужей критического цеха.

Другим молодым, да и старым, которые оказались тогда вне внимания, нужен был характер и спокойствие, чтобы рассчитывать на будущее, нужны были — как говорилось в устах старой гвардии — «нервы толщиной с палец».

Некоторые не выдерживали, изменяли самим себе, своей природе.

Нужны были сильные характеры, чтобы отстоять самих себя, и они были, есть и будут.

Такой характер проявил Владимир Цыбин. В поэзию он пришел спокойно, как на работу, разложил инструмент и приступил к делу.

Конечно, это только так кажется. Волновалось сердце. Перед глазами ширилась родная степь, он видел ее и всю целиком и каждую былинку в отдельности. Видел крупно, в цвете, слышал до малейшего звука и чуял запахи ветра и снега. У него было знание жизни, приобретенное непосредственным участием в ней.

Это и сделало его поэтом, вот уже двадцать лет работающим в поэзии.

В последние годы Владимир Цыбин вновь все чаще заявляет о себе как поэт драматического склада. Прежняя остросюжетность приобрела более тонкие, лирические формы. Поэт ищет не столько событийных конфликтов, сколько лирической напряженности. Но он остался верен прежней своей фольклорной основе — за его стихами угадывается сложная ритмическая культура, что в наше время довольно редкое явление. Он теперь тяготеет к психологизму, оставаясь верным прежним речевым интонациям. И главное — за этими стихами стоит эмоционально думающая личность, гражданственный настрой души.

Мир его чувств — это мир, где есть родина, люди, земля, работа. И в круг переживания поэт властно вторгается тревожная нота памяти, как, например, в стихах, посвященных памяти Ярослава Смелякова:

Легло мне в подножье широкое русское поле
и замети свист,
я — слезы, Россия, твои, я — матери горе слепое,
я — обелиск!..

Хотел бы поднять над собой еще выше, чем есть,
пятилучье державной звезды.
Хотел бы я слышать и плеск, и дрожащие, беглые сучья,
и шелест скирды...

Эти стихи проникнуты болью сердца, болью нежности. Цыбин нетороплив, сосредоточен на вопросах времени. Его новые стихи — о духовной сущности человека, о природе. Но о природе несколько иной, чем она была у него раньше. У зрелого Цыбина с природой связано ощущение России и Киргизии — своих корней.

Теперь, когда я вижу Мустая Карима, всегда вспоминаю нашу дальнюю дорогу по Вьетнаму в 1961 году. До того были просто знакомы, а вернулись друзьями.

Помню тревожное ощущение в Пекине. Китайские писатели нас не встретили. С трудом мы устроились в гостинице и вышли в город. Вечерело. В глазах замелькали велосипедные ко-

леса, вся улица крутила ногами. Мимо, мимо плыла одноцветная масса людей, ни на кого не глядя, низко опустив головы, пряча глаза, как будто предчувствуя, что краске человеческого стыда будет отчего разгореться на щеках.

Мы молча ходили по улицам, долго в этот первый вечер в Пекине, вернулись поздно усталые и полные тревоги.

Я попросил его почитать стихи. Потом, когда стали ложиться спать и он снял рубашку, я увидел страшные шрамы его военных ранений. В ту ночь ко мне пришли строки, которые потсм, через семь лет, в тревожные дни в Чехословакии, стали стихотворением.

Да, раны зарастают. Но растут.
И не болят Пока их не увидишь
или пока забвеньем не обидишь...

Так одна тревога, напомнив другую, привела с собой и стихотворение — неисповедимы пути стихов!

Я уже сказал, что перед сном в номере пекинской гостиницы я попросил Мустая прочитать стихи. И понял его как поэта и понял, какой это большой и первозданный поэт. Может быть, обстановка, настроение, мысль о родине совпали с его поэзией, но она взбудоражила и захватила душу своей чистотой и высотой, своей человечностью и силой.

В нашем поэтическом поле поэзия Мустая разгорается, как хороший дружеский костер. Хорошо у костра этой поэзии, как дома, как в молодости, как на войне с боевыми друзьями. Это большая советская поэзия наших тревог и наших преодолений.

Всегда с интересом слежу за творчеством Беллы Ахмадулиной. Передо мной ее новые стихи. Первое — об Ахматовой.

Как на земле свежо и рано!
Грядущий день, дай ей отсрочку!
Пускай она допишет: «Анна
Ахматова» — и капнет точку.

Непринужденное и головокружительное мастерство! Эти стихи никак нельзя написать по-другому: все слова — единственно необходимые, все слова на месте. Я не знаю рабочей манеры Ахмадулиной, долго ли она ищет, много ли вычеркивает, но печатает всегда стихи без всяких пробельных материалов, без шпон.

Так же и второе стихотворение «Опять сентябрь».

Так я сижу, подслушиваю сад,
для вечности в окне оставив щелку.
И Пушкина неотвратимый взгляд
ночь напролет мне припекает щеку.

Какое большое магнитное поле в одном четверостишии! Все видишь и переживаешь вместе с автором. А вот ее строки из стихотворения о своем творчестве:

Как другие плетут письма?—
я не знаю, нет сил, не умею,
не могу, отпустите меня.
Это я — человек-невеличка,
всем, кто есть, прихожусь близнецом,
сплю, откуда идет электричка,
пав на сумку невзрачным лицом.
Мне не выпало лишней удачи,
слава богу, не выпало мне
быть заслуженной или богаче
всех соседей моих по земле.
Плоть от плоти сограждан усталых,
хорошо, что в их длинном строю
в магазинах, в кино, на вокзалах
я последнею в кассу стою —
позади паренька удалого
и старухи в пуховом платке,
слившись с ними, как слово и слово
на моем и на их языке.

Удивительно жизненно. Есть какая-то всеобъемлющая доброта во всем этом и в отношении ко всему.

Вот три новых стихотворения. Прочел, а не покидает чувство огромного мира, переживание праздника, как будто к тебе пришла нежданная радость.

Строго, с громадным чувством выбора, не спеша работает Белла Ахмадулина.

Это поэзия.

О творческом становлении Соколова убедительно написал Леонард Лавлинский в новой своей книге «Сердца взрывная сила». В последнее время творчество этого поэта привлекает внимание критики.

Лавлинский приводит точные и верные слова Павла Антокольского из его статьи 1968 года:

«Есть такие художники, поэты, деятели во всех родах искусства и культуры. Они вырастают в стороне от больших и торных дорог, в стороне от ярмарок тщеславия и моды, растут ровно и добротнo. И внезапно обнаруживается, что рядом с вами вырос по-своему умудренный жизнью отличный мастер своего дела». И дальше — о том, что трудности роста «были несколько облегчены для Соколова одним прочным обстоятельством: на него мало или совсем не обращали внимания, о его работе мало писали и, соответственно, не хвалили его, не ругали».

Лавлинский дополняет:

«Это нелестное для критиков замечание умудренного опытом мастера тем не менее имеет резон, если учесть критические виражи вокруг названных модных имен и тот несомненный вред, который они нанесли развитию молодых художников».

Редкая для поэтической критики, поэтому особенно полезная и обнадеживающая самокритичность. Положение было именно таким. По отношению к некоторым другим поэтам оно таким и продолжает оставаться.

Критике теперь уже не терпится определить, на какую полку поставить его для удобства, чтобы был под рукой — достать и цитировать...

Сравнительно недавно появился термин «тихая поэзия». Я еще не уловил, что это значит в применении к современной поэзии. Шепотом умели говорить многие поэты. «Шепот, робкое дыханье, трели соловья...»

Говорили и тихо. Вот прекрасная строчка Ломоносова:

В любви со страхом тихо тайте,
Покой моей надежде дайте.

Или, помните, у Антокольского:

Я буду говорить как можно суше,
Почти молчать, — но о тебе одной.

А вот еще тише, у Пастернака:

Тишина, ты — лучшее
Из всего, что слышал.

Тихо можно говорить о громадном чувстве к Родине — мы, правда, несколько отвыкли от этой интонации, но не сильнее ли наших декларативных восклицаний выдохнул щемящее чувство два века назад Херасков:

Люблю Отечество,
люблю и славу нашу.
Не ей придам красы,
но ею песнь украшу.

Поэзия всегда и сейчас работает на самых разных регистрах. Термин «тихая поэзия» стали применять к Владимиру Соколову. А у него просто голос такой, когда он читает, а не когда пишет.

Соколов — поэт громких чувств и мыслей. Громких — то есть масштабных, выражающих в человеке большое, значительное. Прочтите его новое стихотворение «Тихий снежок».

Я взглянул из окна.
 Там деревья стояли под снегом,
 Люди шли,
 А сугробы
 Тихонько росли от снежинок.
 Показалось, что детство,
 Что надо куда-то за хлебом...
 Или нет — до войны
 Самой синей из белых тропинок.
 Я хочу, чтоб фонарь
 Колебался в мерцающей сети
 И не гас раньше времени...
 И чтобы руки не стыли
 В темноте
 Под бомбежкой...
 Я очень хочу,
 Чтобы дети
 Дольше были детьми,
 Дольше
 Взрослые взрослыми были.

Или еще это — стихотворение «Я очень родину люблю...»:

Я очень родину люблю.
 Она такая молодая.
 Она такая вековая.
 Я очень родину люблю.

Очнешься утром, по росе
 Следы уже оставил кто-то
 Передо мной. Моя забота
 Его догнать на полосе.

Почти догнал! Но где же он,
 Меня в такую даль зовущий,
 Чтоб становился я все лучше?
 Он улетел за небосклон!

Он возвращается к Кремлю,
 К его рябинам припадая...
 Я очень родину люблю,
 Она такая молодая!

Она — моря цветов и хлеба.
 Березы. Лунные поля.
 Она одна земля и небо,
 Отчизна. Небо и земля.

Теперь задавайтесь вопросом — тихая это или громкая поэзия? Интеллектуальная или еще какая?

Это истинно советская талантливая русская поэзия **Владимира Соколова**.

Ну, а как определять поэзию Андрея Вознесенского? Его творчество года два-три подогревает мое любопытство. Что же дальше? Первая, давняя поэма «Мастера» знаменовала появление яркого поэта.

В ней было жизненное здоровье, художественное озорство, серьезность подхода к истории.

Потом вроде бы Вознесенский окончил высшую техническую школу, и мне показалось, что его соблазнила репутация превосходного шифровальщика.

Критик А. Урбан в письме к Вознесенскому («Вопросы литературы», 1973, № 4) сразу настроился на волну поэта, стараясь вникнуть в его содержание. Это, оказывается, нелегко.

У Вознесенского прекрасное зрение, и он подчеркнута метафоричен. Я согласен с А. Урбаном: «Метафора, в конце концов, не приспособлена для улавливания психологических оттенков. И это как бы упрощает поэзию».

Многое у Вознесенского не выходит за пределы лабораторного испытания формы. Но Вознесенский — истинный, ищущий поэт, вооруженный всеми возможными средствами выражения для постижения действительности.

Теперь уже пора.

Русская поэзия может себе позволить такой интересный художественный эксперимент, мало того — он плодотворен для поэзии. Но может ли значительный талант Вознесенского довольствоваться ролью испытательного полигона? Нет, не думаю.

Будущее покажет.

Представляю, насколько обнаженным покажется ему то, что я сказал, и, может быть, обидным. И неприемлемым, тем более что исходит не от критика В. Урбана или академика Л. Ландау, а от поэта другого.

Думаю, что в свое время статья Сергея Наровчатова о Вознесенском, заинтересованная и требовательная — большой и аргументированный разговор поэта и ученого, — принесла пользу. Я с одобрением и интересом отношусь к творческому пути Андрея Вознесенского и не только надеюсь, но и уверен, что он, как большой поэт, все шире и яснее будет открываться навстречу нашей жизни, как открыт для нее Л. Мартынов, поэт, не менее увлеченный явлениями научно-технического прогресса.

Может, больше любого другого поэта печатается, поется, слушается, смотрится в последние годы — Роберт Рождественский. Любимец газетных полос, радиоточек, телевизионных экранов, эстрадных аудиторий, любимец композиторов и пропагандистов — Роберт Рождественский.

У него есть замечательное качество — он доходчив с первого взгляда.

Можете подумать, что я осуждаю в нем это качество? Нет. Это замечательный дар для поэта — умение разговаривать так, чтобы тебя понимали, увлекать, вести за собой.

Но аплодируют любому Рождественскому — плохому и хорошему, печатают выдержанное и скороспелое. Это должно мобилизовать внимание поэта. Наступает возраст, когда поэту пора более требовательно относиться к поэзии.

У него есть характер, у него есть что сказать. Живет он всем сердцем, с полным, чутким восприятием мира и с полной отдачей.

Может быть, с излишне импульсивным восприятием и слишком нетерпеливой отдачей.

Рождественский — из тех редких поэтов, которые способны выдержать прямое слово критики и, что совсем редко, прислушаться к этому слову.

В этом убеждает книга избранных произведений «За двадцать лет».

Самая сильная сторона Рождественского — актуальная поэтическая публицистика.

Многое нам предстоит решать средствами публицистики, она требует особой строгости, ее должна отличать увлеченность, подлинный поэтический пафос. Многие избегают браться за актуальные темы времени. Многие тешат себя надеждой заработать вечность темами вечности. Глубокое заблуждение!

Рождественский не чурается острой злободневности и не боится вызвать огонь на себя.

Важно, чтобы стремление заполнить собой все окружающее пространство не породило горючести. Самое время Рождественскому задуматься над этим.

Творчество Давида Кугультинова мне особенно близко. Я рос на левом берегу Волги между Саратовом и Сталинградом. В ста километрах в глубь степей — Казахстан, через Волгу ниже по течению — Калмыкия.

Каждый поэт живет несколько жизней. Так и я — чувствую, помню казахов и калмыков, как и татар и башкир, в той исторической дали, которая у нас за плечами. Ясно вижу — ладонь к глазам — на границе степного марева конных кочевников в лисьих малахях, с пиками наперевес. Мое село Быковы Хутора сначала и было поставлено как сторожевой пост для охраны соляной дороги от Эльтона и Баскунчака в Россию.

А в этой, теперешней жизни я знаю и люблю степь, населяющие ее народы.

Знаю отары и пастбища не хуже казаха или калмыка.

Иногда возникает странная иллюзия: кажется, что я понимаю по-калмыцки и по-татарски.

Году в 1936 впервые увидел калмыцких поэтов в Сталинграде. Не помню, был ли среди них Давид. Первая проба перевода — калмыцкая народная песня «Жалоба матери»:

Дотронешься кончиком носа

до моего лица.

Вон как со своей любимой целуешься без конца

Первый выезд за пределы знакомого мира — калмыцкая степь, озера Цаца, Ханага, Циганур, Бермандак...

Подумать только! — встречаемся, раскидывая руки для объятий, радуемся друг другу — потомки глухой ожесточенной вражды.

Давид Кугультинов мудр и зорок. Как бы в ответ на стихотворение Пушкина «Калмычке» он написал стихотворение о Пушкине с волнением и любовью. Так «друг степей калмык» понимает поэзию.

В журнале «Новый мир» опубликовали его большую поэму об американце — «Бунт разума». Большую и разумную поэму о совести, о войне.

Но стихи его я люблю больше, в стихах — степь, горячий ветер, милые люди — калмыки, все мое или, по крайней мере, все кажется моим, близким.

Я люблю читать стихи поэтов брагских республик, прочтешь, и как будто побывал в Грузии, Эстонии, Калмыкии. Я благодарен им за это.

Мне хочется поддержать недавние попытки некоторых хороших поэтов подойти ближе к темам великих строк страны, темам пятилетки.

Поэтические репортажи Михаила Львова, Ильи Френкеля, сибирские стихи Марка Лисянского, написанные в результате поездок писательских бригад в Тюменскую область, на КамАЗ, — это живые картины трудового вдохновения народа.

Может быть, перед нами только подступы к теме, но это благородное творчество и самая актуальная публицистика, из которой возникает большое.

Помните, как рождался «Василий Теркин» из первых проб на финской войне до бессмертной «Книги про бойца»?

На недавнем собрании творческого объединения московских поэтов Сергей Поделков говорил о том, с каким подъемом поэты в свое время встретили первую пятилетку, как быстро мобилизовались на решение важнейших вопросов времени. Поделков рассказал, как Николай Дементьев, выпустивший к тому времени первую книгу, стал ездить на стройки, привозил оттуда стихи, которые поначалу вызвали критику за прозаизм и публицистичность. Поэты встречались, обсуждали, как лучше отразить процессы, происходящие в стране. Сельвинский написал «Электрозаводскую поэму», пробовали, искали свое Виктор Гусев и другие. А потом из поездки в Бобрики Николай Дементьев привез свою небольшую поэму «Мать», которая поставила его в исторический ряд больших советских поэтов.

Надо искать и пробовать, не бояться газетной работы, не бояться материала жизни, только так и можно найти свое место в рабочем строю.

А то очень уж мы стали тяжелы на подъем, стали такими красивыми и сложными, такими «интеллектуальными», что куда там! Кажется, наступает пора, вот-вот раздастся голос читателя: разрешите побеспокоить, Ваше Высокое Лиричество!

Лет на пятнадцать отдавал свое перо прозе Константин Симонов. Между тем постоянно можно было убедиться в его неослабном интересе к поэзии — по его многим выступлениям в печати, по активному участию в разработке творческого наследия Маяковского.

После долгого и плодотворного для прозы перерыва он вспомнил свое происхождение, а по-моему, и призвание.

Его боевой общественный темперамент и фронтовая закалка не дали ему отмолчаться. От войны во Вьетнаме. К нему вернулись стихи.

Читатели хорошо встретили его книгу, она пронизана чувством связи с нашим фронтовым прошлым, с нашей молодостью, в стихах книги — волнующая переключка времен, переключка сердец. Многие стихи умны, талантливы.

Но перерыв дал себя знать, как если бы скрипач взял скрипку после долгого перерыва. Некоторое непослушание пальцев заметно в самом письме. Будем надеяться, что наш замечательный поэт впредь не станет надолго отходить от поэзии — как известно, ревнивого искусства.

С поэтами надо обращаться осторожно. Я всегда был убежден в том, что иные паузы бывают более плодотворными, чем писание впопыхах и по первому внешнему сигналу.

Хотя, конечно, именно эти периоды накопления или перестройки особенно мучительны в творчестве.

Я сам переживал это творческое состояние, наблюдал «молчаливого» Смелякова перед его такими бросками, как «День России».

Есть, правда, поэты, которые счастливо избавлены от этих мук.

С особой радостью хочется говорить о новых удачах наших старших — имею в виду поэмы Евгения Долматовского о Че Геваре и Сергея Васильева о подвиге Карбышева.

Это произведения актуальной значимости. В них вложен опыт личного, пережитого, воплощенного в образах других людей. Именно свое, пережитое, сообщает этим образам подлинность.

Думая о современной русской поэзии, гордясь ею, нельзя не сказать о творчестве Виктора Бокова, поэта тонкого чувства природы, волшебника языка. Это самобытный поэт. Он весь в стихии народной песенной интонации, красочный и всегда молодой.

Казалось бы, при таком чувстве языка должен быть особенно гонкий слух на фальшивый звук. Может быть, он и есть по отношению к другим поэтам. Сам же Боков порой как будто токует — не слышит себя.

Вот и в цикле «Даль больших дорог»... Сколько здесь жизни, юмора, мастерства! Стихи хорошего утреннего настроения. И вдруг читаешь:

Телефонные будки под снегом,
Телефонные дали в столбах.
От прогулки, условленной в среду,
Горечь выступила на губах.

Вот снежинки опять полетели,
Вся Москва в баррикадах зимы.
Средь кривых куролесиц метели
Твои черные брови прямы.

Ты стройна, как старинная церковь.
Легок твой тополиный полет.
Потому и успех у концертов,
Что концерты царевна ведет.

Не идешь, а плывешь возле рампы,
Даришь людям улыбку и речь,
И стыдятся рекламные лампы
Осветить красоту твоих плеч!

Даже не верится, что писал Боков. Что за страсть — печатать все написанное? Уже не говорю о том — что за необходимость писать все пришедшее в голову!

Неужели работа в песне все же накладывает свой отпечаток, сушит руку, притупляет слух?! Невольно подумаешь об этом, наблюдая неровную работу такого поэта, как Николай Доризо, поэта, достигающего порой большого мастерства.

Я убежден, что песня и стихотворение имеют разные основы за редким исключением счастливых совпадений, как это было у Исаковского — поэта исключительного в нашей поэзии.

Да, позволю себе сказать несколько слов о песне.

Сложное и своеобразное искусство и особая способность — написать песню.

У Гейне есть запись: «Песня — критерий самобытности». Не случайная мысль!

А положение в мире песни тревожное. Все чаще наша печать обращает свое внимание на песенное творчество. Прошли дискуссии в «Литературной газете»; выступали об этом горячо, заинтересованно и искусствоведы, и критики, и поэты — Лев Ошанин, Виктор Боков, Булат Окуджава, Сергей Островой, Владимир Харитонов, Александр Михайлов.

Часто пишет о песне Константин Ваншенкин, его статья в журнале «Вопросы литературы» (1973, № 8) — замечательный пример анализа творческого опыта. Вызывает возражение, правда, одно его утверждение: «Поэт всегда хочет, чтобы его стихи стали песней, и не всегда понимает, почему это невозможно».

Например, я никогда не хотел, чтобы мое стихотворение стало песней, и понимаю почему. Это невозможно. Мало того, стоял и стою на страже от посягательств на такую попытку.

Однажды, ослабив внимание, услышал с пластинки свое стихотворение «Спите, люди», где строки:

Спите, люди, отдохните.
Вы устали...
нагляделись
и наискрились глаза...—

пелись как:

Спите, люди, отдохните, вы устали,
нагляделись утомленные глаза.

Я категорически запретил эту пластинку.

Я высоко ценю в нашей песне и лучшее, что было, и лучшее, что есть сейчас; песни Исаковского, Фатьянова, Ошанина, Софронова, Долматовского, Жарова, Ваншенкина, Матусовского, Доризо, Острового, Бокова, Харитонова, Лисянского, Агашиной и других поэтов слушаю с волнением и завистью.

Но про себя знаю — мне не дано, к сожалению, овладеть песенным жанром, как не дано, к примеру, играть в сборной футбольной команде Союза.

Песня — особая поэзия. Но кажущаяся ее простота и обманывает бесчисленное множество текстовиков-затейников, захвативших все средства песенной индустрии.

Угрожающе разрослась масса второсортных песенных перепевов и вариаций.

Поэты, когда с ними говоришь, а я об этом советовался со многими поэтами, опускают руки: «Все статьи, и реплики, и дискуссии — как об стену горох. Сделать ничего нельзя: песня поставлена на поток».

Тяжелые слова!

Действительно, радио и телевидение, такие передачи, как «С добрым утром», «Опять двадцать пять», «Здравствуй, товарищ», «Вы нам писали», «До, ре, ми, фа, соль» и другие, требуют новую песню, именно новую, каждый день.

Весь этот голод утоляет наскоро изготовленная продукция ремесленников.

Все это пущено со всей мощью на пропаганду песни, но, к сожалению, серой главным образом. Раньше песни пели, а теперь только слушают.

Надо сказать, что общий ажиотаж толкает под руку и хороших поэтов.

Кстати сказать, кажется, что желание удержать в своих руках эстраду привело некоторых поэтов к мысли о том, что поэзия нуждается в костылях другого искусства. Так, Белла Ахмадулина, я видел афиши, читает стихи в сопровождении мима. По телевидению как-то передавали выступление А. Вознесенского на фоне музыки Щедрина с оркестром. Мне показалось, что в этом случае музыке мешают стихи, а стихам музыка.

Не хочется говорить о хождении множества низкопробных, антимузыкальных, антихудожественных поделок под гитару, этих «анти в банте» в духе самых разухабистых шлягеров Запада, половодье магнитофонной пошлятины.

Как же очистить нашу песню от наносного, слабосильного, беспомощного?

Представляете что если бы приемом и засолкой грибов ведали люди, неспособные отличить подберезовик от мухомора, или сознательно, для вала, солили бы все подряд?..

Надо повесить ответственность редакционного аппарата, имеющего отношение к песне, выходящей к людям. Людям просто необходимы новые массовые песни общественного, гражданского звучания, стоящие вровень с лирикой, эпосом современности.

Я уверен, что сама наша действительность мобилизует поэтов на создание новых великих песен.

Как-то я возвращался с низовья Волги, прошел между пристанями местного сообщения у Волгограда и, причалив к берегу, спрыгнул с палубы.

На берегу на катках стоял катер спасательной службы, человек, свесивший ноги с борта, увидел меня, позвал:

— Иди сюда.

Катерист оказался знакомым парнем.

— Утром налетел на топляк, кранец чуть не выбило.

— Да, повезло.

(Бревно ударило вскользь, оторвав боковую обшивку.)

— Это ерунда. Ты вот присмотришь к обшивке, что делают..

Я оглядел и не понял.

-- Видишь — шурупы забиты молотком, не винчены, а забиты.

Шурупы — забитые молотком! Они опасны и в пятилетке и в поэзии.

Сейчас многие поэты снова и снова обращаются к теме родной природы, это гражданственно и актуально.

Сыновнее, любовное чувство к своей земле присуще многим нашим хорошим поэтам. Прочтите новые стихи Сергея Викулова цикла «Природа-Мать», особенно стихотворение «Огонь»...

Здесь лирика, которая передает ощущение времени:

Мы с тобою ниточкой одною
связаны — нет жара без огня...
И не можешь быть ты надо мною,
как не можешь быть
и вне меня.

Хорошо бы нашей критике поговорить о поэмах Сергея Викулова, о его лирике. Пора признать его большую работу в поэзии.

С именем Евтушенко связана целая плеяда поэтов, целый период подъема эстрадного успеха поэзии. И надо сказать, что он много сделал яркого и талантливое. Как и еще больше — проходного, незрелого, второстепенного. Отсутствие чувства отбора всегда было уязвимой стороной его работы. Сильно развитая меткость эстрадного попадания захватила большую аудиторию. Своего слушателя и читателя он нашел раньше, чем свое выношенное слово.

Лучшее, что он сделал, — достояние нашей поэзии, он поэт большого общественного темперамента, но в его творчестве порой чувствуется скоропись, неумение контролировать себя.

Хорошее впечатление производит большинство стихотворений, опубликованных в свое время «Литературной Россией» — «Отцовский слух», «Деревьяно «спасибо», «Прохожий», «Родной сибирский говорок» (не без влияния яшинских стихов «Вологда»). Главное, чем волнуют эти стихи, — первозданное чувство жизни, это дороже тысячестрочной риторики.

Но вот в предновогоднем номере «Огонька» на обложке номера крупно и замызганно напечатано:

Со стен моей совести вечно не снять
единой обрамленных рамой,
японскую или гонконгскую мать
с моей российской мамой.

Стоит ли говорить о степени оригинальности и грамматической связанности этой строфы?

А как оценить такое:

Я всех матерей и дитя и поэт
и знаю всех духом и телом:
Востока и Запада, в сущности, нет,
а есть человечество в целом.

Я говорю резко и прямо, с полной надеждой на то, что Евгений Евтушенко способен воспринимать критические советы. Способен отнестись к себе с той взыскательностью, к которой его обязывает и собственный талант и звание поэта.

В строю ленинградских поэтов рядом с Брауном, Шефнером, Дудиным, Ботвинником стоит Глеб Горбовский. У него свой четко очерченный поэтический мир, свои повторяющиеся приемы, свой стиль — все это говорит о глубоко самобытном таланте. Он умеет управлять своими переживаниями, подчинять их стремительному движению лирического сюжета. Образ у него не самоцель, а проявление весьма резко выраженного поэтического характера.

Сближение разнородных подробностей, казалось бы, несовместимых понятий — одна из отличительных черт Горбовского. Отсюда, очевидно, и кажущаяся парадоксальность его поэзии, не противоречащая органичности и ясности его мироощущения. Стихи его по-умному ироничны, эта ирония заложена в самой лирической структуре его поэзии. Но его ирония стеснительная, с налетом какой-то своеобразной детскости. И когда нужно говорить о трагическом, о той боли, которая не заживет в нас с войны, — он становится суровым и мужественным, как в стихах о Хатыни:

Уже сюда шоссе
 Сквозь гнев
 Пришло
 В Хатынь,
 Сквозь дали..
 Но дыбом сучья
 у дерев,
 как волосы,
 стояли.

Мне кажется, что теперь Горбовский стал определенной и в темах и в своей образной системе, теперь его сердце еще более открыто тревогам века, памяти о людях своей земли.

Борис Слуцкий начал свой поэтический путь еще до войны. Но стихи тех лет, по-видимому, и самому поэту не представляются значительными. Они остались за пределами всех его поэтических сборников. В течение многих лет имя Бориса Слуцкого не появлялось, поэт упорно и деловито выработывал свою поэтическую позицию, свою манеру, он не хотел выходить к читателю со случайным. И вот в 50-е годы появляются его стихи в центральной печати. «Кельская яма», «Лошади в океане» заставили говорить о себе критику, привлекли внимание поэтов и читателей своей тематической и поэтической неожиданностью. Да и сам ритмико-графический рисунок стиха — ломаный, прерывистый, не подчиняющийся гармонии, какой-то диссонансный,— говорил о том, что перед нами большой мастер со своим видением пережитого. Стихи его явно не укладывались в привычные эстетические рамки «военного поколения». Чувствовалось, что этот поэт в значительной мере новой, послевоенной формации. Это была поэзия много передумавшего, много переживавшего человека. За его стихами стояла судьба, мир, неведомый еще нашей поэзии.

Потом появились знаменитые «Физики и лирики» — стихи проблемные, острые, где чувствовался явный перевес мастерства над переживанием, виден был сам прием, сама постановка вопроса привлекала внимание. В этих стихах проблема стала преобладать над темой. Богатый опыт сердца как бы был забыт. Последующие стихи уже не вызвали такого шумного, такого противоречивого внимания, как прежние.

Теперь, особенно в последних стихах, стал преобладать факт как таковой. Он описывается, правда, всегда с неожиданной стороны, правда, всегда на достаточно художественном уровне, но сама эта направленность на восприятие факта настораживает.

Взять, к примеру, одно из последних его стихотворений, «Самолет в облаках», начинающееся совсем не «по-слуцкому»:

Как Антарктида после снегопада,
 как Афродита после снегопада,
 как все на свете после снегопада,—
 бугристая поверхность облаков.

Уже в этих строках чувствуется какая-то утомленность, какое-то охлажденное наблюдением чувство, которое не оживляется даже перекличкой Антарктиды и Афродиты после снегопада.

И далее говорится о самолете:

Поэтому уверенно легки
 его виражи и прыжки,
 и с наслажденьем, прежде небывалым,
 гляжу, как он, под облачным обвалом
 пройдя,
 чернеется
 на небе алом.

Что говорить — поэтические средства здесь вложены даже с избытком; Борис Слуцкий демонстрирует свое мастерство, но ведь точка приложения его сил не столь уж значительна для такого крупного мастера, мне кажется, что он накапливает в своем поэтическом арсенале какие-то новые лирические качества, что его сегодняшняя поэзия сулит новые большие поэтические открытия.

Соснора — поэт, виртуозно владеющий словом, давно работающий в литературе. Но многие стихи в нозой книге не одушевлены и лишены движущей силы.

Я люблю цирк (кроме иллюзиона). Был как-то недавно — на арене появился молодой человек сказочного сложения. По нему можно было изучать анатомию, прорисовывался каждый мускул — загляденье!

Кидал гири, кружил в руках металлические штанги. Вижу — легковаты что-то, неубедительны, чувствуется пустоватость.

Потом сказал знакомым артистам: «Вы бы подсказали ему — очень заметна легкость». Они ответили: «Говорили мы ему — подбрось в снаряды по паре килограммов, заметное же очень». Он удивился: «Вы что, я же могу испортить фигуру!..»

Оказывается, он был культуристом.

Сильно распространен этот культуризм в нашей поэзии.

Читаешь книгу поэта: все прекрасно — форма, изящество, стих отливает мускулатурой, — а «вес» строки неощутим.

Думаю, что это вредное занятие — поднимать пустые гири!

Почему у целого ряда современных поэтов гражданский накал стихов не очень высок? Эстонская критика, например, задаваясь этим вопросом, видит причину в поветрии формальных поисков. Однако и в самой Эстонии можно наблюдать обратную тенденцию (сошлюсь хотя бы на творчество таких содержательных и разных поэтов, как Марг Рауд, Дебора Вааранди, Матс Траат, Яан Кросс): форма стиха тяготеет к ясности, в то же время обогатившись в процессе поисков; содержание становится активнее, актуальнее.

Ничуть не умаляя достижений наших товарищей, с творчеством которых знакомлюсь в основном по переводам, хотел бы особо отметить достижения грузинской поэзии.

В последнее время она активно вторгается в жизнь. В литературных журналах и газетах появились рубрики «Писатели о пятилетке». В этих рубриках участвуют почти все грузинские поэты как старшего, так и среднего и молодого поколений. Создаются специальные бригады поэтов, которые едут на новостройки, заводы, в колхозы и совхозы. В результате появляются очень интересные стихи и поэмы.

Нельзя не назвать здесь имя поэта Вахтанга Горганели, чьи стихи о партии, о мире, о насущных вопросах нашей жизни достигают подлинных поэтических высот.

Нельзя не вспомнить последние стихи Ладо Сулаберидзе о Ленинграде, цикл стихов Шота Нишанидзе «Коммунисты», стихи Мачавариани, Отара Челидзе, Каландадзе...

Такое ощущение, когда читаешь каждую новую книгу Леонида Мартынова, что перед тобой не отдельно написанные по разным случаям стихи, а какое-то единое по своей лирической направленности произведение, рассыпавшееся на отдельные фрагменты. Это, очевидно, и предопределяет редчайшую в нашей поэзии тематическую свободу, которая постоянно отличает стихи Леонида Мартынова. У него земля и космос как бы уравниваются друг с другом. К обыкновенной жизни зеленой природы он применяет масштабы космоса, в свою очередь, галактики для него — нечто свойское, привычное и ему и земле. В этом, по-моему, и сказывается необычность и современность мартыновского философского видения мира: единство малого и необозримого, капли росы и звезды, ручья и метagalaktiki, человеческого «я» и истории. Философская лирика Мартынова не замыкается в философемах. Его поэтические построения всегда гражданственно значимы. Поэтический образ проходит у него целую стадию лирических превращений — от наблюдения через обогащение опытом сердца к крупным обобщениям. Ставка на жизнь — вот что предопределило успех его поэзии. Связью с жизнью он постоянно как бы проверяет свои поэтические размышления. Пастернак утверждал, что поэзия находится в траве, надо только нагнуться. Иначе говоря, поэт постоянно должен устанавливать глубокие, родственные связи с настоящим. Он и из истории должен уметь извлекать настоящее, как это сумел сделать Ярослав Смеляков в своей книге «День России», как это делает Леонид Мартынов в своих стихах, где так или иначе касается исторической темы. И даже в тех стихах, где поэт вроде бы прямо не говорит о прошлом, мы явственно ощущаем то большое чувство историзма, перспективы, без которых поэзия лишается своей глубины и открытости.

Достаточно вспомнить такие его стихи, написанные в последние годы, как «Моховая», «При жизни Ленина», «Явление Тютчева», «Встану рано», — стихи, продиктованные забо-

той о сегодняшнем дне, где устанавливаются прочные связи между прошлым, настоящим и будущим.

Можно сказать, что мартыновская лирика не знает разделения времени на три фазы. Время для него — величина постоянная, одинаково действующая. Все формы времени смешаны до парадоксальности во имя большой художественной выразительности. Время мартыновское — это нравственная категория. Человек не отделен от времени, в нем прошлое подчас так же осязаемо, как и настоящее. Главное в Мартынове — духовная устремленность, умение чувствовать себя активной частицей живого времени. И в этом я усматриваю верность тютчевскому напоминанию о неделимой душе природы, что превосходно выражено в стихотворении Л. Мартынова «Встану рано»:

Чтоб по истеченью сроков
Не истечь пустой слезой,
А над живостью потоков
Грянуть майскою грозой!

Это и есть постижение высших форм жизни природы. Кстати, стихи о природе Леонида Мартынова вообще отличает какая-то особая, умная проникновенность. У него нет пейзажей как таковых. У него не встретишь описаний даже в стихах, идущих от зарисовки.

Он становится как бы органом самой природы, его лирическое «я» неотделимо от жизни грозы и ручьев, от другой, радостной ему человеческой души. Природа Мартынова — это мир в его постоянной динамике. Русская природа с ее рельефной контрастностью лета и зимы — основа его мироощущения.

Природа для него — постоянно творимая красота жизни.

Иногда, правда, кажется, что не в самых лучших своих стихах Мартынов рационалистичен, что строка служит готовой схеме. И в этом, на мой взгляд, виноват сам фрагментный стиль его поэзии. Над стихотворениями порой довлечет привнесенная, даже как бы насильственно навязанная мысль. Слова и мысль не соединены друг с другом органичностью непосредственного творчества. Иному поэту это, может быть, простилось, но в таком крупном явлении нашей поэзии, как Леонид Мартынов, недостатки видней, обнаженной. Также мало привлекает в его стихах образная усложненность, которая порой даже кажется специально заданной усложненностью.

Трудно переоценить вклад Леонида Мартынова как мастера стиха в современную советскую поэзию — ее ритмическая многообразность, умение говорить о самых сложных проблемах современной жизни, науки во многом обязаны ему; и все же когда в стихах больше научности в узком смысле этого слова, нежели озабоченной жизнью мысли, невольно думаешь о том, что поэт мелочит свой талант.

Леонид Мартынов — один из ведущих советских поэтов, влияние его поэзии на русскую и национальные поэзии велико; вот почему хочется еще большей строгости, мастерства от его поэзии, еще больше общественно значимого звучания. Несмотря на творческую зрелость, Леонид Мартынов не успокоился на достигнутом, каждая его новая книга — это открытие нового поэтического горизонта.

Не перестаю радоваться и удивляться силе поэтического таланта моего давнего друга Расула Гамзатова. Он весь в поэзии, поэзия — в нем.

Хочется отметить одну черту дарования Расула — его юмор. Один из древних и великих нежно определил этот тип юмора как «укус овцы». Юмор Расула — не хохмы, не словесная изощренность остроумцев, которыми так щедро украшена наша литературная среда, нет, это совсем другое.

Это юмор с улыбкой и с мыслью о жизни. Это юмор жизнелюбивого и мудрого народа, его острое слово всегда имеет основу народного опыта. Поэтому он такой национальный, самобытный, свой. От его юмора светлеет на душе.

Расул Гамзатов — замечательное явление нашей многонациональной поэзии.

Совершенно естественно и закономерно, что поэтическая теория и критика и сама практическая поэзия ищут определения сути и понятия гражданственности поэзии.

Вся наша действительность, насущные задачи пятилетки, обстановка сосуществования с капиталистическими странами во имя мира на земле, развернувшаяся борьба социалисти-

ческой и буржуазной идеологий настоятельно требуют повышения идейной активности, определенности, ясности общественного, гражданского звучания поэзии.

Гражданственность поэзии — понятие обширное, и оно совершенно не предполагает сведения множественности к некоей однозначности.

Вспомните, во время Великой Отечественной войны нас захватило своей правдой стихотворение К. Симонова «Жди меня». Его переписывали от руки и посылали женам солдат; «Жди меня» — писали на бортах боевых машин. Оно читалось и пелось; может быть, не было ни одного человека, кто бы не держал в памяти:

Жди меня, и я вернусь.
Только очень жди,
Жди, когда наводят грусть
Желтые дожди...

Может быть, за всю войну не было стихотворения такой гражданской силы.

В годы предреволюционного подполья тайно переписывалось, ходило по рукам стихотворение двадцатипятилетнего поэта, умершего на царской каторге, Алексея Гмырева:

Не жди меня... Без чувства сожаленья
Я от тебя свободно уйду.
Я за любовь твою святыне убежденья
К ногам твоим, как раб, не положу...

Меня зовут. Простимся, дорогая,
В последний раз, друг друга не кляня.
Люблю тебя! Но для родного края
Я должен жизнь отдать. Не жди меня...

Это стихотворение так и называлось — «Не жди меня». И сейчас оно потрясает силой. Вот как широк диапазон гражданской поэзии.

Наша советская поэзия — поэзия идеи, чувства гражданственности — во всем многообразии художественных средств служит делу народа.

Я вполне солидарен с молдавским поэтом Ливиу Деляну, что гражданская поэзия — «это прежде всего схватка, борьба. И любовь. И чувство истории». Прекрасно выражают чувство истории, к примеру, мастера армянской поэзии, которая измеряет свой путь и шаг в масштабах тысячелетий. Глубокую разработку национально-исторической темы находим в «Раздумьях на полпути» С. Капутикян, в стихотворениях О. Шираза, Н. Заряна, В. Давтяна и других.

Однако в армянскую поэзию приходят и молодые люди, пишущие абстрактные стихи, источником которых является не реальная жизнь, а литература, книги. Появились десятки сборников такого рода, сотни подборок в газетах и журналах. Читая весь этот поток, невольно приходишь к заключению, что этим поэтам нечего сказать своим читателям, что они намеренно деформируют стих, ломают его общепринятые формы.

Я не мог не заметить этого, думая о здоровой армянской поэзии, где все самое зрелое работает сейчас на полную мощь и самое талантливое находится на верном пути.

Проблемы, выдвигаемые временем, пятилеткой, задачами нашего культурного строительства, — вот что определяет пути сегодняшней советской поэзии и ее развитие. Хотя пятилетки и являются ступенями одной лестницы, этапами нашего последовательного движения вверх, исходят они из одной сути и идут к одной цели — каждый год каждой пятилетки имеет свои мысли, свою особенность, при этом в динамику общего движения втягиваются все стороны материального и духовного существования наших людей.

Поэтому особенно досадны беглые, непрочувствованные и непродуманные отклики на злобу дня, поверхностная оперативность, вполне соизмеримая с инертностью некоторых поэтов. То и другое — застой в потоке общего движения.

«Литературная газета» и «Литературная Россия», журналы предоставляют много места для стихов и печатают поэтов обильно.

Читая нашу текущую поэзию, порой чувствуешь даже в работе мастеров приверженность к давно пробитым путям. Очень много поэты варьируют, повторяются, многое поэтому представляется знакомым.

Я говорю не о работе отдельных поэтов, а о том впечатлении, которое оставляют журнальные публикации и даже книги последних лет.

Читателя знакомят с новыми именами. Их много, новых имен. Может быть, даже угрожающе много. Потому что от нового имени ждешь новой мысли о жизни, новой поэзии. Но имена мелькают, а новых больших поэтов-личностей, поэтов-характеров что-то давно нет. Это беспокоит.

При всех моих претензиях я пока что говорил о работе истинных талантов. А ведь поэтическую атмосферу во многом определяет, увы, посредственность.

Чудовищно широк печатный поток серости и безликости. К. Ваншенкин как бы упредил мои упреки:

На все есть искренность ответа,
И ты с упреком не спеши.
Но что отсутствует — так это
Самостоятельность души.

В этом, к сожалению, и все дело.

Этот поток назойливо требует внимания к себе и добивается этого внимания.

Все мы хотим слышать «красивых, двадцатидвухлетних».

Союз писателей СССР, ЦК ВЛКСМ, печать, радио и телевидение настроены на волну молодых талантов, но они рождаются, к сожалению, не так часто, как нам бы хотелось.

Никогда прежде у молодых не было таких возможностей для публикации. «Юность» «Смена», «Аврора», «Сельская молодежь», «Молодая гвардия», альманах «Поэзия» — в полном распоряжении молодых, как и «Новый мир» и «Москва», которые целиком один номер в году отдают начинающим поэтам, и все другие журналы открыты для них. Серии «Молодые голоса» в издательстве «Молодая гвардия», «Первая книга в столице» — в «Современнике», различные серии в областных и республиканских издательствах.

Сотни новых имен обрушиваются на читателя, но...

Многие могли бы повторить строфу Пушкина, сохранившуюся в черновиках («Домик в Коломне»):

Могучие нам чужды образцы,
Мы новых стран себе не покорили,
И наших дней изнеженный поэт
Чуть смыслит свой уравнивать куплет.

Мы все озабочены этим. Мы еще до сих пор, по привычке или вынужденно, зовем молодými теперь уже сорокалетних мастеров.

Иногда говорят, что поэзия возникает во время больших потрясений, ссылаются на годы революции, на пример нашей, фронтовой плеяды или на поэтическую волну, возникшую после XX съезда КПСС.

Но ведь каждый новый день советской действительности — новый шаг в будущее. Только подумайте о том, что на земле сейчас длительный мир, который отстаивает и обеспечивает, за который борется наша партия.

Идет новая пятилетка грандиозной работы, преобразования, научно-технической революции, мира, защиты природы и человека!

Не было еще такого на земле. Все это — поэзия жизни, вот от этого только и может загореться молодой поэт.

Нигде в мире нет таких условий для развития таланта, нигде в мире нет такого читателя.

Очень непросто быть поэтом. Настоящую поэзию всегда отличала высокая эмоциональная сила и душевная застенчивость, пронзительность истины, народность и жизненность.

Большую смелость берешь, вступая на поэтическое поприще, поднимаясь на поэтическую трибуну, чтобы говорить с другими. Что говорить и о чем, во имя чего?

Во имя того, чтобы всплеснула руками удивленная знакомая или замерли, прижав ладони к груди, девицы на свидании от душещипательных строчек? Или во имя того, чтобы взволнованным людям лучше дышалось и яснее виделась дорога дальше?

Во имя Родины?

А есть ли у тебя самого за душой эта всеобъемлющая, повелительная сила воздействия?

Для кого ты поэт — для себя или и для других?

Может, только бездарные поэты лишены этих мучительных вопросов.



ЛИТЕРАТУРНАЯ КРИТИКА

МОЛОДЫЕ СИЛЫ ЛИТЕРАТУРЫ

Выдающийся советский поэт Мирзо Турсун-заде незадолго до своей кончины писал: «Я понимаю, что каждый молодой писатель—это человек со своей судьбой, своим характером, своим видением мира, своим стремлением выразить его. Но в то же время настоящая творческая индивидуальность возникает лишь тогда, когда творчески осмысливается уже накопленный человеческий опыт, разумеется, в сплаве с опытом индивидуальным, в сплаве собственной национальной культуры с величайшими достижениями мировой цивилизации».

Громадная ответственность ложится на плечи молодых одаренных людей. На помощь им направлено известное постановление ЦК КПСС «О работе с творческой молодежью», принятое два года назад. В нем отразилась отеческая забота нашей партии об идейно-художественном воспитании молодого поколения художников, а тем самым о развитии нашего искусства, о преемственности традиций, о непрерывности творческих связей. По-деловому изучать проблемы и нужды молодежи, помогать ей до конца проявлять свое дарование, направлять развитие талантов по творчески перспективному пути—таковы задачи первостепенной важности, сформулированные в постановлении. Там же определены принципы, которыми руководствуются общественные и творческие организации, органы печати, старшие товарищи—наставники одаренной молодежи в своей работе с молодыми кадрами художественной интеллигенции. Необходимо «укреплять и разнообразить связи молодой художественной интеллигенции с жизнью, развивать ее общественную активность, поручать молодым интересные дела, воспитывать их как стойких борцов за коммунистические идеалы».

Традиции воспитания молодых литераторов восходят к А. М. Горькому—он явился воспитателем целой плеяды писателей, по его инициативе был создан Литературный институт, выходил журнал «Литературная учеба». Эти традиции в наши годы были развиты и приумножены.

Особая роль в становлении молодых творческих сил страны принадлежит комсомолу. Содружество писательских организаций с комсомолом—яркая страница в истории развития советской литературы. Александр Фадеев сказал однажды: «Первое, начальное представление о великих коммунистических идеях нашей партии многие из нас, советских писателей, получили через комсомол». Комсомол, 60-летний юбилей которого мы празднуем, многим молодым авторам помог встать на ноги, найти свой голос, свое призвание. Конкурсы, проводимые Союзом писателей совместно с ЦК ВЛКСМ,—«Корчагинцы 70-х», «На лучшую первую книгу молодого автора», фестивали, премии Ленинского комсомола, присуждаемые молодым за лучшие произведения,—все это имеет важное воспитательное значение, приносит большую пользу творческой молодежи. Одним из новых свидетельств крепнущей дружбы писателей с комсомолом явилось возобновленное издание журнала «Литературная учеба»—органа Союза писателей СССР и ЦК ВЛКСМ. Журнал призван, как указывается в редакционной программе, способствовать раскрытию молодых талантов, вооружать их марксистско-ленинской теорией искусства, оказывать им практическую помощь в освоении опыта литературы социалистического реализма и мировой классики, в овладении мастерством. Вышедшие уже номера журнала показывают, сколь ответственны задачи журнала. И как широко тут поле деятельности и для молодых художников и для опытных мастеров.

Во втором номере «Литературной учебы» приведена своеобразная летопись сотрудничества комсомола и литературы. Хочется повторить ее вкратце. 1922 год—революция

V Всероссийского съезда РКСМ призвала комитеты комсомола обратить должное внимание на литературу, тогда же принято решение о создании первого издательства для молодежи — «Молодая гвардия». 1926 год — при ЦК ВЛКСМ создана постоянная комиссия по работе с молодыми писателями. 1932 год — «Я пришел в советскую литературу из комсомола», — заявил Николай Островский, автор только что вышедшего романа «Как закалялась сталь». 1939 год — принято постановление Бюро ЦК ВЛКСМ и Президиума Союза советских писателей «О работе с молодыми писателями». 1943 год — Секретариат ЦК ВЛКСМ принимает решение организовать конкурс на лучшую пьесу, отражающую борьбу молодежи против фашистских захватчиков. 1947 год — I Всесоюзное совещание молодых писателей, а в марте 1975-го — уже VI Всесоюзное совещание молодых писателей, в котором участвовало более 300 представителей 50 национальностей, пишущих на 44 языках народов СССР. В 1975, 1976 и 1978 годах проведены VIII, IX и X Всесоюзные фестивали молодых поэтов братских республик, а в 1977 году — III Всероссийский семинар молодых критиков. В марте 1978-го состоялась литературно-творческая конференция — «Молодые литераторы Москвы — год 1977». Только после XVII съезда ВЛКСМ было издано более 200 книг молодых авторов, более 500 начинающих писателей опубликовали свои произведения на страницах альманахов, ежегодников, сборников.

Два года, прошедшие со дня постановления ЦК КПСС «О работе с творческой молодежью», — срок небольшой, но уже сегодня видно: работа с молодыми приняла комплексный, систематический, повседневный характер. Постоянная заинтересованность в деятельности молодых кадров литераторов со стороны общественных и творческих организаций проявилась в ряде практических мер. Пристального внимания литературной общественности, широкого круга читателей удостоиваются первые книги писателей. В газетах и журналах все чаще встречаются рубрики: «Новое имя», «Обсуждаем первые книги» и т. д. Молодые писатели выезжают в творческие командировки на ударные стройки страны, в совхозы и колхозы. Здесь мужает талант молодых, они познают сложный и богатый характер нашего современника, приобщаются к трудовым свершениям народа.

Характерной особенностью творчества молодых, отмечалось на московской литературно-творческой конференции, является то, что их художническое внимание сосредоточено прежде всего на сегодняшнем дне; рабочая тема, социальность конфликта, готовность анализировать коренные проблемы действительности — это «производное» их жизненной биографии. Чем активнее гражданская позиция молодого писателя, чем глубже его эстетический идеал и идеологические воззрения, тем большую роль сыграет его произведение в духовной жизни общества. Ибо в конечном счете творчество молодых есть составная часть всего современного литературного процесса, следовательно, оно определяет в известной мере тенденцию развития искусства, его настоящее и его будущее. В свою очередь, все, чем живет наша литература, безусловно проецируется на деятельность молодых писателей. Все ее радости и достижения, так же как ее просчеты и огорчения, проявляются, как на лакмусовой бумажке, в творчестве молодого поколения художников.

При всей значительности проблематики произведений молодых писателей, их умении рисовать живые характеры современников, уверенном владении языком в работе молодых сказывается иногда робость в разработке жизненных конфликтов, им не хватает порой шолоховской смелости, чтобы в полную силу заявить о себе, сказать свое слово в литературе. «Это прекрасно, когда молодой писатель едет на БАМ или КамАЗ. Но — по зову сердца! А не за «темой», — говорил недавно Чингиз Айтматов. — Если у него нет внутренней темы, того, что он «знает лучше всех на свете», ехать вообще никуда не следует... Одна из бед нашей молодой прозы — журнализм, некий отчет на заданную тему: «Как я провел лето... в колхозе, на стройке». Это школярство, иллюзия творчества, сказать резче — профанация, чреватая оплошением нередко дорогих для нас понятий, таких, например, как трудовой героизм.... Тема — это ты сам, твоя судьба».

Ныне духовная атмосфера литературной жизни и жизни общественной как нельзя более располагает к плодотворному творческому труду. Многие зависят от усилий прежде всего самих молодых литераторов. Широкое обсуждение читателями и критиками первых произведений молодых, доброжелательные оценки и советы старших товарищей по перу — все это, несомненно, будет еще более способствовать тому, чтобы молодые накапливали мастерство, вырабатывали свой неповторимый почерк.

И тут особенно велика роль литературно-художественных журналов. Печатая лучшее, отбирая талантливое, они имеют все возможности, чтобы направлять развитие талантов по творчески перспективному пути. Есть разные способы открытия талантов. Что касается журнала «Новый мир», то он вот уже несколько лет ведёт дружбу с молодыми строителями КамАЗа. Писательский актив журнала, в том числе и начинающие прозаики, поэты, — частые гости Набережных Челнов. Становятся авторами «Нового мира» и сами камазовцы. Стихи молодых рабочих Камского автозавода — членов литературного объединения «Орфей» — читатель может прочесть в пятой книжке журнала за нынешний год и в настоящем номере. Первое же знакомство с рабочими-поэтами КамАЗа состоялось еще в 1976 году — на страницах январской книжки «Нового мира»; в прошлом году в двенадцатом номере была напечатана рецензия на произведения молодых камазовцев — поэтов и прозаиков, опубликованные в сборнике «Город моей мечты». Уже сейчас можно сказать, что среди орфеевцев есть талантливые люди, для которых широко открыты двери в литературу. Читатели «Нового мира» безусловно обратили внимание и на поэтические подборки «Из молодой поэзии», публикуемые на страницах журнала. Одна из характерных примет этих стихов — гражданственность, тесная связь с жизнью общества, с нравственным началом.

Как бы ни было «зелено» то или иное произведение молодого автора, опытному литератору почти безошибочно удастся по нему уловить направление таланта молодого, предугадать перспективу его развития. Проблема мастера и подмастерья всегда остро стояла в практической работе нашего журнала. Стало обычным, когда видные прозаики напутствуют первые творения молодых, а ведущие наши критики анализируют без всяких скидок на молодость их работы. За последнее время на страницах «Нового мира» с напутствиями молодым выступили такие мастера слова, как Юрий Бондарев, Чингиз Айтматов, Юрий Трифонов, Григорий Коновалов. Известные наши писатели — Николай Воронов, Юрий Домбровский, Виталий Семин и другие — выступали в журнале в качестве авторов критических статей и рецензий, анализировавших произведения молодых писателей.

Один из номеров года отдел критики «Нового мира» по традиции целиком посвящает творчеству молодых. В нынешней, десятой книжке видные художники — Я. Брыль, М. Слуцкис, Е. Винокуров, Л. Озеров рассматривают прозу и стихи молодых. Здесь же публикуются работы молодых критиков — статья сотрудника воронежской молодежной газеты «Молодой коммунар» Л. Коробкова, уже приметившегося читателям своими выступлениями в печати; руками студентов, выпускников литературных вузов, критиков, только начинающих свой творческий путь, сделан в основном и раздел «Коротко о книгах».

Во всех литературных жанрах с нарастающей силой звучит сегодня слово молодых. Принимая эстафету от своих старших товарищей по перу, творчески осмысливая уже накопленный человеческий опыт, они отражают в своих произведениях коренные тенденции развития современной действительности. Им предстоит продолжить художественную летопись нашего времени, быть посланцами века XX в век XXI.



Л. КОРОВКОВ



ОБРАТНЫЕ СВЯЗИ

I

В редакцию областной комсомольской газеты, где я работаю, пришло письмо. Посмотрев на шумевший фильм «Розыгрыш», девятиклассник усомнился, точно ли он «про настоящую школу. Вот попробовали бы мои одноклассники прийти на занятия в модных платьицах, при маникюре и взрослых прическах!».

Хотел я было возразить, что это кино не про воронежскую школу, а про московскую, — там, значит, совсем другая жизнь. Но столь непедagogично отшутиться не рискнул: девятиклассники, как известно, имеют обыкновенные ссылаться на прессу в своих «причесочных» дебатах с педагогами. Ну зачем рушить устой воспитательного процесса в одной воронежской школе? Тем более произведение как будто художественное, значит — искусство, а не фотография жизни «как она есть».

Разве не был бы я прав? По уставу ли одежды школьницы или нет — деталь, в общем, техническая. За сими деревьями надо видеть лес, иначе уподобишься тому моряку, что более полувека назад со страниц журнала «Красный флот» раскритиковал с военно-уставной и технической стороны только что появившийся тогда фильм, а то был «Броненосец «Потемкин».

Но тут-то для меня и началась проблема. Пусть неверно сформулировал девятиклассник свою неудовлетворенность, а ведь где-то там, в самой ткани экранного рассказа, ветвилась эта ниточка, тянулась к чему-то основному в ленте. Очевидная карамельность изобразительного ряда — ведь под нее и характеры подстраивались, и конфликт...

Есть детали и детали. С «техническими» все как будто просто: «Точность — вежливость писателя». Так называлась напечатанная в «Литературной газете» подборка реплик на эту тему, и это название удачное. Но так же

древни, как само писательство, споры о пределах этой вежливости. Древний живописец без долгих слов исправил указанную ему башмачником неточность, но когда эксперт по сандалиям ими не ограничился, он получил общеизвестную по крыловской басне отповедь: «Суди, дружок, не выше санюга».

Меж тем и поныне приходят в редакцию той же «Литературной газеты» курьезные письма, уличающие Лермонтова в незнании того, какие прически у львиц («И Терек прыгает, как львица с косматой гривой на хребте»).

С зоологическим атласом, понятное дело, не поспоришь. Но с зоилами подобного рода художники и критики спорят и метко и сердито. Мне самому выпал как-то случай в той же «Литературной газете» возразить профессору медицины, не принявшему хороший роман о великом враче Н. И. Пирогове, и по такой причине: аорта несет кровь не «от головы к ногам», как в романе, а «ко всему организму».

Но вот что показалось в подборке «Точность — вежливость писателя» и важным и симптоматичным. Профессиональный литератор А. Рутько, прекрасно, конечно же, знающий все слова, какие принято говорить о крылатости искусства и ползучести эмпирики, тем не менее подчеркивает: заметив даже крошечную оплошность, неувязку, читатель «ко всему, что написано дальше, будет относиться с повышенной и, пожалуй, недоброй пристальностью».

Невозможно не разделить этих опасений. И хотя, конечно, не следует из них вывод в духе знаменитой парикмахерской формулы «клиент всегда прав», интересно сопоставить два разделенные десятилетиями высказывания художников.

Когда люди одной со мною профессии, газетчики, спрашивали у создателя знамени-

того «Дилижанса», почему столь оплошно ведут себя в кадре преследователи, палившие куда угодно, только не в лошадей, Форд отвечал: настоящие налетчики с лошадей и начинали, ясное дело, но в легенде этого случиться не может, иначе ее просто не существовало бы!

Режиссер хорошо отпарировал... для своего времени. Нынче вот что рассказывает известный советский астроном И. С. Шкловский. Во время своего посещения Советского Союза в 1976 году Микеланджело Антониони пришел в Астрономический институт имени Штернберга вот за какой консультацией: по ходу сценария его нового фильма дети запускают воздушного змея, который улетает... в космос... «Можно ли обосновать это с точки зрения науки?» «В сказке все можно,— ответил И. С. Шкловский,—зачем же вам научное обоснование для этой прелестной выдумки?»

Узнав, что ни сейчас, ни в будущем такое обоснование не будет возможным, Антониони ушел заметно разочарованным...

И вот — со скрупулезнейшей тщательностью литературовед А. Бочаров рассматривает с естественнонаучной точки зрения «условия игры», предложенные В. Бээкманом в повести «Ночные летчики». Ну как, например, избежали цинги персонажи, десятки лет живущие на консервах, без витаминов?.. Да, сузилось поле тех «если бы» искусства, принимаемых нами без всяческих допущений «почему» да «отчего».

Для разных жанров процесс этот происходит — если он вообще происходит — с разной скоростью. Чем медленнее, скажу я, тем лучше — и Антониони, может быть, напрасно был так строг к своему замыслу. Коли тесно легенде в фотографически-достоверных обстоятельствах — пусть на здоровье поднимается над ними! Разве не в духе и в истине искусства — высокая параболность? И не более ли прав тот художник, что не стесняется ничем очень уж земным полет своего воображения?

Но в литературе и искусстве существуют не только произведения, черпающие свой материал принципиально «за пределами» непосредственного жизненного и житейского опыта читателя, принципиально «непроверяемые». Давно отмечен феномен, который на этих страницах будет в центре внимания,— сопротивление злободневного материала всякого рода «вольным» допущениям. Проще говоря, при восприятии произведений, основанных на материале, хорошо знакомом чи-

тателю «по жизни» (здесь будут рассматриваться в основном вещи, относимые к «производственному» проблемно-тематическому комплексу), происходит вот что. Едва автор начал: «Предположим, что было бы, если бы...», как слышит от читателя или даже профессионального критика: «Простите, а бывает ли вообще так, как рассказано?» Или даже: «А как на самом деле было на том предприятии, куда была выписана вам творческая командировка?»

Мне скажут: но это же совершенно некорректная постановка вопроса. И я соглашусь. Но... в 99 случаях из ста нам именно приходится отвечать на «некорректно» сформулированные вопросы. И отвечаем!

Не все в жизни укладывается в respectable sillogizмы профессиональных прений. И вот — рассказывает на страницах журнала «Искусство кино» селась Второго Московского часового завода А. Шилин: «Прошлым летом были на Байкале. И я убедился, что зря фильм «У озера» был таким «утешительным», что ли... Но только я сам видел (разрядка моя.—Л. К.), как в некоторых местах отходы производства просачиваются сквозь почву в Байкал, вдоль берега там — полосы желтой воды». А вот суждение — также одно из многочисленных, если ограничиваться только нашедшими отражения в печати, — но с обратным, утверждающим знаком: «В зале во время спектакля «Протокол одного заседания» я то и дело слышал: «Ну, это как у нас!», «Ну, это про нас!»

Это случаи нехудожественного восприятия в строгом смысле термина, ибо факт, деталь, грань повествования нравится или не нравится отдельно от художественной концепции. Здесь-то должен внести необходимую корректировку подготовленный профессионал?

На ехидное сомнение некоего окулиста отвечает драматург В. Розов: «невозможную», с вашей точки зрения, глазную операцию сделала врач Е. М. Иванова, работающая в клинике, расположенной в Москве, улица Горького, дом номер такой-то... За «круглым столом» журнала «Вопросы литературы» возражает одному из оппонентов драматург В. Черных: «Материал пьесы («День приезда — день отъезда») — это в основном материал социологических исследований на Пермском телефонном заводе».

Однако, скажут мне, возражают так лица заинтересованные, поскольку речь идет об их работах!

Но вот критик Б. Анашенков сопоставляет событийную канву романа М. Колесникова

«Индустриальная баллада» напрямую с результатами внедрения комплексной механизации на «предприятии-прототипе» (Таштагольском руднике); и вот заключение критика: «Жизнь жестоко посмеялась над писателем...»

В сегодняшней кинопрессе, видимо, не случайно утвердилось обыкновение напрямую сравнивать экранные события с тем, что известно о них из других свидетельств, а нередко и отдавать пальму художественного(!) первенства документальной ленте перед «собственно художественной», снятой на аналогичном материале. Тому примеры найдутся в любом из комплектов «Искусства кино» за последние два-три года.

Причем сравнение идет в корректной форме — по тем параметрам, что являются общими у художественного и документального произведения: актуальность темы, острота исследуемого конфликта, насколько такое исследование «системно» и т. п. Именно в этом отношении отдает предпочтение газете перед «иным пухлым сценарием» И. Смоктуновский (см. журнал «Октябрь», 1976, № 9); кинокритик В. Демин признавался не однажды — в «Советском экране», в «Литературной газете», — что очерк порой дает ему «больше эмоционального и мыслительного материала», нежели цветной широкоэкранный художественный фильм на ту же тему. На пленуме Правления Союза писателей СССР «Писатель и пятилетка» (1973) Константин Симонов говорил о том, насколько весомее многих беллетристических томов оказалась для него статья Георгия Радова «Безнаказанность».

В практике прозаиков, кажется, идет на убыль градация предвещать читателя, что любое совпадение с действительными событиями и лицами — случайно (Томаса Манна, как известно, буквально судом заставили сделать примечание к «Фаустусу» о том, что Адриан Лекеркюн не имеет ничего общего с Арнольдом Шёнбергом; в «Романе одного романа» писатель замечает, как не хотелось ему этим примечанием пробивать брешь в замкнутой сфере вымысла). Современный автор, насколько мне известно, не склонен protestовать, если критик «рассекречивает» прототипы, место действия и т. п. Что ж, для современного читателя может скорее усилить обаяние произведения, когда В. Липатов рассказывает о прямом журналистском участии Леонида Леонова в судьбе прототипа Вихрова из «Русского леса» — академика Анучина (в октябре того же 1977 года об этом участии с благодарностью вспомнил сам академик Анучин, выступая по Центральному те-

левидению). Прозаик и сам может в специальной врезке точно обозначить подлинные имена и должности персонажей (Л. Лондон при публикации в «Москве» первой книги романа «Дом над тополями», 1977), часть имен и место действия (например, повесть-хроника Веры и Виля Дорощевых «Истории без любви» в седьмой книжке «Знамени» за 1977 год).

Нередко прозаик то своим «предшествующим» (статья Л. Леонова «В защиту Друга»), то «параллельным» (очерки Э. Ставского или нашумевшая статья Л. Лондона «Бригадный подряд в будничном наряде», появившаяся в «Литературной газете» одновременно с романом в журнале) публицистическим высуждением словно бы дополнительно, «газетно» заверяет действительный ход художественно переосмысленных событий. Молодой ленинградец В. Лебедев темпераментно воскликнул за «круглым столом» «Литературного обозрения» во Львове: прототип моей повести «Скандал» должен быть как можно скорее освобожден от работы, иначе он разрушит все, что создано в совхозе, где директорствует!

Распространенной формой «удостоверения» художественной правды стало и обсуждение рукописей, так сказать, в среде прототипов; так, «Человека со стороны» И. Дворецкого рецензировал коллектив Ижорского завода, сценарий Г. Бокарева и Ю. Карасика «Самый жаркий месяц» проходил всестороннюю обкатку у металлургов «Азовстали»...

Все это — уже привычные будни производственной темы.

Однако именно сейчас, когда производственная тема в искусстве обрела подлинную художественную форму, то есть к ней уже возможно покровительственное отношение как к беллетризованной публицистике, полезной, но не всегда дарящей высокую радость переживания прекрасного, — не возвращает ли нас «ситуация обсуждения» на исходную позицию?

Скажем так: это может происходить. Когда художественно воссозданные ситуации масштабной линейкой прикладываются к сходным ситуациям действительности, когда боевые доспехи героя торопливо примеряют на свои плечи... Всякий наблюдавший подобные обсуждения знает, как легко находят внимательных слушателей оратор вроде того штурмана, что за уставными неточностями ухитрился не разглядеть лучшего фильма всех времен и народов.

В ответ на сказанное здесь могут заметить, что споры критиков о Чешкове и Прончатове

напоминают «восприятие художественной литературы «неквалифицированными читателями» — учащимися средней школы, которые, по наблюдениям психолога, не делают различий между содержанием произведения и содержанием жизни...»¹. Что ж, именно о герое-управленце спорим мы так, словно бы нам литературный образ принимать на работу или от работы освобождают...

Что же в конце концов происходит? Неужели все дело в том, что подзабыты соответствующие университетские и литинститутские курсы? Вероятно, дело все же в другом.

II

Недавно в редакционной статье «Вопросы философии» мы прочли: «Современная эстетическая мысль должна извлечь урок из безуспешности попыток, неоднократно предпринимавшихся, начиная с Канта, выделить «культуру» эстетического в чистом виде путем полной изоляции и абсолютного противопоставления эстетического познавательному, этическому, утилитарному. Преодоление подобных «спецификаторских» тенденций — необходимое условие теоретического синтеза данной проблемы»².

«Вопросы философии», естественно, делают упор на «теоретическом синтезе». Обычный же «практический» читатель решает для себя проблему проще: «спецификаторские» тенденции искусства он опровергает своей живой, непосредственной отзывчивостью на его содержание.

«Будучи в командировке в большом городе, — рассказывает публицист И. Кичанова в книге «Решать или не решать?», — я оказалась на совещании, где один из участников так завершил свое выступление: «А я поступлю по губановски». И никто не удивился, потому что выступавший обратился к живому примеру, к живой модели поведения, которая является для него неким эталоном».

«Вот мое оружие!» — молодой винницкий инженер Евгений Тютюнников показал спецкору «Комсомольской правды» Н. Андрееву томик со «Сказанием о директоре Прончатове» В. Липатова. Идя в инстанции «пробивать» техническое новшество, инженер кладет его в портфель рядом с рабочим справочником.

¹ В. Ковский. Социологический и эстетический критерий в критике. Сборник статей «Литература и социология». М. «Художественная литература». 1977, стр. 62—63.

² «Вопросы философии», 1977, № 12, стр. 121.

Польский еженедельник «Политика» целую полосу отвел статье под названием «Премия»-II: семьдесят молодых проектировщиков после просмотра ленты А. Гельмана и С. Микаэляна отказались от выплат, которые считали незаслуженными.

Однажды в нашу газету пришло письмо из Аннинского района Воронежской области — отклик одного сельского экономиста на опубликованное обращение к читателям обсудить транслировавшийся в дни работы XXV съезда КПСС спектакль Ленинградского БДТ имени Горького «Протокол одного заседания». Экономист, не завизировавший в свое время ведомость незаконных премий директору спецхоза и группе его приближенных, вскоре под благовидным предлогом был уволен, работал воспитателем, примирился было со своим поражением... В общем, как пишут в таких случаях, «газета помогла» — после двух прокурорских протестов (при увольнении были нарушены процедурные нормы), после длившихся около полутора лет перипетий своеобразного управленческого детектива экономист И. М. К. вновь работает по специальности в родном районе, откуда его прежде недвусмысленно выживали, и уже не в спецхозе, а как бы с повышением — в аппарате райсельхозуправления...

Вот такие сюжеты, в которых художественный тип и жизненный прототип менялись местами³, возникают и возникают на стыке

³ Не обязательно в производственной ситуации. Статья О. Мариничевой в «Комсомольской правде» от 1 февраля с. г. называется «Вожатый по имени книга» и помещена под рубрикой «Ребячи комиссары». Покойный В. Канторович в уже упоминавшемся сборнике «Литература и социология» заметил, что интересующий нас «поведенческий» эффект художественного слова засвидетельствован тысячекратно, хотя научно систематизирующих исследований его еще нет.

А. Т. Твардовский рассказал на Всероссийском съезде учителей в 1960 году, что при чтении романа Н. Островского «Как закалялась сталь» он «принял для себя одно решение, последствия которого сказались на всей моей жизни». Нынче к книге добавились другие средства эстетической коммуникации. «Сейчас все чаще — filmy, телестановки становятся для нас частями нашего духовного опыта, спорят по силе впечатления с самой нашей жизнью» (В. Демин. Первое лицо. М. «Искусство». 1977, стр. 171). В «ситуации обсуждения» родовая и жанровая специфика обсуждаемой вещи не играет, по-видимому, особой роли. Поэтому и я в привлекаемом иллюстративном материале не ограничиваюсь литературными произведениями.

«собственно» художественной сферы, «собственно» критики, «собственно» журналистики и «собственно» управления.

В них есть что-то удивительно симпатичное, какое-то скрытое концептуальное богатство, безошибочно улавливаемое интуицией.

Очень точно подметил В. Юров («Советский экран»): «Если вновь встречаем похожий образ в аналогичной ситуации — в литературе или кино, говорим: «А, это уже было...» Но жизни-то не скажешь: «Достаточно, хватит!» Она в любой момент готова «воспроизвести» знакомые обстоятельства и поставить в них героя».

Легко представить себе отрезвляющую реплику: все эти связи, проведенные в плоскости «слово — живая реальность», — суть нечто дополнительное по отношению к художественному составу, внутренней органике произведений, то есть относится к сфере социологии искусства. А последняя должна постоянно помнить об «охранной зоне», «дистанции», иначе в ситуации обсуждения будут позабыты эстетические законы.

Но, думается, такие опасения преувеличены. Хотя бы уже по одному тому, что содержание ситуаций обсуждения — сопоставление художественных наблюдений и обобщений с жизнью — является также и сюжетом искусствознания и критики.

Многообразны внутренние обязательства художника, чьи вымышленные, невещественные образы могут влиять на жизнь не на уровне одних лишь понятий, а конкретно: на личную судьбу вот этого читателя. «Осторожно, искусство!» — мы это знаем. «Осторожно, человек!» — формула еще большей ответственности. Внушающая сила образа должна быть силой доказательности.

Производственная литература в лучших своих образцах исследует «правила игры», грамматику обстоятельств, поскольку они служат не только выявлению характера героя, но и способствуют или препятствуют осуществлению (или краху) его заветных целей.

«Действительный вопрос, возникающий при оценке общественной деятельности личности, состоит в том, при каких условиях этой деятельности обеспечен успех? в чем состоят гарантии того, что деятельность эта не останется одиночным актом, тонущим в море актов противоположных?»⁴.

Как актуальны эти слова для художника, исследующего объективную реальность произ-

водства и управления. Стоит специально подчеркнуть: в реальных условиях деловой герой спорит ведь не только с традиционным «консерватором», которого можно «переиграть» в «чистом» противоборстве характеров, но с определенной ситуацией. Тут мало только ярко, самобытно чувствовать. Мало даже одного только правильного «понимания». «Главный противник коллективистского начала в нашей жизни, — говорил в одном из своих публицистических выступлений драматург А. Гельман, — не он, не отдельно взятый эгоист. Настоящую опасность представляет группа эгоистов. Так сказать, коллектив эгоистов... одна из его личин — это местничество... И есть люди, которые поднимаются на очень непростую и, я бы сказал, на очень опасную борьбу с местничеством. Этим людям кинематограф мог бы помочь».

Если это утилитаризм в подходе к искусству, то я целиком на стороне такого утилитаризма.

...Борис Полевой как-то рассказал, что его читателей — рабочих завода «Серп и молот» — заинтересовали не только литературные достоинства и недостатки повести «Горячий цех». Но москвичи были намерены в мельчайших деталях воспроизвести у себя «метод... тверского героя — кузнеца Ильи Лузгина». Писатель не посетовал: эх, мол, друг-читатель, я же писал не обобщение опыта работы. В тот день, продолжает Б. Полевой, «я впервые по-настоящему задумался над своей ответственностью за каждое «слово изреченное»...

Как будто прошли-миновали, но вновь и вновь возобновляются дискуссии о том, что есть собственный предмет искусства: «производственное» начало или «нравственное», «должностное» или «человеческое». По моему, нередко спор идет о словах, а не о том, что словами обозначается. Все-таки в победе героя по линии нравственной останется лукавая двусмысленность. Если все же усидит на посту липатовский Гасилов или опасный карьерист Мирошников (повесть М. Чулаки «Слесари, слесари, слесаря...»); если будет сдан не к о м п л е к с н о нефтехимический завод (роман Миксона «Решать тебе»); если не перестроит работу рудничного комбината (роман Ю. Скопа «Техника безопасности»), завода (роман И. Штемлера «Обычный месяц» или сценарий В. Черных «Собственное мнение»), цеха (роман М. Колесникова «Аятулин принимает решение»); если разорительно длинной петлей проляжет в тундре новая дорога (по-

⁴ В. И. Ленин. Полное собрание сочинений, т. 1, стр. 159.

весть В. Усова «Белый Гребень»); если буровики очередной квартал закроют безводными скважинами (роман Ю. Антропова «Перевал»), а взрывники все же смахнут с бережной ленинградского канала симпатичную старинную «церквуху» (повесть М. Глинки «Водяной знак»)... Требуется и «по фавуле» до сказанность!

Интерес наш в этом плане — не только практический, таковой могла бы удовлетворить даже не очерковая проза, а обыкновенная деловая справка. Восходящая к Н. А. Добролюбову⁵ традиция сделала этот интерес относящимся опять-таки к «собственно» искусству: чем подготовлен успех положительного начала — случаем или сознательными усилиями героя, претендующего на то, чтобы представлять это положительное начало? Когда положительный тип создан, записывал в дневнике В. Г. Короленко, критику, вообще мыслящему читателю остается изучить условия его возникновения в произведении, чтобы по возможности воссоздать эти условия в жизни. Вот на чем зиждется требование «положительных типов» и вот в каком смысле оно желательно.

В. Г. Короленко добавляет при этом, что первым условием здесь является художественность — когда положительное лицо «чувствуется как живое». Но первое условие — не значит условие единственное.

Читатель сам без труда вспомнит, сколь нередко персонаж, выписанный, что называется, при всех симпатичных своих, автором в жизни подсмотренных чудинках и задоринках, написанный «с воздухом» и «круговым обходом», на тонко размытом лирическом фоне, не убеждал в одном: не верилось в его быстрые победы в деловом конфликте. И более того. Как-то так получалось, что в наиболее драматичную минуту на ринг являлся... бог из машины, «запрещенный» искусству еще Аристотелем.

* «Штольц — человек деятельный... Но что он делает и как он ухитряется делать что-нибудь порядочное там, где другие ничего не могут сделать,— это для нас остается тайной. Он мигом устроил Обломовку для Ильи Ильича;— как? этого мы не знаем... Не надо забывать, что под ним болото, что вблизи находится старая Обломовка, что нужно еще расчищать лес, чтобы выйти на большую дорогу и убежать от обломовщины. Делал ли что-нибудь для этого Штольц, что именно делал и как делал,— мы не знаем. А без этого мы не можем удовлетвориться его личностью». (Н. А. Добролюбов. Собрание сочинений в девяти томах. М.—Л. 1962, т. 4, стр. 340—341).

Подобное поразило меня в повести опытного Вильяма Козлова «Весна в Стансах» («Аврора», 1976. №№ 2, 3). Конфликт нешуточный: героя — молодого директора завода железобетонных конструкций — даже отстранили от должности с зыговом по партийной линии. Заводской инженер Любомудров предложил Максиму выпускать вместо безрадостной халтуры, из которой коттеджи для села получают такими, что председатель соседнего колхоза в селе Стансы шутя собирается поселить в них самых нерадивых работников, изделия современного стиля, из них не дома получают, а сказочные терема. Все — за, но надо переналаживать почтовые линии, а план по «халтуре» очень напряженный. Тогда Максим решает действовать партизанским манером («Тот, кто хочет, делает больше, чем тот, кто может»). Личностный фактор производства со счетов, разумеется, не скинешь. Но дело-то все в том, что и на него Максим не надеется. Рабочих он собирается поставить в известность, «когда поздно будет отступить», вскрикивает «меня нет» при телефонных звонках... Противопоставление личностных факторов экономическим и должностным проведено через всю повесть. Вот что говорит Максиму его друг, секретарь горкома Бутафоров: «...Давай считать, что я твоих речей не слышал и ничего о твоём эксперименте не знаю. Но учти одно: тебе разбора на бюро не миновать! Как секретарь горкома я тебя предупредил. Ну, а как твой друг — желаю тебе успеха в твоём рискованном предприятии...» Личный друг есть у Максима в министерстве, но и он: «я — не министерство». О некоем Архипове, противнике авантюры, сказано: «как раз такой человек, для которого утверждённый план — закон»... Но бог мой, а как же иначе?! В газетах так и читаем: закон о плане на какой-то год. Иное дело, что план не мои-сеевы скрижали и должен он давать простор для поиска, маневра, эксперимента, встречной инициативы. И материи все это небесконфликтные, только ведь решаются дела не так.

Вот и не мудрено, что уповает Максим — буквально по тексту — на «провидение». И, оказывается, не зря! Мало того, что на прекрасной машине явился ответственный работник «из области», который, конечно же, все поймет. Буквально рядом с заводом вдруг — точно не в Центральной России дело происходит, а на восточносибирской геологической целине — открывается месторождение нерудных минералов, снявших самую щекотливую

проблему — себестоимость новых конструкций...

Будь такое вот включение провиденциальных факторов в расклад конфликта явлением единичным, стоило бы о нем говорить? Но бог из машины — нередкий гость в произведениях с «деловым» героем, хотя действует он не всегда в облике антропоморфном. Критика столь долго и громко протестовала против стремления некоторых авторов развязывать конфликтные узлы с помощью наводнений, обвалов, прорывов расплавленного металла и т. п., что сейчас черные бури и удачно завершающие управленческую коллизию землетрясения бушуют главным образом в произведениях, находящихся за пределами литературы. Сейчас популярны инфаркты и транспортные аварии, позволяющие положительным или отрицательным персонажам перехватить рычаги управления или выводящие положительного героя из-под удара со стороны ретроградов и бюрократов.

Художественной прозе по силам показать без всякого подыгрывания и подсуживания, без опоры на грубоватую «количественную» вероятность («хороших — больше!»), что при любом изначальном соотношении сил доброе и разумное начало побеждает. Общественная атмосфера наших дней действительно гарантирует такую победу, хотя, конечно же, не гарантирует безоблачную легкость таковой. Потому и трижды законно наше недоверие, когда в произведении «мерки иные, чем в жизни»: легко исправляются «те, кого в жизни не так-то просто исправить», и «зло не такое страшное, каким оно бывает, когда встретишься с ним на деле», как об этом пишет заслуженный деятель искусств РСФСР Ан. Гребнев («Правда» от 27 июня 1977 года).

III

«Ударить по «шпаргалке!» «Прямо в лоб по ханжеству». «Со всей яростью продрать виновников небрежного строительства жилых домов». Это записи не из блокнота газетчика, а из рабочих тетрадей Александра Фадеева к художественному произведению — роману «Черная металлургия»⁶. Эти записи, по моему, — важнейший ключ к общеизвестным и драматичным событиям творческой истории романа. Не словесно «продрать» и «ударить», а что-то улучшить, перестроить в самой действительности, — эта гражданст-

венная миссия, принятая на себя мастером, и предопределила высокую, я бы сказал, рыцарскую его верность жизненной правде. Писатель решительно, почти с гневом отклонил советы «творчески пересоздать»⁷ события после того, как оказалось, что жизнь поменяла местами кандидатов на положительные и отрицательные роли.

Причем сам Александр Фадеев не считал, что возникающая необходимость переделки романа с учетом реального хода «конфликта-прототипа» является каким-то катастрофическим исключением из правил. Это, в общем, обычное дело для всякого серьезного литератора: «Бывало так и в старину, а при наших темпах это почти неизбежно».

В этих словах сформулирован очень, на мой взгляд, важный принцип реалистически-достоверного исследования человеческих характеров, поступков в сфере производственной, управленческой: стремительное развитие общественного производства требует, особенно в наши дни, оперативного учета того нового, что входит в жизнь.

Это особый и очень интересный вопрос — проследить, как проявляется отмеченная Александром Фадеевым закономерность при переизданиях, экранизациях, инсценировках. Лишь один пример. Народный артист РСФСР И. Владимиров рассказывал в «Правде», как в ходе подготовки телевизионного сценария по роману И. Штемлера «Обычный месяц» возникла настоятельная необходимость изменить позицию директора приборостроительного завода в его конфликте с главным инженером Грековым. Роман писался в самом начале 70-х годов, когда позиция директора — давай, мол, вал, а качество уж как получится — была хоть и ошибочной, но в чем-то ее можно было если не понять, то объяснить. Но так открыто, с полным сознанием своей правоты отстаивать вал сейчас, после XXV съезда КПСС, материалы которого, пишет И. Владимиров, не мог не читать любой сегодняшний советский человек, тем более директор предприятия, — это ведь совсем получился бы другой характер, другой конфликт!

...Я прочитал практически все, что писали о «Премии» С. Микаэляна по сценарию А. Гельмана центральные газеты и журналы, многое из того, что писалось о нем в областных газетах. Отрицательных отзывов я не встретил. Но характерно, как оценивали и

⁶ Сергей Преображенский. Недопетая песня М «Современник», 1977, стр. 129 189 и др.

⁷ См. Е. Добнин. Герой. Сюжет. Деталь. М.—Л. «Советский писатель». 1962, стр. 209—211.

профессиональные критики, и профессионально осведомленные в материях, вокруг которых разгорелся экранный конфликт, «просто» зрители само правдоподобие сюжета.

«Скандалный, что и говорить, почти невероятный случай...» (бригадир строителей С. Арепьев, «Ульяновская правда», 21 декабря 1975 г.).

«Авторы фильма довели свою историю, условную, как любая история в любом искусстве (разрядка моя.— Л. К.), до логического завершения, в общем, благополучного. У них было такое право. Но согласимся, что финал картины — это не конец, а начало» (Н. Савицкий в «Литературной газете» от 14 мая 1975 г.)...

Художественно-публицистическое исследование проблем производства и управления, говорил А. Гельман за «круглым столом» «Литературного обозрения» (№ 5, 1977), только тогда имеет смысл, когда люди в зале непосредственно переносят то, что они видят, на свою жизнь. В жизни же — и тут следовала прямая ссылка на письма зрителей — «случается, труднее доказать свою правоту, чем это было у меня в пьесе»...

Пьеса А. Гельмана (и фильм «Премия») убеждает: при заданном соотношении сил демарш потаповской бригады практически невозможно ни игнорировать, ни замолчать, ни спустить на тормозах. Эта наша уверенность обеспечена не только тем, что атмосфера действия ощутимо пронизана как бы некими волнами тяготения больших, действительно генеральных закономерностей социалистического жизнеустройства, свечением его идеи. Но этим драматург не удовлетворился: ведь «идеи вообще ничего не могут осуществить». Для осуществления идей требуются люди, которые должны употребить практическую силу»*. И в поведении Потапова и Коли Жарикова виден не просто социальный или этический пафос, но и специальный — «тактический» — навывк: в деловой жизни вот как дела делаются!..

Потаповцы отнюдь не рыцари бумаги или буквы, но придают решающее значение обстоятельству, которое в нашем случае организует всю логическую структуру действия: будет или не будет итогом заседания парткома официальное решение, «протокол»? Потому что «протокол» непременно — в этом суть его как документа управления — пойдет по официальным каналам, обяжет вышестоя-

щие уровни управления глубоко проверить трестовские дела, повлечет кадровые перестановки и так далее. Противоборство характеров и позиций постоянно соотносится с некоторым объективным фактором — с собственной логикой, с некой «идеальной грамматикой» управления и отчетности. И точно уловлен такой момент структурной связи «бригада — стройуправление — трест — главк — министерство», когда возможна известная автоматичность, самодвижение последующего процесса (Н. Савицкий точно назвал это «лавиной» драматургии «Премии»).

Драматург стремится вызвать у нас не просто эмоциональное сопереживание, а внутренний вопрос: я бы — смог? Вопрос, содержащий в себе и ответ: я бы хотел смочь.

Ушли светящиеся краски жизненности, растаяла в воздухе кинозала невещественная плоть образов, остался именно логический каркас (чтобы не сказать «скелет») проблемы. Уже моей проблемы. Так быть или не быть?

И вот площадка раздвигается, в орбиту знакомого конфликта втягиваются новые звенья производственно-управленческой структуры. Речь идет о пьесе «Обратная связь».

«Ты же знаешь правило нашей работы, — слышит в пьесе ее главный герой секретарь горкома партии Сакулин. — Нельзя ставить вопрос, если не уверен, что его можно решить». Разумному этому правилу следует всякий, кто хоть чем-нибудь управляет; не исключение и автор, выбирающий своему «деловому» герою конкретное фабульное задание, впрямую задание в принципе осуществимое, а значит, дающее основания для читательского (зрительского) оптимизма.

Конечно же, нет никаких резонов с порога иронизировать над «счастливым концом» только потому, что он счастливый. Ирония тут оправдана лишь в случаях, обычно с самого начала ясных для читателя, критика да и, пожалуй, для самого автора, — когда расписная колесница счастья в личной жизни прицеплена к тягачу успехов в работе по соображениям, от искусства далеким.

На языке теории управления в таких случаях говорят: «нарушен принцип максимина». Звучит очень учено, а суть простая: если на пути к цели помехи вероятны, то действуй так, словно бы они уже возникли.

В деловом же конфликте, когда положительный персонаж стремится одержать не только моральную победу, а изменить положение вещей, он действует по принципу: против-

* К. Маркс и Ф. Энгельс. Сочинения, т. 2 стр. 132.

ник не глупее меня, каждому варианту моего решения он противопоставит максимально сильный свой ход. Моя задача — свести к минимуму максимальный возможный урон моему делу, отсюда «максимин»...

Можно еще так сказать: любая «хорошая» закономерность только потому стала закономерностью, что оказалась способной выдерживать непрерывную бомбардировку помехами. Иначе она сама могла бы претендовать на статус счастливой случайности, не более того.

В «Премии» противники Потапова на ощупь выпутывались из ситуации, оперировали штампами, которые Потапов предусмотрел и легко парирует. Захлебнулось и контраступление Шатунова «по моральной линии» («вы пришли на заседание парткома в пьяном виде»): мало того, что Потапов грезв как стеклышко, он еще и семьянин примерный⁹ (оппоненты проводят соответствующий зондаж, но и тут осечка).

В «Обратной связи» многое иначе. Хотя фабульно обе пьесы едва ли не двойники. Новая пьеса могла бы иметь в названии и «протокол» (центральной ее сценой является заседание бюро горкома партии; в связи с московскими премьерами репортеры так и писали: «заседание парткома продолжается»), и даже «премию» (в финале один из персонажей предупреждает, что премий и наград за принесший миллионные убытки досрочный пуск не будет). А Потапов — он ведь не что иное, как «обратная связь» нижнего структурного звена с «верхом» управленческой подсистемы. И «тетради» есть в новой пьесе — та папка с расчетами, где экономист Вязникова исчерпывающе доказала убыточность досрочного пуска лишь одной технологической нитки вместо трех по плану.

Все похоже — все иное: «обратная связь» налажена в «режиме максимина», в условиях максимальных помех!

Вязникова направила свою папку в инстанцию, которая и была инициатором авантюры с досрочным пуском, встретила максимально эффективный отпор: ей никто не стал возражать, но ее докладную попросту вернули... в трестовский архив. Есть бюрократическая «стратегия копны сена»: начини возражать (писать, следовательно, какие-то бумаги) — обязательно запутаешься в противоречиях. Те, кто нарушает плановый ритм социа-

листической экономики, это отлично знают, потому-то незаконные решения обычно не фиксируют, принимаются они в доверительном разговоре. И выступить с трибуны Вязниковой не дали: на выступление в прениях охотно записали — не вызвали, когда дошла очередь. А когда Вязникова все же выступила с места — немедленно была «задействована моральная линия»: гражданочка-то с прежним управляющим Малунцевым (решительным противником досрочного пуска) состояла в отношениях... ну, в общем, одна занимает двухкомнатную квартиру! Сакулин, которого убедили цифровые выкладки Вязниковой, а не ее «моральный облик», был на сей счет немедленно просвещен. Да и сам он, когда вступил в борьбу, тут же услышал: «Вспомни хотя бы свой великолепный развод!» Причем Вязникова действительно не может рассчитывать на безусловное зрительское сочувствие: когда после гибели Малунцева пост управляющего занял энергичный и умный Игнат Нурков, он не получил ожидаемой поддержки главного плановика Вязниковой и всего «штаба Малунцева», просто так не получил, по личным мотивам... И так далее, и так далее — Сакулину приходится буквально прорываться к принципиальному ядру проблемы сквозь плотную толщу нансов. В итоге оказывается, что нет возможности избежать убытков даже тогда, когда принципиальная линия побеждает: продукцию «досрочной нитки» уже расписали по потребителям; если отложить ее пуск до планового срока, возникнет нарастающая лавина неурядиц...

Первый секретарь обкома партии Лоншаков подытоживает в финале: слишком долго материалы Вязниковой двигались по управленческим каналам, засоренным беспринципностью и местничеством... «Это не успех, это большая непростительная ошибка...»

И это — правда, суровая правда жизни и борьбы. И ее поймет, ею вооружится зритель — потому что путь к ней не показан усталым речным песочком!

На мой взгляд, характерно, что авторы откликов на московские постановки пьесы «Обратная связь» не писали о маловероятности ситуации, не писали и о ее разрешении в темпе «скорохода».

IV

Когда Александр Фадеев говорил о необходимости сверки результатов мысленного художнического эксперимента с реальным ге-

⁹ В описанном выше случае с сельским экономистом долгое время не удавалось ничего добиться не потому, что он был неправ, а потому, что... женат был не первым браком.

чением конфликтов, он имел в виду не любые жизненные факты, но те, что относятся к сфере производственно-управленческой. Какая разница? Очень большая. Принципиальная для всякого литератора, коль скоро он изображает не просто «человека», а «человека на своем месте» — работающего, действующего, исполняющего определенные должностные обязанности.

Социализм не просто общество трудящихся, это общество управляющих. «При рабочем управлении, — говорил В. И. Ленин на XVII Московской губпартконференции, — нужно, чтобы каждый рабочий выяснил себе механику этого управления»¹⁰. В наши дни этот завет стал осуществленной реальностью для миллионов и миллионов людей, становящихся сознагельными участниками всего, что происходит в стране, профессионально знающих, какая кнопка на пульте социального управления с чем соединена и какие последствия вызывает ее нажатие. В реализации своей активной жизненной позиции социалистическая личность на практике убеждается в принципиальной прозрачности любых сколь угодно сложных социальных структур. Вот этот-то фактор и обуславливает «новую ситуацию» восприятия художественных произведений, в которых хоть сколько-нибудь выражено «управленческое» начало. Критерии социологической достоверности становятся строже, убедительнее. Их деловой, не отписочный учет художниками реально повышает роль социалистической культуры и искусства в идейно-политическом, нравственном воспитании советских людей, стимулирует их активную жизненную позицию.

Особенность производственной темы та, что здесь особенно важна способность произведения выдержать любые «а почему так?» участников реального обсуждения. Рядом с каждым ведь не усадишь в кресло комментатора, который будет напоминать: перед вами — эстетический феномен! Есть свои, и немалые, минусы «читательского прагматизма» — но психологическая его основа ведь не что иное, как серьезность, серьезность отношения к искусству — насущному хлебу души.

Мне вспоминается первый просмотр в Воронеже долго ожидавшейся новой работы Глеба Панфилова, фильма «Прощу слова». В небольшом зале обкинопроката собрались критики и журналисты; пригласили их прокатчики за тем, чтобы, как говорится, дать фильму

прессу. Смее уверить, что в зале не было скептиков по отношению к «кинематографу Панфилова» — создателя «Начала» и «В огне брода нет». Но почему-то при обсуждении возник вопрос не художественно-критический, а сугубо деловой: зачем, собственно, показанному на экране городку мост — копия Крымского в Москве? До сих пор вспоминаю с болью какой-то личной потери, что не мог самому себе ответить на этот самый «вопрос»... Тот чудо-пригород — он же запроектирован на низком пойменном берегу, залет его в первый же паводок. Не проще ли героине, председателю исполкома горсовета, организовать на субботу-воскресенье надежную переправу граждан к ягодам и грибам? Есть ли необходимость строить новый район в лесу, то есть лес губить? Не проще ли на те испрашиваемые для моста десять миллионов выстроить сколько там придется новых домов в уже имеющемся и в фильме показанном микрорайоне? Город задыхался предприятиями? Так на то председателю горисполкома и власть дана, чтобы мог добиться установки фильтров...

В этот фильм деловые реалии вошли именно через характер. И немаловажным оказалось то обстоятельство, что героиня забыла спросить у земляков-избирателей, как они мыслят наилучшее устройство своей жизни.

Вспомним актерски очень убедительную сцену сдачи дел предшественником Уваровой. По-своему желая землякам добра, герой Л. Броневого истощал небогатую местную казну тем, что строил спорткомплексы столичного размаха, районный футбол тянул на уровень высшей лиги. Ну а мост? Десять миллионов обычно тратят не по чьему-то доброму желанию, а, как говорится, спросив у науки (современная непрямая форма совета с земляками), заказав солидному НИИ подготовить технико-экономические обоснования (Сакулин из «Обратной связи» как раз из НИИ запросил экспертную оценку вычислений Вязниковой, хотя его лично они убедили с самого начала). А поскольку подобные шаги героями фильма предприняты не были, то остается заключить, что Госплан поступил резонно, направив миллионы, очевидно, туда, где они нужнее...

Вообще поскольку авторами заявлен характер делового человека, «мэра», а не только Уваровой — матери семейства, возлюбленной или мастера стрелкового спорта, то без пристального внимания к деловой логике здесь обойтись невозможно. Единственный эпизод,

¹⁰ Ленинский сборник, XXXVIII, стр. 301.

где Уварова в качестве председателя горисполкома что-то решает («Я могу принимать решения», — с достоинством отвечает она во время встречи с французской делегацией на вопрос, чем привлекает ее такая нелегкая для женщины должность), не очень убедителен, даже если прилагать к нему не только «должностную» логику, но и логику «теплую», житейскую.

Треснувший от фундамента до крыши новый дом пуст, все за городом. Но из одной квартиры надо вывести свадьбу, не перепугав гостей. В спешно вызванном автобусе Уварова увозит всех смотреть «более просторную квартиру» для умножившейся семьи. Вечером же одинолично решает оставить все как было: трещина не растет, а «более просторные квартиры», оказывается, уже распределены. И об инциденте более ни слова. Хотя стоит только представить себе, как наутро два породнившихся клана являются за обещанным, а им должны, по сути дела, ответить: да это «мэр» просто демонстрировал умение «приспособиться к моменту», а то бы вы еще, чего доброго, в панику ударились...

Может ли столь резко противоречить логика «внутрикадровая» логике деловой или житейской?

Разумеется, возможны случаи, когда мы, продолжив «за кадр» данный нам характер, убеждаемся: там, вовне, — некий для него антимир. И тогда своеобразная «гибель», «аннигиляция» образа от соприкосновения с не доросшим до героя повседневьем даст желанную «вспышку» — будет обобщением по романтическому типу. Но ведь героиня «Прошу слова» не выпала из социальных связей, не посторонняя она этому городку, окружающим ее симпатичным, хотя порой и довольно прозаичным людям. Образ и задуман (и горячо, увлеченно прожит на экране отличной актрисой) не для себя самого, а для тех, кто перед экраном. В финале Уварова пишет записку в Президиум Верховного Совета: «Прошу слова». Больше на листке ничего не написано, и на экране титр «Конец». Это действительно конец, в этом случае нового «начала» не будет.

Не будет в том смысле, в каком должен непременно продолжаться «деловой» сюжет «Премии». Вот ведь парадокс! В споре о жизненно насущном звучат другие имена — Губанов и Валуев, Прончатов и Чешков, Петров и Алтунин. Пришедшие ответить на «злобу дня», они и некоторые другие герои из этого продолжающегося ряда отвечают, оказывает-

ся, на «злобу лет». А ведь что греха таить — иному из них по сравнению с Елизаветой Уваровой так недостает теплоты, художественной «трехмерности»; в схематической заданности, функциональности кое-кого из них упрекали не без оснований.

Не потому ли они живут, что мы, все вместе и каждый в отдельности, благодарны их создателям за свой звездный читательский час, за вспышку глубокой личностной затронутости делом героев, в котором мы узнали наше. Мы как бы дорастиваем их в своей душе до реальной жизненной объемности, наполняем собственной тревогой, верой их точную деловую речь.

В. И. Ленин, конспектируя «Святое семейство», поставил нотабене против слов: «„Идея“ неизменно посрамляла себя, как только она отделялась от „интереса“».

Составляет ли исключение художественная идея? Вряд ли. Каждый знает, что «пройденная» экскурсионным манером в школе целая библиотека классиков может остаться библиотекой и не более, если не возникнет вспышка «затронутости» классическим текстом. Кто ее пережил — тот получил в спутники жизни писателя-друга, не просто властителя дум — «властителя дел»...

Если это не эстетическое переживание, то что же это?

* * *

В 1976 году журнал «Искусство кино» опубликовал большую статью «Фильм и зритель в системе массовых коммуникаций». Случай дал мне возможность встретиться и побеседовать с автором этой статьи. Один из виднейших советских критиков и теоретиков кинематографа, Юрий Миронович Ханютин сказал, что эта статья — начало его большой работы, в которой он намерен на максимально широком конкретном материале проследить, как под влиянием «внехудожественных» факторов — социально-психологических, политико-экономических, общекультурных — меняется сама статья, органика искусства, какую «оптику», какие приемы организации эстетического микроскопа ищет социалистический художник для того, чтобы его непременно услышали, чтобы его поняли как можно яснее и действеннее.

Статью в сентябрьской книжке «Искусства кино» Юрий Миронович назвал заявочным наброском будущего исследования. Я не знаю, в какой степени исследование продвинулось к январю нынешнего года, когда пришла печаль-

ная весть о безвременной кончине Ю. М. Ханютина. Но перечитывая сейчас опубликованную статью — знакомые с нею увидят, что очень многим эти заметки обязаны ей, — легко убедиться, сколь многое в ней сказано, сказано своевременно и не в стороне от руслу поисков современной критики и теоретической мысли.

Проблема зрителя, читателя, слушателя — это также и собственная эстетическая проблема. Ибо — мне эти слова Юрия Миновича запомнились — для художественного произведения быть воспринятым и значит существовать.

Исследователи, работающие с материалом, относящимся к различным родам, видам и жанрам искусства и литературы, это постоянно отмечают. Говорят о документализации прозы и театра, о нарастании в них элементов «чистой» публицистики, о постоянной опоре на прямой, «открытым текстом» диалог с аудиторией, об укреплении сюжетности, даже о попытках, притом, небезуспешных, организовать фабулу социально-аналитических, серьезных вещей по типу детектива и так далее и тому подобное.

Раз мы заинтересованы в сближении «читателя» и «читаемого», «сцены» и «зала» — то, по-видимому, допустимо говорить о некотором пограничном слое, где осуществляется непосредственный обмен зарядами между «искусством» и «жизнью», «идеальным» и «реальным».

Законмерно, что процессы, происходящие в этом слое, наиболее выражены в том случае, когда материалом художественного произведения являются отношения производственно-управленческие. Ведь управление само по себе имеет двойственную, «материально-идеальную» природу. Это духовная, интеллектуальная деятельность (управленец производит только мысли, идеи, решения) — но деятельность эта бессмысленна и попросту невозможна без постоянного предмета в

ния себя в тоннах конструкций и киловаттах энергии, в машинах, городах, каналах. Идеальная вещественность, материя духа!..

И не мудрено, что в этом пограничном слое творец образов становится проповедником-журналистом; «прагматический» монолог о фундаментах и дверях воспринимается как эстетическое откровение; высокообразованный теоретик говорит языком «неквалифицированным», а наивное письмо или реплика из зала побуждает мастера-профессионала вновь и вновь проверять точность своих образных решений; читательская конференция походит на производственное собрание — а на цеховой планерке ссылаются на вчерашний телефильм...

Плавильный цех, горячий цех искусства — эта самая вчера еще звучавшая суховаато «производственная тема».

«Вместе с литературными или сценическими героями мы переживаем, волнуемся за успех сталеваров или директора текстильной фабрики, инженера или партийного работника. И даже такой, казалось бы, частный случай, как вопрос о премии для бригады строителей, приобретает широкое общественное звучание, становится предметом горячих дискуссий...»

Эти широко известные строки Отчетного доклада ЦК КПСС XXV партийному съезду изображают эстетическую коммуникацию в такой же мере, в какой описывают коммуникацию экономико-управленческую, нравственную, социально-психологическую. Искусство, вбирая в сферу «вымысла» реальные события и факты, а затем возвращая их жизни осмысленными, выстроенными в «речь», способную стать реальным планом жизненного поведения, исходит из неоднократно подчеркивавшегося в материалах съезда принципа единства материальной и духовно-нравственной сторон человеческой деятельности: мысли и действия, позиции и поступка, мечты и свершения.

Воронеж.



КНИЖНОЕ ОБОЗРЕНИЕ

СОДЕРЖАНИЕ



ЛИТЕРАТУРА И ИСКУССТВО

Лев Озеров. Поиск и риск.—М. Слуцис. Человек в потоке меняющегося времени.—**Евг. Виноуров.** В краю лесов и озер.—**Янна Брыль.** «Он — строгий к правде!»

ПОЛИТИКА И НАУКА

Ю. Поройнов. «Мы будем, как Млечный Путь...»—**В. Косолапов.** Мемуары полководца.

Литература и искусство

ПОИСК И РИСК

- Людмила Барбас.** Пишу тебе... Л. «Советский писатель». 1976. 111 стр.
Михаил Синельников. Облака и птицы. М. «Советский писатель». 1976. 80 стр.
Олег Кочетков. Время настало. М. «Молодая гвардия». 1977. 31 стр.
Лариса Миллер. Безымянный день. М. «Советский писатель». 1977. 126 стр.
Валентина Юдина. Журавушка. Саранск. Мордовское книжное издательство. 1977. 87 стр.

В качестве отправной точки для своих рассуждений возьму стихотворение Анатолия Преловского «Мастер»:

Был рад, что мир трудом и потом добыт,
что подчинились время и слова.
Уходит юность, но приходит опыт,
и жить светло на гребне мастерства.

Но вот дела забросил, пригорюнясь,
и понял суть успеха своего:
приходит опыт, но уходит юность,
и платы нет иной за мастерство.

Успех мастера ставится здесь в зависимость не от капризов фортуны, а от внутренних законов творчества, которому посвящена жизнь.

Мысль не нова, но еще и еще раз приходится повторять, что искусство поэзии требует всего человека целиком.

Идущая в литературу молодежь зачастую полагает, что это относится к предшественникам, но не к ней.

Мстительное и ревнивое искусство каждого новому поколению показывает, что все надо завоевывать и открывать собственными усилиями.

Найти себя, быть собой. Столетия развития литературы и искусства подтвердили это требование. Поиску сопутствует риск.

На ладони стихотворения отпечатываются

линии судьбы автора. Если поэт утром лицемерил и лгал, то на стихах, буде даже они о том, как он ненавидит лицемерие и любит правду, зеркально отобразится его утреннее состояние. Сейсмически чуткий к душевным колебаниям стих передаст читателю крикую переживаний поэта.

Ах, все о том же — как пою и плачу,
Как улыбаюсь, как улыбку прячу,
И про тоску свою и про смятение,
А если о чужом полночном бдении
И о чужой улыбке и судьбе —
То все равно и это о себе.

Это — одна из многих лирических миниатюр, составляющих книгу Ларисы Миллер «Безымянный день». Выраженная здесь позиция характерна не только для этого автора, но и для всей нашей молодой поэзии, которую интересует человек во всех его проявлениях — больших и малых. В центре ее внимания — то, что объединяет людей, а не разъединяет их. Чужая судьба? «...все равно и это о себе».

Восемь, двенадцать, шестнадцать строк — это немалая стартовая площадка для взлета поэтической мысли. Серьезность высказывания, психологически обоснованная лирическая речь, правда чувств противостоят в молодой поэзии словесной игре, внешним аксессуарам,

дешевым завитушкам досужего сочинительства.

В той же книге Ларисы Миллер, вовсе не свободной от проходных стихов и дубликатов, нахожу строки, за которыми — жизнь и автора и его поколения.

Мы, отец, ровесники с тобой,
Только двадцать три твои — седые,
Надо мной снежинок мягких рой,
Над тобой — наносы снеговые.

Вечер, утро. Между ними — год.
Эта ночь состарена войной.
Тихий снег убитым саван ткет.
Ну, а ты в землянке продувной,
Тощий, долговязый замполит,
Пьешь с друзьями, обжигая рот,
За грядущий сорок третий год,
Год, в котором будешь ты убит.

Первые минуты января.
Я уже чуть-чуть взрослей тебя.

Можно было бы для землянки найти более точный эпитет, чем «продувная», можно было бы найти более верную рифму, чем «января — тебя». Но стихотворению никак не откажешь в правде выраженного чувства. Оно не нуждается в комментировании — и чувство и стихотворение. Все ясно вплоть, как говорится, до анкетных данных. Но не в них дело. Я вижу автора, судьбу «отцов и детей», слышу время.

В отличие от Ларисы Миллер, которую можно характеризовать по-асеевски: «лирик по складу своей души», Михаил Синельников — лирик, если можно так выразиться, эпического склада. Его интересует не столько его чувство, проецируемое на мир, сколько мир, наполняющий собою чувство. Детство в Киргизии, Грузия, Север России, дороги. Образ дороги — едва ли не самый острый в его книге «Облака и птицы»:

Куда горопишься, дорога?
Туда бы ты могла вести,
Где нет предела и порога
Для продолжения пути.

В лучших стихах мысль М. Синельникова обретает реальность и масштабность, в проходных и неудачных переходит в элоквенцию, красноговориение, дидактику. Поэта спасает глаз, умение надежно и точно ввести в строку реалистическую деталь. «Воды вечерних снегов льются по руслу клинка» — картина, встающая перед нами, динамична, она характеризует одновременно и снега и клинок. Автора отличает культура слова. Стиха (нам известна переводческая работа Михаила Синельникова, его переложения грузинских поэ-

тов). То и другое, правда, идет пока впереди душевной культуры. Но таково свойство многих первых книг.

На этом стоит остановиться. Предваряя своим словом («Ожидание каждодневного чуда») книгу стихов Игоря Тарасевича «Звук», Владимир Цыбин пишет: «Для молодого поэта важен первоначальный материал его лирической биографии, но, может быть, важнее то, чтобы жизненный опыт смог перевоплотиться в духовный. Тогда в стихах зажигается свой особый внутренний свет». Это верно. Мы свидетели того, как отлично начинавшие поэты, исчерпав в первой книге свою непосредственную «лирическую биографию», не смогли в дальнейшем перевоплотить ее в духовную биографию, то есть фактически прервали свой творческий путь и начали перепевать себя, повторять до бесконечности свою начальную удачу, либо «уходили в перевод», либо, не выдерживая дьявольского напряжения стиха, переключались на прозу.

У настоящего поэта, по Блоку, есть путь, у стихотворца, даже блестящего, пути нет, есть количественное добавление пусть и удачных стихов и поэм. Мы говорим о поэте. О человеке духовного, поэтического поиска. В его мире есть свое пространство, движение, и мы следим не столько за удачными или проходными строками, сколько за миром поэта.

Этот мир может открыться с пятой или седьмой книги. Но куда его нет, поэт еще не состоялся.

Желание утвердить себя порой приходит до того, как молодой стихотворец нашел себя, свое лицо.

«Помогите пробиться в поэзию», — пишет мне один начинающий автор, будто речь о «билетике» в Театр на Таганке или на летний рейс волжского парохода. Читаю стихи, присланные этим охотником «пробиться». Постесняюсь их цитировать. Слабо! Человеку нечего сказать. Бездарен? Нет. Не стал бы говорить о нем. Есть живые строки, даже строфы. Но ни одного (!) законченного стихотворения. Человек явно горопится.

Бескорыстие — вот характерная черта настоящего художника Любить не себя в искусстве, а искусство в себе. Эта старая мысль всегда нова.

В заметке по поводу своей комедии Грибоедов пишет: «Первое начертание этой сценической поэмы, как оно родилось во мне, было гораздо великолепнее и высшего значения, чем теперь в суетном наряде, в который я принужден был облечь его».

Самоунижение? Нет, жажда совершенства. Она всегда нужна, особенно в молодости.

Опыт работы с творческой молодежью показывает, что в нынешней практике мы встречаемся чаще с проявлениями самодовольства, чем со скромной оценкой своей роли «в литературном процессе».

Что-то не слышно случаев, когда наш молодой автор стыдился бы своей книги, скупал бы ее, как Гоголь своего «Ганца Кюхельгартена», а Некрасов «Мечты и звуки», и уничижал бы, сжигал бы свои недоношенные сочинения.

Скорее имеет место иное: просьба увеличить тираж, добиться положительного отклика на вышедший опус.

Подобное явление тревожит. Мы пока говорим о творческом поведении, а не о самих сочинениях. Но с творческого поведения все начинается. В нем, как солнце в капле росы, виден художник, видна его личность.

Некоторые так и застревают на перепевах, на сочинительстве стихов «с чужого голоса», с эклектического смешения разных поэтических систем, порой самых несовместимых, со «стилевого коктейля», как я уже определил это в одной из своих старых статей.

Приведу малоизвестные стихи.

Тухнет тающих туч седина,
Ночь приходит, убогая странница,
Бесконечной лентой луна
По чугунным рельсам тянется.
Выйди, маленький, стань у колес
И в бегущем огне каруселься,
Если вдруг захотел паровоз
Притянуть горизонт рельсами.
Только сумерок тихий пляс,
Только шепоты вечера раннего...
Выйди с рельсами в поздний час
Серебристую песню вызванивать.

Чи это стихи?

Не знаете? Иду настречу. Они датированы 1921 годом. Кто же это? По словарю («тихая странница», «сумерок тихий пляс», «серебристую песню вызванивать») это неизвестные стихи Есенина или кого-либо из поэтов его школы. Однако «в бегущем огне каруселься» — это нечто маяковистое, асеевское. Горизонт и рельсы тянут в сторону «Кузницы» — не то Казин, не то Обрадович, не то Безыменский, хоть он и не принадлежал к поэтам «Кузницы». Долго можно гадать. На стихах нет меты индивидуальности. А написал их поэт, стихи которого, когда он обрел свой мир, узнаются с ходу. Михаил Светлов! Так можно было писать и год, и десять лет, и пятьдесят лет. И даже прославляться. Но Светлов отверг такой путь вторичности и эпигонства. Он искал себя

и нашел. От приведенного только что «ничейного» стихотворения до таких стихов того же автора, как «Двое», «Песня отца», «Рабфаковке», — три-четыре года, от силы пять-шесть лет. Но это годы не самоповторения, а того духовного рывка, который и определил удачу поэта.

Кто помог Светлову? Ответить трудно. Думается, он сам себе помог. Нужна воля. Нужны усилия. Но прежде всего — нужен талант. Самым сознательным и волеуправленным приложением сил не поможешь делу, если нет основы основ всякого искусства — таланта.

Нынешний уровень стихописания я назвал бы вполне удовлетворительным. Но ликовать по этому поводу нечего. Скорей стоит печалиться. И вот почему. Средний уровень в искусстве — достояние и показатель культуры в целом, приобщение к заслугам предшественников, культурный «фон».

А нужны прорывы к новому качеству. Их досадно мало.

Утешением служит только то, что их всегда было досадно мало.

У нас лихо рифмуют, умеют писать и в каноническом духе, и верлибром, и «под Есенина», и «под Пастернака», и «под Маяковского», и «под Сельвинского».

Установился шаблон: молодой, неведомый автор подыскивает известного автора и последний дает в газете или в журнале благословение или напутствие новому знакомцу. На этом связь обрывается. Старший выполнил свой «долг», и младший выходит в путь. Именно здесь ему нужна поддержка. Но он чаще всего один...

Надо ли художнику бояться одиночества? По моим наблюдениям, наиболее сильные и достойные к такому художественному одиночеству и стремились. Оно ничего общего не имеет с социальным одиночеством. Художник вступает в борьбу с материалом (глина, мрамор, звук, слово). Это, конечно же, единоборство. И если не приучать себя к самостоятельному поднятию тяжестей, то на успех художнику рассчитывать нечего.

Знаю цену литературным объединениям, не умаляю их роли, сам был многолетним участником и руководителем их. Высоко ставлю артельность, сообщество, братство. Не секты, не группу, а согласие многих в едином труде, творческом содружестве. Мастер срабатывается с подмастерьями. Все решают общую задачу. Прекрасно!

Но мы часто увлекаемся недолговременными объединениями в виде конференций, пленумов, симпозиумов молодых авторов. Уже появились среди молодежи любители присут-

ствовать на таких конференциях. Они знают, что к этим конференциям приковано общественное внимание...

Наибольшей поддержки, с моей точки зрения, заслуживают прочные и длительные связи мастеров и подмастерьев, образуемые естественно, по взаимному выбору, по симпатии. Шедшие к Маяковскому, не бегали к Есенину. Здесь обоюдный выбор имеет подлинно творческую основу.

Давно ознакомился я со стихами слесаря из Коломны Олега Кочеткова. Он писал стихи о рабочей молодости, неуклюжие, но искренние, духоподъемные. И вот Олег Кочетков попадает на совещание молодых. Его руководителем оказался Станислав Куняев. Он-то и помог Олегу Кочеткову напечатать несколько подборок и выпустить в «Молодой гвардии» книгу «Время настало».

В книге Олега Кочеткова я нахожу удачные строки и строфы. Но книга не сложилась.

Гривасто и гулко качнутся деревья
и травы,
И в ноздри ударит дух моей мощной
державы...

Этим стихотворением («Встреча») открывается книга.

Далее пошла изрядная безвкусица: «...мой учитель подраненной птицей кровь роняет (!) под ветром крутым», «У девчонок такие колени: если взглянешь — ослепнут глаза! На меня их округлые тени надвигались, будто гроза». «О чем сказать? На свете все не ново...» — это читаем уже в конце книги.

Досадны не только эти частности. Куда более досадным и печальным мне кажется отход от намечавшегося своего мира. В предисловии к книге Станислав Куняев называет учителей молодого автора — Николая Рубцова, Владимира Соколова, Анатолия Жигулина. Книга не подтверждает этого перечня. И намека на ту душевную культуру, которая есть у этих поэтов, нет у Олега Кочеткова. Он пишет не свое, не себя.

На выходе вторая книга Олега Кочеткова. Буду безмерно рад, если мои заметки быстро устареют, более того — будут решительно перечеркнуты убедительным художественным ответом моего старого коломенского знакомого.

Путь от первой книги ко второй — важный, если не важнейший перегон на творческом пути каждого автора. Вот где проверяется — не случайна ли удача первой книги, перешел ли опыт жизни в духовный опыт творческой личности.

Первая книга Ларисы Таракановой, вышедшая в «Молодой гвардии» в 1971 году, называлась претенциозно, в традициях символистской школы — «Птица воображения». Книга, мол, птица, а переплет — два ее крыла. Трудно было сказать, как пойдет развитие молодой поэтессы. Жизнь привела ее ко второй книге — «Дитя мое». Возобладало на условно-поэтическое и подражательное, а зорко подсмотренное в самой жизни, подсказанное своею судьбой. Жизнь хлынула в стих, и стих ожил. Поэтесса — «слушает вечность и моет посуду». На совмещении бытового, обиходного, с виду непозитичного — с возвышенным, беспредельным, овеянным легендами возникает свой образ, свое видение мира. У Ларисы Таракановой этот процесс только начался, он требует закрепления, требует работы души (а не только работы над строкой).

Страшно сказать, но подчас случается: когда художнику бываете тяжело, его искусству — легко. Об этом думал я, читая вторую книгу Людмилы Барбас «Пишу тебе...». Потеря горячо любимого человека, горе и одиночество хлынули в строки и прорвали плотину, сооруженную в первой книге — «Верю в любовь» (1962). Поэтесса прошла «испытание тоскою». Испытав «двух душ великое родство, две расточительные траты», она в горе поняла, что «надолго останется имя в изголовье стиха...». Книга передает безмерность горя, испытанного человеком, и показывает пути его возвращения к жизни. Первый февраль без него, без любимого человека.

Я очищаюсь снегом —
в добрый час!
Я возвращаюсь к жизни понемногу.
По желобам
вдоль губ моих и глаз
стекает снег —
не слезы, слава богу.

Этот стекающий по щекам снег («не слезы, слава богу» — какая дивная интонация!) убеждает меня. Образ вылеплен здесь из самых простых и ценных материалов.

Никто не установит единых сроков — когда именно человеку пришла пора от отдельных публикаций перейти к первой книге, какова дистанция между первой и второй книгами. Один с ходу выпускает первую книгу и оказывается прав, другой же годами готовится к ней и тоже оказывается прав. Важно выйти своевременно. Это один из самых сложных вопросов художнического дебюта. Но выход одних, как мы убеждаемся, весьма часто оказывается неподготовленным. Выход же других затягивается, тормозится, отклады-

ваеся, хотя в нем назрела прямая творческая необходимость.

У всех в памяти запоздалый выход книги Олега Чухонцева «Из трех тетрадей». Почему «из трех»? Да потому что в одной книге уместились, сплющились три книги, которые и должны были выходить в их последовательности на протяжении тех тринадцати—четырнадцати лет, которые пошли на издание первой книги, являющейся, по существу, первым избранным этого одаренного автора. Стихи первой тетради — «Посад» — начало 60-х годов. Вот тогда бы этому «Посаду» и выходить. Мне возражат: зато Олег Чухонцев сразу заявил о себе как о мастере. Не то имею в виду, говоря о своевременности выхода книги.

На мой взгляд, злом является торопливый выход к читателю с незрелой книгой, но не меньшим злом и «засиживание в девках».

Своевременная встреча с аудиторией необходима таланту. Приобщение молодежи к общей работе всех творящих литературу и искусство — вот, на мой взгляд, единственно верный путь. Некоторые же стремятся создать некий особый «загон для молодняка». Глубокое заблуждение! Автономной молодой литературы не было и нет. Есть большая литература, постоянно обновляемая. Идет приобщение новых сил к общему процессу.

Мастера следят за тем, чтобы их ученики не закидали в подмастерьях. Срок стажерства, срок предварительной учебы отлично чувствуют зрелые мастера. Флюбер приглядывается к Мопассану. До «Пышки» все отвергается. И вот — тот рубеж, когда орелик расправляет крылья и парит орлом. Это процесс естественный, и ускорять его или тормозить грешно, вредно.

Сколько раз на протяжении жизни я убеждался в том, что врачу лучше ошибиться в сторону жизни, а не в сторону смерти, что педагогу верней возлагать надежды на своего питомца, нежели лишать его веры в себя. И хотя многие жизненные примеры показывали, что далеко не все надежды оправдываются, я все же остаюсь при мысли: надо верить и ждать. И прочитывать груды рукописей в поисках одной алмазной строки, а не отбрасывать их, ссылаясь на то, что если зерно есть, то оно все равно прорастет само по себе. О нет, так легко затоптать молодой росток, так просто не заметить в человеке его сокрытое от глаз богатство...

Девушка из далекой мордовской деревни Валентина Юдина сначала не могла показать и нескольких удачных стихотворений. Один из педагогов еще не по строкам, а каким-то неведомым чутьем угадал: будет толк. С этой на-

ивной интуитивной веры все и начинается. Теперь, когда вышла первая книга Валентины Юдиной «Журавушка» и появилась в первой книжке журнала «Литературная учеба» ее подборка, каждый скажет: поэт!

Валентина Юдина знает: чем точнее и глубже текст, тем точнее и глубже подтекст. Надежды стихотворцев на смутный текст, который якобы порождает особую глубину подтекста, неосновательны.

Я в небо запрокидываю голову.
Смотрю, как улетают журавли.
Все будет хорошо! Все будет здорово!
Все хорошо... А будет, будет ли?

Вернется ли весна? Засветит солнышко?
Придут ли грозовые облака?
Хочу я жизнь свою испить до доньшка,
Чтобы узнать, была ли глубока.

У Валентины Юдиной нигде нет игры в мнимую многозначительность, нет натужливой философичности. Она родниково-прозрачна, подчас песенна. И книга ее «Журавушка» оставляет ощущение чистоты, естественности и недоговоренности.

Прочитав десятки и сотни страниц эрзац-лирики, особенно радуешься книгам, исполненным словесной и стилиевой бережливости.

Я не черствей, а старше становлюсь,
уже боюсь бросать слова на ветер,
и то, чем я держусь на белом свете,
я называть по имени боюсь.

Немногословье мужественных дней.
Все реже — точки. Чаще — многоточья.
Тоска — сильней. Разлука — все длинней.
Стихи мои — короче и короче.

Это говорит уже упоминавшаяся мной Людмила Барбас. И она права. Чем сильнее чувство, тем лаконичней стихи. Лаконизм далеко не только стилиевая задача. Есть прямая зависимость между силой слова и чувства, им передаваемого. Высказывание художника тем содержательнее, чем меньше затрачено им слов. Но достигается такое соответствие длительной выучкой, «продолжительными уроками», как говорит в своей книге о мастерстве Юрий Трифонов.

В новой книге стихов Надежды Григорьевой «При любой погоде» читаем:

Форма: fuga, круг, алмаз...
Плоть, являющая душу...
Что останется от нас.
Если мы ее нарушим?
Нас размочит, как дым,
Исчезающие в небе.
Перепутаемся мы.
Как снежинки в талом снеге.

Сохранить индивидуальность, душу живую искусства, — задача далеко не формальная. Во плоти слова явлена нам душа. Вот почему надо бояться размытости контуров индивидуальности.

Поэзии необходима структура. Ее четкость и строгость — выражение зрелости таланта. Ориентация только на нутро, только на то, что природа дала, никого не спасала. Даже самые сильные таланты.

Лишь настоящая культура (и прежде всего культура душевная, а не складские помещения эрудиции) может подвинуть талант на сильный рыбок к новому качеству. Многие, очень многие застревают на промежуточной стадии — эклектизма, взбивания коктейлей из разных уже известных нашей поэзии образов. Эклектикой и эпигонством издавна пробавляется бездарность. Ее изделия безлики, внешне приемлемы, на что-то похожи, приурочиваются к датам. Удачливые бездарности плодятся путем почкования. Нередко помогают одна другой издаваться. Да позволено будет назвать это термином из биологии «перекрестное опыление». Пробившиеся «бездарности» тоже со временем начинают помогать... бездарностям, дабы сохранить преемственность, дабы не возникла, не дай бог, конкуренция», — верно подмечает Вячеслав Куприянов в своей статье «Грани графомании» («Литературная Россия»).

Не хочу, однако, настраивать читателя, да и себя самого на мрачный лад. Не будем прибедняться. Во всех концах нашей страны выходят интересные поэтические книги. Здесь я говорю о книгах русских авторов. Отрадно, что они появляются не только в Москве и Ленинграде, а и в других русских городах, а также национальных республиках. Упомяну книги, оказавшиеся на моем письменном столе и достойные отдельных откликов: Юрий Богданов — «Река времени» (Минск. 1977), Елена Скульская — «Глава двадцать шестая» (Таллин. 1978), Владимир Леванский — «Шародействие» (М. 1976), Дмитрий Дадашидзе — «Приближение к огню» (Баку. 1975), Дании Чкония — «Звук осторожный» (Тбилиси. 1976), Анатолий Нестеров — «Струна» (Воронеж. 1976), Николай Колмогоров — «На земле светло» (Жемерово. 1977) и некоторые другие. Это разные почерки, разные индивидуальности. Всех их объединяет поиск неповторимого,

нового слова, страстное желание внести пусть поначалу и небольшую, но свою лепту в общепозитическое дело.

Порой эклектичность клянется приверженностью к традиции. Но нет ничего более противоположного традиции, чем перепевы, дубликаты, рабское копирование образов. Традиция жаждет, чтобы ее нарушали, творчески нарушали. Нарушение традиции, как показывает история поэзии, тоже традиция.

Мы противники тусклого.
Мы приучены к шире —
самовара ли тульского
или «ТУ-104».

В середине 50-х годов прозвучали эти строки Андрея Вознесенского. Он утверждал себя в дерзком качестве нарушителя традиции. Теперь он и сам требует от идущих в литературу того же:

Как я тоскую по поэтическому сыну
класса «ТУ-144» и 707 «Воинга».
Мы научили свистать
пол-России.

Дай одного
соловья-разбойника!..

Не большой сторонник сравнения художников с летательными аппаратами, я все же понимаю Андрея Вознесенского. Он молит о ярких дебютах, о свежести ветерка, который сопутствует появлению нового таланта. Встреча с новым талантом должна стать встречей, действительной встречей с молодостью.

Хочется верить, что вот-вот мы услышим яркий посвист нового «соловья-разбойника». Мы еще не знаем его имени. Возможно, он кончает десятилетку. Может стать, отправляется в качестве геодезиста на новую стройку. Его теплоход, может быть, бороздит Черное море или пробирается сквозь туманы Балтийского моря. Песнь накапливает силы для разбега, для взлета. Благословен час, когда мы впервые слышим новую заревую песню.

Не пропустить ее, вовремя откликнуться на нее, порадоваться ей, если она того достойна. И не спешить с приветственными речами навстречу еще неумелой, еще незрелой по чувству и слогу песне.

Лев ОЗЕРОВ.



ЧЕЛОВЕК В ПОТОКЕ МЕНЯЮЩЕГОСЯ ВРЕМЕНИ

Витаутас Мартинкус. Чужой огонь ног не греет. Повесть.
«Дружба народов», 1976, № 11.

Витаутас Мартинкус. Флюгер для семейного праздника. Повесть.
«Дружба народов», 1978, № 1.

Чрезвычайно интересно наблюдать за тем, как рождается и созревает писатель. Иногда кажется, что ты и сам рождаешься заново, когда, сердечно поддерживая чей-то дебют, продолжаешь интересоваться дальнейшей судьбой автора. Быть может, поэтому, порадовавшись своей «находке» или «открытию», мы с нетерпением ждем следующего шага дебютанта, уверенные, что он принесет уже более внушительные результаты. Бывает, что наше любопытство, нетерпение мешают молодому автору естественным образом набираться сил — мы словно бы подталкиваем его, заставляем спешить, стремиться к «солидному», отвечающему нашим ожиданиям объему будущего произведения. И случается, что иные из молодых, ярко заявившие о себе, но так и не справившиеся с трудностями роста, застревают в списке не оправдавших надежд. А мы уже оглядываемся по сторонам в поисках новой звезды.

Витаутасу Мартинкусу не пришлось лезть вон из кожи в стремлении понравиться или угодить кому-то. Его дебют прошёл спокойно, без экзальтированных восторгов со стороны. Никто его не подгонял, не тянул за полы. И вместе с тем не мешал серьезно и сосредоточенно работать.

Сегодня уже хорошо видно: автор умело распорядился первыми годами своего творческого пути. Я имею в виду не только его роман «Камни», о котором достаточно говорилось в литовской критике. Напомню лишь, что герои «Камней» серьезно озабочены тем, чтобы сохранить от эрозии свой внутренний мир, свое гражданское мужество. По внешнему облику, социальной природе это жизненно достоверные, даже «будничные» персонажи, однако на их долю выпадают далеко не простые ситуации. Отличает героев и особый душевный склад. Некоторые из них склонны придавать чрезмерное значение символическим видениям, хотя они признают объективность исторического процесса и хотят активно участвовать в нем. Проявившаяся уже в первых рассказах Мартинкуса склонность к рациональному анализу облегчила автору романа построение сюжета. Люди и события в «Камнях» не столько изображаются, сколько, по меткому замечанию критика А. Гуцюса, интерпретируются. Интерпрета-

ция — этот характерный для рационалистического начала творчества момент — и в дальнейшем, видимо, останется одной из главных черт стиля Мартинкуса, однако в «Камнях» еще не хватает диктуемого подобным стилем свободного обращения с жизненными реалиями и человеческими судьбами. Правда, события сталкиваются здесь и переплетаются в окружении тайн и умолчаний, но читатель ощущает некоторую статичность в компоновке жизненных фактов и рассуждений, скованность в передаче самой атмосферы художественного произведения.

Вскоре роман «Камни» будет опубликован в русском переводе, и тогда мы, вероятно, снова вспомним его. А сейчас хотелось бы обратить внимание на две последние повести Мартинкуса — «Чужой огонь ног не греет» и «Флюгер для семейного праздника», свидетельствующие об успехах автора в его интересно мыслящей и в то же время реалистически конкретной прозе. Кстати сказать, «размышляющей» прозы в литовской литературе с каждым годом становится все больше, равно как и конструктивных элементов в произведениях различной архитектоники.

Шествуя без излишней поспешности своим собственным путем, Мартинкус осознает всю сложность ситуации. Возможно, он извлек урок из критики, раздававшейся в адрес «Камней». Ныне его герои все чаще оказываются в подлинные — уже не сконструированные — водовороты жизни. При этом объекты для изображения автор выбирает далеко не случайно. Сторонник рационального «обобщающего» стиля, он не боится повернуться лицом к обыденному жизненному явлению, взвесить на ладони бытовую деталь, посмаковать образное народное выражение. Такое сочетание, казалось бы, взаимоисключающих начал — нелегкое дело для прозаика. Приходится бороться за право интерпретировать и тут же непосредственно изображать, ни в одной ситуации не забывая о человеке. О нем в первую очередь писатель и заботится, а не о стиле как таковом (хотя сложная повествовательно-образительная вязь и не рождается экспромтом).

Надо сказать, что противоборство, следы которого можно обнаружить и в названных повестях, гораздо заметнее в первой вещи.

Но при этом я вовсе не считаю, что «Чужой огонь ног не греет» — какая-либо экспериментальная повесть, испытательный полигон для новаций следующей работы. Это произведение вполне самостоятельное и заслуживает серьезного разговора.

Главный герой его — Йокубас Гуйга из деревни Гужучай, решивший посетить родные места после тридцати лет, проведенных в эмиграции. Память других героев, постепенно включаемая в действие, соскребает с заматеревшего «американа» патину времени, и перед нами предстает герой как бы в своем изначальном естестве. Мы видим человека, вырванного ураганом войны из родной почвы и занесенного неведь куда. Чувствуем его подлинную боль. Утраты. Отчаяние. И неумолимо надвигающийся финал, когда уже поздно будет спрашивать, как все это могло случиться.

Такой современный писатель, как Мартинкус, и не думает пугать читателей жупелом неотвратимости судьбы. Война поломала миллионы судеб независимо от воли этих миллионов, однако каждая отдельная судьба вписывалась в общую катастрофу индивидуально. Подчас и в самом индивиде заложено зерно катастрофы. Известно утверждение, что за человеком всегда остается право умереть — не так умереть, как того хочет враг, а так, как пожелает сам человек. Перед Гуйгой подобная дилемма вроде бы и не возникала, но оставаться на земле отцов или покинуть ее — такой выбор ему пришлось сделать. Сделать в спешке, в крайне неблагоприятный час.

Исподволь, без нажима — Мартинкус знает, чего хочет, и нам импонирует это его настойчивое продвижение к цели — обнажается ахиллесова пята Йокубаса Гуйги. Едва ли очутился бы он в далекой, чужой Аргентине, если бы в сердце его было место для людей. Запомним это «отягощающее вину» обстоятельство в деле Йокубаса Гуйги.

И еще одну интересную черту повести хочется отметить. Гуйга — не униженный блудный сын, которого поначалу рисует нам воображение. Пытаясь обрести потерянный «рай» и не находя его — да и как найдешь, если не положил ни единого кирпичика в его разрушенные войной стены? — Гуйга изрекает страшное пророчество: «Изловишь ты молнию, а она будет мстить тебе. В сердце! В сердце!» И в другом месте: «Задохнетесь вы! Пропадете! Видел я уже то, что вас ждет... Машины... Птиц берегите, насекомых. Тишину! Пусть спина трещит, делайте все своими руками, храните природу... для себя, для де-

тей!» Этот гуманный мотив, казалось бы неожиданно вылущившийся из приключений Гуйги, подмечает в своей рецензии В. Оскоцкий (журнал «Литературное обозрение», 1977, № 7), и я полностью солидарен с критиком.

Мысль о нашем долге перед природой дает начало другой, не менее значительной теме: как человеку хозяйствовать и как жить на земле, не губя ни зеленого окружения, ни самого драгоценного для всех нас сокровища — человеческой общности. Тема эта остро и сильно звучит во второй повести Мартинкуса — «Флюгер для семейного праздника», — гораздо более цельной и зрелой, хотя и в ней остаются еще на поверхности некоторые конструктивные элементы.

Повесть насыщена весомым историческим и фольклорным материалом. Мы можем проследить за реальной эстафетой времени, уловить существенные изменения в жизни людей родного края. Повесть раскрывает интереснейшие судьбы представителей старинного рода кузнецов Каволюсов. Жаль только, что сегодняшним Каволюсам в повести словно бы «тесновато». Прежде всего это относится к интересно задуманному образу директора крупного совхоза Йонасу Каволюсу — ему не даны не только внутренние монологи, как другим героям, но даже в бытовых эпизодах он не имеет возможности «самооправдаться». А между тем все его обвиняют, поступки его препарируют, усматривая в хозяйственной деятельности героя и в отношениях с родными, да и вообще с земляками лишь гипертрофированный эгоизм и бездушный прагматизм. Близкие считают, что единственное стремление Йонаса Каволюса — совершить, достигнуть, прославиться. Какой ценой? Это его вроде бы и не интересует.

Но неужели нет у него своих резонансов? Мартинкус многое знает о людях и никого не склонен сгоряча осуждать. Его Йонасу Каволюсу, на мой взгляд, просто не хватает сценического пространства, проще говоря — места в повести. С общим отношением к директору согласна и Агне Каволоте, младшая дочь Йонаса и главная героиня повести. Правда, сама она отца почти не осуждает, даже ее протест против произвола отца, стремящегося насильно затолкать ее учиться в Ветеринарную академию, — какой-то бессловесный. Но ведь именно вокруг Агне переплетается несколько временных спиралей, и именно Агне «оживляет» всех включенных в повесть персонажей и их «двойников»! Поэтому и Йонаса Каволюса, привыкшего решительно направлять судьбы своих детей и других жи-

телей Тауруписа, мы воспринимаем через ее прямые и косвенные ассоциации.

Когда я писал это, мне вдруг пришло в голову — если бы автор отвел Йонасу Каволюсу больше места, позволил ему отразиться в монологах, а то и просто в глазах других персонажей, самому бороться за свои убеждения (повторяю: ведь имеет же определенные оправдания так много работающий, строящий, творящий человек), то герои повести поменялись бы местами, а повесть переросла бы в роман.

Постойте, а что было бы, если бы, не приглушая роли других персонажей, в центр повести встала бы жена Йонаса Каволюса и мать Агне, «беспокойная душа этого дома» Рита Фрелих? Не могла бы она, «человек со стороны», беженка из потерпевшей военной крах Германии, внести ясность в запутанные взаимоотношения членов многочисленного рода Каволюсов и в прочерченное пунктиром движение Тауруписа к благосостоянию, потребовавшее немало усилий от энергичного, не знающего сомнений директора? А разве не годился бы в главные герои брат Агне—Спин, не менее упорный, чем отец, однако в отличие от последнего строящий пока еще только воздушные замки?

Да, и в первом, и во втором, и в третьем случае «Флюгер для семейного праздника» перерос бы в роман, ибо жизнь, правда и заблуждения каждого из названных здесь героев потребовали бы романного пространства. Конфликтный узел повести крепко затянут, тот же самый каркас, безусловно, смог бы выдержать дополнительную нагрузку. А проблема уже и теперь — романная... Нередко приходится читать повести, которые по сути своей являются лишь развернутыми рассказами. Здесь же в повесть заложен сильный эпический заряд. И это ее несомненное достоинство.

Мартинкус ограничился рамками повести, решив, по-видимому, не вычерпывать колодец до дна. Что ж, это его право. Поэтому прошу автора извинить меня за неуместные советы и возвращаюсь к повести, где (при нынешней дислокации) всецело господствует главная героиня Агне Каволюте, одна из самых симпатичных девушек в современной литовской прозе. Читателя не поразит ее простенькая биография: окончила среднюю школу, провалилась на вступительных экзаменах в московский ГИТИС и вот — нажимает кнопки на свиноферме руководимого отцом совхоза. Да, правда, где-то еще мелькнет любовь — молодой композитор, разбудивший ее фантазию и исчезнувший (потом он появится). Немногим сложнее и сюжет ее жизни, ее поступков: по-

лучает письмо Спина, адресованное какой-то Мари, решает вернуть брату по ошибке вскрытый конверт, он живет в Каунасе, она едет туда и как нарочно у дверей дома, где брат снимает комнату, сталкивается с отцом и вторым своим братом Лиувиллем, которые приехали, чтобы поздравить Спина с днем рождения; едва гости сели за стол, как возникает спор, в котором Агне не участвует — молчит, как молчала и до сих пор, — за всех «униженных» и «обиженных» яростно сражается с отцом Спин.

И все же не Спин, бросающий в лицо Йонасу Каволюсу обидные слова, а Агне наполняет повесть жизненной силой, необходимой для того, чтобы придать действие над землей. Ей, любимице автора, доверен редкий дар — «болеть» прошлым, не отрекаясь от настоящего, раздвигая прозрачные стены настоящего за счет прошлого. Не случайно в портрете Агне подчеркиваются унаследованные из того же самого прошлого, но только уже фольклоризированного, глаза ее прапрабабки Агнессы. Не случайно и то, что именно ей, Агне, странная тетя Марике, сестра отца, «навечно оцепеневшая» в своей любви к бесшабашному, давно погибшему цыгану Ярмешу, дарит «чудесное» зеркальце, принадлежавшее некогда той же Агнессе. Мы уже подготовлены и не удивляемся, что в его тусклом стекле можно реально увидеть мир мечты. И это вовсе не сентиментальный ход — рационалисту Мартинкусу подобное не сделало бы чести! — а восстановление живительной связи между тонко чувствующей, мыслящей девушкой и этическим наследием предков. Без творческой фантазии художника такая реконструкция едва ли возможна. Агне не лепит, не рисует, не пишет, она творит себя, и потому она — художник.

Печать определенной таинственности лежит на образе Агне. Она еще не решила и десятой доли загадок и проблем, тревожащих ее девичьи мечты, хотя уже сделала первый самостоятельный шаг к открытию себя — взяла назад написанное отцом заявление о приеме в Ветеринарную академию и связала свою судьбу с композитором Каволюнасом.

«Если быть правдивым до конца, то история Агне, вероятно, только теперь и начинается. То, чего не успели рассказать, всегда самое важное и интересное» — так заключает автор свою повесть, словно открывая перспективу себе и читателям. Это не только поэтическое предчувствие, но и любовь к жизни, которая не может быть безоблачно легкой, причесанной, без боли и травм. Это разумная

вера в творческие силы человека, пусть они реализуются и не в прямом художественном творчестве, а, скажем, в создании тех же самых причудливых кованных флюгеров или в чем-то другом.

Но вернемся еще на мгновение в повесть.

Разумны ли усилия Йонаса Каволюса, делавшего все возможное, чтобы превратить Таурупис в процветающее хозяйство? Так ли уж необоснованно его желание видеть своих детей работающими на решающих участках агропромышленности завтрашнего дня? Но тогда почему бунтовала и погибла его старшая дочь Стасе? Почему психолог Спин гнушается лаврами своего брата — «вундеркинда» Лиувилля, «самого молодого в республике» доктора физико-математических наук? Почему погрузилась в стерильный мир афоризмов мать семьи Рита Фреллих, а младший отпрыск Каволюсов — Агне — мечется, как флюгер на ветру?

На эти вопросы, характерные для современной жизни, можно отвечать в публицистическом, социологическом или каком-либо еще плане, однако, по моему глубокому убеждению, единственно плодотворным будет всестороннее человеческое проникновение в глубинную причинность, поскольку все нерасторжимо переплелось и многое уже невозможно изменить — «повторение игры» правилами жизни не предусмотрено! — остается лишь понять, лишь посочувствовать, лишь очиститься самому.

Такое или подобное решение и предлагает нам быстро зреющий галант Витаутаса Мартинкуса, уже вторично вырывающийся на романский простор, только на сей раз не с ин-

теллектуальной проблематикой «Камней», а с повестями, дышащими живой жизнью, насыщенными человеческими страстями.

Ни один жанр сам по себе не имеет никаких преимуществ. Важно не то, будет ли Мартинкус писать романы, а то, что он все глубже и тоньше, сохраняя философскую трезвость, интерпретирует человека. И не какого-то обезличенного, лишеного прошлого, а человека в бурном водовороте современной жизни, в потоке меняющегося времени.

И еще одна особенность повестей Мартинкуса (главным образом — «Флюгера для семейного праздника»). События, колорит, а также «видения» и «догадки» сливаются тут в единое повествовательно-изобразительное русло. Кажется, без специальных усилий создается настроение, помогающее читателю поверить даже в весьма рискованные перипетии интриги (например, в странные обстоятельства, сопутствовавшие появлению в Тауруписе прапрабабки Агнессы, или в безумие тети Марике). Это обоюдное, захватывающее и автора и читателя настроение некой таинственности и дружеского доверия. Все время ощущаешь едва уловимую авторскую улыбку, словно приглашающую: следуй за мной, читатель, я не ввергну тебя ни в дешевую мистику, ни в патетическую символику...

Остается сказать, что переводчики В. Залесская и Г. Герасимов прекрасно справились со своей задачей, бережно донесли до русского читателя произведения этого талантливой, стилистически весьма сложного молодого литовского автора.

М. СЛУЦКИС.

Вильнюс.



В КРАЮ ЛЕСОВ И ОЗЕР

Роберт Винонен. Небозеро. М. «Советский писатель». 1977. 127 стр.

«Небозеро» — вторая книга Роберта Винонена. Вторая книга бывает в жизни стиховорца самой грудной. Ведь первая складывается как бы сама собой, в нее входят стихи, написавшиеся, как правило, в результате непосредственных впечатлений от окружающей действительности, она бывает обычно свежей. Вторая книга не может в себе содержать только первичные ощущения. Создать первую книгу — это как поднять самолет в воздух. Но надо лечь на курс и совершать уже осознанно полет. Тут нужны штурманские навыки, уме-

ние ориентироваться в мире с помощью приборов, выбирать направление.

Во второй книге автору необходимо, не изменяя себе, суметь стать другим, то есть сохранив уже найденное лицо, не повторяться, а идти дальше. Сколько поэтов так до самой смерти остаются авторами одной первой книги. И все последующие сборники оказываются, в сущности, только варьированием, и повторением, и добавлением к уже ранее сказанному.

Вторая книга — суровая проверка: спосо-

бен стихотворец на дальнейшее развитие или его первая книга только случайный всплеск?

Роберт Винонен выдержал этот экзамен. Книга «Небозеро» — о Севере, но здесь не просто виды или картины Севера, здесь — своеобразная философия Севера. То есть Р. Винонен дает нам не просто факт, но философию факта, суть, в нем заключенную, сохраняя, донося до нас все краски, звуки, запахи Севера, того Севера, который он так любит.

Пейзаж Карелии и психологический мир автора сливаются в некое нерасчленимое единство. Ощутимы кровные связи между природой края и характером людей, его населяющих. И сам стих словно вбирает в себя их скромную прелесть. Стих Р. Винонена суховатый, не изобилующий тропами, без украшений, он — как четкий карельский пейзаж («а наша грубая земля на самоцветы скуповата»), графически упрощенный, сдержанный.

В этой четкости, в этой экономности художественных средств — сильная сторона книги «Небозеро». Вот те простые «материалы», которые пошли на «постройку» книги. Это — «Сосна ветвит зеленый дым над серыми камнями и с отражением своим переплелась корнями», «Мы ходим солнцем провожать и дотемна сидим на камне», «И я втащу осклизлый плот к подножью валуна», «Пойдешь по ягоды-грибы и встретишь ты «бараны лбы». Их приволок сюда ледник», «...у диких скал затопленный баркас». О сагах, преданиях, которые хранятся народом, в книге сказано, что они «на памяти камня выбиты».

Карелия деревянная и каменная. В стихотворении «Деревянная родина» помянуто «деревянное диво — Кижы»: «И во веки не счесть куполов, что кудрявую стружечку сбросили». В стихотворении «Столярничая» — упоение самой работой по дереву: «Разбужен лепетом весны, я встану спозаранок. День выходной, а мне нужны стамеска и рубанок». Сочно описан сам труд: «В руках поет рубанок-друг, звенит пила-подружка, и далеко летит вокруг сверкающая стружка»; в другом месте: «Ленивых бревен наловлю багром из тихих вод, те бревна скобами скреплю — и выйдет славный плот».

Герой книги — труженик, он вторгается в природу, сообразуясь с ее законами.

Стихия дерева и камня, так остро чувствуемая поэтом, близка строю души северного человека.

Но северный душевный пейзаж был бы не полон, если бы не было неба. Его много в

книге: «Сквозь лесную прозелень видно, как в Онего, во студеном озере, выкупалось небо. И ответной бездною обмирает, зная красоту небесную, красота земная».

Мир души северного труженика и мир строгой северной природы соединены в стихах Р. Винонена, хоть это соединение и поражает его самого: «Осталось тайною навек, как дерево и птица и между ними человек смогли договориться».

Особенно остро интересует автора переключка, слияние красоты человеческой и красоты в мире природы. О тайне этого единства книга и написана. Поэт в чайке кричащей угадывает душу того, кто погиб в волнах, в березе воплощено ожидание, «ибо ждущая душа превращается в березу». «Чего ж мы ищем в нашем долгом сближении с камнем и травой?» — вопрошает автор.

Сдержанность не позволяет Р. Винонену прямо говорить о себе. Для исповеди он нашел прием: он объективирует себя в пейзаже — в дереве, камне, небе. И приметы пейзажа как бы вырастают до символов. И с другим человеком, собеседником, он говорит тем же языком пейзажной символики:

Стать не дымом, а просто небом,
отвергающим этот дым,—
тихо-снежным, дождливо-нежным,
небывалым, юным, седым,
полуоблачным, сине-русым,
обнимающим полземли.
чтобы все тебе сразу в руки
и синицы, и журавли...

Поэт просит «самую малость», он хочет «взойти из планеты березой простой». Он понимает, что детали пейзажа — своего рода проявители психологии, потому так категорически заявляет:

И камень каждой линией вопит о человеке.

Всматриваясь в природу, поэт узнает в ней себя:

Преодолел я версты лени,
ответил жаждою на зной
и опустил на колени
перед природою родной.

У дорогого горизонта
склонился к ней под небеса
и разглядел у ней на донце
свои же синие глаза.

И не случайно поэтическое слово сводит в один круг и человека, труженика Севера, и природу; небо и озеро в книге, которая называется «Небозеро».

Евг. ВИНОКУРОВ.



«ОН — СТРОГИЙ К ПРАВДЕ!»

Виктор Козько. Судный день. Повесть. Перевод с белорусского автора.
«Дружба народов», 1977, № 12.

Кадры военной кинохроники. Предвесенний унылый туман. Мокрый снег, растоптанный множеством ног. Голые чахлые деревца и кустарник по обе стороны то ли очень широкого большака, то ли просто свободного белого пространства между лесом и перелеском. И люди, люди, люди... Странно одетые, в лохмотьях, еле бредущие женщины, старики, дети. Словно сюда специально согнали нищих старой Беларуси.

Больше всего детей... Или так лишь кажется?... Голос диктора молодой, взволнованный: «Озаричский лагерь смерти в Гомельской области. Освобожденный в марте сорок четвертого года. В живых осталось около тридцати тысяч узников, в том числе шестнадцать тысяч детей...»

Вот они.

Маленькие идут рядом с мамами, бабушками, сестрами и братьями несколько постарше, все одинаково беспомощные, болезненно скорбные даже в только что обретенном счастье свободы.

Вот они.

Больных, раненых, совсем обессиленных ребята из вагонов-теплушек принимают пожилые солдаты и женщины в белых халатах. Несут на носилках, несут на руках...

Вот они наконец.

Отмытые, постриженные головки на чистых, невероятно белых подушках. Торчащие уши, носы, выпирающие ключицы, плечики из одних костей. И прежде всего — глаза. Такие большие у всех, такие старчески усталые и мудрые, глядящие из бездны невероятных страданий, глаза поруганной невинности...

Неподалеку от ставших печально известными Озарич, на тихой железнодорожной станции Калинковичи, в семье помощника машиниста паровоза Афанасия Козько за год до начала Великой Отечественной войны родился мальчик. К ранней весне, принесшей свободу этому уголку восточного Полесья, четырехлетний Витя остался сиротой: от взрыва вражеской бомбы погибла мать, отец из партизанского отряда ушел в ряды Советской Армии, на запад.

Сирота при немощной бабушке, затем, еще раз осиротев, детдомовец, фезеушник... И никто из окружающих его в те годы сверстников и взрослых не мог, конечно, и подумать, что именно этому неприметному, разве что

чуть беспокойному мальцу суждено в будущем рассказывать о том, что такое фашизм...

В 1972 году на страницах «Нового мира» появилась первая повесть Виктора Козько «Високосный год», сразу же замеченная читателем. Затем в журнале «Неман», выходящем в Минске на русском языке, была напечатана вторая повесть, «Темный лес — тайга густая».

Рекомендуя молодого прозаика в члены Союза писателей, Аlesь Адамович спросил в начале своего выступления: «Две повести — мало это или много? — И сам ответил:— В данном случае вполне достаточно, чтобы назвать их автора талантливым, самобытным писателем».

За четыре последующих года Козько опубликовал еще три повести («Здравствуй и прощай», «Повесть о беспризорной любви», «Судный день») и несколько рассказов.

Готовясь писать эту рецензию, одну из его повестей я прочел впервые, другие перелистал, освежив в памяти прочитанное раньше, а последнюю («Судный день») прочел дважды — в журналах «Полымя» и «Дружба народов», на белорусском языке и в авторском переводе на русский. И я подумал, как когда-то Аlesь Адамович: «Пять повестей — много ли это?» И с чувством удовлетворения ответил себе: да, много! Не по количеству страниц, а потому, что в них — целый мир, богатый, многокрасочный, волнующий мир человека, чувствующего, любящего жизнь и умеющего об этом рассказать.

Над страницами книг В. Козько, особенно последней повести, мне припомнились слезы старого уже Льва Толстого, говорившего молодому собрату Максиму Горькому: «А писать все надо, обо всем, иначе светленький мальчик обидится, упрекнет, — неправда, не вся правда, скажет. Он — строгий к правде!»

Нелегко было на душе у санитаров и медсестер, спасавших в освобожденных селах и городах детей, чудом уцелевших от уничтожения. Эта острая, щемящая боль все еще хранится в памяти ветеранов войны. А ведь мальчики и девочки, которых они тогда спасли, запомнили то, что видели, на всю жизнь. А иные из них не только запомнили, но и сумели рассказать ту чудовищно, невообразимо страшную правду всем, кто не видел, не пережил такого сам.

В трех из пяти своих повестей Виктор Козько пишет о фашизме и детях. И в повестях этих, особенно в «Високосном годе» и «Судном дне», явственно проступает чистота и сила именно детского взгляда на изуверскую сущность фашизма, чистота и сила, которую писатель пронес через невзгоды и трудности своих военных и послевоенных лет.

Если в повести «Високосный год» мальчик Дима Пригода видит страдания и смерть разных людей, и детей и взрослых, то Колька Летечка, герой «Судного дня», больше всего ощущает трагедию детей: их не только расстреливали и заживо сжигали вместе со взрослыми, их, прежде чем уничтожить, обескровливали.

Говорят, что издревле тираны омолаживались кровью своих рабов. Строители «тысячелетнего рейха» в отличие от легендарных тиранов делали это не примитивно, а «на научной основе», вооруженные современной им медицинской техникой; полученную кровь они вливали своим раненым солдатам.

Осенью 1942 года фашисты поступили так с воспитанниками домачевского детского дома в Брестской области — сначала вампиры в белых халатах подвергли чудовищной процедуре наиболее здоровых мальчиков и девочек, затем детдом привычно уничтожили. Случай этот не единичен на территории временно оккупированной Беларуси...

Колька Летечка умер не сразу после того, как его обескровили, — он дожил до семнадцати лет. Умудренный страданием, значительно старше своих здоровых сверстников по развитию, он бесконечно медленно и долго угасал, мучился, со всей трагической глубиной сознавая свою обреченность. Правдиво, волнуяще, кровью сердца написаны Виктором Козько переживания его героя — горькая, безответная влюбленность, недетский страх смерти, любовь к природе, к добрым людям, жгучая, неизбыточная ненависть к врагам...

С особенной силой, до глубины души потрясаяще написана предпоследняя глава повести, где Летечка на суде над бывшими помощниками гитлеровских палачей, словно озаренный молнией, пронзительно ярко вспоминает, как его вырвали из материнских рук, как в его беззащитное тело впивался шприц фашистского «доктора»...

Неторопливый, обстоятельный, зоркий, проникающий в суть изображаемого, Виктор Козько заражает своими чувствами читателя,

заставляя его волноваться, думать, любить, ненавидеть, смеяться и грустить. Читая Козько, остро чувствуешь: да, это все настоящее, все вполне серьезно. Эта подлинность, серьезность есть и в его таежных, геологических повестях «Здравствуй и прощай» и «Темный лес — тайга густая», тематически связанных с сибирским периодом биографии писателя, в те годы шахтера, геолога и журналиста.

Пишет Виктор Козько не просто о пережитом, а из лично пережитого выходит в большую жизнь, познавая ее творчески, как это нужно для дела большого и прочного. Он пишет не обо всем, а лишь о том, что знает, что любит по-настоящему. Для него нет людей, которые не могут стать полнокровными образами. И люди эти, что называется, простые, обыкновенные наши современники. Здесь и начальник милиции, и ночной сторож, и больничная нянюшка, и воспитательница детприемника, и детдомовские подростки, вступающие во взрослую жизнь со всеми ее радостями и тревогами, — все люди живые, подлинные, со своим языком; писатель знает их со всеми подробностями и тайнами, все они действуют естественно, как свойственно им самим, без авторского произвола, направляющего их поступки. И как знак высокого общественного призвания молодого писателя — в минувшем году его книга «Здравствуй и прощай», выпущенная издательством «Молодая гвардия», была отмечена премией Ленинского комсомола.

Хорош в основном язык писателя, и родной белорусский и русский, — сочный и образный, с легкой примесью местных речений, динамичный в диалогах, взволнованный в лирических отступлениях, почти всегда простой и точный.

К недостаткам прозы Виктора Козько, особенно заметным при повторном чтении, как это было у меня с его последней повестью, я бы отнес некоторую многословность, а то и суетливость; в спокойном глубинном течении повествования иногда замечаются торопливые поиски нужного штриха, случаются и сюжетные неувязки, погрешности языка... Но это мелочи по сравнению с тем подлинным богатством чувств, мыслей, человеческого тепла и света, которые несет читателю творчество еще одного белорусского писателя.

Янка БРЫЛЬ.

Минск.



Политика и наука

«МЫ БУДЕМ, КАК МЛЕЧНЫЙ ПУТЬ...»

Дневники и письма комсомольцев. Составитель М. Катаева.
(«Тебе в дорогу, романтик») М. «Молодая гвардия». 1978. 366 стр.

Интерес к документалистике, к мемуарной литературе у нас всегда был велик. Есть разные объяснения этому явлению. Но несомненно одно: искреннее, идущее из сердца слово непосредственного участника тех или иных событий в жизни страны, народа, записки очевидца, воспоминания бывшего человека, дневники, письма по силе своего эмоционального воздействия на умы и души сегодняшних читателей мало чем уступают известным произведениям художественной литературы, написанным именитыми авторами. Жизнь, как правило, оказывается изобретательнее любого художника на сюжетные ходы.

Можно представить себе, с какими трудностями столкнулся бы литератор, поставивший перед собой задачу беллетризовать любой из дневников комсомольцев, опубликованных в этой книге.

...Вера Троицкая, педагог по образованию, в Дивногорске становится каменщицей, затем бетонщицей. Поступает на курсы сварщиков. Записывается в дружину. Ведет политкружок. Редактирует еженедельный боевой листок. И при этом преподает в вечерней школе литературу и русский язык. Да разве кто-нибудь поверил бы героине романа или повести, у которой столько всего уместилось в один год, нагрузки которой хватило бы на двоих, а то и на троих, которая, едва держась на ногах от усталости, записывает в дневнике такие чистейшей воды риторические слова: «Мне выпало счастье почти всю смену варить арматурные стяжки...»

Нет, не поверили бы писателю, хотя все здесь — правда. И не риторика это вовсе, а слова, рвущиеся из сердца. За приведенной фразой следует другая, дающая, быть может, самое полное представление об этой замечательной девушке, о том, как она прожила этот трудный год и во имя чего: «Страшно горжусь: и кладка кирпичная, хоть немного, есть моя здесь, и бетон уложенный, и электросварка, и скала выкорчеванная. Хоть капельки, но в общем море людской силы есть и мои сердечные, душевные, физические киловатты».

Так в чем же дело? Почему так разительно отличается наше восприятие героя художественного произведения и героя жизненного? Почему с тем, что в одном случае мы воспри-

нимаем как риторику, мы в другом месте соглашаемся, верим, принимаем это как естественный душевный порыв? Да потому, наверное, что здесь перед нами — документ. Листок бумаги с надорванными краями. Блокнот с загибающейся от долгого ношения в кармане обложкой. Тетрадь с пятнами стеарина. Письмо, которое не успели отправить. Открытка, которую нашли много лет спустя... Потому, что дневники и письма писались в палатке и лодке, в солдатском окопе и вагоне поезда... И еще потому, что большинство из написанного вовсе не предназначалось для печати. Юноши и девушки обращались к родным и близким, к своим любимым и к самим себе. И долгое время блокноты, тетради, листки где-то бережно хранились как семейные реликвии, как память о дорогом человеке.

Авторы книги «Дневники и письма комсомольцев», вышедшей в канун 60-летия ВЛКСМ, представляют разные поколения комсомольцев. Разные эпохи, разные биографии, разные судьбы. В этой книге как бы встает живая история Страны Советов, конкретно, зримо воплощенная в духовном мире юношей и девушек — в стихах, песнях, письмах, дневниках... Я не выбирал специально — глаза словно сами выхватывали на ее страницах выпуклые детали, через призму которых высвечивались, увеличенные воображением, картины героических десятилетий. Коммуны 20-х годов, максимализм юности, отвергающей комфорт и уют, слово «надо», взведенное в квадрат, патефон в задымленном чуме нганасан, компас на головном тракторе колонны добровольцев-целинников...

Разные приметы, но как о многом они говорят нам, сегодняшним! И невольно напрашиваются сравнения, возникают ассоциации, видишь если и не повторяемость, то схожесть судеб юношей и девушек, проходивших в разное время одним и тем же маршрутом — друг за другом, казалось бы след в след, и все же иначе. Словно раскручивалась спираль, и каждое новое поколение оказывалось уже на новом витке, где новые трудности, новые испытания, новые победы. И все-таки, все-таки...

«Теперь я знаю, к чему мне надо стремиться, я знаю, что мне надо делать, и когда мне

бывает тяжело из-за личных или других причин, то мне стоит только вспомнить про то мое большое дело, и я успокаиваюсь», — писала в далеком 1917 году Люсия Лисинова.

«Нужно прожить хорошо для себя и с пользой для общества, нужно любовь к себе иметь меньшую, чем любовь к тем, для которых нужно трудиться. Это истина, и я стремлюсь к ней и буду стремиться, добьюсь и выполню ее. Я должен быть таким, как все, и быть вместе со всеми», — записал в своем дневнике спустя двадцать лет школьник Михаил Молочко.

«...Я отправляюсь на БАМ, потому что это сейчас главная стройка страны. Потому что я знаю, что я там нужен. Я ведь действительно всегда хотел быть там, где во мне нуждаются, где от меня что-то зависит», — спустя сорок лет определил свое место в жизни Ивар Лейманис.

И все-таки — допишем прерванную выше фразу — как бы ни изменилось время, ни усложнились задачи, ни расширились масштабы дел, каждое новое поколение, входя в жизнь, с неизбежностью должно самостоятельно, с глазу на глаз выяснить свои отношения с временем. И в том, что в нашем социалистическом обществе эти раздумья о своем месте в жизни каждый раз выводят личность на активную гражданскую позицию, пробуждая в ней жажду преодоления, борьбы, стремление жить щедро, отдавая все свои силы общему делу, — в этом та самая преемственность революционного мировоззрения, высокого коммунистического идеала, которой мы по праву гордимся.

Конечно, исключительные обстоятельства зачастую диктуют и исключительное поведение. И в данной книге собраны письма и дневники людей, оказавшихся перед неизбежностью держать суровый экзамен: своей жизнью некоторые из них заплатили за право быть в числе первых.

Однако главное здесь вовсе не в схожести судеб, а в схожести характеров, которые определяют нравственный выбор. Читая дневники, письма, уже зная, что эти вот торопливые строчки — последние, понимаешь, как много весят такие слова, за которыми естественно, неотвратимо должен был следовать поступок, дело, подвиг. «...Время зовет, так нужно. Я знаю, какую опасную профессию выбрал, и знаю, что может случиться... Но так нужно!» (Георгий Малышкин).

Нужно строить города, поднимать заводы, возводить плотины, строить дороги, осваивать новые земли, растить хлеб... — время зовет!

О многом может рассказать эта книга нашей молодежи:

о времени, которое мы не выбираем, но которое выбирает нас;

о людях, которым эпоха оказалась по плечу; о жизни, которая гребовала жить с предельной самоотдачей;

о подвиге, дорога к которому начиналась с раздумий о времени, с людях, о жизни, о месте в ней.

Они многое продумали и спрашивали с себя всерьез.

Ивар Лейманис: «Я еще не могу сказать, сумею ли я с полным основанием причислить себя к поколению строителей нового мира. Для этого ведь недостаточно совершить поступок. Для этого нужна жизнь...» Он погиб, спасая своих товарищей.

Они, авторы дневников и писем, чувствовали себя творцами истории, находя в этой причастности к судьбам и делам страны смысл и счастье своей жизни. Они ощущали свое величие, масштабность того, что время им доверило вершить.

Катя Мустафаева: «...О каждом из нас в отдельности невозможно будет вспомнить нашим потомкам, но мы будем, как Млечный Путь: отдельно нас всех не разглядишь, а вместе мы оставляем большую и светлую полосу в этом XX веке во имя нашей Родины».

Возвращаясь к началу книги, мы прочитаем те же мысли у представителей поколений 20—30-х годов, тех поколений, которые подходили к решению любой практической задачи с точки зрения ее важности для мировой революции. Отрывало ли это их от реальной почвы? Нет, напротив, давало возможность взглянуть на свое небольшое, конкретное, практическое дело через призму общенародной, общепартийной задачи, высокого революционного идеала. Ведь именно такие благородные качества, как самоотверженность, горячая вера в правоту своего дела, мужество, нравственная чистота, полное слияние личного и общественного и сделали Павку Корчагина тем героем, который обогатил не только нашу литературу, но и нашу жизнь.

Дневники и письма комсомольцев убедительно подтверждают, что дело не в романтике приключений и не в поисках романтики. На первый план выдвигается желание обладать ясной, благородной, конкретной целью действий, которое должно помочь определить смысл жизни. О романтике в книге говорится немало. О ней размышляют, ищут наиболее точные определения, спорят... Но посмотрите, как точно расставляет акценты

в этом сложном понятии, бывает, стершемся от частого употребления, сама молодежь, те, кто, по выражению Николая Полянского, бойца студенческого строительного отряда, плавает, ныряет, плещется в романтике: «Когда мы, веселые и бородатые, вернемся домой, тогда мы опять станем романтиками в общеизвестном смысле слова. А сейчас для нас есть работа, отдых, есть долг. Со временем начинаешь осознать и одно, и другое, и третье, осознать и ценить их прекрасную, закономерную связь».

Смысл жизни — в правильно поставленной перед собой цели, в умении достичь ее, невзирая ни на какие трудности.

И вот что еще необходимо сказать. Со страниц книги как бы встает зримый коллективный образ всех поколений комсомольцев. Вчитываясь в эти исповеди — а иначе, пожалуй, и не назовешь дневники, содержание которых столь доверительно и сокровенно, — знакомясь с письмами, адресованными близким по духу людям, особенно ясно осоз-

наешь, каких замечательных людей родила и выпестовала наша советская земля.

И в том, что большинство авторов — люди, в общем-то, обычных биографий, самых распространенных профессий, не отмеченные ни наградами, ни всенародным признанием, тоже есть своя примечательность. Их судьбы, их простые жизни, до краев заполненные работой, будничными неотложными делами, заботами, думами о сегодняшнем и завтрашнем дне, не становятся менее значительными оттого, что они просты и обычны.

Комсомол, как подчеркнул на XVIII съезде ВЛКСМ Л. И. Брежнев, — частица биографии каждого советского человека.

Бережно, с любовью составленная книга «Дневники и письма комсомольцев» — еще одно доказательство глубокой справедливости этой мысли. О времени и о себе на ее страницах рассказывают те, кому посчастливилось быть первопроходцами великой дороги борьбы и созидания.

Ю. ПОРОЖКОВ.



МЕМОАРЫ ПОЛКОВОДЦА

И. Х. Баграмян. Так начиналась война. М. Воениздат. 1977. 510 стр.

И. Х. Баграмян. Так шли мы к победе. М. Воениздат. 1977. 608 стр.

Библиотека советских военных мемуаров, насчитывающая уже не одну сотню названий, продолжает пополняться новыми книгами. Два тома воспоминаний Маршала Советского Союза Ивана Христофоровича Баграмяна несомненно принадлежат к числу наиболее значительных изданий такого рода, вышедших в последнее время. Скажем сразу: есть все основания поставить эти мемуары в один ряд с «Воспоминаниями и размышлениями» Г. К. Жукова, «Делом всей жизни» А. М. Василевского, с некоторыми другими воспоминаниями советских полководцев.

Великую Отечественную полковник И. Х. Баграмян встретил в должности начальника оперативного отдела штаба Киевского Особого военного округа. С начала гитлеровского нашествия округ был развернут в Юго-Западный фронт. Начальник крупных штабов, командующий армией, командующий фронтом — таков путь И. Х. Баграмяна через все годы войны — от сражений в приграничной полосе до разгрома и безоговорочной капитуляции фашистской Германии.

В книге «Так начиналась война» автор вспоминает о первых ста семидесяти восьми днях

напряженных и кровопролитных боев на советско-германском фронте. «...глубоко заблуждаются те, кто видит в событиях начального периода только неудачи нашей армии, обусловленные внезапностью нападения агрессора, — выражает автор свою главную мысль, пронизывающую всю книгу. — Нельзя забывать, что именно эти грозные дни убедительно показали всему миру, что Красная Армия под испытанным руководством Коммунистической партии способна выдержать любые, самые тяжелые испытания. Бесстрашие и мужество наших воинов, мудрость партии и правительства развеяли в прах все планы врага».

Приступая к работе над первой книгой мемуаров, И. Х. Баграмян поставил перед собой задачу: на примере событий лета сорок первого года на Украине, свидетелем и непосредственным участником которых он был, показать читателю, как из-за самоотверженности и мужества наших воинов тщательно разработанный гитлеровским командованием план «молниеносной войны» против Советского Союза начал трещать и рушиться буквально с того самого часа, когда фашистские захватчики переступили нашу государственную границу.

И надо отдать должное автору: он сумел показать это очень ярко, очень весомо и зримо.

Особенно широко в первой книге изображена оборона Киева. Главы, посвященные семидесятидневной обороне столицы Советской Украины, пополняют наши знания многими новыми свидетельствами о стойкости и массовом героизме воинов Красной Армии и бойцов народного ополчения. «Защитников Киева, — подчеркивает И. Х. Баграмян, — не в чем было упрекнуть. Они выполнили свой долг. Киев оставался непокоренным. Враг так и не смог взять его в открытом бою. Только в силу неблагоприятно сложившейся для войск Юго-Западного фронта обстановки по приказу Ставки наши воины покидали дорогой им город и твердо знали, что обязательно вернуться».

Много существенных, неизвестных ранее широкому кругу читателей подробностей содержит и описание нашего контрнаступления под Ростовом-на-Дону осенью сорок первого года. Это была одна из самых первых крупных наступательных операций, возникновение замысла которой, как замечает автор, не совсем четко представляют себе даже военные историки. Завершается первая книга описанием наступления войск правого крыла Юго-Западного фронта под Ельцом зимой сорок первого года — наступления, которое было составной частью грандиозной Московской битвы, развеявшей миф о непобедимости гитлеровской армии.

Книга «Так шли мы к победе» является непосредственным продолжением первого тома мемуаров. В ней автор освещает последующие события войны, в которых ему лично довелось участвовать, — сражения под Баренковым и Харьковом, на Курской дуге, в Белоруссии, Прибалтике, в Восточной Пруссии.

Мемуары И. Х. Баграмяна интересны прежде всего тем, что дают читателю впечатляющую картину роста боевого мастерства нашей армии, картину развития и совершенствования в ходе войны полководческого дарования советских военачальников, раскрывают само рождение замыслов ряда крупных стратегических операций, вошедших в историю войн как яркие образцы военного искусства.

Каждая такая операция, в которой участвовали многие сотни тысяч людей и огромное количество разнообразной боевой техники, требовала тщательного планирования и не менее тщательной подготовки. О масштабах этой подготовки можно судить по такому примеру, относящемуся к лету сорок четвертого года, когда наши войска освобождали от врага Белоруссию. Для обеспечения наступления войск 1-го Прибалтийского фронта, которым коман-

довал И. Х. Баграмян, нужно было накопить 1682 вагона боеприпасов, 2930 цистерн горючего, 2765 вагонов продовольствия, 815 вагонов других материальных средств. И всю эту махину грузов следовало доставить скрытно от противника в короткий срок по единственной железной дороге — той самой, по которой одновременно прибывало и людское пополнение.

С большой признательностью пишет автор о той помощи, которую оказывали наступающим войскам отряды и соединения партизан Белоруссии и республик Прибалтики своими дерзкими боевыми акциями в тылу врага и сбором чрезвычайно важных разведанных о противнике.

Рецензируемые мемуары интересны и тем, что автор не ограничивается фиксированием событий, описанием их хода и результатов, а сопровождает записи своими размышлениями, раздумьями, глубоким анализом происшедшего. Описываемые события всегда согреты личным отношением автора к ним и к их участникам. Он вспоминает и о своих колебаниях, сомнениях, предшествовавших принятию того или иного решения, о своих тревогах, возникавших подчас в самый разгар операции. И откровенно, самокритично признается в своих собственных просчетах и ошибках.

«Я стремился, — подчеркивает И. Х. Баграмян, — не приукрашивать события. Правда, как бы горька она ни была, всегда дороже даже самой приятной лжи». Этому методологическому, более того — нравственному принципу автор следует строго и неукоснительно. «Мы перед войной, — пишет он, вспоминая горькие и трагические дни приграничного сражения, — чего греха таить, учились главным образом наступать. А такому важному маневру, как отступление, не придавали должного значения. Сейчас мы расплачивались за это. Командиры и штабы оказались недостаточно подготовленными к организации и осуществлению отступательных маневров. Теперь, на второй неделе войны, нам пришлось, по существу, заново учиться самому трудному искусству — искусству отступления».

И в другом месте: «Думается, мы поступаем совершенно правильно, раскрывая перед широким кругом советских читателей, и особенно перед новым поколением военных кадров, всю картину искусно подготовленных и блестяще осуществленных Красной Армией операций, приведших нашу страну к победе над фашистской Германией. Однако мы не должны ограничиваться только освещением победных сражений и операций. Мы обязаны

с такой же полнотой и объективностью рассказать и о досадных просчетах и ошибках, приводивших наши войска к крупным неудачам...»

Критически анализируя ход Харьковской операции (май 1942 года), И. Х. Баграмян приходит к выводу, что причины ее неудачи заключались не только в просчетах Ставки Верховного Главнокомандования, полагавшей, что в летнюю кампанию сорок второго года Гитлер предпримет новое наступление на Москву, но и в существенных ошибках, допущенных в руководстве войсками командованием Юго-Западного направления.

Работая над мемуарами, автор не полагался лишь на собственную память и личные записи тех лет. Он изучил огромное количество архивных документов, беседовал со многими своими бывшими сослуживцами — от командиров частей до виднейших военачальников, ознакомился с обширной отечественной и зарубежной литературой. Органично вошедшие в текст мемуаров документы Центрального архива Министерства обороны СССР, материалы Института военной истории в сочетании с глубокими авторскими размышлениями придают воспоминаниям полководца особую достоверность.

Одна из примечательных и, я бы сказал, весьма привлекательных для читателя особенностей мемуаров И. Х. Баграмяна — широкий показ людей. И тех, чей полководческий талант рождал замыслы крупнейших операций, кто осуществлял их планирование и подготовку, и тех, кто своим воинским умением, былинной смелостью и отвагой, кровью своей, а часто и ценой жизни обеспечивал реализацию этих замыслов на полях сражений.

Автор рассказывает о Г. К. Жукове, А. М. Василевском, С. М. Буденном, Л. А. Говорове, А. И. Еременко, И. С. Коневе, Р. Я. Малиновском, К. С. Москаленко, К. К. Рокоссовском, В. Д. Соколовском, С. К. Тимошенко, И. Д. Черняховском, Б. М. Шапошникове, сообщает немало таких подробностей, которые позволяют нам, читателям, полнее представить себе индивидуальные черты характера каждого из них, особенности их стратегического и тактического мышления.

И. Х. Баграмян вспоминает и о вызовах в Москву — в Генеральный штаб и Ставку Верховного Главнокомандования. Он подробно воспроизводит свои встречи, а также переговоры по прямому проводу с Верховным Главнокомандующим И. В. Сталиным. Эти страницы мемуаров еще и еще раз свидетельствуют о том, насколько всесторонне и глубоко Ставка

вникала в положение дел на всех участках огромного советско-германского фронта; показывают, как она, руководствуясь ленинскими указаниями о реальном учете всех экономических, морально-политических и военных возможностей в их неразрывном единстве, оперативно и твердо руководила действиями командующих фронтами, отнюдь не сковывая их инициативы; раскрывает, какое значение Ставка придавала накапливанию хорошо обученных и достаточно оснащенных боевой техникой резервов и как она, искусно маневрируя ими, своевременно оказывала помощь тому или иному фронту. обстоятельно рассматривает автор и роль представителей Ставки в войсках в осуществлении крупнейших стратегических операций.

Уважительно, с большой душевной теплотой пишет И. Х. Баграмян о своих боевых соратниках и друзьях, товарищах по оружию. Описанию их подвигов посвящено немало запоминающихся страниц.

«Среди самых отважных, самых стойких,— пишет автор, — бойцы видели коммунистов. И у людей росло стремление завоевать право носить высокое звание члена партии. Вступление в партию каждый расценивал как обязательство быть в бою первым. Лучшие черты коммуниста — глубокое сознание долга перед народом, стремление отдать все свои силы, а если нужно, и жизнь за дело революции, во имя социалистической Родины — становились нормой поведения бойцов и командиров. У геройски павшего сержанта Сельцова нашли среди документов записку: «Иду в бой с мечтою встретить свой смертный час как подобает большевику». За два дня до этого Сельцов подал заявление с просьбой принять его в партию».

Летом сорок первого года, в дни боев на Киевском направлении работники политуправления фронта показали И. Х. Баграмяну партийный билет, принадлежавший одному из погибших командиров. В партбилете был листок со стихотворением:

Я клянусь — не ворвется
Враг в траншею мою.
А погибнуть придется —
Так погибну в бою.
Чтоб глядели с любовью
Через тысячу лет
На окрашенный кровью
Мой партийный билет...

«Не знаю автора стихов,— пишет И. Х. Баграмян.— Но строки эти выражали думы всех защитников Киева».

Большое внимание уделяет автор роли политических работников в войсках, деятельности политорганов, немногими, но выразительными штрихами рисует облик тех политработников, с которыми свела его фронтовая судьба. Он рассказывает о целеустремленной и действенной партийно-политической работе, которая проводилась и в период подготовки каждой боевой операции, и на всех этапах ее осуществления.

Вот только один эпизод из многогранной деятельности политорганов. В ноябре сорок первого года в боях на подступах к Ростову-на-Дону героический подвиг совершили шестнадцать артиллеристов во главе с командиром батареи лейтенантом Сергеем Оганяном и его заместителем по политической части младшим политруком Сергеем Вавиловым. Батарея, занявшая огневую позицию на кургане Бербероба, вступила в неравный бой с десятками фашистских танков. Артиллеристы пали смертью героев, не пропустив врага. Сообщение об этом подвиге фронтовые корреспонденты «Комсомольской правды» Михаил Котов и Владимир Лясковский передали в свою газету.

Через некоторое время журналисты были вызваны к заместителю начальника политуправления Южного фронта бригадному комиссару Л. И. Брежневу. Сообщив, что он прочел их корреспонденцию в «Комсомольской правде», Леонид Ильич посоветовал авторам написать о героях-артиллеристах подробнее. Ознакомившись вскоре с их рукописью, бригадный комиссар сказал, что ее надо издать отдельной брошюрой, приложением к фронтовой газете «Во славу Родины». «Когда развертывалась Барвенковско-Лозовская операция,— пишет И. Х. Баграмян,— книжка пятидесяти-тысячным тиражом была отпечатана в Ростове и доставлена в войска. Редактором книги был Л. И. Брежнев. Брошюра сыграла немалую воспитательную и мобилизующую роль в ходе нашего наступления»¹.

Полководец высоко оценивает значение фронтовой и армейской печати в формировании у бойцов таких качеств, как стойкость и мужество, в укреплении наступательного духа наших воинов. Немалая заслуга в этом принадлежала писателям — сотрудникам фронтовых, армейских и дивизионных газет. Только на Юго-Западном фронте в редакциях газет

работало тридцать писателей, в их числе Никола Бажан и Александр Безыменский, Ванда Василевская и Евгений Долматовский, Александр Корнейчук и Александр Твардовский... Тепло вспоминает И. Х. Баграмян приезд Ильи Эренбурга в дни Курской битвы в 11-ю гвардейскую армию, выступление писателя перед гвардейцами.

Размышляя о великой битве народов с фашизмом, автор разоблачает измышления буржуазных историков второй мировой войны, не гнушающихся самыми беззастенчивыми фальсификациями. Советский полководец цитирует вынужденные признания битых гитлеровских генералов, привлекает книги «Военный дневник» Гальдера, «Утерянные победы» Манштейна, «Проигранные сражения» Фриснера, «История второй мировой войны» Типпельскирха и другие зарубежные источники, критически анализирует их.

Здесь излишне говорить о том, что мемуары выдающихся полководцев вносят большой и серьезный вклад в военно-историческую науку. Это настолько очевидно, что в особых доказательствах не нуждается. А вот на немаловажном значении этих мемуаров для развития художественной литературы, для труда наших писателей, чье творчество и сегодня связано с изображением человека на войне, остановиться следует. Такие книги, как воспоминания И. Х. Баграмяна, содержат чрезвычайно много ценного для более глубокого, более масштабного осмысления нашими писателями хода Великой Отечественной войны, ее закономерностей и итогов. Трудно, например, представить себе, чтобы писатель, сегодня работающий над романом, герои которого сражаются на территории Восточной Пруссии и участвуют во взятии Кенигсберга, не обратил бы внимания на мемуары И. Х. Баграмяна с их обстоятельным и точным, изобилующим интереснейшими подробностями описанием подготовки к штурму и самого штурма этого городка-крепости.

Между военными мемуарами и художественной прозой о войне существует сложная, можно сказать, многоканальная творческая связь. Как известно, одной из первых попыток вникнуть в нее явилась работа «Минувшее мы вновь переживаем» ныне уже покойного критика и литературоведа В. Панкова. Но то был лишь начальный, пробный шаг. Проблема ждет своих вдумчивых исследователей.

В. КОСОЛАПОВ.

¹ К 60-летию Советской Армии документальная повесть М. Котова и В. Лясковского «Курган» вышла новым изданием («Роман-газета», 1978, № 4).

КОРОТКО О КНИГАХ



ВЛАДИМИР КОЧЕТОВ Провинциал. Повести и рассказы. М. «Молодая гвардия». 1977. 256 стр.

Духовные прозрения героя, нравственный поиск — этими словами можно определить сущность повестей и рассказов, составивших первый сборник молодого прозаика Владимира Кочетова. Вместе с писателем мы входим в сложный мир юного человека. полный острых конфликтов. Достоверно и точно изображается в книге психология подростка — его максимализм, стремление немедленно во всем разобраться, выразить, не особенно раздумывая, собственное отношение к тому или иному событию или явлению. Но внимательный читатель не может не заметить, как постепенно все более гибкими и разносторонними становятся представления героя о людях, о «взрослом» мире.

Думается, что «юношеский» этап жизни привлек Владимира Кочетова не только потому, что он идет по «горячим следам» (автору 25 лет). Нравственные категории, понятия, свойственные периоду взросления, — эта область психологии, судя по всему, чрезвычайно близка состоянию духовных исканий самого писателя, герои размышляют над проблемами, которые волнуют и автора.

Попытка осмыслить сложность отношений между людьми, стремление проникнуть в скрытую сущность явлений, верно оценить эти явления — всем этим отмечен путь, по которому развивается характер Вани Темина, главного персонажа повести «Провинциал». Повесть охватывает небольшой, но очень важный кусок жизни героя — период острых столкновений с тем, над чем раньше не задумывался, что принимал как должное; она передает процесс формирования своего отношения к действительности. Это стало для юного героя так важно потому, что он уже чувствует несостоятельность своего максимализма (поведение брата, например, никак не укладывается в нравственные рамки, прежде для него естественные и привычные).

Своеобразно развивается сюжет повести. Событий в ней происходит довольно мало. Внутренним движением повесть обязана динамике развития характера главного героя. Движение этого характера почти зримо. Ваныни представления о людях, совершенствуясь и приближаясь к истинным, «описывают» иногда как бы полный круг. Одноклассник Вани Сашка

Елин поначалу вызывал у него неприязнь — пижон, лопает, наверное, одну черную икру, оттого такой дохляк. В конце повести Ваня смотрит на Сашку «новыми глазами»: Сашка добрый, работающий человек. Сам шьет себе «пижонские» рубашки, а вечерами помогает на работе матери-уборщице.

Отношения Вани со старшим братом Егором интересны не только для понимания характера Вани. Похоже, что братья ведут постоянный диалог-спор; поступки одного опровергают мысли другого. Взгляды Вани и Егора на мир порой диаметрально противоположны, но «дополняя» друг друга, они дают максимально разумное решение проблемы. Нужно сказать, что эта двойственность ощущается и в позиции самого автора, он как бы взвешивает и обдумывает две различных точки зрения. Такое «распределение позиций» между героями без подводящей итог авторской оценки позволяет не только зримо передать неуравновешенное состояние человека, едва вступающего в жизнь и старающегося на основе небольшого опыта разрешить проблему «что самое главное в жизни», но и отражает в какой-то мере и творческое состояние писателя.

В повести «Как у Дуношки на три думушки...», уже знакомой читателям (она была опубликована в «Юности» и получила премию журнала за 1974 год), писатель, как мне кажется, продолжает на другом материале все ту же тему формирования характера, становление личности.

В центральном эпизоде герой повести Митя Косолапов вступает в драку с пьяными хулиганами, защищая девушек-сокурсниц, участниц фольклорной экспедиции. В конце повести Митя оказывается в милиции. Его должны судить... Раздумья героя над своей прошлой жизнью, над тем, что случилось, напряженные поиски выхода — все это, очевидно, прежде всего и интересовало писателя. И психологически нравственное смятение героя передано, как мне кажется, довольно убедительно.

Герои Владимира Кочетова, поставленные в совершенно несхожие условия, все-таки удивительно близки. Это словно бы один герой, живущий в разные периоды жизни, как бы трудно ни складывалась его судьба, он стремится всегда быть добрым, благородным, бережно и чутко относиться к тем, кто оказывается рядом с ним.

Нина Бавина.



ЮРИ ТУУЛИК. *Заморское дело.* Рассказы и повести. Перевод с эстонского. М. «Молодая гвардия». 1977. 240 стр.

Нельзя не согласиться с Ф. Кузнецовым, который «расположил» эстонского прозаика Юри Туулика в ряду именитых «деревенщиков» — В. Белова, В. Шукшина, Г. Матвеева. Впрочем, родство Туулика с «деревенщиками» видно, что называется, невооруженным глазом.

Герои Юри Туулика под стать «чудикам» В. Шукшина. У рыбака от смеха лопнула, как пергамент, кожа на животе. Балагуру, который не может жить без юмора и улыбки, теперь смеяться нельзя: друзья зашили лопнувшую кожу парусной иглой. В абсурдных, казалось бы, поступках, порой даже фантастических, в мыслях и лексике персонажей «Абрукских историй» угадывается что-то шушинское. Юмор — неотъемлемая черта поэтики молодого прозаика, через яркую пластическую деталь выражает он этический аспект народного миропонимания: не дидактика и морализаторство, а народная шутка и смех бичуют зло и поддерживают добро.

Словом, в деревенской прозе рядом с вологодской и алтайской деревней, рядом с Цмакутом и Ангарой появилось новое обозначение — Абрука. Но деревенская проза 70-х годов заметно отличается от 50-х и 60-х. Немало дискуссий в свое время кипело вокруг Ивана Африкановича: каков этот герой, что стоят его трудолюбие и доброта и его заметная социальная пассивность?

В. Белов испытывал характер своего героя на прочность теми трудностями, которые переживала северная деревня, еще не избыв тягот послевоенного времени. Не выдержал Иван Африканович, смутил его пустоголовый Митька, поманил легкой колесной жизнью. Поплатился Дрынов за свою слабость смертью Катерины.

Малли, героиня повести Ю. Туулика «Заморское дело», — тоже из тружеников, руками которых страна в свое время поднимала деревню из послевоенной разрухи. Но в повести Туулика — другое время, другая деревня, другие проблемы. Белов испытывал характеры героев нуждой, а Туулик проверяет достатком. Старая жительница острова Абрука, сгибаясь под тяжестью гостинцев и подарков, направляется в город Кингисепп к дочери Лийви. С описанием дорожных приключений совмещается внутренний монолог героини, что обуславливает двойное освещение событий и людей — внешнее и внутреннее. Повествование автора углубляет насмешливый комментарий эстонской крестьянки. С незлобностью и мудростью смотрит она на людей — на тщеславную Мийли, добродушного жениха Виллибалда и злобную мать его невесты Юлу. А сама героиня не только умна, но (как и все любимые наши персонажи деревенской прозы) добра, трудолюбива, бескорыстна. Однако захлестнул ее в городе ажиотаж приобретательства, забыв обо всем, ринулась она в очередь за чешскими сапожками. С присущей Малли насмешливостью увидела она себя со стороны: с оторванными пуговицами и чешскими сапожками в руках. Зрелище это выбило крестьянку из душевного равновесия. Оказывается, со-

хранить чувство человеческого достоинства в достатке бывает не проще, чем в нужде. Вот что поняла Малли, пройдя через «мясорубку» очереди, — злостные сапожки подарила она незнакомой девушке и побежала на пристань, не решаясь заявиться к дочери в состоянии душевного смятения.

Деревенская тема не единственная в творчестве Туулика. Психологическая достоверность характеров и трагический пафос характерны для военных рассказов — «Березы» и «Вдова» (последний — словно еще одно свидетельство драматических событий, описанных в документальной повести Юло Туулика «Можжевелик выстоит и в сушь»). Оптимизм же, присущий книге в целом, напоминает о произведении эстонской словесности, впервые изобразившем жителей острова Сааремаа (Абрука), — «Книге рассказов Сааремаа». Но оптимизм нашего современника отличается от благодушной идиллии и буколического прибалтийского просветителя XVIII века И. В. Л. Луца тем, что идет от самой нашей жизни, а не от философской схемы. Это оптимизм исторический. Совмещая в своих произведениях традиции эстонской и русской литератур, молодой прозаик Юри Туулик на стыке двух культурных традиций и разрабатывает свою стилистическую манеру.

Руслана Ляшева.



Н. ФЛЕРОВ. *Море и жизнь.* Повесть. М. Воениздат. 1977. 252 стр.

Прозаическая книга «Море и жизнь» поэта Николая Флерова плотно «населена», интервал времени, охваченный ее сюжетом, — на уровне романного. Круг действующих лиц, впрочем, необычайно широк по той причине, что повесть охватывает и детство героя, и учебу, и годы войны.

Сказав своим друзьям еще в детстве: «До встречи на флоте!» — герой затем выходит на те пути, которыми двигались миллионы его сверстников. Писатель стремится показать человека, оказавшегося на «быстрине» исторических процессов.

Черты героического времени вобрала в себя фигура моряка Ивана, подвижного, импульсивного, неуступчивого. Он отдал жизнь за Родину, его патриотический подвиг не забыт. На линкоре, где служил, теперь «при вечерней поверке звучало: «Старшина первой статьи Иван Тамбасов», — и ответ: «Погиб смертью героя». В годы сражений такие люди рвутся туда, где опасней, стремясь внести максимальный вклад в дело победы...

Удачен у Н. Флерова развернутый образ моря. В книге Черное море — море детства, Балтийское — море учебы, Варенцево — море войны. На трех морях, словно на трех китах, держится жизнь и свершения героев книги.

Есть особая выразительность в лаконизме флеровских описаний и лирических обобщений, как бы подводящих черту под целым этапом жизни героя: «Взгляд на Кильдин и... до свидания, Север! Ты если не вся жизнь моя, то половина жизни обязательно». Но подведение черты — условность. Пройденное —

в душах героев. И море осталось в них: «Словно не в бревенчатые и бетонные причалы били эти огромные валы, а в сердце, стучали, чтобы достучаться...»

Ярким рассказом о судьбах людей, посвятивших себя морской службе, принявших море в свои сердца, привлекает книга Н. Флорова.

Леонид Каратеев.



Л. О. КАРМЕН. Рассказы. М. «Художественная литература». 1977. 286 стр.

Лазарь Осипович Кармен принадлежит к русским литераторам, возвысившим свой голос против чудовищного произвола и угнетения, царивших в России на рубеже XIX и XX веков. В вышедшей ныне книге представлены рассказы Л. О. Кармена, которые дают зримую картину его деятельности как писателя и гражданина.

Рассказы 1901 года (из сборника «Диари») пронизаны острой болью за тех, кого буржуазное общество бросило на самое дно жизни. Кармен показывает безысходность их существования, моральную деградацию, постепенно приводящую людей к животному состоянию. Не так неистребимо в человеке человеческое, что, получив даже крошечный стимул, он возрождается; и за возрождение это человек борется, а порой расплывается даже ценой собственной жизни (рассказ «Сорочка угольщика»).

Социальный протест ощущим в рассказе «Портовые воробы», героини которого — две жалкие больные женщины — трогательно помогают друг другу переносить тяготы нищей бездомной жизни. Изображая простых тружеников людьми в высшей мере достойными, полными душевного тепла и сострадания, Кармен вступает в противоборство с модным в его время направлением в искусстве — изображать простого человека лишенным высоких стимулов и чувств. В рассказах Кармен акцентирует внимание читателя на духовном потенциале своих героев — рабочих, рыбаков, моряков, грузчиков.

В рассказах «Поздно» и «Осень в порту» главными героями писателя стали люмпены, жизнь которых Кармен хорошо знал по своей репортерской практике. Позднее писатель все больше внимания стал уделять процессу роста классового самосознания рабочих, их борьбе за свои права. Цикл рассказов «Дети-глухари», написанный в предгрозовую 1904 год, убедительно свидетельствует о том, что народное терпение истощилось. В рассказах «Шарики», «Жертва котла» и «В «сахарном» вагоне» Кармен поднимается до подлинных высот гражданского пафоса — в его изображении Россия, загнанная самодержавием в грязь и безысходность, в то же время и Россия негодующая, мучительно просыпающаяся от многолетнего сна и дурмана «монополии». Пусть выход ее ярости дик и необуздан, но он уже все более и более целенаправлен.

И вот грянул 1905-й. Демонстрации и митинги, кровь на мостовых, звуки революционных песен и свист казачьих нагаек — все

смешалось в вихре. Мера народного терпения была с лихвой перекрыта — «река вскрылась». Именно так назвал Кармен свой рассказ из серии «Рассказы о пятом годе». Еще не выкристаллизовался контур грядущей победы, еще в людях много прекраснотушия, но уже ясно, что революция, ведомая пролетариатом, — необратимая реальность.

Кармен твердо верил, что наступит время, когда народ-созидатель построит новое общество, «что на пепелище и развалинах старого порта должен вырасти новый, молодой, здоровый». Его рассказы 1909 года проникнуты неизбыточной верой в грядущее. Сборник рассказов, вышедший вскоре после революции, назван «К солнцу!». Победивший народ утверждает на свободной земле те принципы, о которых мечталось долгие годы его лучшим сынам и дочерям.

Л. О. Кармен прожил недолгую жизнь, но прожил ее так, как и творил — по самым высоким нравственным меркам своей души. «на одном дыхании». Поэтому его творчество, нетленная частица его самого, и по прошествии многих лет заставляет читателя волноваться и задумываться над величием человеческого бытия.

Андрей Максимов.



ЛЕНИНСКИЕ ГОРЫ. Стихи поэтов МГУ. Издательство Московского университета. 1977. 128 стр.

В предисловии к коллективному сборнику стихотворений «Ленинские горы» руководитель литературной студии МГУ «Луч» поэт Игорь Волгин перечисляет имена знаменитых питомцев Московского университета, неотделимого от русской литературы хотя бы уже потому, что носит имя М. В. Ломоносова.

Важно отметить, что в рецензируемую книгу вошли стихи поэтов МГУ, именно поэтов, а не робких учеников, доверивших свои «пробы пера» типографскому станку. Читатель, открывая новую стихотворную книгу, вправе рассчитывать на свежесть мировосприятия поэта, на творческую новизну, которая, в сущности, и должна являться основным оправданием публикации того или иного стихотворения, то есть вправе рассчитывать именно на профессионализм.

Среди авторов сборника есть уже знакомые всеобщему читателю, например, Ст. Золотцев, Е. Славоросова, Е. Бунимович, А. Иванушкин, Е. Витковский. Трудные биографии, житейский и литературный опыт участников сборника наложили заметный отпечаток на его тематику. Показательны в этом смысле такие стихотворения, как «Танк на дороге» Ст. Золотцева, «Шелест» Ю. Кублановского, «Наш странный дом, бревенчатые стены» Б. Кенжева, «Двадцатый век. Июль. Библиотека» Е. Витковского.

На страницах сборника много воспоминаний об армейской жизни, для некоторых поэтов служба в армии — первая школа «настоящей жизни». Вообще в разработке «вневузовской» тематики у поэтов МГУ намечаются существенные успехи; они пристально вглядываются в

окружающую действительность, исследуют нравственную жизнь личности, познают незримые внутренние связи в бурном веке НТР. Хотя бывает и так, что «настоящая жизнь» сводится в стихах к зримым атрибутам, вещественным деталям, в то время как от поэта ждешь прежде всего проникновения во внутренний мир современника.

Читатель «Ленинских гор» не найдет здесь обилия стихотворений, посвященных непосредственно МГУ, а те, что есть, вряд ли принадлежат к числу лучших. Явственно ощущается стремление авторов, особенно молодых, преодолеть ограниченность школьно-вузовского опыта.

Тематический диапазон сборника «Ленинские горы» достаточно широк: Е. Бунимович представил в сборнике стихи о Чили, исполненные гражданского пафоса; в подборке Ст. Золотцева наряду со стихотворением «Стадион в Сантьяго» звучат «Камский паром» и «Поле»... Насущные проблемы современности волнуют И. Селезнева, С. Гандлевского, Г. Бубнова и других поэтов.

Жаль, что подборки некоторых поэтов несвободны от литературно-музыкальных реминисценций, которые проглядывают и в названиях стихотворений: «Франсуа Вийон», «Рембо», «Музыкальный снег» и др. Это те реминисценции, за которыми, как за дымкой, иногда трудно разглядеть искреннее чувство, хотя, впрочем, перечисленные стихотворения выполнены на профессиональном уровне.

«Ленинские горы» — второй сборник поэтов МГУ. Он производит хорошее впечатление. Хотелось бы надеяться, что следующий сборник еще полнее представит творчество поэтов и всю картину литературной жизни Московского университета, вступающего в третий век своей истории.

Р. Бухараев.



ЛЕОНИД ЛАТЫНИН. Патриаршие пруды. Стихи. М. «Советский писатель». 1977. 110 стр.

Строгая, чуждая словесной эквилибристике манера Леонида Латынина заставляет видеть особый смысл в каждом «не так», «неправильно» поставленном им слове. Открывающие поэтический сборник строки:

Земля моя, застывшая над полем,
Простертая над скованной рекой, —

не могут не остановить читателя. Удивляет предлог «над», столь неожиданный в контексте. Однако, прочитав книгу и вновь возвращаясь к ее началу, мы убеждаемся, что брошенная в глаза деталь — не стилистическая эскапада, а прямое выражение общей мысли поэта. Назвав «землею» то, что принято называть «небом», Латынин как бы формулирует свою веру в духовность бытия, в высокий смысл жизни. Прежде всего в духовность самого человека, способного сделать свою жизнь такою же. Поэту известно, как трудно бывает порой прорваться сквозь суету повседневности. «Базар, редис, визит врача. Зарплата, служба, магазины. И небо с запа-

хом резины ползет, трамваями брэнча...» — грустно заканчивает он стихотворение о творчестве. Помогает уменье видеть природу, помнить детство, любить женщину.

Природа, по мнению Латынина, дает внимательному глазу не только радость, но и наглядный урок. Не случайно поэт столь охотно использует в своих стихах традиционный символ высоты и красоты — небо, сообщая ему, однако, необходимую конкретность. «И отрицали небеса меня с размеренным укладом...» — сказано, например, в одном из стихотворений. Что значит «размеренный уклад»? Свободу от страстей, «восторгов», успокоенности, довольства? Не будет ли этот умиротворенный дух дисгармонизировать с праздничностью окружающего мира? Латынин стремится к максимальной напряженности, обостренности чувств. Тогда быт уже не вязнет на подошвах, не тянет вниз, а сам зачастую поднимается до высоты поэзии. Прозаично, казалось бы, название — «Стихи о женщине со спицами в руках», но разве таковы они по сути?

...Мелькают спицы — сеть нежна,
Клубок, скользкая, кружит.
Как хорошо, что ты жена
И так юна на вид.

Мелькают спицы, сеть полна
Моих неловких слов,
Как вяжет женщина, она
Великий счастьелов.

Я ей обязан, только ей,
Едой, и ремеслом,
И этой речью фонарей,
Звучащей за окном.

Водой, свободной ото льда,
Скольженьем вверх и вдоль.
И тем, что небо и вода
Свою играют роль...

Конечно, это нелегкая задача — перемалывать, перепахивать «прозу», и поэт, к сожалению, предпочитает иногда просто отвернуться от нее, устремляясь в «эмпирию» — в «метели», «сны», «туманы», «тупотребляя словами «душа», «печаль», «судьба». В общем, начинает гулять по страницам книги «полублюбовская выюга» (пользуясь выражением А. Межирова), оставляя у читателя досадный привкус литературности. Тогда как хотелось бы большей плотности, тяжести, материальности — ведь именно этот путь плодотворен для поэта!

«Патриаршие пруды» — первая книга Леонида Латынина, поэта, уже давно печатающегося. Она сильна не просто количеством удачных строк или даже стихотворений, а цельностью лирического характера, когда и недостатки органичны. К читателю Латынин вышел не начинающим стихотворцем, а поэтом.

Ирина Винокурова.



АЛЕКСАНДР АФИНОГЕНОВ. Избранное в 2-х тт. Т. 1. Пьесы, статьи, выступления. 574 стр. Т. 2. Письма, дневники. 726 стр. М. «Искусство». 1977.

Чаще всего при имени Афиногенова вспоминается его лирическая и трогательная «Машенька». Театралы довоенного поколения, мо-

жет, припомнят еще звонкого, искреннего «Чудак» в МХАТе-втором, или хмурого, трагического профессора Бородина из «Страха» в исполнении Леонидова, или «Далекое» ваханговцев с Щукиным в главной роли... Словом, большинство зрителей и читателей знало Александра Афиногенова как автора этих популярных когда-то пьес. Выпущенный издательством «Искусство» двухтомник избранных произведений Афиногенова несравнимо расширяет и углубляет для нас содержание этого имени.

В первый том вошли статьи и все пьесы Афиногенова, кроме самых ранних, написанных в традициях Пролеткульта, а потому кажущихся наивными сегодняшнему зрителю, и нескольких пьес 30-х годов, признанных неудачными самим драматургом. Некоторые из вошедших в издание — «Малиновое варенье», «Волчья тропа», в какой-то степени «Чудак» и «Страх» — при всей серьезности поднятых тем, воспринимаются сейчас лишь как «приметы времени». Страстная, написанная «в две недели, одним дыханием, с маху» романтическая драма «Салют, Испания!», имевшая колоссальный успех в свое время, была задумана драматургом как «митинг».

В острой злободневности главное достоинство еще одной пьесы — «Накануне», рассказывающей о первых днях Великой Отечественной войны. Но мы без всяких скидок читаем «Далекое» или «Машеньку», в них драматург, не торопясь, скрывая нежность, поведал о таких чертах своих современников, которые волнуют во все времена, ибо во все времена существуют любовь, дружба, трусость, подлость, совесть...

За статьями и выступлениями, напечатанными в 1-м томе, встает история советского театра 20—40-х годов, упорная работа Афиногенова — ответственного секретаря Всесоюзной драмы, редактора журналов «Советский театр» и «Театр и драматургия» — над созданием новой, советской драматургии. Афиногенова волнуют самые острые вопросы, вставшие перед драматургами в тот переломный для нашего театра период, когда от массовых представлений и агиток художники постепенно поднимались к созданию произведений, в которых разработка тем, рожденных первыми пятилетками, основывалась на глубоком психологизме и реализме, составлявших достоинство лучших произведений русского дореволюционного театра.

Афиногенов, один из самых «репертуарных» драматургов 30-х годов, в письменных и устных выступлениях страстно, искренне и убедительно борется с современным ему состоянием театра. Но откройте 2-й том, перелистайте записки и дневники, и вы увидите, как во много раз безжалостней боролся он с самим собой, отвергая написанное, переделывая, перечеркивая, все начиная сначала, чувствуя необходимость присматриваться к людям, учиться у жизни освобождаться от штампов... «Я хочу писать, как вы хотите есть или курить». Афиногенов постоянно ищет свой драматургический идеал. Он ревностно разбирает пьесы Шекспира, чтобы профессионально позавидовать его мастерству; в разбросанных по дневниковым страницам замечаниях о том, какой

должна быть пьеса, — явное влияние Чехова: подтекст, четкое настроение каждого куска, драматическое напряжение за простотой и будничностью внешнего действия.

Читая двухтомник, открываешь для себя все новые и новые грани богатой и сложной личности Афиногенова — то страстного оратора и публициста, поднимающегося на трибуну как на баррикаду, то нежного, по-детски искреннего и открытого и оттого легкоранимого человека.

Тридцатисемилетний Александр Афиногенов погиб в октябре 1941 года от взрыва фашистской бомбы. За полгода до этого с огромным успехом прошла премьера «Машеньки» в Театре имени Моссовета. И мы можем лишь догадываться, как много написал бы этот талантливый драматург, одним из первых почувствовавший, какой должна быть новая, советская драматургия. Теперь наши догадки подкрепляют дневники и записки, где на каждой странице — россыпи тем, сюжетов, характеров.

«Настоящее издание избранных сочинений Афиногенова, — пишет во вступительной статье А. Караганов, — в этом нет никакого сомнения, станет реальным участником современных споров и дискуссий о драматургии, современного развития драматической литературы и сценического искусства».

Маяя Исакова.



Н. Р. МАЗЕПА. В поэтическом поиске. Об эпическом и лирическом начале в современной русской поэзии. Киев. «Наукова думка». 1977. 176 стр.

Лирика наших дней, стремящаяся отразить сложный духовно-эмоциональный мир современника, претерпевает, безусловно, какие-то внутривидовые изменения. Н. Мазепа исследует их характер, рассматривает пути расширения границ лирики, новые художественные средства. Автор не оговаривает, чем руководствуется в выборе имен, книг, отдельных стихотворений. Но очевидно, что коль скоро речь идет о процессах, происходящих в современной поэзии, о тенденциях ее развития — материалом исследования становится то, что представляется наиболее существенным, характерным, симптоматичным. В каждом случае, рассматривая творчество того или иного поэта только в избранном аспекте, Н. Мазепа приходит к существенным обобщениям.

Эти характеристики, внимательные и заинтересованные, иногда не лишены и противоречий. Так, Вознесенский в отличие от «рационалистичного» Мартынова «склонен к открытому, подчас бурному выражению чувств» — а вместе с тем у него случается и самоцельный эксперимент, и «нарочитая зашифрованность», то есть сугубо рациональное в творчестве. Тем не менее при оценке того же Вознесенского автор обнаруживает умение характеризовать поэтическую индивидуальность, выявляя в ней самое существенное, самое «свое»: «Разумеется, никакой идилличности в образе природы у Вознесенского нет уже хотя бы потому, что его стихия — не идиллия, но остродраматическая».

ситуации. Еще менее он склонен противопоставлять природу как естественную и гармоничную среду миру современного города. Природа у него столь же конфликтна и беспокойна, как и весь мир».

Здесь следует отметить и полемику Н. Мазепы с западными исследователями по поводу образности того же Вознесенского, которую они находят «сюрреалистической». Возражения исследовательницы тем более убедительны, что она исходит не только из творчества одного поэта, но из практики всей современной поэзии, где поэтическая условность, смещение реальных форм, метафорический язык, в частности резкая гиперболизация, приобрели большой вес. Все это — средства выражения в лирике нового содержания, глобальных проблем, нового самоощущения личности. То есть это образы целенаправленные, обусловленные идеей произведения, подчиненные замыслу. И потому становится очевидным, что «нарушение реалистичности внешней, традиционной» допускается именно «во имя реализма содержания, смысла».

Свои вопросы автор книги ставит по самому существу происходящих в поэзии процессов: почему возрастает роль сюжета в лирике или же — роль лирического начала в поэмах «традиционных», лиро-эпических. Переходя к «поэтическому эпосу», автор выявляет такие моменты, как несводимость произведений этого ряда к какой-либо «универсальной» форме (эпической, лиро-эпической, лирической), в то же время интенсивный процесс «лиризации», масштабность замысла и идей, а также наличие событийного начала. Между прочим, именно отступлением от принципа «событийности» (которая, очевидно, все же не может быть отождествлена с сюжетностью) объясняет автор неудачу ряда интересных задуманных поэм о современности.

Н. Мазепа озабочена разработкой и усовершенствованием самих принципов анализа произведений этого жанра. Многие ее замечания носят вполне конструктивный характер. Ее книга — не только продолжение споров о лирике и поэме, ведущихся в нашей периодике, но и первые их итоги, первые обобщения обретенных общими усилиями истин.

Элеонора Соловей.

Киев.



С. ЮРСКИЙ. Кто держит паузу. Л. «Искусство». 1977. 175 стр.

Эта книга — не мемуары, хотя автор и рассказывает в ней о своей творческой и человеческой судьбе. Она — не учебник, хотя многие основополагающие проблемы и воспитания актера и методологии его работы над ролью здесь не прохожие, а прочно обосновавшиеся жильцы...

Да простится мне такое сравнение, но книга эта действительно напоминает дом, плотно заселенный изящно одетыми мыслями. В этом доме живут воспоминаниями и спорами. Здесь по стенам висят портреты: родителей, учителей, коллег. Здесь цилиндр и трость Онегина привычно чувствуют себя рядом с пачкой «Беломора»: две абсолютных, то есть единственно возможных и единственно необходимых детали реквизита для спектаклей по Пушкину и Шукшину.

Войдя сюда, чувствуешь робость: здесь нельзя развалиться в кресле — можно лишь прилечь в углу и слушать, слушать... «Как говорят, а говорят, как пишут». И не замечаешь того момента, когда по-школярски тянешь руку и вступаешь в разговор. И споришь, и задаешь вопросы. И получаешь ответы. Правда, не всегда: девять печатных листов — это так немного... А потом снова возвращаешься в этот дом. И снова, и снова...

Есть книги, которые нельзя читать на сон грядущий, уютно устроившись на диване. Они требуют напряженной интеллектуальной взаимности. Иначе им с вами неинтересно. Книга Сергея Юрского — такая. Бьюсь быть понятой превратно и посяноку: в ней нет интеллектуального снобизма. В ней есть интеллектуальный азарт. Желание поделиться понятым, потому что понято многое и оно очень существенно. Кое-какие секреты актерского мастерства раскрываются. Алгеброй поверяется гармония.

И то, что сделано это именно артистом Юрским, — закономерно. Потому что он двадцать лет назад вышел на сцену Ленинградского Большого драматического театра имени Горького, принеся с собой (а точнее — принеся собой) новую трактовку понятия «современный актер». Талант, плюс интеллект, плюс мастерство. За любое из этих качеств берут «в артисты». Но Юрский доказал, что критерий требований времени — в наличии всех трех разом.

Актерская профессия — не для ведомых, а для ведущих. Творчество Юрского тому доказательство. Не единственное. Но и единственное в своем роде. Потому что «талант — единственная новость, которая всегда нова».

Возможность побывать в творческой мастерской актера такого значения — это событие. А если учесть, что книга дает возможность побывать в этой мастерской не только в праздники, а в большей мере в будни и что «экскурсия» ведется в манере нестандартной и изящной, и, главное, что никто не говорит, как в шварцевской сказке: «Ваше время истекло, кончайте разговор», — событие становится не только значительным в общетеатральном смысле. Но и в смысле очень личном. Как радостная встреча из тех, которым суждено украшать и обогащать жизнь.

Светлана Овчинникова.



КНИЖНЫЕ НОВИНКИ



ПОЛИТИЗДАТ

Л. И. Брежнев. Возрождение. 146 стр. Цена 50 к.

История Коммунистической партии Советского Союза. Издание 5-е, дополненное. 792 стр. Цена 1 р. 50 к.

К. Маркс, Ф. Энгельс, В. И. Ленин. О диктатуре пролетариата. 320 стр. Цена 70 к.

И. Троцкий. Воспитание и управление. 272 стр. Цена 1 р. 10 к.

К. Черненко. Некоторые вопросы творческого развития стиля партийной и государственной работы. Издание 2-е. 255 стр. Цена 55 к.

«СОВЕТСКИЙ ПИСАТЕЛЬ»

Д. Бедзик. Украденные годы. Трилогия. Перевод с украинского. 576 стр. Цена 2 р. 30 к.

А. Днепров. Идеи, страсти, поступки. Из художественного опыта Достоевского. 382 стр. Цена 1 р. 20 к.

И. Зиедонис. Мой камень не спит. Стихотворения. Перевод с латышского. 119 стр. Цена 40 к.

Е. Мальцев. Войди в каждый дом. Роман. 592 стр. Цена 2 р. 80 к.

Ю. Марцинкявичюс. Книга поэм. Перевод с литовского. 143 стр. Цена 95 к.

В. Орлов. Гамаюн. Жизнь Александра Блока. 710 стр. Цена 2 р. 50 к.

Р. Рза. Пунктиры времени. Стихи и поэмы. Перевод с азербайджанского. 224 стр. Цена 1 р. 10 к.

«ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ЛИТЕРАТУРА»

Г. Аббасаде. Гость издалека. Повести и рассказы. Перевод с азербайджанского. 333 стр. Цена 1 р. 50 к.

Е. Баратынский. Стихотворения. 127 стр. Цена 45 к.

А. Виноградов. Три цвета времени. Роман. 621 стр. Цена 3 р. 40 к.

Я. Гавличек. Невидимый. Перевод с чешского. («Зарубежный роман XX в.») 408 стр. Цена 2 р. 40 к.

Р. Гамзатов. Лирика. Перевод с аварского. 210 стр. Цена 4 р. 30 к.

И. Гончаров. Обыкновенная история. Роман. 318 стр. Цена 1 р. 80 к.

Э.-Т.-А. Гофман. Новеллы. Перевод с немецкого. («Классики и современники») 336 стр. Цена 1 р. 50 к.

Я. Козак. Избранное. Перевод с чешского. 447 стр. Цена 2 р. 30 к.

С. Лидман. Край морошки.—Я и мой сын. Романы. Перевод с шведского. 352 стр. Цена 2 р. 30 к.

Н. Некрасов. Стихотворения. Поэмы. («Классики и современники») 415 стр. Цена 2 р. 10 к.

Н. Чернышевский. Избранные произведения. В 3-х тт. Т. 1. Что делать? Из рассказов о новых людях. 486 стр. Цена 2 р. 40 к.

А. Шаларь. Траянов вал. Роман. Перевод с молдавского. 380 стр. Цена 1 р. 50 к.

«СОВРЕМЕННОК»

О. Ващенко. Поздняя молния. Стихи. Предисловие В. Цыбина. («Новинки «Современника») 78 стр. Цена 30 к.

В. Дементьев. За белой зарей. Новеллы, лирические повести и эссе. Вступительная статья Л. Мартынова. 446 стр. Цена 1 р. 70 к.

И. Жданов. Ночь караула. Повести. Предисловие Ю. Бондарева. («Новинки «Современника») 269 стр. Цена 1 р. 20 к.

Б. Корнилов. Поэмы. Составление и предисловие К. Поздняев. («Российская поэма») 212 стр. Цена 1 р.

Е. Полянский. Руда и хлеб. Книга стихов. («Новинки «Современника») 78 стр. Цена 35 к.

М. Роцин. Река. Повести и рассказы. 384 стр. Цена 1 р. 60 к.

Г. Ходжер. Гайчи. Роман. («Новинки «Современника») 269 стр. Цена 1 р. 20 к.

В. Хохлов. Весенние ветры. Очерки. («Наш день») 303 стр. Цена 95 к.

Главный редактор **С. С. Наровчатов**

Редакционная коллегия:

Ч. Айтматов, Ф. К. Видрашку (ответственный секретарь) **Е. М. Винокуров, Р. Г. Гамзатов, М. Б. Козьмин** (первый зам. главного редактора), **В. А. Косолапов, В. М. Литвинов, М. Д. Львов** (зам. главного редактора), **А. И. Овчаренко, Г. И. Резниченко, А. Е. Рекемчук, А. Я. Сахнин, Д. В. Тевекелян**

Редакция: Малый Путинковский пер., д. 1/2. Тел. 200-08-29.
Издательство «Известия Советов народных депутатов СССР»
Почтовый адрес: 103006, Москва, К-6, Пушкинская пл., д. 5

Сдано в набор 26/VII 1978 г. Объем 18 п. л. Подписано к печати 19/IX 1978 г.
Формат бумаги 70x108^{1/4}. 28,7 уч.-изд. л., 9 бум. л. (25,2 усл. печ. л.)
А 12804. Тираж 248.000 экз. Зак. 2310.

Отпечатано с матриц ордена Трудового Красного Знамени типографии «Известий Советов народных депутатов СССР», Москва, Пушкинская пл., 5, в ордене Ленина комбинате печати издательства «Радянська Україна», Киев-47, Брест-Литовский проспект, 94. Зак. 04471.

Цена 70 коп.

70636